

*Всё на свете, кроме  
Виктор Кондырев шила и гвоздя*

Виктор Кондырев

*Всё на свете,  
кроме шила  
и гвоздя*

Воспоминания  
о Викторе Платоновиче Некрасове  
Киев — Париж

АСТ

1972—87 гг





Виктор Кондырев

*Всё на свете,  
кроме шила  
и гвоздя*

Воспоминания  
о Викторе Платоновиче Некрасове  
Киев — Париж  
1972—87 гг

АСТ  
астрель  
Москва

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
К64

*Художественное оформление и макет* АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

*В книге использованы документы и фотографии из личного архива автора  
(в том числе фото Б. Стукалова, В. Шурубора, Ж.-П. Кудерка, С. Бассу)*

**Кондырев, В.Л.**

К64 Всё на свете, кроме шила и гвоздя : Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове. Киев — Париж. 1972—87 гг / ВИКТОР КОНДЫРЕВ. — М. : АСТ : Астрель, 2011. — 572, [4] с.

ISBN 978-5-17-073243-2 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-34487-9 (ООО «Издательство Астрель»)

Виктор Некрасов (1911—1987) ещё при жизни стал легендарной фигурой. Фронтовик, автор повести «В окопах Сталинграда», обруганной официальными критиками; в конце сороковых был удостоен Сталинской премии; в семидесятых — исключен из партии с полным запретом издаваться, покинул страну и последние годы прожил в Париже — там, где провёл своё раннее детство...

Боевой офицер, замечательный писатель, дворянин, преданный друг, гуляка, мушкетёр, наконец, просто свободный человек; «его шарм стал притчей во языцех, а добропорядочность вошла в поговорку» — именно такой портрет Виктора Некрасова рисует в своей книге Виктор Кондырев, пасынок писателя, очень близкий ему человек.

Лилианна и Семён Лунгины, Гелий Снегирёв, Геннадий Шпаликов, Булат Окуджава, Наум Коржавин, Александр Галич, Анатолий Гладилин, Владимир Максимов, эмигранты первой волны, известные и не очень люди — ближний круг Некрасова в Киеве, Москве, Париже — все они действующие лица этой книги.

Издание иллюстрировано уникальными фотографиями из личного архива автора.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-073243-2 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-34487-9 (ООО «Издательство Астрель»)

© Кондырев В.Л.

© ООО «Издательство Астрель»

# Оглавление

## Глава первая

### Морально разложившаяся личность

Туда и обратно .....	13
Московские прощания .....	20
Переделкино .....	25
Говорите членообразно! .....	31
Одним словом — мудака! .....	38
Гелий Снегирёв .....	46
В брачных узах .....	53
Жизнь как жизнь .....	56
Мой внук Вадик! .....	63
За чтение и распространение .....	67
Сашка и Марик .....	72
Обыск .....	76
Кому это нужно? .....	80
Какая сука разбудила Ленина? .....	87
Квартирная кража .....	92
Ушедшие и пришедшие... ..	100
Кто стучит? .....	106
Поэт Сосело .....	110
Целесообразно не препятствовать .....	113
Отъезд .....	117
Сидение в отказе .....	124
Орденосец Луи Арагон .....	129
Уличная пастьба .....	132

*Глава вторая*  
От «Сталинграда» до «Пигаль»

Булат Окуджава .....	139
Проба парижского пера .....	144
Идиллия с Натали Саррот .....	151
Кто самый склочный? .....	155
Ах, утону я в Западной Двине... ..	163
Пиджак на голое тело .....	167
Любил ли я Вику? .....	173
Национализм? Русификация? .....	180
Машинописец на «Эрике» .....	185
Витя, Галич умер! .....	188
Милый наш городок Ванв .....	193
Вояж в Испанию .....	199
У-у, мандавоха! .....	209
«Хельга» нашей мечты .....	215
Променады по Парижу .....	225
Православный безбожник .....	230
Три эмиграции .....	235
Мы из третьей волны! .....	243
Улица Лабрюйер и окрестности .....	249
Французский без прононса .....	254
Майя, Мария, Машка .....	266
«Континент» и «Синтаксис» .....	272
Книги от Аниты .....	276
Дорогие мои женевцы .....	282
Фонтенбло .....	289
Гонолулу с мангустой .....	293

*Глава третья*  
Свои сто грамм, кроме всего прочего

Телефонные розыгрыши .....	301
Акын Шатобриан .....	304

Святочные хари .....	313
Зеленинские ассамблеи .....	315
Книги для старшего возраста .....	321
Вермонтский педагог .....	330
Владимир Максимов .....	338
Зинаида Николаевна .....	353
Красная Армия и остров Сикоку .....	362
Киев — Париж .....	367
Парижские кафе .....	377
«Радио Свобода» .....	382
«Спутник алкофила» .....	390
Поползновение профессора .....	404

*Глава четвёртая*  
Глухая муда и гусиный вздроч

Невинные и винные встречи .....	411
Медон .....	418
Надпись синим карандашом .....	422
Перформанс и конструктивизм .....	428
Перипетии в прозе и поэзии .....	437
Один из добрых друзей .....	444
Робкая похвала воспоминаниям .....	447
«Монпарнас» и дадаисты .....	452
Вячеслав Кондратьев .....	458
Дни Победы .....	461
Вопиющее кумовство .....	468
Плач по друзьям и вообще... ..	473
Сергей Довлатов .....	478
Слабость писателя, она же гордость .....	482
Аи и Нормандия .....	487
Беззаботность среди прочих добродетелей .....	495
Подражание Хэму .....	501

## *Глава пятая*

### Мальчики остаются мальчиками

Застольные гости .....	507
Парижское лето .....	512
Три мечты .....	515
Штучки-мучки .....	518
Распрекрасный 1986-й .....	523
Коллор, а потом Сан-Пауло, Сан-Франциско, Амстердам ..	530
Счастливая жизнь Виктора Платоновича .....	539
Ужасный месяц апрель .....	545
Пей и веселись! .....	552
Тихо прикрытая дверь .....	558
Печальные хлопоты .....	565

## *Вместо предисловия*

**П**арижские яблони имеют идиотскую привычку расцветать в конце февраля. А потом красота эта гибнет с мартовскими заморозками.

Стоял февраль, жара, как в мае, вся паперть средневековой церковки Сен-Реми была покрыта осыпавшимся яблоневым цветом. Мы с Виктором Платоновичем вольготно расселись за столиком на тротуаре возле кафе «Всё к лучшему» (как мы сразу, переведя на русский, стали называть кафе “Tout va mieux”), напротив магазинчика женского белья «Сапёрлипопет».

Позлословив о яблонях, степенно допили пиво и попросили беби-виски. Разговор пошёл о суете сует.

Недавно в газетах напечатали постановление Президиума Верховного Совета о лишении В.П. Некрасова советского гражданства, «за деятельность, несовместимую с высоким званием гражданина СССР». По тем временам, в самом начале восьмидесятых, новость была лестной — так поступали с диссидентами, с выдворенными писателями и просто хорошими людьми. Но В.П. был слегка уязвлён: чего это вдруг, через столько лет после изгнания из Киева, про него вспомнили, решили лягнуть, вроде как прикончить.

— Ты знаешь, Витька, как мы на фронте говорили?

— Знаю, знаю! — поспешно ответил я, опасаясь фронтовых воспоминаний. — Всё на свете, кроме шила и гвоздя?!

— Ну! — довольно хмыкнул В.П.

Это выражение было в большом ходу после войны, и я множество раз слышал его от Некрасова. Иногда оно вспоминалось

между делом, но чаще произносилось со всем пылом писательской души...

Через пару недель после разговора о яблонях Некрасов позвал меня зайти. Благо все жили в одном доме: мама и он на седьмом, а мы на втором этаже.

— Свой герб рисую. Посмотри, почти готов!

Вздыбившиеся грифон и лев с пламенными языками поддерживали с двух сторон геральдический щит с устремлённой ввысь фигурой, как бы романтическим отображением допотопного лозунга «Но пасаран!». Над щитом, в лучах стилизованной короны, и под ним, внутри виньетки-вымпела, был начертан славный девиз «Мы е\*али всё на свете, кроме шила и гвоздя!». Один из лучей короны целомудренно прикрывал в глаголе букву «б».

Я одобрил, а польщённый автор посетовал, что нельзя присобачить назидательное продолжение этой лихой сентенции — «Шило острое, кривое, а гвоздя е\*ать нельзя!» — слишком многословно, дескать, композиция нарушается.

Рамочка с гербом была установлена на видном месте в гостиной, как бы уведомляя о нешуточных замашках хозяина дома. Тонкие натуры заинтригованно поёживались...

Сейчас герб висит у меня в кабинете. Бывает, глянешь на него и испытываешь смутную весёлость.

Но заветное выражение уже никто не произнесёт, потеряло оно убедительность, устарело, прямо скажем. Всё на свете! Кому сейчас по плечу столь обширная программа!

Вот в устах Некрасова от этого изречения веяло вольнодумством и некоей реликтовой мужественностью. И напоминало оно то вопль вцепившегося в ванты флибустьера, то истовое бормотание тамплиера-крестоносца у стен Иерусалима...

Приятно было слушать...

*Глава первая*

**Морально  
разложившаяся  
личность**



## Туда и обратно

**А**вгустовским утром 1974 года перед домом № 15 в киевском Пассаже возник тихий переполох. Мы с Виктором Платоновичем отправлялись в Москву, не надолго и по делам. У подъезда неизвестно почему беспокоилась маленькая гурьба провожающих. Хотя мои мама и жена Мила были взволнованы лишь в самую меру, а сын Вадик вообще веселился. Отъезжающие покуривали, сохраняя достойное спокойствие.

Агенты наружного наблюдения стояли чуть в сторонке, никоим образом не стесняясь. Заинтересовал их, надо полагать, непомерной величины многопудовый кожаный чемодан, который мне предстояло переть на себе в столицу.

Чемодан был забит десятками толстых, перевязанных бечёвками тетрадей в синих обложках. На каждой тетради чернилами, красивым почерком был выведен год, начиная с конца прошлого века.

Это были дневники Софьи Николаевны Мотовиловой, тётки Некрасова.

Он очень дорожил этими дневниками, прошедшими через годы войн, пертурбаций, страха репрессий. Мол,

представляете, каждый год тетя Соня ежедневно — понимаете, ежедневно! — с начала века вела записи. Что произошло в семье, что сказал Вика, что она ответила Зине (её сестре, матери Некрасова), кому написала письмо, что почём купила на рынке, что читала, где брала справку, кто приходил в гости. Некрасов любил повторять чью-то фразу о том, что самое ценное для историка не записи о происшедшей революции, а сколько в это время стоил хлеб. И именно таким мелочам в дневниках отводилось немалое место.

Тётя Соня полжизни провела в эмиграции, знала как облупленных всех меньшевиков, эсеров и большевиков. Перед самой революцией переехала со всей семьёй в Киев, работала в библиотеке, переписывалась со старыми знакомыми — эмигрантами и политкаторжанами — и писала мемуары. Славилась скверным характером. Своего племянника Вику держала в чёрном теле, а с сестрой Зиной обращалась сурово...

Лет десять назад было решено зайти в гости к тёте Соне, чтобы вместе погулять по Киеву. Жила тётя в коммунальной квартире где-то в районе улицы Горького, если не ошибаюсь. Оставив Зинаиду Николаевну на скамеечке возле дома, мы с В.П. храбро преодолели совершенно непотребно воняющую котами лестницу.

Плотно зашторенная, загромождённая стопками книг, пачками бумаг и картонными коробками комнатуха, постарушечья запущенная. Попахивало ветхостью. Но на письменном столе — порядок, старая чернильница, ручки с перьями лежат рядышком, справа стопочкой несколько школьных тетрадей.

Много дореволюционных фотографий, но нет ни племянника Вики, я заметил, ни сестры Зины. Было известно, что тётя ничего не разрешает трогать в её комнате, а о домработнице страшно и заикаться.

Сейчас Софья Николаевна была готова, но без туфель. Недовольно заметила, что совершенно не обязательно приводить к ней посторонних мужчин, пока она не одета.

Племянник Вика безоглядной любовью тётю не жаловал, но очень ею гордился. В 1963 году Александр Твардовский в «Новом мире» опубликовал «Минувшее» — воспоминания Софьи Николаевны. В то время ей было 82 года! И почтенный возраст не мешал ей оставаться ещё той штучкой, скажу вам! Как любил говорить Некрасов, палец в рот не клади! Своенравная, по-старушечьи беспардонная, резкая в ответах, но большая умница, что сразу бросалось в глаза. Если, конечно, она достаивала вас вниманием...

На выходе из подъезда меня чуть кондрашка не хватил от испуга — тётя Соня, бросив сопровождающих, быстрым шагом двинулась наискосок через широченную улицу. Машины и троллейбусы возмущённо тормозили и мерзко гудели, я бросился вслед за тётей, пытаюсь взять её под руку, мол, давайте я вам помогу. Тётя Соня яростно выдернула руку и молча ускорила шаг. До тротуара было далеко, я делал знаки, извинялся перед водителями. И проклинал себя, Вику, тётю и вообще всю вселенную...

Некрасов с Зинаидой Николаевной догнали нас только возле Пассажа. Женщины были оставлены посидеть в скверике — противная тётя Соня отказалась заходить к сестре, мол, на воздухе гораздо приятнее...

Главной заботой Некрасова после смерти тётки в 1966 году были её дневники и бумаги. Остальной старушечий скарб был торжествующе выброшен на помойку.

И теперь этот чемодан был привезён на дачу поэта Евгения Евтушенко в Переделкино, под Москвой. Вика попросил сохранить, проследить, чтобы не пропали тетради. Евтушенко обещал. Галя, его жена, велела унести чемодан в ма-

ленький флигелёчек. И всё. Что стало с дневниками, никто толком не знает.

Только одну тетрадку тогда Некрасов взял с собой в Париж, на память...

Из Киева была доставлена и большая картина Галины Серебряковой, которая висела в киевском кабинете над тахтой. Портрет няни художницы — тихая женщина сидит на табурете, сложив руки на коленях, смотрит тебе в глаза, чуть наклонив голову. Портрет не закончен, но всё равно впечатляет. Евтушенко внимательно рассматривал картину, прислонив её к стене. Некрасов чуть волновался и обрадовался, когда Женя повернулся к нему и решительно сказал: да, он покупает. Купил он её за две тысячи рублей, я точно запомнил — сумасшедшие по моему пониманию деньги.

Помня о важности миссии, в дороге мы маялись абсолютной трезвостью. Курили в коридоре, и Некрасов похваливал Евтушенко.

Женька наверняка очень талантлив, говорил Виктор Платонович, но какой всё-таки сперматозоид! Пробивной и юркий, до ужаса! И в то же время хороший парень, вот что путает все карты. Проныр в Москве не перечтёшь! Но они не так на виду, они гораздо бледнее, обыденнее Жени. Бес-таланнее и запуганнее. А он, конечно, личность!..

Ещё весной, когда Некрасова силой втолкнули в самолёт и вышвырнули из Москвы перед визитом государственного секретаря США Г. Киссинджера, Евтушенко написал стих с приглашением приехать к нему, несмотря ни на что.

*Посвящается первым читателям  
этих стихов при перлюстрации*

Каким вниманьем КГБ  
Вы одарованы в судьбе!

Читатели такие  
так любят вас, что создают  
на Украине Вам уют  
и ни за что Вам не дают  
покинуть город Киев.

.....

Чуть Вы исчезнете в ночи,  
о Вас рыдают стукачи  
с привязанностью детской.  
Письменник милый — это честь,  
когда такой читатель есть  
у нас в стране Советской.  
*P.S.*

Но как Украина ни нежна,  
любви дистанция нужна,  
поэтому с любовью  
вас приглашаю прилететь  
и славу Киеву воспеть  
в окопах Подмосковья.

Некрасов был душевно тронут. Киевские знакомые стихотворение тут же переписали, а у нас дома его с выражением зачитывали всем чаёвничавшим.

Некрасов сказал как-то, что за «Бабий Яр» Жене простится на небесах и Братская ГЭС, и американские агрессоры, и осатанелые дифирамбы Фиделю Кастро. Я промолчал, так как был уверен в то время, что как поэт и гражданин Евтушенко уже и на земле неподражаем и безгрешен.

Я был непомерно влюблён в его стихи, поэта моей юности! Удачливого в любви и дружбе, бесстрашного обличителя мещанства, сдержанного патриота, стиснув зубы, сражающегося с подлостью. О покупке книжки Евтушенко все

лишь трепетно мечтали. Книжные жучки запрашивали за каждую его книжицу полстипендии. И год назад Некрасов выпросил для меня у Жени два сборника стихотворений, на которых поэт собственноручно начертать соизволил несколько вежливых слов...

...Московский гонористый бомонд, в газетном обиходе называемый советской творческой интеллигенцией, в то время как никогда собирал слухи, главным образом, неясные и пугающие.

Но были и обнадёживающие.

Например, все говорили полутонем о некоем Викторе Луи.

Тогда это имя звучало в Москве веско, произносилось с почтением, негромко и деловито. Никто толком не знал, кто он на самом деле — журналист-международник, эмиссар секретных служб или сотрудник госбезопасности. Точно слышали, что был он полковником КГБ, хотя некоторые брали повыше — генералом! И добавляли — человек дела, может помочь! Непонятным образом Виктор Луи мог узнать, что мыслит начальство, иногда ЦК или даже КГБ. А то и передать письмо в самые высшие инстанции, причём вначале мог дать совет, уточнить, не навлечёт ли это неприятности. В общем, поговаривали, что он, как Распутин, способен добиться невозможного.

Окутанный почитанием шуршащих по кухням интеллигентных москвичей, он проживал где-то в роскошном доме под Москвой, купаясь, как говорили, в неге и изобилии. Обычно к телефону не подходил, пробивались к нему по протекции. Нити протекции были тончайшими. Рассказывали, что встречи с посетителями обставлялись церемониями, сравнимыми с аудиенциями у далай-ламы. Молва была к нему благосклонна, и, по слухам, Луи был щедр, добр и милостив, жалел сырых и гонимых.

И не проходило ни одного вечера, чтобы Некрасову не посоветовали: «А почему бы тебе не обратиться к Виктору Луи?» Съездить на дачу, поговорить, он поможет. Обещали достать номер телефона, выяснить, как выйти на него. Никто, конечно, ничего ни достать, ни выяснить не смог.

Некрасов таки встретился с ним в один из приездов в Москву, в середине июля 1974 года. Подробности разговора я узнал уже в купе киевского поезда, поздно вечером, когда очухался после прощальных стаканов, как говорится, на ход ноги и на посошок.

На Киевском вокзале в Москве Некрасова провожал ватажек москвичей — Лилианна и Семен Лунгины, Лазарь Лазарев, Анна Берзер, Галя Евтушенко, Владимир Корнилов. И пяток других, незнакомых мне. К самому отходу поезда прибежал и Женя Евтушенко, стильный и благоухающий, расцеловал В.П. и приятно оживил компанию...

Так вот, говорил Некрасов с Луи долго и дружелюбно. Угощались фряжскими напитками. Некрасов просил посодействовать с вывозом своего архива. Чтоб пропустили на таможне бумаги и фотографии. И чтобы детей его остающихся не обижали, беззащитных и кротких. А то и выпустили бы за границу, этак через годик... О чём речь, Виктор Платонович, милейше улыбался Луи, всё устроится, он постарается организовать встречу с нужным человеком.

Расстались даже с некоторым сожалением, добрыми знаковыми...

За пару дней до отъезда в Киев Некрасова нашли в Москве по телефону и пригласили на встречу с товарищем генералом, как выразился телефонный собеседник.

Всё происходило в одном из номеров гостиницы «Москва». Вика представился у портье, его провели в номер.

— Обо всём говорили понемногу, и об отъезде, конечно, — рассказывал В.П. — Советовал не забывать, что я хоть

и бывший, но всё-таки коммунист, принятый в партию в Сталинграде. Патриот, значит. И в Париже мне не надо слишком уж горячиться против советской власти. Но всё было на высшем уровне, вежливо дальше некуда.

А насчет архива генерал иронично заметил, что их киевскими товарищами всё давно проверено и конфисковано, а что осталось, можно брать без опаски, так он считает.

— Ну а обо мне не заговаривали? — не утерпел я.

— Попросил и за вас с Милкой.

Сказал, что остаётся сын с семьёй в Кривом Роге. И Некрасов с женой, мол, волнуются, чтоб не дёргали их там без толку и по милициям не таскали. Спросил, есть ли надежда, что детей потом выпустят? Ну а генерал в ответ: они не такие уж дети, а он не дядька, дескать, приглядывать за ними нет времени. Да и вообще, заулыбался, всё зависит от вас, Виктор Платонович!

## Московские прощания

В 1974 году Некрасов приезжал в Москву три раза. Последняя, третья поездка состоялась в августе, примерно за месяц до отъезда В.П.; как раз тогда мы привезли чемодан с дневниками.

Первый раз Виктор Платонович поехал в Москву весной, по делам, вместе с моей мамой. Он с радостью предупредил о своём приезде всех московских друзей. Дело было почти сразу после обыска в Киеве, и под вечер, когда он вышел за халой к ужину, позвонила Лиля Лунгина и сказала маме, чтобы они у них не останавливались, когда будут в Москве. Это исключается, твёрдо повторила Лиля, это опасно!

Вика был крайне поражён, уязвлен до глубины души...

Некрасовы поселились у Влада Заманского, известного актёра и безупречной порядочности человека. Но Лиля оказалась права — приезд опального писателя к добру не привёл. Через два дня на квартиру Заманского явился наряд милиции.

— Некрасов? Где ваша прописка? Вы нарушили паспортный режим!

Посадили вместе с мамой в машину и без разговоров отвезли в аэропорт.

— У вас деньги есть? Давайте на билет!

— Есть... — не сообразил Некрасов.

Сопровождающие оставались возле самолёта, пока не убрали трап. Самолёт взял курс на Киев...

Второй раз Виктор Платонович отправился в Москву вместе со мной, и теперь мы уже остановились у Лунгиных.

Тогда мы с Виктором Платоновичем не возводили трезвость в ранг неперемненных добродетелей.

— Подожди меня в этом скверике, — сказал В.П. — Я заскочу в «Новый мир», попрощаюсь!

Через некоторое время он вышел с двумя личностями, по всем статьям творческими работниками и безотказными собутыльниками.

Мужик, державший в кулаке пустой гранёный стакан, оказался поэтом Коренцом. Второго же — высокого, тонкошеего, плохо бритого, бедно одетого — я с почтением узнал. Юрий Домбровский! За книгами которого охотились на всех книжных развалах.

Все трое отошли без суеты слегка в сторонку, не позвав меня, ужаленного пренебрежением. Домбровский достал из-под подмышки бутылку водки, и они мгновенно её распили. Манёвр был блестящ и молниеносен. С момента их выхода из редакции прошло не более трёх минут.

Наконец Некрасов снизошёл, вспомнил. Подозвал меня. Познакомьтесь, представил иронично, это мой печальный пасынок природы. И вынул десятку — беги в «Гастроном»! Потом пили ещё, тут же, под «Новым миром». Нахваливая прохладную огненную воду.

— Поедем ко мне, полюбуемся на Левитана! У меня такой Левитан! Какая красота! — повторял захмелевший Домбровский.

Левитан никого не прельстил, все порывались выпить ещё. Я, как назло почти трезвый, еле уволок от них Вику. Когда приехали на Новый Арбат к Лунгиным, меня свирепо отругала Лиля, да и Сима возмущался: как можно пить сейчас, когда столько дел и волнений. Да ещё с утра! Еле оправдался, мол, что я мог сделать, если они с Домбровским решили выпить.

Упоминание о Домбровском сразу же успокоило их гнев, как если бы вы сослались на непреодолимую силу...

Эта поездка в Москву потрясла Некрасова.

Я сидел на кухне у Лунгиных, а в комнате клокотал и громыхал серьёзный разговор. Вначале доносились лишь крохи. Вика говорит, что хочет уезжать, подаёт заявление на выезд. Лилия очень сердится и начинает кричать. Ты совсем с ума сошёл, это безумие, как ты там будешь жить! Ты понимаешь, что никогда больше нас не увидишь! Я молча стал в кухонной двери: чего уж тут притворяться, что это меня не касается. Вика сидит в кресле, курит и иногда вставляет слово-другое, успокаивает. Тебе уезжать нельзя, горячится Лилия, ты там сопьёшься, превратишься в посмешище! В другой комнате мечется из угла в угол Сима, отчаяние и горе написаны на его лице. Он ни слова не произносит, лишь пару раз появляется на пороге и через секунду исчезает. И плачет.

Некрасов тоже расстроен, но крик начинает выводить его из себя. Ты что, не понимаешь, раздраженно и громко

говорит он Лиле, у меня нет выхода, я именно здесь пропаду, а не там! Здесь меня съедят, здесь! Но сначала они меня унижат и с дерьмом смешают, уже примирительно говорит он. Крик утихает, Лиля усаживается на диване, а В.П. храбрится, мол, кто знает, может, и встретимся в Париже... Лиля безнадежно машет рукой. Учти, печально говорит она, ты собственными руками рвёшь нашу дружбу.

Сима из комнаты так и не выходит, продолжает плакать. Для него отъезд Вики был несказанной драмой.

Семёна Львовича Лунгина я видел всего несколько раз. Обменивались парой слов. Симе наверняка было совсем не интересно общаться с незнакомцем, ну а я первым не осмеливался завязывать беседы. Хотя вот вечерами, выгуливая собаку, Сима всегда приветливо приглашал меня пройтись.

Спокойный и негромкий, Сима с печальным видом ронял удачные шутки. Смешно вспоминал о выпитом Викой одеколоне в ванной, о солёной рыбе, привезённой им же с Камчатки. О вызволении из московской милиции подпившего лауреата, о весёлой их жизни в писательских домах творчества. О том, как на знаменитой лунгинской кухне счастливо хохочущий Вика веселил милых ему москвичей, повествуя о недавнем приглашении в московский дом. Во главе стола сидела мать хозяйки, очень пожилая и почтенная женщина. Увидев вошедшего Некрасова, она спросила свою дочь, кивнув в его сторону: «Скажи милая, кто этот спившийся молодой человек?» В.П. довольно посмеивался, вопрошал, радоваться ему, что его приняли за молодого человека, или же пригорюниться, что у него спившийся вид.

Сима был умным и остроумнейшим человеком. Они всё время старались с Викторией уединиться, посидеть в сторонке или выйти прогуляться. Сколько раз В.П., растекаясь в удовольствии, пересказывал его шутки, остроты и хохмы. Думаю, что он, определённо любя всю семью Лунгиных, обожал именно

Симу. И обожал его всю жизнь, даже когда тот отшатнулся от него и заглох на многие годы. Такого В.П. не ожидал.

Причина была одна-единственная, жаловался мне Некрасов, — опасения за свою работу, основу их обширного благополучия. Это был общепринятый страх видного московского интеллигента, известнейшего сценариста, помнящего утробой и о довоенной сталинской резне, деликатно называемой необоснованными репрессиями, и о послевоенной борьбе с космополитизмом, и о хрущёвских курбетах на идеологическом, как говорили, фронте.

Наверное, Симке намекнули, надеялся Вика, а то и вызвали куда следует да и прямо пригрозили, что никакого общения с Некрасовым власть не потерпит. Но такая красивая и успокоительная надежда потом как-то рассосалась сама собой, и В.П. стало ясно, что его любимые Лунгины без принуждения, по собственному почину, решили забыть о нём. Забыть о Вике? Нет, об отщепенце и эмигранте Викторе Некрасове!

Подумать только, всего лишь год назад, в сентябре семьдесят третьего, Некрасов безоблачно гостил у Лунгиных в Апшудиемсе, латвийском городке на Балтийском море.

Чтобы порадовать Вику, да и просто скоротать время, Сима Лунгин потрясающе изображал членов своего семейства и имитировал знакомых. В паузах он огорчался нерадивостью сыновей. Старший, Пашка, непрерывно и смертельно острил, разил юмором младшего брата Женю, который бился в крике и слезах от обиды и бессилия.

Лилька, писал нам Некрасов, работает на всех, одергивает и поучает, ходит в лес и купается ночами. В общем, вся прелесть, как говорится, в разнообразии однообразия, ну а вообще — дай бог всю жизнь так.

Для Некрасова это были последние сладкие деньки с его несравненными москвичами. Это было, когда никто даже

примерно не мог представить, как потом всё повернётся. Когда ещё и не пахло обыском, допросами и слезкой на улице, а нелепая мысль об отъезде если бы и сунулась ненадоком в чью-то голову, то была бы с презрением отринута.

Через четыре месяца, после обыска, дружба даст трещину, а потом и просто пойдёт всё кувырком. Положение всегда спасал Паша Лунгин, ироничный говорун, к тому же имевший, как шутил Вика, эрекцию на водку. Он отнюдь не чурался опального писателя и как всегда с удовольствием прогуливался по Новому Арбату. Они встречались с Некрасовым в каждый его приезд в Москву.

## Переделкино

Итак, август 1974 года.

В подмосковном посёлке Переделкино, накануне возвращения в Киев, нам было назначено у Лидии Чуковской. До этого дважды уточнялось время посещения, условились, что чая не будет, учитывая занятость знаменитой диссидентки. Некрасовская шутка о четвертинке с собой была без улыбки отклонена молодой женщиной, видимо, родственницей.

Не опоздали ни на минуту. Лидия Корнеевна проводила нас в гостиную и со вкусом принялась за беседу.

Выглядела она крайне обыкновенно. В длинном жакете и тёмной блузке. Волосы сзади в пучок. Очки со стёклами в палец толщиной. Абсолютно не улыбалась и часто потирала руки.

Лидия Корнеевна пригласила нас в сад — поговорить в полной безопасности. Сели треугольником на каких-то чурбанах, под деревьями, в густой полумгле. Хозяйка обратилась ко мне и начала рассказывать о гонениях на инакомыслящих в Союзе писателей. Потом поинтересовалась,

удаётся ли мне что-нибудь писать в этой суматохе. Я что-то промышчал в том смысле, что куда уж мне, а она совсем тихо спросила, что я собираюсь делать за границей. Поняв её оплошность, — она нас в темноте сослепу перепутала, — я пересел с чурбаном рядом с В.П., и теперь уже он сам ясным голосом начал рассказывать о планах, упованиях и заботах. Прощались уже весьма тепло. Лидия Корнеевна вложила в руку Некрасову листок с несколькими адресами во Франции, чтобы обратиться от её имени, там помогут, если надо...

Внутреннее убранство дачных хором знаменитого поэта Евгения Евтушенко до чрезвычайности поразило мою провинциальную душу. Современного стиля мебель, заморские полотна на обитых светлой дранкой стенах. Огромная, привезённая из Австралии картина, с багровым расплывчатым телом. Чудесные книги, старинные фолианты, подшивки и подписки. В кабинете рядком все номера эмигрантских «Современных записок», с двадцатого по сороковой год. Женя с гордостью и подробно рассказывал о приложенных усилиях, чтобы провезти всё это через таможду. Мол, не поверишь, Вика, обошёл все кабинеты, вплоть до ЦК! Цветной телевизор и немыслимой сложности проигрыватели. Чуть ли не ведёрные флаконы французских духов в ванной. Везде пепельницы и обалденные заграничные зажигалки, чтоб всегда под рукой. Высокорослый холодильник в просторном покое, называемом кухней.

На этой кухне как-то вечером хозяин принимал другого поэта, Евгения Рейна, предупредив меня, заранее выпившего, что это великий знаток поэзии. Сказал он это искренне и с теплотой, и я покивал, мол, да, конечно, очень интересно. Некрасов же, прослышав о встрече поэтов, немедленно укатил в Москву, отговорившись неотложным randevu.

Евтушенко читал Рейну свою новую, написанную верлибром поэму о заморских демонстрациях, протестах, полицейских дубинках, вмятых касках, что-то связанное, как смутно запомнилось, с гневной позицией поэта-гражданина и борца за мир. Пьяненко скучая и мутно глаза в основном на знатока поэзии, я покачивался на табурете. Рейн жмурил восторженно глаза, причмокивал одобрительно, мелко потрясал головой и в некоторых местах показывал большой палец, от восхищения, надо полагать.

Я безмятежно ушёл спать, а через пару лет, уже в эмиграции, эту поэму встретил в «Огоньке», как бы по-мужски сдержанно названную «Мама и нейтронная бомба». Хотя саму поэму я припоминал более чем расплывчато, но точно запомнил всю тогдашнюю мимику Рейна. И был как-то уверен, что она подтверждала поэтическую незаурядность вещи.

Но сейчас, в Париже, я прочёл некое кочковатое изложение, с нехитрой моралью, ветошь и хлам с точки зрения поэзии, как показалось. Принёс «Огонёк» Некрасову... Вика уткнулся в поэму и через пару минут поднял голову, вздохнул. Нет, это выше моих сил, сказал печально, что с Женькой творится, не понимаю...

Надо ли упоминать, что практически никто из некрасовских знакомых в Москве меня всерьёз не воспринимал, как, кстати, вначале и в Киеве, сразу после переезда туда мамы. Опять Вика чёрт-те кого таскает за собой, судачили москвичи. Теперь вот этого Витьку где-то откопал, носится с ним, как дурень со ступой. Но тогда в Переделкино привечали меня совершенно искренне, особенно Галя Евтушенко всё старалась сделать мне приятное. И ещё Александр Межиров, поэт с деликатными манерами и тонкой улыбкой. Милейший в обращении, Саша по-соседски приходил и просто так сидел целыми днями — то читал книгу, то разговаривал с Галей, явно не молчалиницей. Саша, наверное, был

неравнодушен к ней, да и Галя, можно сказать, была внимательна к нему. А вот с Женей они переругивались всё светлое время суток и, думается, ночью тоже.

В этой малонаселённой добрыми душами местности Саша Межиров искал, видимо, теплого общения. Показал могилу Пастернака. Сводил меня на заутреню в местную церквушку. Познакомил с продавщицей в магазинчике, где продавалось спиртное. Расспрашивал об архитектуре Киева. Подписал свою книжку. Усадив на скамейку возле флигелька, прочел нам с Галей свою новую поэму «Alter ego». Поэму следовало похвалить, как пошутила Галя, держа на коленях лунного цвета кошку.

В один из вечеров Межиров позвал нас с Некрасовым пройтись по посёлку. Шагая вдоль бесконечных заборов в лунной темноте переделкинских улочек, он прочел пару своих стихотворений и почему-то спросил, что я думаю о современных поэтах. Под впечатлением стихов я думал о них много хорошего.

— Вот, — сказал я, — к примеру, Александр Галич, великий поэт, его все знают. И заслуженно, какие у него песни!

— Нет, Витя, — тихо ответил Межиров. — Вы ошибаетесь! Ну какой Галич поэт!

Я изумился такому поруганию, а Некрасов заступился за нашего кумира.

— А мне Галич по душе. И песни у него есть — просто здорово написанные! Как и у Юлика Кима, кстати...

Некрасов любил Кима давно, а к песням Галича мы пристрадались всего года два назад.

Только вернувшись из Москвы, В.П. распаковывал чемодан на тахте у себя в кабинете.

— Вот, привез, что ты просил, песни Саши Галича, а вот и мой друг Юлик Ким! — Вика выудил из чемодана несколько магнитофонных кассет.

— Садись, ставь магнитофон, послушаем Сашу, всё-таки он совсем неплохо пишет.

Некрасов сдвинул барахло в сторонку, лёг на тахту. Я затаился в кресле.

«Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой...» — тихонько затянул Галич. Вика, сцепив руки на затылке, прослушал песню и попросил поставить ещё раз.

«Там, где когда-то погибла пехота, пехота, пехота... Без толку, зазря!» — чуть не криком закончил песню бард, и В.П. посмотрел на меня, покачал головой.

— Чуть не заплакал, — будто извиняясь, сказал он. — Ну и даёт Саша, молодец! Потом ещё слушаем...

И всю эту неделю, пока я оставался в Киеве, из кабинета нет-нет да и доносился голос то Галича, то Кима.

В Москве Некрасов нарисовал шарж на Галича. Красавец бард, любимец публики с манерами баловня судьбы, был изображён с лицом этакого профессионального танцора танго, с обидным двойным подбородком. Вначале шарж предназначался для подношения отъезжающему Галичу, но потом Некрасов передумал и выпросил для себя автограф. «Моему дорогому, нежно-любимому и давно-любимому Вике — от героя этого недостойного пасквиля» — написал слегка обескураженный Саша.

Перед своим отъездом на Запад Галич подарил Некрасовым автограф своего стихотворения, подписав «Галиньке и Виктору Некрасовым — мой прощальный подарок»:

Уезжаете?! Уезжайте —  
За таможни и облака.  
От прощальных рукопожатий  
Похудела моя рука.

Эти строки он читал для Некрасова и в Париже, в маленькой нашей квартирке на улице Лабрюйер, чуть трогая гитарные струны, и слеза катилась у него по щеке...

Вернёмся в Переделкино...

Я сидел в сторонке, а Некрасов о чём-то долго говорил с Евтушенко. Потом заспешил, надо по делам, мол, разрывают на части!

— Сегодня целый день ты будешь с великим поэтом! — пошутил В.П. — Не забывай почтительно смыкать вежды, когда лучи его славы будут ласкать и тебя.

Высадив Некрасова в центре Москвы, мы поехали к высотному дому, самому престижному жилому зданию во всей Москве, как объяснил поэт. Мне была горделиво показана Женина городская квартира, от самого потолка буквально до пола увешанная картинами. Такого великолепия я никогда не видел и, поверьте, до сих пор нигде не встречал. Десятки картин, чудесных по красоте или по большей части странных, каких-то, как говорили тогда, абстрактных, взволновали меня до испарины, хотя я лишь смутно догадывался, что передо мной некие шедевры.

Евтушенко перечислял художников, ни одного из имён я не знал, но ума хватило, чтобы понять сказочную ценность этой коллекции. Почему-то хотелось обниматься с хозяином, от восторга, надо полагать. Ужасно довольный, Женя показал фреску, нарисованную у входа, на стене коридора.

— Это Шагал, — просто сказал он.

Затем снова покатали на «Волге» по Москве. По киевской привычке я посматривал назад, не следят ли за нами, чем очень позабавил поэта. Больше часа проторчали в букинистическом магазине, где заведующий встретил Женю поясными поклонами. Женя вёл себя, как и подобает великому поэту и покорителю душ: улыбался и жал руки, взял номер

телефона у трепещущей от нежного предчувствия девушки, пообещал позвонить, с вашего, сказал, позволения. Пообещали где-то в кафе. Женя отвез меня в Переделкино и угостил водкой...

Но что же всё-таки произошло потом у Евгения Евтушенко с Виктором Некрасовым? Почему за границей, никогда и нигде, они ни разу не попытались встретиться или хотя бы созвониться? Ни разу!

Позже я вернусь к этому...

## Говорите членообразно!

В некрасовский дом я попал впервые в 1959 году. Зашли с мамой, которая разыскала и решила навесить старого доверенного друга. Сам хозяин отсутствовал, но нас приветливо встретила домработница Ганя.

Это были времена, когда зелёный горошек считался тонким яством, томатный сок — элитным напитком, а на средних полках гастрономов годами возвышались мощные башни из банок печени трески, патиссонов и крабовых консервов, густо смазанных солидолом. Верхние же полки были заставлены «Рябиной на коньяке» с пожухлыми этикетками, «Спотыкачом» и «Цимлянским игристым».

Квартира Некрасова в Пассаже\* меня потрясла. Умопомрачительное число занятнейших штучек, картинок, рамок, рисунков, фотографий и вещиц наводило на мысль о безбедной и безоблачной жизни хозяина. А книг! Я безутешно обзавидовался.

Вырос я в полунищей семье провинциальных актёров-кочевников, не имевших за душой ни копейки, ни мебели,

Пассаж — группа домов на Крещатике. В одном из них жил Некрасов.

ни посуды. Всё наше семейное добро помещалось в трёх-четырёх чемоданах, нескольких тюках с постелью и двух больших фанерных сундуках, сколоченных театральным столяром. Из предметов роскоши бережно хранились довоенная гжельская ваза, золотистая коробка из-под конфет в виде книги «Сказки Пушкина» и красивая фарфоровая пудреница с барельефом на крышке.

Второй раз я вошёл в Некрасовскую квартиру в августе 1962 года. Вечером Некрасов ушёл с мамой, Зинаидой Николаевной, на концерт, а утром теперь уж я убежал гулять по Киеву, пока все спали. Вернулся поздно. Дверь открыл сам писатель. Предложил чаю, но не сказал, где его взять. Был он радушен, немногословен и крупно пьян. Скупно расспросив о жизни, сел за обеденный стол, положил голову на руки и попросил поставить пластинку. Юный итальянский певец Робертино Лоретти сладчайшим голосом исполнил «Аве Мария». Хозяин требовал ставить пластинку ещё и ещё, и я, в душевном смятении от небесных звуков, беспрерывно запускал проигрыватель.

Перед сном я поступью тигра в уссурийской тайге обошёл квартиру.

В коридоре у кухонных дверей висел настенный телефон. В квартире Виктора Платоновича телефону было отведено особое место — около кухни, на бойком месте, подалее от кабинета, но поближе к Гане. Рядом на стене висел аккуратно разграфлённый лист картона — домашняя телефонная книга. И приклеена фотография с рукописной надписью — Ганя держит трубку и говорит: «Виктора Платоновича нема!» Она отвечала на все звонки. Некрасов поднимал трубку, лишь когда случайно был неподалёку от телефона.

Ганя сортировала и отсеивала звонивших, как завязтая секретарша. Кто? Чего надо? Когда будет, передам! И далеко

не всегда она беспокоила хозяина, который если и был дома, то занимался важными делами у себя в кабинете — то ли писал письма, то ли читал, копался в бумагах или валялся с транзистором на тахте. Не говоря о периодах неусыпной выпивки, когда он уже сам, бывало, кочевряжился, если его и звали к телефону.

Нас с мамой Ганя полюбила с первого нашего знакомства, поэтому телефонных затруднений никогда не возникало, а вот другие, бывало, немало дергались, пытаясь дозвониться до Вики...

Так вот.

Громадная гостиная. Потолки недостижимой высоты. Слева — два окна, прямо — наискосок дверь в кабинет. Посередине необъятный стол — сидевшие напротив с трудом дотягивались, чокаясь друг с другом. Справа громоздилась машина, называемая «кавалеркой», что-то вроде массивного, тёмного дерева полубуфета. На нем бронзовый Дон Кихот на Россинанте работы скульптора Кавалеридзе. Электрический самовар. И несколько небольших фарфоровых ваз, кофейников и сахарниц, часто разбиравшихся. Желающие клеивали их столярным клеем на скорую и неумелую руку.

Слева от двери в кабинет — зеркало на стене, козетка и тумбочка с большим рижским приемником ВЭФ, первой послевоенной модели. Эта модель, выпущенная ещё при Сталине, позволяла слушать иностранные станции на русском языке. До появления транзисторов это было первостепенной необходимостью.

Старинный ломберный столик с семейными фотографиями, а над ним — литография Кете Кольвиц, подаренная Леонидом Волынским. Ещё левее — комод, портреты предков.

Обшарпанный диван, на его полочке — старая фарфоровая чернильница с крышкой в виде всадника. Ею пользо-

вался, по семейному преданию, Ленин в эмиграции. В красивых ампирных рамках на стене три итальянские акварели одного из дедушек Некрасова. Телевизор был задвинут в угол, смотрели его нечасто.

Все оставшиеся места были заставлены книжными шкафами. В одном из них — все иностранные издания Некрасова. Множество, по правде сказать. В гостиной повсюду — разношёрстные сувениры, фигурки, всякие шкатулки, африканские маски и серебряные посудинки...

Виктор Платонович обильно описывал все парижские интерьеры. А вот о своей киевской квартире он почти нигде не упоминал. Так, деталь-другую...

На стол к чаю ставились сине-голубые тарелки из розенного сервиза торгового дома Мюра и Мерилиза, разнокалиберные чашки и выкладывались салфетки, заправленные в серебряные кольца. Чай для хозяина подавался в подстаканнике. Тонкий ломтик лимона, положенный в стакан в начале чаепития, оставался там в течение всего вечера. Лимон считался фруктом изысканным, и взятый по рассеянности второй ломтик мог привлечь к вам недоумённое внимание старожиллов стола.

Робко присмотревшись, я заметил, что все сидящие за столом вели себя воспитанно — пользовались ножом, не стучали ложкой по стакану, вытирали губы краешком салфетки. Руки держали по-заячьи, прижав локти к бокам.

Хозяин вёл себя гораздо раскованнее, лимон из чая вылавливал пальцами, салфеткой вовсе не пользовался, а локти демонстративно водружал на стол, делая над стаканом как бы шалашик из рук.

К таким вольностям все привыкли — это был застарелый знак протеста против суровых замечаний тёти Сони в детстве: «Убери локти со стола!» Неистребимый дух противоречия, пошучивал Вика, увы, мне! Таки увы...

Ближе к ночи хозяин поднимался из-за стола и с некоторой строгостью объявлял: «Сон! Сон! Сон!» — мол, пора и честь знать. Засидевшиеся гости конфузились и спохватывались, как бы опомнившись...

Окружали тогда Некрасова люди, любимые им, уважаемые или просто ему симпатичные.

В свою очередь, они тоже любили, ценили, уважали его. Переживали за него и почти всегда были готовы ему помочь. Почти, но не всегда — потому что В.П. своими капризами или некрасивыми выходками во время более или менее протяжных запойчиков, бывало, доводил всех до остервенения. Ну и чёрт с тобой, мог сказать кто-нибудь, расхлёбывай сам, моей ноги больше у тебя не будет! Но потом обычно всё утрясалось, отношения налаживались, причём Вика сам старался помириться. Как бы шутливо извинялся, горько якобы каялся и обещал подумать, каким образом больше не выбрасывать пьяных коников, продолжая, однако, попить.

На трезвую голову посмеивался, мол, запой — это его пегас, муза, ясная нимфа и тайный советник и вообще — средство общения с богами на Олимпе... И люди улыбались, прощали и всё забывали.

У него не было друзей-собутельников. Все его постоянные друзья были непьющими, а редкие приходящие собутельники не были друзьями.

Ближайших друга было два. В Киеве — Леонид Волинский, в Москве — Семён Лунгин.

И ещё друг — инженер Исаак Пятигорский и жена его Ева, но это был скорее очень близкий приятель по чаепитиям и непоздним вечерним прогулкам по Киеву — ему всегда надо было утром рано вставать, на работу.

Писатель Леонид Волинский был известен тем, что командовал специальным взводом, который после Победы

разыскал спрятанные фашистами в штольне картины Дрезденской галереи. Я его знал мало, встречался раза три-четыре и произвёл на него, как понимаю, отталкивающее впечатление своим суетливым энтузиазмом при виде бу-тылки...

В 1965 году, когда я поправлялся после тяжёлой травмы в шахте, Виктор Платонович пригласил меня погостить в Дом творчества, в Ялту. Лёня Волинский, его красивая жена Рая и ещё несколько хороших знакомых очень опасались, что Вика в один прекрасный момент решит со мной нешуточно выпить. Опасения их блистательно оправдались. Утром на второй день В.П., раскрыв тяжёлый пляжный зонт и уложив на лежак Зинаиду Николаевну, обратился ко мне с лестным предложением сбегать за четвертинкой.

Что я мигом и исполнил. Но выпить мы не успели, увидев приближавшихся Волинских. В.П. слегка запаниковал, а я вдруг придумал — вылил водку в маленькую мисочку для омовений Зинаиды Николаевны и прикрыл большой губкой. Когда все пошли купаться, мы с горечью обнаружили, что губка впитала всю водку. Пришлось губку выжимать и сосать, под радостный смех мамы, которая думала, что это очередная шуточка её Викошки. Впоследствии этот эпизод был обессмертен Некрасовым в его «Эпиталаме водке».

А тогда после ещё пары чекушек наш маневр был наконец разоблачён Лёней, и Виктор Платонович был отправлен спать. Мне же уничтожающим тоном было сделано внушение, что Вике пить нельзя. Это необходимо знать! Говоря по правде, я тогда отчётливо этого не понимал, думал, просто человек не дурак выпить, как я сам, что в этом такого?!

Потом я видел Волинского уже смеющегося и потрясюще ироничного. Ко дню рождения В.П. изготовившего

большую потешную нашейную медаль «За успехи и кое-какое поведение». Сам же он готовился произнести речь в честь юбиляра и вручить рукописную грамоту. Гости шумели, колготились, расползались по углам и были невнимательны.

— Тише, земляне! — взывал Лёня и привычно шутил: — В этот незаурядный день я буду говорить по возможности членообразно!

— Да замолчите же вы! — радостно вопил В.П. — Перестаньте ловить курицу!

Это было любимое в ту пору выражение Некрасова.

Оно означало, что в доме происходит столпотворение, все беспорядочно перемещаются, сталкиваются, перекрикивая друг друга, что очень напоминает ловлю всем миром курицы, вырвавшейся из рук и суматошно летающей по комнате...

И вдруг Лёня умер, молодым, от сердечного приступа. Некрасов переживал невероятно.

Он лишился заветного и любимого друга, конгениального собеседника, язвительного и проницательного толкователя советских передовиц и передач Би-би-си, остро слова и выдумщика, каких мало...

В те далёкие времена у Некрасова, по-моему, не было друзей-холостяков, ни в Киеве, ни в Москве. У всех были семьи, а главное — жёны, которые, по его мнению, часто мешали настоящей, то есть мужской, дружбе.

Вика искренне полагал, что жёны и дети являются ярмом для свободы его друзей, и часто прилюдно сокрушался об их нелёгкой судьбе. Но ему, старому холостяку, жёны прощали даже такую предвзятую оценку, ну а детям было абсолютно наплевать.

Явных недругов у Некрасова тогда было мало, ещё меньше нескрываемых врагов.

## Одним словом — мудака!

В начале семидесятых годов каждый вечер сотни тысяч людей затаённо внимали радиостанциям, знаменитым «голосам» — Би-би-си, «Голосу Америки», «Свободе», «Немецкой волне».

Ежедневно сообщались волнительные новости о героических актах сопротивления с советской властью. Тогда любили говорить — «конфронтация». В Москве властвовал над умами Александр Солженицын и гремело имя академика Андрея Сахарова.

И решил вдруг Сахаров с женой Еленой Боннэр приехать в Киев. По-моему, в конце 1971 года. Просто так, чтоб развеяться и повидаться с Некрасовым. С известным киевским вольтерьянцем, не инакомыслящим, но подписантом, как тогда, не без некоторой гордости, называли себя те, кто подписывал письма протеста.

Поводов для протестов хватало — того обидели власти, того оскорбили, тому намяли бока на улице, а того просто арестовали. За антисоветскую агитацию — это, мол, вам не фунт изюма, важно поджимали губы официальные лица. Звучало устрашающе, но что это такое, эта самая агитация, никто толком объяснить не мог..

Вика рассказывал о посещении Сахарова чуть иронично.

Понимаешь, Андрей абсолютно беспомощный, Елена Боннэр над ним как квочка. Это съешь, а это не надо, даже масло на хлеб ему намазывает! А он сидит, улыбается милой улыбкой и говорит, говорит, довольно интересно иногда. Когда же он умолкает, начинает говорить Елена. И тогда очень скоро начинаешь мечтать о передышке...

— Но главное, — Вика широко раскрывал глаза и делал паузу, как бы по Станиславскому, — он всё ест подогретое, даже селёдку! Всё подогревается на пару, представь себе!

Но человек он, конечно, милейший и, знаешь, бесстрашный!..

Будучи весной 1974 в Москве, Некрасов навестит Сахарова в больнице. Вместе со Львом Копелевым и Владимиром Войновичем. Фотопортрет академика, сделанный неверной рукой подвыпившего писателя, получился сравнительно удачным. Чего не скажешь о групповом снимке, выполненном гораздо менее твёрдой рукой Владимира Войновича.

Через несколько лет Елена Боннэр попросит, чтобы Вика сопровождал её в Норвегию на заочное торжественное вручение Сахарову Нобелевской премии мира. Позже, во время горьковской ссылки Сахарова, уже став прославленной диссидентской женой, она будет не раз приезжать в Париж, но не выкроит времени, не повидается с Виктором Платоновичем...

К началу семидесятых годов партийные власти уже не раз выказывали Некрасову своё раздражённое недовольство.

Письмо от 30 января 1972 года: «В квартиру вошли трое. Старший — подполковник, гад с ненавидящими глазами. И двое — помоложе».

Держатся они, как полагается, уверенно, но чуть растерянно — у них нет ни ордера на обыск, ни даже санкции на допрос. Прошли в гостиную, успокоили: встреча абсолютно не протокольная, решили просто зайти, поговорить. Сели вокруг стола. Мама от волнения чуть не предложила чаю, но спохватилась вовремя. Вначале даже шутили, но потом перешли на серьёзный тон.

Подполковник начал обстоятельно: вы уважаемый, серьёзный человек, Виктор Платонович, а ведёте себя иногда, как московские антисоветские пройдохи.

Из письма Некрасова ко мне: «Имеется, например, информация, что вы не только храните самиздат, но и распро-

страняете его. Где этот самиздат, покажите нам его, наберитесь мужества, наконец... Обещаем вам, что никаких санкций не последует, просто мы хотим помочь вам выпутаться из этой некрасивой истории».

Гость посоветовал Некрасову хорошенько подумать и, возможно, одуматься, пока не поздно. Чекист привирал по привычке — уже было поздно...

Письмо ко мне от 2 сентября 1972 года:

«В августе вызвали в райком. И опять та же тягомотина — если партия говорит, что ты ошибся, то надо это признать, а оправдания никого не интересуют. ...Я напомнил высокому собранию кое-кого из современных классиков, которых они в свое время топтали и атукали, ставших сейчас снова классиками. Смотрели смуро, скучливо посапывали, о чём говорить, всё и так ясно». В.П. сам давно понял, что ничего им не докажешь, и решают-то дело не здесь, а повыше. Но артачился, делал экскурсы в историю, время покажет, уверял, кто прав, кто виноват. Надеялся, что дойдёт дело до общего собрания и он сможет наконец высказать перед коллегами всё, что думает, «выдать им на полную железку».

Письмо ко мне от 19 сентября 1972 года:

«Вызвали на партком и зачитали обвинения. Для начала приплели “отрыв от масс партии, непосещение партсобраний и неуплату взносов”. Потом перешли к более серьёзным вопросам — дружба с Иваном Дзюбой, Солженицыным, Сахаровым. Огорчались, что “не раскаялся, не сделал выводов из критики, опять отстаивал свои неверные позиции”...»

А жизнь тем временем течёт помаленьку, как он любил говорить. Конец лета, в Киеве никого нет. Сосед Саша Ткаченко заходит редко, Рафуля Нахманович на съёмках, новый друг

Люсик Гольденфельд в Крыму. С Евусей Пятигорской отношения заметно портятся — она ждёт худшего и не скрывает этого, и В.П. ругает её, как падшую духом. «Любимые москвичи тоже чувствуют неладное», пишет он, затаились. Выжидают, чем всё это закончится, и прикидывают, как вести себя с Некрасовым.

Советская власть решила применить испытанную методу: чтобы рыбка задохнулась, достаточно слить воду из аквариума — отпугнуть и отогнать от Некрасова всех друзей, приятелей и знакомых. И сильно, надо сказать, в этом преуспела. Для Некрасова это была беда.

Друзей он никогда не осуждал и не позволял их хулить другим.

— Мои друзья плохими людьми быть не могут! — не раз говорил В.П. — На то они и мои друзья!

Поэтому, когда наступили отвратные и тяжёлые для него времена, он отказывался верить, что многие из них согласятся на разрыв. Всегда искал любой повод, ничтожный или даже идиотский, чтобы оправдать бывших друзей. Продолжая не понимать, как можно изменить многолетней дружбе. Горько отмахиваясь от доводов, что у всех есть свои соображения, своя жизнь, семья, проекты, служба. И в один прекрасный момент советская власть вынудила всех их признать, что как это ни обидно, досадно, больно, но Некрасова надо сторониться...

После смерти Лёни Волынского и Исаака Пятигорского и особенно после кончины в 1971 году Зинаиды Николаевны Вика остался абсолютно один. Многие, слишком многие из его старых знакомых и даже друзей не отвечали на телефонные звонки, на письма или даже не замечали на улице, избегали здороваться! Верные, многолетние, любимые друзья! В.П. это очень обижало, он переживал, дёргался, замыкался в себе, совсем потерялся.

Его не печатали, шпыняли на собраниях, бранили на партийных и писательских комиссиях, недоучки поучали, а хамы издевательски ухмылялись ему в лицо...

И говорил он мне как-то грустновато, что надо же, мужик в коридоре ему локоть одобрительно жмёт, дескать, молодец, так держать, а на собрании той же рукой голосует за осуждение. При этом В.П. считал, что имеет дело с какими-то извращенцами, не понимая, что это обычные ухватки советских партийных писателей.

— С тобой могут, — жаловался, — выпивать в буфете и распахивать объятия при встрече, а с трибуны — оплёвывать говном!

А потом оправдываться, удручённо кивая головой, вспоминая о дружбе и о службе...

Наиболее бесшабашные и отчаянные люди произносили слова в его защиту, порядочные помалкивали, выражая сочувствие. Изворотливые заболели и отсутствовали на собраниях, чувствовали себя счастливо отделавшимися...

В 1969 году я заехал в Киев, едуци в отпуск из армии.

— Ты помнишь, — говорил Вика через несколько лет, — как ты зашёл ко мне вечером, без звонка? Когда ты позвонил, а потом я услышал возглас Гани и топот сапог по паркету? Я подумал, ну всё, за мной пришли! То есть уже тогда, нагрняь кагэбисты ко мне, я бы не очень удивился...

Усадив меня за стол в большой комнате, Вика тогда уселся напротив и закурил. Ганя подала борщ с огромным комком сметаны.

Она благоволила ко мне и с одобрением наблюдала, как я бесшумно ел, не стуча ложкой о тарелку, и отламывал хлеб кусочками. Развязных за столом гостей Ганя не терпела и, бывало, полупрезрительно отзывалась на кухне об ушедшем госте, мол, говорят, талантливый поэт, «алэ исты не вмиэ,

повыснэ над тарилкой, кыдь-кыдь — и нема!». На десерт подан был кисель в блюдечке, и принято было попросить добавку, чтоб польстить поварихе...

А утром Виктор Платонович повёл меня на заброшенное и разрушенное еврейское кладбище.

Странный, тоскливый вид являли сотни памятников, лежавших вповалку и вперемежку на земле, как бурелом в тайге. Мы шли по необъятному полю руин, мимо поверженных стел с надписями на иврите, мимо разбитых на куски плит со звёздами Давида и семисвечниками, искорёженных оград, выпотрошенных могил, загаженных склепов с оторванными дверями. Уже сброшенные на землю плиты были старательно расколоты, поставлены дыбом и стянуты в кучи. Обходили осколки керамических портретов, табличек, веночков, шестиконечных звёзд...

Невольно оглядываешься, ждёшь какой-то беды, тишина смущала, хотя чего тревожиться, мы одни...

Трава по колено, тёплый ветерок, шум далёких автомашин... Но жутковато, хотя и ясный день.

Что тут непонятного, спокойно говорил Виктор Платонович, сделали это люди, ненавидящие евреев. Вкладывали душу и силы. Не считались со временем. Но размах этой ненависти не укладывается в голове, прямо-таки страшно...

Сейчас уже не так тягостно, тихо рассказывал В.П., когда мы бродили среди могил, стараясь не наступать на плиты. А вот когда он впервые попал сюда, глаза вылезли из орбит. Пугала беспричинность изуверства. Вандалы? Варвары? Громилы? Просто хулиганы такое не сделают, тут нужен импульс, мощный порыв или приказ! Да и зачем потом оставлять такой ужас, не убирая руины, в назидание, что ли?..

Вика оборачивался, посматривал, мол, что скажешь?.. Он сделал несколько фотографий, на горькую память. Пач-

ку этих фотографий забрали во время обыска и не вернули, несмотря на напоминания. Снимки на экспертизе, отвечали...

Окончательно исключили Некрасова из партии в конце мая 1973 года, на заседании Киевского горкома КПУ.

А началось всё около десяти лет назад, когда после издания некрасовских путевых очерков «По обе стороны океана» в «Известиях» появилась заметка «Турист с тросточкой».

Его вроде бы беззаботные заметки об Америке довели чуть ли не до икоты партийных вышестоящих товарищей. Ничего страшного на первый взгляд, приятный и несколько простодушный рассказ об увиденном в Америке...

Ясное дело, понимающе улыбались умельцы читать между строк, он вроде описывает пороки и язвы капитализма, а на деле приглашает нас сравнивать их нравы и порядки с неповторимой дремучестью нашей социалистической родины.

А Некрасов, рассказывая об Америке, и не думал проводить идеологические диверсии, подрывать основы. Думал, что рассуждает по справедливости — есть с чего брать пример и нам у них, и им у нас. И там, и здесь прекрасные люди, красивые города, раздольная природа и великая литература. Давайте не ругать, а хвалить друг друга, для начала хотя бы фифти-фифти, пятьдесят на пятьдесят...

Это потом он начал понимать, что именно вот такие невинные, казалось бы, кухонные разговорчики о взаимопонимании и мягкие призывы к взаимным уступкам и есть самая страшная угроза для советской власти!

Раньше о Некрасове говорили как о мастере диалога, а теперь открыли в нем умельца междустрочного повествования. За это его и кусали, и облаивали, и рвали в куски.

А благодарные читатели, едва приоткрывшие щелочку на западную жизнь, мельком увидев её набросок, восхищались отважной наивностью и эзоповскими ухватками автора.

Некрасов вспоминал, как в Сталинграде вступал он в партию, веря в правое дело, в великого Сталина, в настоящих коммунистов. Хотел быть как они.

«Вступал с открытым сердцем, с чистой душой».

И дошёл он таким искренним коммунистом до самой Польши, и был тяжело ранен, и вернулся в родной город, и отпраздновал Победу, не сомневаясь, что эту войну выиграл не только наш народ, но и коммунистическая партия...

И теперь, вернувшись из обкома после исключения и полежав на диване в кабинете, он впервые почувствовал некую досаду, которая томила его всю оставшуюся жизнь, в Киеве, Париже, Лондоне или в Осло.

«Почему не бросил этот самый партбилет, давно жёгший тебе грудь, в лицо тем, кого не уважаешь?.. Ну, не бросить, а спокойно положить на стол и сказать: “У нас разные взгляды на многое. И на главное в том числе. Я не могу состоять больше в этой партии”. И как бы все засуетились, забегали бы, просили не делать этого шага, забрать билет обратно... Надо было так сделать, но не сделал. И даже не из трусости. А по глупой уверенности, что надо биться до конца...»

Позже, за границей, Некрасов обескураженно вздохнёт:  
— Одним словом — мудака!

Мы не будем столь категоричны, хотя раздражение писателя понять можно...

Подумать только, ещё несколько лет, и умрут все свидетели тех времён, а сами времена будут казаться такими же нереальными и стародавними, какой нам в детстве казалась эпоха, скажем, аракчеевщины...

## Гелий Снегирёв

В предотъездные, очень трудные для Некрасова времена одним из самых верных и близких среди малочисленных оставшихся с ним киевских друзей был Гелий Снегирёв, писатель и режиссёр Киевской студии документальных фильмов.

Познакомился я с Гелием Снегирёвым в сентябре 1966 года, вскоре после памятного митинга в Бабьем Яре. Там Некрасов публично объявил, что в этот день в 1941-м было расстреляно тридцать тысяч евреев. За один день!

Открытый роскошный лимузин с тремя киношниками с достоинством подъехал к Пассажу. Машину взяли напрокат для каких-то съёмок, и пока суд да дело, они решили шикануть по Киеву. Позвали Некрасова съездить на студию документальных фильмов. Покрутили носами, когда тот сказал, что без Витьки не поедет, но не возражали.

На студии всем гамузом завалились в просторный кабинет Снегирёва, очень растроганного таким счастливым явлением. Гости выставили принесённые бутылки и закуску, без промедлений выпили и безнаказанно зашумели. Гелий принимал как хозяин, выставил на письменный стол стаканы и тарелки, достал деньги и послал кого-то ещё за бутылкой. И как хозяин, он не мог омрачить благодушие дорогих визитёров нехваткой водки! Или огорчить тоскливым состоянием недоперепоя, как говаривал В.П.

Расстались мы тогда с Гелием счастливыми друзьями, с объятиями и клятвами в верной дружбе...

Что мог сделать Некрасов, видя, как Гелий Снегирёв льнет к нему, старается быть рядом, хочет поддержать его, а заодно, вероятно, и себя самого? Он и сам тянулся к Гелию, стараясь не втягивать его никуда, ни в какие диссидентские затеи.

Естественно Некрасову и в голову не приходило прервать общение с Гелием. Наоборот, он чрезвычайно це-

нил их дружбу, радовался его приходам, переживал за семейные ссоры.

Перед отъездом Некрасова их беседы участились. Меня не опасались, и я иногда слушал их разговоры. Гелий говорил безудержно и занятно, а Вика быстро утомлялся от такого словесного потока, слушал рассеянно, хотя и не прерывал. Гелий горячился и всё рассказывал о волновавшем его Спілке визволення України — Союзе освобождения Украины, которую в тридцатых годах создало само ГПУ, чтобы потом прозорливо разоблачить эту якобы антисоветскую организацию.

Специально втянули людей в смертельное дело, а потом — бац! — раскрыли заговор! Кто сейчас помнит об этом, а если рассказать — кто поверит? Но сколько под это дело забрали киевских интеллигентов, лучших украинцев. И всех расстреляли, сволочи! А его, Гелия, мама была членом этого союза и, по всему, осведомителем ГПУ!

Вика задумчиво смотрел на киевские крыши. Эта история, вероятно, не была для него особой новостью. Что ты, Вика, помнишь о тех событиях, спрашивал Гелий. Некрасов пожимал плечами, мол, что тут говорить...

В те времена принято было, понизив голос и прикинув телом к собеседнику, сообщить, что пишется кое-что «в стол». Часто разговор на этом и заканчивался, потому что рассказчик, сообщив эту приватную новость, замолкал и на подстёгивающий вопрос нетерпеливого собеседника отвечал мимикой. Мотал головой, закатывал глаза и складывал губки на манер печального Пьеро. Понимавший толк в конспирации собеседник больше не настаивал и начинал мысленно ворошить ящики своего письменного стола, может, там что-то крамольное завалось...

У Некрасова «в столе» было четыре вещи — «Персональное дело коммуниста Юфы», «Мраморная крошка»,

«Король в Нью-Йорке» и «Ограбление века». По приезде в Париж «Юфа» и «Крошка» были сразу же напечатаны Виктором Перельманом в его журнале «Время и мы».

Я перепечатал на машинке стыдливо скрываемые вещицы «Король в Нью-Йорке» и «Ограбление века». Вика не хотел их публиковать, слишком уж эти рассказы, на его взгляд, отдавали ребячеством. Потом В.П., вклеив в «книжечку» несколько вырезанных из газет и журналов картинок, попросил переплести. Начертал красиво на обложке «Два рассказа». И вырисовал вензель VN. Эту миленькую штучку я обнаружил за книгами лишь через пятнадцать лет после его смерти!

Потом совершенно случайно выяснится, что «Короля в Нью-Йорке» Некрасов читал на квартире у писателя Лазаря Лазарева в Москве, перед отъездом. И Лазарев очень обрадуется, что рассказ этот нашелся, и немедленно его публикует. А «Ограбление века», где Некрасов отыгрывается на Корнейчуке, я считаю совсем уж мелковатым рассказиком. Но лет пять назад и эту вещицу тоже напечатали, без моего ведома...

Гелий продолжал заходить, приносил цветы. Коротая время на кухне, шутил с польщённой комплиментами Милой и принимал близко к сердцу мелкие домашние жалобы мамы. Рассказывал в лицах за чаем, как его дядя, почитаемый украинский писатель и видный партийный лизун Вадим Собко, предупреждал о пагубных последствиях и яростно ругал его: «Зачем тебе эта дружба! Плюнь на этих подонков-антисоветчиков, пошли их всех... На хера тебе этот Некрасов?! Выведи эту шайку на чистую воду, а мы тебе на партбюро поможем!»

Иногда Некрасов бывал занят, что чаще всего означало — писатель решил в уединении почитать, или подремать, или послушать Би-би-си. Приходилось ждать, терпе-

ливо, как в очереди на квартиру. Когда же объявлялось, что писатель освобождён, Гелий с радостью врывается к нему в кабинет, и снова начинались разговоры об украинских националистах тридцатых годов. Он уже тогда, видимо, не только принялся писать книгу о Спілке визволення України, но и решил напечатать её на Западе. Это произойдёт года через три, а книгу он назовет «Мама, моя мама!»...

В марте 1976 года, за пару недель до окончательного нашего отъезда в Париж, я приехал в Киев.

— Повидайся с Гаврилой! Как там у него? — сказал по телефону Некрасов, манкируя конспирацией.

Гаврилой был Гелий Снегирёв, прозванный так для простоты.

Небольшая квартира осталась в памяти неприметной из-за сумеречного мартовского полумрака. Свет почему-то не включался. Гелий встревожил меня своим суетливым беспокойством и нездоровым заговорщицким шёпотом. Усадил в стороне от окна и сам присел рядом на стуле. Снял толстые очки. Мы наклонили головы друг к другу, чуть ли не уперлись лбами.

— Запомни всё, что я тебе скажу. Не записывай, запомни-най! — шептал Гелий, положив руки мне на колени.

Из другой комнаты вышла Катрин, в аккуратном халатике, как всегда привлекательная. Мы познакомились с ней в семидесятом году, когда я возвращался из армии через Киев. Гелий гордился своей молодой женой. Его можно было понять. Видная дебелая женщина, с крупным приятным лицом, бойко шутившая и складно говорившая.

— Катрин! Из рода Репниных! — при знакомстве представилась она мне, очарованному и оробевшему перед такой породистостью и чувственностью.

Она сказалась поэтессой, знала по-французски и подарила пластинку Вертинского. Я был сражён, можно сказать,

на лету, Гелий светился от самодовольства. Красивый и ладный мужик, он был в то время на пике карьеры, работал большим сценарным начальником на Киевской киностудии. Писал и печатался, даже в «Новом мире». Мы провели вместе два-три дня, шатаясь по Киеву, остря, хохоча, выпивая и приобщаясь к поэзии.

В те годы Некрасов был ещё в относительном фаворе, и Гелий с Катрин иногда приходили к нему на вечерние чаи. Под ручку, веселые, в добром согласии. Некрасов чуть ревновал Гелия к молодой жене и называл её по настроению: или чуть с подковыркой — Катенька, или иронично — Катрин, или нейтрально — Катька.

Сейчас Катрин приветливо поздоровалась, прислонилась к дверному косяку. Помолчала, вышла в другую комнату и... ударилась в дикий крик!

— Всякие сволочи и алкоголики затягивают известных идиотов в трясины, обещают славу и награды, а потом отваливают за границу! Спасают свою шкуру! Как якобы классик Некрасов! Их не волнует семья, плевать на жён и сыновей! Если вы их не знаете, то познакомьтесь — вот один из этих тяжёлых кретинов, муженёк паршивый!

— Не обращай внимания, слушай сюда, — шептал мне на ухо Гелий.

Одной рукой он обнял меня за плечи, а другой рубил воздух перед моим лицом:

— Если во Франции получите письмо или открытку от меня, где в третьей фразе говорится о здоровье сына, это значит, что рукопись я вам послал. Если письмо заканчивается упоминанием о Киеве, значит, у меня был обыск. Если в письме есть слово «дождь», то меня допрашивают в ГБ. Если увидишь три восклицательных знака, то рукопись надо печатать. Понимаешь?!

Я с перепугу засуетился, подожди, надо хоть как-то записать...

— Запоминай, ничего не пиши! — злился на мою бесловковость Гелий.

Когда будешь в Москве, внушал он возбуждённым шёпотом, увидишься с одним человеком, вот запомни телефон. Встретишься с ним в магазине, у вас обоих будут одинаковые целлофановые мешочки. Незаметно обменяйтесь ими в толпе. Сейчас я тебе дам мешочек, надо кое-что передать в Москву! Ты понял?

Катрин вновь возникла в дверном проёме. Истеричность поутихла, уступив громкоголосой декламации. С издевательским надрывом.

— Посмотрите на этого хрена старого! Это называется муж! Кому надо — берите бесплатно такого бездельника! Даром отдаю действующего мужика!

Я не мог понять, для кого весь этот дикий ор? Для меня? Для Некрасова? Для соседей ли, для свидетелей?

Было чудовищно неудобно.

Может, она пьяная?

— Не обращай внимания! — отрешенно бросил Гелий. — Это она для прослушек выступает.

Он ткнул пальцем в потолок, а я изумился — тут никакие прослушки не нужны, ревет баба, как осёл перед случкой, на квартал разносится!

Гелий ещё что-то говорил, что-то объяснял, требовал повторить. Я ничего не мог взять в толк.

— Ты запомнил, запомнил? — шептал Гелий мне на ухо, целуя на прощанье. — Обними классика в Париже, скажи ему, что они скоро услышат об мне!

Мельком я взглянул на него. Выпученные от волнения полуслепые глаза, синюшные мешки под глазами, перекошенная улыбка, подрагивающая щека...

— Вам хорошо, вы все уезжаете! А мне оставаться с моим благоверным! А он к тому же и дурак! Возомнил себя борцом за правду!

Катрин вдруг замолчала. Гелий чуть подталкивал меня к выходу. Наверное, чтобы я не оглядывался, но я оглянулся. Хотел попрощаться и не осмелился.

Она стояла, тиская кисти рук, рыхлая и мятая, измождённая непоказной злобой и очень некрасивая...

Я помню, как, лёжа на диване и слушая Гелия, Некрасов подбодрял его и одобрял задуманную книгу. Без нажима, но советовал пока не печатать на Западе, погодить... Гелий же был полон рвения прогреметь, добиться известности, разоблачить кривду и злодеяния.

В начале мая 1974 года В.П. написал мне из Киева в Кривой Рог, что у Гелия всё неладно. Его донимают вызовами на допросы, а он там не выдерживает, кипит и уличает советскую власть в нарушении конституции. Гэбисты потирают руки от предвкушения...

«Он нервничает и раздражается. Помогает в этом деле и Катенька». «Дома у него бесконечное переругивание, Катрин если не пилит, то жалит».

Это именно она, Катрин, сделала последние годы жизни Гелия невыносимыми, бросила Гелия в самое страшное для него и безысходное время.

Кто рассудит?! Может, была она в чём-то права. Не бросаться же за безумцем в бездну, у неё было всё впереди, сына надо растить и самой прорасть...

Но зачем уже потом, через столько лет, продолжала она без устали чернить достойных людей? Мученика Гелия Снегирёва и изгнанника Виктора Некрасова?

Кто мне скажет?

Катрин недавно умерла в Киеве...

## В брачных узах

Издание двухтомника Некрасова запретили в марте 1971 года. Набор рассыпали. Виктор Платонович опечалился до невозможности, хотя и хорохорился, мол, переживём, мы едали всё на свете, кроме шила и гвоздя!

И Некрасов начал непомерно нарушать известный рецепт долгой и счастливой жизни — не выпивать с кем попало!

Когда я, срочно приехавший, увидел всю эту коудлу местных алкашей и забулдыг в некрасовской квартире и среди них — Вику, который, как туарег, неделями избегал бани, я решил, что пора звонить маме — выкрой хоть пару недель и приезжай в Киев, здесь беда! Мама, слава богу, сумела быстро приехать, как приезжала всегда после смерти Зинаиды Николаевны, чтоб помочь выбраться из запоя... Иногда ей звонила домработница Ганя, иногда сам Вика, сейчас вот я.

Мама возилась с ним, ухаживала, отхаживала и обихаживала. В конце концов, когда она вышла на пенсию, окончательно переехала в Киев. А домработница Ганя уехала в свое село.

Расписались Галина Базий и Виктор Некрасов 4 января 1972 года, в загсе Ленинского района города Киева.

Ну и зажили супружеской четой...

Вика в брачных узах! Какой-то малоудачный каламбур, гуторили недоумённо в Киеве и Москве.

Ведь до этого он слыл вольной птахой, прожил свою холостяцкую жизнь, ни на кого не оглядываясь и, можно сказать, припеваючи и попиваючи. Делал что хотел, ездил куда хотел, уходил и приходил когда хотел, гулял с кем хотел и выпивал как хотел. Правда, будучи трезвым, любил и покой, и полежать на диване, и почитать, а иногда и пописать.

Обожал компании, общения, прогулки, поездки. Со старыми и новыми друзьями, приятелями и знакомыми. Очень любил людей энергичных, лёгких на подъём, весёлых, любящих матюкнуться.

Сейчас бы психоаналитики сказали, что длительное безбрачие В.П. объясняется культом матери, что уменьшало его привязанность к женщинам. Кроме того, шутили мы, от женитьбы его долго спасало пристрастие к водке. Как бы то ни было, но запоздалое бракосочетание вытянуло его из страшного одиночества, которым он мучился после смерти Зинаиды Николаевны, и сгладило потрясение от разбежавшихся друзей. Аффективная сторона брака играла вторичную роль.

Столь экстравагантного зигзага в своей жизни — женитьбы — Некрасов как будто стеснялся.

Заметь, Витька, оправдывался В.П., все христианские мученики были холостяками. А апостол Павел прямо говорил, что тот, кто идёт под венец, поступает хорошо, но тот, кто этого не делает, — поступает ещё лучше. И я тоже прожил шестьдесят лет в гордом безбрачии. И теперь нам с Галкой предстоит найти целебную формулу — чередование одиночества и супружеского общения!

Хитрый Вольтер, знаменитый развратник, всем рассказывал, что брак будто бы делает человека добродетельным, мудрым и менее склонным к преступлениям! А холостяки живут якобы меньше потому, что курят и пьют.

— Поэтому, — посмеивался В.П., — я решил обрести добродетель и продлить жизнь, не отказываясь, однако, ни от курения, ни от выпивки!

Так вот, вошла тогда мама в квартиру писателя — запущенную, разорённую и пустынную: пропало много вещей, книги, серебряные столовые приборы, даже посуда... Вошла, как небом посланная!

Вежливейшая женщина, мама, скажу к её чести, сумела распугать, спровадить отвадить и выпроводить всех пьянчужек и шакалюг. И спасла Виктора Платоновича в тот мерзостный период невзгод и уныния!

Некрасов после её приезда чудесным образом встряхнулся. Пришёл в себя.

Но не забудем, что Виктор Платонович расписался с Галиной Викторовной, когда и ему, и ей было за шестьдесят. Когда мозаика из привычек, обрядов, капризов, закидонов, вкусов, синдромов и ритуалов полностью сложилась, как говорят в книгах, в многогранный и яркий характер знаменитого писателя.

И через некоторое время обнаружилась в семейной жизни крупная и неприятная заковыка. Несходство характеров! Точнее, весьма ощутимая разность.

Мама была человеком высокопорядочным, по-старорежимному воспитанным, начитанным и незлобивым. Меня очень любила, прощала всё и безмерно и неустанно всем нахваливала своего единственного и неповторимого!

Некрасов, трезвым, был тоже тонким и деликатным, но не желал этого показывать, стеснялся, полагаю. У него был своеобразный комплекс интеллигентного пай-мальчика, маменькина сыночка — он хотел казаться битым и огрубевшим в переделках мужиком.

Это подчёркивалось, например, постоянно широко растёгнутым воротом рубашки, знаком наплевательства на хорошие манеры, бесшабашности и мужества. Напоминало молодость, юнгштурмовку, строительный институт, его полкового разведчика Ваню Фищенко. Кстати, решительный отказ писателя носить галстук очень раздражал светило украинской партийной драматургии Корнейчука, бесчисленного лауреата, обласканного властью, прониру галактического масштаба и официально почитавшуюся бездарность. Внача-

ле шутливо, потом впадая в неистовство, он делал бесконечные замечания Некрасову на всех собраниях и заседаниях. Пока В.П. не нагрубил ему на людях, чем завоевал себе вечного и опаснейшего врага.

К слову сказать, и я любил ходить расхристанным, с незастегнутыми пуговицами чуть ли не до пупа. Может, это нас чуточку теснее сблизило, кто знает...

В Киеве я частенько встречал в их с мамой ссоры, стараясь сгладить мелкими шутками тягостные ситуации. Чувствуя себя при этом в дурацком положении и чертыхаясь от стыда. За благополучно улаженные распри и дразги я получал в награду тайное восхищение Виктора Платоновича и изредка выслушивал укоры мамы, что так редко принимаю её сторону.

В ту пору и на всю дальнейшую жизнь и заслужил я некрасовскую характеристику «всё понимающего Витьки». Что было верхом признания у В.П., сравнимым разве что с «мировым парнем».

Через несколько лет многие шероховатости семейной жизни стёрлись, промахи и грубости быстрее прощались, и мои родители чаще стали умасливать друг друга уступками и улыбками. Жизнь смягчилась и устоялась...

Ну а пока что летом 1972 года они отправились в свадебное путешествие на теплоходе по Днепру. Не предупредив никого, чтобы не лезли с советами и не изощрялись в традиционных шуточках-прибауточках.

## Жизнь как жизнь

Письмо от 6 апреля 1972 года:

«Выбивается прописка матери в Киеве. Требуют бесконечные справки с прошлого места жительства, мать нервничает».

В.П. тоже дёргается и теребит меня в письмах: «Сходи, достань, обаяй своей белозубой улыбкой, поскандаль, испугай голосом и кулаками. И поскорее!»

Ездили в Ленинград. «Мать ног под собой не чувствует, загонял её по Эрмитажам и достоевским местам». «Всё в общем идет хорошо, хотя я однажды сорвался, не ночевал дома и испортил всем настроение. Но теперь всё в порядке — отоспался и опять любим».

Последние недели безоблачной жизни, но уже в середине июня Некрасов собирается быть в Киеве, встречаться со своим «мудаком партследователем».

Письмо от 3 июня 1972 года, Ялта:

«Мать, конечно, в связи с этим не вылезает из волнений... Ох, уж эти мне нервишки... С нами милейшие наши Лунгины и ещё разные милые люди, в том числе Каплер, который ещё милее, чем в телевизоре».

Ходим в горы. Тоже есть своя прелесть», — снисходит В.П. Но сам главным образом «с раннего утра мощно пляжится». «Как всегда, ухожу подальше и предаюсь неге и истоме. Распластавшись на гальке. Погода лучше быть не может, тёплое и спокойное море». «Пейзаж напоминает рай. Кругом цветущие акации, кипарисы, розы, маки. На столике непреходящие букеты полевых (живых!) цветов». «По вечерам кино. Всякие. От “Кубанских казаков” до Жерара Филиппа, Габена и сногшибательной кровавой “Погони”. Ходим все как на службу».

Я со своим семейством сидел в это время в Киеве — мама решила, что за квартирой надо присматривать, Вика с ней согласился. На квартиру никто не покушался, но вот гости, можно сказать, как и раньше, донимали. Главным образом иностранцы.

В Киеве было принято гордиться перед иностранными приезжими дореволюционным домом странной архитектуры,

с башнями — «Замком Ричарда Львиное Сердце», как прозвал его Некрасов. По чёрной лестнице, неизвестно почему открытой для всех, можно было взобраться на крышу многоэтажного дома и замереть от великолепия открывающихся оттуда видов Киева и Днепра.

Перед этим иностранцы обязательно столбенели на площади Ленина — при виде наглядной агитации, потрясавшей их неподготовленные и доверчивые души. На щитах размером с теннисный корт в меру художественно были изображены разнополые люди, с громадными ручищами и квадратными подбородками, на фоне знамён и лозунгов. Тут же подвизался и Владимир Ильич Ленин, гренадёрского сложения лысеющий красавец с мощной шеей и мужественной бородкой. С кепкой в руке и в добротном пальто, распахнутом революционными ветрами.

Иностранные гости хватались за фотоаппараты, метались, ища точку съёмки, а мы с Викой не переставали шёпотом удивляться людской глупости. Что интересного в этих раскрашенных фанерных поверхностях?..

Однажды вечером, обняв за плечи итальянского гостя, журналиста Дарио Стаффу, Виктор Платонович стоял в центре «Гастронома» на Крещатике. Громко рассуждая, как и чего бы нам ещё выпить.

Дарио очень прилично говорил по-русски, абсолютно грамотно ругался матом и отличался хорошо развитым алкогольным пристрастием. Через пять лет он будет гидом Некрасова по Северной Италии, Милану, Удино, Кортино д'Ампеццо. Они крепко подружатся, хотя В.П. к тому времени гораздо реже будет разделять с Дарио восторги опьянения...

Не успел я отвернуться вместе с итальянцем к прилавку, как В.П. заговорил с двумя типчиками при портфелях и галстуках. Один был писательским боссом Солдатенко, второй, видимо, тоже промышлял каким-то членством. Первый мяг-

ко корил Некрасова, дескать, почему тот не ходит на собрания. Вика отшучивался, говорил, что водка мешает, но собеседник оставался серьёзным. А его компаньон неодобрительным молчанием поддерживал шефа. Смотрел на Некрасова явно презрительно.

На улице я сказал об этом.

— И второй тоже! — согласно кивнул Вика.

— Это хорошие человеки или как, в рот тебя с проглотом и за щеку?! — встревожился итальянец.

— Средние! — ответил В.П. и увлек компанию к странному замку.

На крыше мы сели на парапет, выпили и уставились на чудесную панораму ночного Киева.

— Мама миа! — восхищенно выдохнул гость.

С ним молча согласились — действительно красотища...

Некрасов с моей мамой поехали на недельку в Ленинград, остановились у друзей — Тамары Головановой и Нины Аль.

• Письмо от 10 сентября 1972 года: «Господи, всё там было прекрасно, но закармливали нас в три шеи, особо напирая на пельмени».

Мама в приписке радовалась, что обошлось без возлияний и в журнале «Аврора» взяли статью о Твардовском. «Очень обидно, что нет денег, но, может быть, в Москве сумеем купить Вике обувь». А пока что Нина Аль одолжила им целых сто рублей, наверняка понимая, что безвозвратно. Купили на радостях внуку Вадику валенки.

На «Ленфильме» Виктор Платонович договорился, что будет писать сценарий, «непонятно только о чём».

— Мне дважды в жизни предлагали миллион! — как-то рассказывал на киевской кухне Некрасов. — И оба раза в кино — за сценарии.

Первый раз, когда экранизировали «Войну и мир».

— Разногласия возникли по поводу французов — я не хотел, чтобы их слишком уж очерняли.

Некрасова вызвали на студию, переговорили, поведали о миллионном гонораре, но сказали, что в трактовке французских персонажей с ним не согласны.

— Мы распрощались, фильм вышел благополучно без меня, и миллион мой пропал ни за чих!

Второй раз ему предложили миллион за циклопическую киноэпопею «Освобождение».

— Хорошо! — покладисто сказал В.П. — Но я напишу о войне всё, как было.

— Вы напишите не как было, а как надо! — ответили ему.

Сценарий написал Юрий Бондарев...

Письмо от 15 октября 1972 года: «У меня — без новостей. Очевидно, будут тянуть до обмена партбилетов. Из райкома не звонят. А я жажду трибуны! Этого они боятся больше всего...»

Пишет, что процесс его друга Семёна Глузмана начался 12 октября, закончится 20-го, поэтому В.П. не едет снова в Ленинград на киностудию, ждёт окончания суда. На судебные заседания никого не пускают...

«В восторге от фильма Стэнли Крамера “Благослови зверей и детей”, обязательно пойдешь, горячо рекомендую»...

Вдруг на тебе! Нас зовут в Киев на встречу Нового, 1973 года! Вика приглашает!

Трезво и по-семейному встретив с нами Новый год, Некрасов полетел в Сталинград. Выступил по телевидению. «Оттрепался вполне благополучно», — пишет мне 13 января 1973 года. Потом паломничество на Мамаев курган. Уже в подпитии, конечно, но тут уж сам бог велел.

Привез массу прекрасных фотографий, в том числе и на фоне Родины-матери, с поднятой рукой, как у скульптуры.

Потом к писательской руке будет пририсован мечё и получится как бы композиция — зовущий на бой Некрасов с мечом, а сзади в морозной дымке Родина-мать, и тоже потрясает мечом. А в альбом будет вклеена бумажка: «Гор. ком. ВЛКСМ поручает Виктору Платоновичу Некрасову встать в почетный караул у Вечного огня города-героя Волгограда 13 января 1973 года в 14.30...»

Как он там стоял, покрыто мраком неизвестности...

А в конце февраля Некрасова вызвали в райком, сообщили сурово: нянькаться с ним больше не будут. В ближайшее время он будет исключён из партии.

Собственно говоря, пишет В.П., официально собрались по поводу Ивана Дзюбы. Слишком много чести для Некрасова, чтобы специально отрывать людей от текущих дел! Партийный следователь зачитал постановление парткомиссии, мерзкое во всех отношениях, по словам Вики. Демократично поинтересовались — не желаете ли высказаться напоследок?

«Я, наивный поц, вообразил, что где-то рядом стоит История. И размахнулся на длинную, убедительную, убийственную по отношению к оппонентам из Спилки письменников речь». Не лишённую иронии и сарказма.

Первый секретарь райкома прервал эту изящную филиппику через пяток минут — «Не в этом дело... Дело в том, что вы имеете собственное мнение, а оно расходится с линией...» Исключили единогласно, рук не поднимали, просто покивали в ответ на: «Есть предложение исключить».

Некрасов был слегка обижен таким затрапезным ритуалом, попросил ещё раз слово.

«После этого я, поц, опять взял слово, закончившееся вопросом: считаете ли, что принятое сегодня решение принесёт пользу советской литературе? Да или нет?»

Вокруг оловянные лица...

«Сидевший в сторонке таинственный товарищ, по-моему, из III отделения бросил: “Надоело с вами возиться”».

И Виктор Платонович Некрасов, принятый в члены коммунистической партии зимой 1943 года в Сталинграде, одиноко вышел из этой районной конторы и удалился навсегда. Далеко не сразу проглотив обиду...

Мама, конечно, изводится от волнения, ждёт худшего и этим дополнительно раздражает и так подавленного В.П.

Письмо от 23 мая 1973 года. Из Планерского. Завтра на бюро теперь уже горкома будет приниматься решение о коммунисте Некрасове.

«Надеюсь, в мою пользу, как ты понимаешь». То есть подтвердят решение об исключении. «Партдама, давняя моя знакомая ещё по хрущёвским временам, которая меня тогда спасла, как она уверяла, теперь стала председателем парткомиссии. Уговаривает и убеждает вести себя хорошо». Иными словами и признать, и отречься, и смахнуть слезу раскаяния. И тогда, мол, всё может уладиться.

«Я, как ты понимаешь, ни в какую»...

Главная загвоздка в том, что за три дня до заседания начиналась путёвка в Доме Литфонда в Планерском, в Крыму. Какие тут горкомы, бюро и прочее!

«Я написал заявление, чтобы дело рассматривали в моё отсутствие. *Finita la comedia!*» Выясняется также, что очерк «Твардовский» в «Авроре» не пошёл, на московские журналы тем более нет надежд. «О жизни пускай тебе пишет мать. Всё отлично, но погода прохладная, но есть хорошие люди. Да и Сима Лунгин приехал, кстати, только что из Парижа...»

Он и вправду переживал тогда, наш Виктор Платонович! Подумаешь, исключили из партии! Кто сейчас поймёт тогдашнюю нервотрёпку! Но я лично до сих пор помню расстроенное лицо Вики и даже сейчас понимаю его...

Тягомотные партийные препирательства, мутная тяжба за партбилет — исключение, повторное рассмотрение, череда унижений на партийных бюро определенно отразились на жизненном равновесии Некрасова.

Но именно благодаря этим передрягам он подготовил себя к главному удару — к изоляции от друзей в последний год жизни в Киеве, к неприкрытой наглости властей.

И к навечному отрыву от родины, Киева, Сталинграда...

## Мой внук Вадик!

Это было заведено испокон веков — послеобеденный сон хозяина дома и последующее вкушение передач Би-би-си. Ровно в восемь часов вечера Виктор Платонович, лежа на тахте в кабинете, ставил на живот «Спидолу». Домашние за- тихали.

Мнение любимого лондонского обозревателя Анатолия Максимовича Гольдберга благоговейно выслушивалось и принималось как всечеловеческая истина. Вечером новости сообщались остальным во время чая или на прогулке.

В кабинет допускался только я. После вежливого стука.

Если состояние души у писателя было трезвым, он громко произносил: «Да!» Если же он успел перед ужином глотнуть, вопрошалось глуховато: «Чего тебе?»

Над тахтой в кабинете висела любимейшая карта «Париж с птичьего полёта», на которой был вырисован каждый дом, все этажи. Рядом с картой — большой, незаконченный и всё равно красивый женский портрет работы Галины Серебряковой, который потом перейдёт в руки Евгения Евтушенко..

Всегда настежь открытая дверь на опоясывающий всю квартиру балкон, выходящий во двор. Перспектива на ред-

кость неприглядная — какие-то стены, штабеля полусгнивших ящичков, тропинки между домами, помойки, сарай, крыши, на которые Вика непонятно почему так любил смотреть.

Слева, у окна, обширнейший письменный стол.

На стенах впритык — бессчётные фотографии. Бабий Яр, Мамаев курган, Владимирская горка и Андреевский спуск. Викины рисунки, коллажи, шаржи, какие-то поделки в рамочках...

На столе пачка писем под большим снарядным осколком, подобранным после войны на месте боёв в Сталинграде.

И стол, и этажерки вокруг, и полочки заставлены, как и в столовой, множеством вещиц, финтифлюшек, штучек, сувениров и фигурок...

Справа от двери в кабинете примостилась деревянная кроватка с загородкой. На ней лежала в последние годы перед смертью Зинаида Николаевна. Над кроваткой красовался пейзаж кисти Бурлюка — дорога среди цветущего поля.

Ну а сейчас пришло время открыть самый сокровенный секрет, чтоб не унести его с собой в могилу, — в доме у Некрасова было две «хованки», проще сказать, заначки. Одна за шкафом в кабинете, а другая под умывальником в ванной. В заначку ставилась чекушка, обычно заранее, на трезвую голову и на крайний случай, если вдруг возникнет острая необходимость. Я никогда не покушался без спросу на эти чекушки, чем заслужил пожизненное уважение Виктора Платоновича...

Для потомства замечу, что Вика всегда говорил «четвертинка». На мой слух это звучало архаично, вызывая в памяти мамалыгу и продуктовые карточки.

Кроме обозревателя Би-би-си наш писатель питал ещё слабость к журналу «Корея» и, посмеиваясь, называл себя копрофагом. С наслаждением рассматривал картинки с пор-

третами дорогого корейского вождя Ким Ир Сена, зачитывал с выражением и плавной жестикуляцией статьи, восхваляющие, прославляющие и превозносящие этого жирненького и румяного кормчего в шевиотовом кителе. Какое советское средневековье! Какой суконный язык, восхищался В.П., какая барабанная помпа, вы только послушайте этот вот рассказ, где наш полководец расстёгивает штаны раненому солдату, чтоб облегчить страдания! Какие детали!

Радовался как ребёнок, мучил нас чтением целых статей, хотя слушать было смешно...

Однако малых детей писатель не жаловал.

— Дети — моя слабая сторона, я не люблю их! — это обьявлялось не раз и во всеуслышание.

Мы с моей женой Милой перешёптывались, взволнованные: а как же будет с нашим Вадиком? Этот тоже может такое сотворить, что писатель обомрёт...

С Вадиком всё получилось в лучшем виде. Ему было лет шесть, когда его впервые привезли в Киев.

Смотри мне, лстыиво грозила Мила, дядя Вика очень не любит непослушных и шумных детей. Но если ты будешь хорошо себя вести и не гонять по комнатам, умащивал его папа, то тебе купят всё, что захочешь, в разумных, конечно, пределах. Понимаешь?

На второй день после приезда Вадик тихо проник в кабинет Виктора Платоновича.

Тот лежал в трусах и читал. Потом отложил книгу. Оба молча уставились друг на друга.

— Ну, что? — решил завязать разговор дядя Вика.

Вадик приблизился и слегка ткнул пальцем в сытый животик писателя.

— Дуло! — сказал он.

— Почему дуло?! — чуть ли не вскричал от неожиданного сравнения Вика. — Почему?!

— Так! — застеснялся Вадик, поняв, что сморозил глупость, надо было сказать «пузо».

— А ты стишки какие-нибудь знаешь? С глупостями, например? — спросил подобревший В.П.

— Знаю, но их нельзя говорить...

— Я разрешаю! — заинтересовался писатель-лауреат.

Оглянувшись на дверь, Вадик продекламировал с выражением:

Дедушка старенький, лет пятьдесят,  
Трусики рваные, яйца висят.

Вика заорал от восторга, вскочил с тахты, затискал Вадю и с этого момента полюбил его на всю жизнь. Не упускал случая сказать горделиво — «Мой внук!» А как он о нём заболел, как за него всю жизнь переживал!..

Когда я увидел в Киеве мохнатую, только что забредшую в дом к Некрасовым собачку, я умилённо засюсюкал:

— Иди сюда, как тебя?

— Неизвестно! — крикнул В.П. из кабинета. — Мать ищет ей имя, подключайся!

— Джуля? — неуверенно произнес я.

— Гениально! Джулька! — обрадовался Вика, да и мама не возражала.

— Джулька! Джулька!

Собака заюлила и от избытка чувств опрокинулась на спину.

Наша Джулька с неопишуемой радостью встречала любых гостей, неправдоподобно быстро виляя хвостом. Гости растроганно теребили извивающуюся в восторге встречи собаку, а В.П. терпеливо стоял, руки в боки, с улыбкой наблюдал...

На многие годы Джулька стала утешением для моей мамы. Мила просиживала целые вечера, не отпуская с колен эту мохнатую прелесть. Да и наш писатель часто баловал её ласковым вниманием. Когда Джулька внезапно умерла, лет через десять, в чужом для неё городе Париже, я заплакал...

## За чтение и распространение

В самом начале семидесятых газеты ломились от статей, подвалов и писем читателей с обличением диссидентов.

В отделах пропаганды и агитации составляли письма с призывами покончить с этой нечистью, а потом они подписывались людьми познатнее и поизвестнее. Особенно старались коллеги по разуму, называемые советской научной и творческой интеллигенцией. А у Некрасова в голове не укладывалось, что письма, клеймящие Сахарова и Солженицына, люди подписывали добровольно! Иной раз даже добивались этой милости, больше всего опасаясь, что их обойдут, не позвонят из ЦК. И он всё удивлялся, почему они не увильнут, не придумают отговорку благовидную, и все дела! И был уверен наш Виктор Платонович, что эти люди ночью терзаются, не спят, чуть ли не подушку кусают от стыда... А те, напротив, ходили мимо соседей горделивыми лебедями.

Но было много известных москвичей, которые регулярно подписывали петиции и протесты, но уже против произвола советской власти или преследования инакомыслящих. Таких людей называли подписантами. Не прошло месяца без сенсации — нового открытого письма в защиту гонимых.

Из киевлян подписантом был только Виктор Некрасов, если не ошибаюсь.

Когда к Некрасову обращались за подписью в защиту очередного обиженного советской властью или спрашивали в интервью «Что вы думаете, как считаете?», он не мог отказать, подписывал и отвечал то, что правда думает. И делал это не из вежливости, а по совести.

Эти годы были переполнены разговорами об отъездах и отказах, арестах и психушках, прослушках и увольнениях. И простое общение за чаем с Некрасовым представлялось как подвиг, протест, пусть и робкий. И даже смешной — с нынешней точки зрения.

Правда, это было далеко, в Москве, а дома, в Киеве, новые друзья и знакомые тянулись к Некрасову, чтоб поделиться горестями и сомнениями, повозмущаться несправедливостью и безнаказанностью власти. И все подсознательно надеялись, что в случае какой-либо напасти они будут защищены и ограждены. Благодаря самому факту близости к Некрасову.

Раз его не трогают, то и нас не тронут, теплилась у них надежда. А если тронут, то Некрасов найдёт способ, чтобы всё прогрессивное человечество стало за нас горой... Отсюда и горчайшее разочарование, когда Некрасова вроде бы не трогали, зато на других, на малых мира сего, власть по-серьёзному ополчилась.

В конце шестидесятых годов вольнодумство Некрасова было очень умеренным. Это потом он сделался известным протестантом.

А настоящим диссидентом вначале был разве что Семён Глузман, да ещё с полдесятка человек.

Осенью 1973 года от Глузмана пришло большое письмо из лагеря, и мы с Викой пошли к родителям Славика, как его называли у нас в семье.

Фишель Абрамович и Галина Петровна радостно хлопочут, Вика обнимает их и держится с почтением. Чай, пече-

ные, шоколадка... Такие интеллигентные, такие беспомощные люди, жалко смотреть, как они переживают за сына, боются, что с ним будет...

— Сейчас прочтём письмо, — говорит папа Славика. — Послушайте-ка, о чём оно, мне ничего не понятно.

Письмо длинное, мельчайшим почерком, но абсолютно без новостей, о лагерной жизни ни слова. Подробно описывается какой-то пруд, сельская природа, сидящий под ночным небом человек, сложные переживания, психологический анализ характера, потом ещё что-то... В общем, действительно ничего не понять.

Папа закончил чтение.

— Что скажете, Виктор Платонович, что он всем этим хочет сказать?..

В полной растерянности В.П. смотрит на меня, что, мол, думаешь. Мне же просто кажется, что это Славик написал рассказик, что ли, и на волю его пересылает, вот и всё...

Может быть, соглашаются родители, по-другому не объяснишь.

Некрасов уносит с собой список книг, которые просит прислать Славик, попробуем, говорит, достать словарь Ожегова, научную фантастику, что-то о музыке. И «Будь здоров, школяр!» Булата Окуджавы.

— Книжки туда доходят, — прощается с нами папа. — Разрешённые, конечно.

Мама кивает головой: да-да, доходят, — улыбается застенчиво, извиняется за беспокойство...

Некрасов познакомился с молодым врачом-психиатром Глузманом, когда тот принёс ему свои рассказы, почитать. Некрасов рассказы взял, пообещал посмотреть, но читать не стал, только полистал. Но знакомство состоялось. Начитанный мальчик, Славик смотрел на Некрасова влюблёнными глазами. Как и многие молодые люди в то время в Киеве,

он тянулся к общению с инакомыслящим писателем, как бы с киевским властителем дум. Помогал посылно по хозяйству, приходил побеседовать, по-юношески возмущался несправедливостью и искал духовной близости.

И страстно хотел читать самиздат. Брал у Некрасова запретные вещи, в основном машинописные. Или изданные за рубежом. Вероятно, давал их кому-то «на ночь». Солженицын, статьи Генриха Бёлля. Много чего было, уже не помню...

Некрасов дал и пару своих рукописных рассказов, которые были торжествующе изъяты у Глузмана во время обыска. Почему вдруг произошёл обыск, что послужило толчком? Я не знаю. Да и сам Виктор Платонович особо не понимал. Но приговор — семь лет лагерей и три года ссылки — вынесли Семёну Глузману «за чтение и распространение антисоветской литературы». В лагере он и стал непреклонным правозащитником. Автором исследования о советских психушках, куда заточали здоровых людей, инакомыслящих или несогласных.

На суд никого не пустили, кроме Славиковых родителей, которые от волнения толком ничего не запомнили.

— Ты понимаешь, — говорил В.П., — человек получил такой дикий срок за книги и рукописи!

По его мнению, главной причиной такого остервенения власти стал отказ Глузмана «сотрудничать со следствием». То есть отказ отречься от Некрасова, во всеуслышание покаяться и заявить, что именно Некрасов подбивал его к крамоле и давал читать если не подрывную, то прельстительную литературу. Славик не пошёл на это — и получил варварский приговор. А у Некрасова вырвали ещё одного верного друга...

Потом Некрасов уехал в эмиграцию.

А через пару лет запустили по Киеву слухок, что, мол, все вы здесь носились с этим Некрасовым, смотрели на него

восторженно и ловили каждое слово, а он при первом же случае взял и свалил за границу. К дядюшке-миллионеру в Швейцарию, делить наследство! А своих друзей-приятелей бросил на произвол судьбы. Глузман уже кукует в Мордовии, а Гелий Снегирёв на грани тюрьмы, сам туда напрашивается.

Гелия арестуют через два года после отъезда В.П. Потом доведут в следственной камере до чудовищной болезни, до слепоты, до нечеловеческого истощения, и умрет он мучеником, успев всё-таки продиктовать последнюю книгу\*...

Позже, уже после смерти Некрасова, некоторые киевляне стали если не поплёвывать на прежнего кумира, то как бы пренебрежительно отзываться о его книгах, чуть даже высокомерно...

А Некрасов? Ему нечего краснеть за себя. За границей он не забыл ни Глузмана, ни Снегирёва.

Кроме Некрасова и родителей, кто осмелился бы посылать посылки в лагерь? А потом кто сделал всё, чтобы имя Глузмана стало известным на Западе? Некрасов!

Кто обстучал двери всех фондов, комитетов и лиг, кто бил во все колокола, кто добивался помощи, посылок и книг в богом забытый мордовский лагерь? Кто говорил, напоминал и писал о Глузмানে? И главное, кто устраивал рандеву и договаривался с сильными мира сего, чтобы о Глузмানে писала свободная, то есть капиталистическая, пресса? Некрасов, кто же ещё!

Сейчас кажется, что все эти акции возникали спонтанно, как бы в подспудном порыве к всемирной справедливости западных гуманитариев. Под впечатлением от действительно самоотверженного подвига борца за справедливость. Не обманывайтесь!

См. книгу Г. Снегирёва (1927—1978), выпущенную посмертно: Гелий Снегирёв. Роман-донос. Київ, «Дух і Літера», 2000. — *Ред.*

Без влиятельных хлопот все благополучно забыли бы о вас через месяц-другой, как о сотнях вам подобных. Это именно усилиями Некрасова Семён Глузман был внесён во все редакционные святцы о правах человека. Благодаря ему, Некрасову, о Глузмани начали трубить на всех газетных перекрёстках, его судьбу упоминали во время высоких переговоров, президентам великих держав вручались петиции, а пикеты возле ООН скандировали его имя наравне со знаменитыми диссидентами Буковским, Щаранским или Орловым!

Не освободили раньше срока, упрекают сейчас Некрасова. Не сумел, не удалось, не получилось... Кого будем винить в этом — французские газеты, американскую общественность, Некрасова?

Его-то винить проще всего...

## Сашка и Марик

Открыв входную дверь под номером десять на втором этаже, вы попадали в длинный и необжитый, уставленный унылыми книжными шкафами коридор. В конце коридора, на повороте в саму квартиру стоял шкаф повеселее, а на нём гипсовый, тонированный бюст Некрасова, сделанный киевским скульптором Гельманом. Чубастый молодой Вика, в расстёгнутой рубашке, смотрит со скрытой улыбкой. Для смеха на голову была нахлобучена тирольская шляпа, а к губе приклеен жирный папиросный бычок.

Последний раз я видел этот бюст под мышкой у смеющегося Гелия Снегирёва, когда мы толклись на лестничной площадке на проводах Некрасова, накануне его отлёта. Гелий забрал бюст на память, в самый последний момент. Куда потом делся бюст — неизвестно. Говорят, правда, что нашёлся, сейчас у кого-то в Киеве...

После бюста и начиналась, собственно говоря, жизнь. Прямо — гостиная, справа дверь в ванную, слева — на кухню.

В своё время дородная и язвительная домработница Ганя обустроила в ней свою берлогу, заваленную тюками, рухлядью и чем-то набитыми кошёлками. Под стеной стояла большая раскладная кровать с тремя матрацами и многими подушками. Небольшой добротный стол и газовая плита. С потолка очень низко свисало засиженное мухами допотопное осветительное устройство — лампочка с абажуром, на системе из фаянсовых блочков.

В лучшие времена на кухне иногда делалась уборка, но в последние годы всё было закопчено, загажено мухами и тараканами, отдавало гнилью.

Когда мама переехала в Киев, а Ганя уехала к себе в деревню, весь хлам выбросили, на кухне был сделан ремонт, установили диван и просторный стол. По большому благу была куплена светлая кухонная мебель. И превратилась кухня в некое пристанище, где весь вечер напролёт было приятно пить чай, курить и трепаться...

Мила, моя жена, наловчилась печь печенье с тёртым сыром в виде бантиков, называвшееся «рурочками». Некрасов их обожал, чуть ли не каждый вечер просил сделать к вечернему чаю. Мила уже и не рада была каждый день возиться с тестом, но не роптала.

В Париже в первое же наше чаепитие Некрасов, прищурясь в предвкушении сюрприза, сообщил, что он нашел совсем рядом в магазине уже готовые рурочки! Форма, правда, подкачала, но вкус абсолютно тот же, какая удача! И выставил на стол вазочку с парижским печивом. Мы с удовольствием навалились на чудесный деликатес, запивая чаем с вареньем, но наши французские гости смотрели на эту прожорливую суету настороженно и пугливо. Они пили только чай, а к рурочкам не притрагивались.

Лишь через некоторое время выяснилось, что эти фиговинки предназначены для аперитива со спиртным, причём едят их поштучно и деликатными движениями, а не до отвала и пригоршнями.

Пожирать их за чаем мы прекратили, но Некрасов, назло всем иноземцам, долго ещё ставил возле себя вазочку с заморскими лжерурочками и с наслаждением хрумтел, приводя в недоумение непосвящённых. Но на этот моветон никто уже внимания не обращал, привыкли...

Напомню, что после смерти Зинаиды Николаевны Виктор Платонович остался буквально один — хоть волком вой в пустой квартире. Это когда ты трезвый, то ищешь тишины. А выпившему вообще несказанно обидно в одиночестве. И тут в доме появился Александр Ткаченко.

Пока не приехала мама, он был единственным, кто общался с В.П. почти ежедневно, присматривал по хозяйству и, конечно, вместе выпивал. Из всех тогдашних пьянчужных приятелей Некрасова Сашка был самым тактичным и симпатичным.

Он жил по-соседству, пробавлялся фарцой, был гол как сокол и одинок. Некрасов очень к нему за это время привязался. Старался его опекать, по-своему заботился, устраивал на работу после вечернего факультета в документальную кинопруппу Рафаила Нахмановича, друга Некрасова.

Когда в Киеве появилась моя мама, хмельное безмятежное житьё Сашки было нарушено. Но он продолжал заходить, и мы с ним вроде подружились. Я и сейчас думаю, что Сашка искренне любил Вику.

На первый взгляд его вполне могли шантажировать кагэбисты. Отозвать в сторонку, поговорить со значением, мол, помогите нам, и вам на улице будет спокойнее, и туне-

ядством никто не попрекнёт, и комната навсегда останется за вами. Но тогда никто из нашей семьи, а тем более Некрасов, об этом не думал. И сейчас я не вправе делать безоговорочные умозаключения, подобно некоторым старым некрасовским друзьям-приятелям...

В мае 1988 года Сашка был первым, кто приехал в Париж, специально поклониться покойному Вике! Приехал на свою копеечную зарплату какого-то там вахтёра на стройке.

Привёз флакончик земли с могилы Зинаиды Николаевны. И высыпал эти несколько граммов пыли в ноги у Виктора Платоновича.

Мы с Сашкой сидели со стаканами, обнявшись, на могиле Некрасова на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа — в ногах у Вики, лицом к кресту. И я пожалел Сашку, просто так... Показался он мне в этот момент человеком совестливым и ранимым. Приехал, чтобы отблагодарить человека, наверное, единственного, который его душевно любил. Может, чтобы попросить у него прощения. Если было за что прощать.

А потом он как без вести пропал...

...В те времена частенько забегал на минутку Марк Райгородский, младший брат старого приятеля Некрасова. И уже от прихожей начинал торопиться, мол, времени в обрез, разве что чаю выпью и помчусь опять на работу. В доме Некрасова к нему — школьному учителю, всегда с портфелем под мышкой, молодому, улыбчивому и разговорчивому — благоволили.

Немножко пошумев и посмеявшись на кухне, они шли с Виктором Платоновичем в кабинет, посмотреть, что можно взять почитать. Мандельштам, Цветаева, «Мосты», «В круге первом» — книга быстренько пряталась в портфель, и Марик убежал.

В тот злосчастный февральский день он, как всегда, заглянул перед уроками к Некрасовым. Ничего не зная об обыске в их квартире. В портфеле Марики кагэбисты нашли «Мы» Замятина. Принёс вернуть.

Его сразу же увезли на допрос. На следствии добивались, откуда книга, брал ли ещё, чья она, кто дал? Некрасов? Приди Некрасов и признайся: да, это моя книга — и тогда можно при желании пришить «антисоветскую пропаганду». Промолчи, как сделал оробевший Вика, — и Марку Райгородецкому злорадно сказали: вот видите, ваш классик в кусты затаился, а вы пойдёте на отсидку.

Оба варианта были беспроегрешны. В любом случае Марику бы не поздоровилось.

И пришили ему два года лагерей! За чтение одной книги! А заодно и Некрасова унизили.

Виктор Платонович действительно терзался своим как бы малодушием. Как я его ни убеждал, что от него на самом деле ничего не зависело. Хотя бы знать, куда ему написать пару слов, вздыхал В.П., извинения попросить...

Уверен, что вернись Некрасов в Киев, он бы разыскал Марку Райгородецкого и извинился бы перед ним. А раз Вика не дожил, это делаю за него я. И говорю: «Извини, Марк!» Хотя и с опозданием, но извини! Может, Некрасову станет легче от этого. А может, и Марику тоже...

## ОБЫСК

— Чё-то Киев не отвечает, — сказала Мила, — третий раз набираю.

Я немного озаботился: может, Вика решил загульчик учинить? Но тогда мама должна быть там поблизости...

В шесть вечера я по обыкновению уселся с транзистором на пол возле дивана — в этом месте было меньше помех. Начал продираться сквозь заглушку, ловить Би-би-си. Поймал и подпрыгнул!

«Уже целые сутки на киевской квартире писателя Виктора Некрасова идёт обыск».

Немедленно звонить в Киев! Ответа нет, тарабаню ещё и ещё... Потом позвонили из Москвы. Корреспондент «Голоса Америки» отрекомендовался по-заграничному, справился о новостях. Испугавшись такой чести, я отвечал с достоинством, мол, пока ничего не известно, извините. Люсик Гольденфельд успокоил по телефону, сказал, что даже зашёл к Вике во время обыска, так что особо не волнуйтесь! Обыск как обыск, сообщил он слегка заговорщицки.

Хорошенькое дело! Им там, в столице, может, благочинно и покойно, а в нашей тьмутаракани как не волноваться?

Только к концу следующего дня позвонила мама и полущёпотом сообщила: только что ушли, унесли семь мешков.

— Семь мешков чего? — удивился я.

К телефону подошел В.П., начал подробно всё рассказывать.

Как пришли пятеро, чертовски вежливые, с ордером на обыск. На предмет выемки антисоветских материалов. Забрали в мешки массу бумаг и фотографий, книг и иностранных журналов, пишущую машинку, магнитофон, фотоаппарат. В.П. нервно шутил, рассказывая об обыске, как о явной нелепице. «Мальчишки» выводили гулять собаку Джульку, ходили в гастроном и книжную лавку за отложенным томиком Мандельштама, помогали маме готовить и вытерли пыль с полок в кладовке.

Уходя, гэбэшники оставили повестку на допрос, но назвали это беседой.

— Начинается серьёзная травля, — сказал тогда В.П., — они форсируют события. Чем это кончится — неизвестно. Но уже сейчас на душе противно. И стыдно почему-то Галке в глаза смотреть, как будто я какой-то предатель. Понимаешь, Витька, стыдно!

Обыск продолжался сорок два часа. Протокол — 60 страниц, 100 позиций изъятых материалов.

Во время обыска мама с ужасом увидела беззаботно оставленную Викой на комодe фотоплeнку. Это были принесённые накануне молодым его приятелем Олегом Лапиным рассказы Шаламова. Незаметно сунула в карман фартука и с дамским достоинством направилась в уборную. Растерявшийся паренёк-гэбист хотел было не дать маме закрыть дверь в уборной, но она очень к месту нашла что сказать: «Сюда я привыкла ходить одна».

В уборной выяснилось, что плeнка не тонет, пришлось её разрывать зубами на мелкие кусочки и утапливать, часто сливая воду. В коридоре тот же паренёк посмотрел с ироничным сочувствием — мол, это бывает, мамаша, медвежья болезнь...

Некрасова вызывали на допросы несколько дней.

Вначале интересовались бумагами, спрашивали о рукописях, черновиках («А где чистовики?»), просили объяснить, с какой целью сделаны фотографии разрушенного еврейского кладбища, Бабьего Яра, нарядов милиции у здания суда, задворок Крещатика, очередей на сдачу стеклотары, гигантских портретов Брежнева, каких-то дурацких лозунгов.

— Чем привлёк вас призыв «Все силы на выполнение семилетки»? Почему вы его сфотографировали?

— Глупостью привлёк! — растолковывал В.П. — Ведь если сейчас отдать все силы, что же останется на дальнейшее строительство коммунизма?

Потом была беседа с улыбочивым гэбешным генералом.

Генерал желал добра. Старался искренне понять, чем он может помочь известному писателю, автору любимой народом книги «В окопах Сталинграда». Советовал выбрать сторону баррикад и отбросить надежду на поездку за границу. Всё образуется, дорогой Виктор Платонович, всё в ваших руках, но надо уяснить себе, что антисоветскую деятельность партия будет решительно пресекать. Как какую деятельность? Разве не понятно? Выступления по враждебным радиостанциям, интервью реакционным газетам, все эти петиции, открытые письма в поддержку недостойных лиц вроде Сахарова, Солженицына или так называемых украинских националистов. Подумайте, Виктор Платонович, мы готовы вам помочь...

— Вот я сейчас и думаю! — с нажимом иронизирует В.П. по телефону. — Что будем делать, а?

— Откуда я знаю, — сказал я, — там видно будет. А пока мы с Милой зовём вас в Кривой Рог, отдохнуть недельку-другую. Приезжайте всей компанией, с мамой и Джулькой!

— Мысль достаточно глубокая, — оживляется Вика. — Наверняка приедем, представляю, как Галка обрадуется. Ждите!

После нескольких допросов — затишье.

Письмо от 19 февраля 1974 года:

«Никак не соберусь позвонить насчёт возврата остальных вещей, но всё откладываю, успею, время есть». Забрать надо главным образом французские журналы «Пари матч», эмигрантские «Мосты» и несколько папок разных бумаг. Магнитофон, машинку и фотоаппарат уже вернули, непонятно, зачем было забирать...

«Выяснилось между прочим, что Яньку Богорада тоже таскали — 18-го, в тот самый день. Расспрашивали обо мне, он расхваливал». Ян Богорад был близким другом Некрасо-

ва, постоянным компаньоном на всех встречах ветеранов. Партизанский командир, очень известный в Киеве. В.П. гордился и его боевыми подвигами, и рассудительностью в мирное время...

«Был обыск (тогда же) и у Сашки Парниса. В его отсутствие (он был в Москве). А когда вернулся, стали тягать. И, кажется, до сих пор ещё тягают. Это тот самый Сашка, который прославился изысканиями по Хлебникову и который мой “секретарь”». Молодой Александр Парнис был зачислен Некрасовым на эту не пыльную, но абсолютно бесхлебную должность, чтобы не таскали в милицию за тунеядство и не мешали заниматься его любимым Хлебниковым...

## Кому это нужно?

Прибытие родителей с Джулькой в Кривой Рог вызвал невообразимый переполох у наших бесхитростных кагэбистов, после этого очень меня зауважавших, — они получили столичное указание следить, но не обижать.

Мама безумно радовалась встрече с внуком. Тут же выяснилось: Виктор Платонович приехал не просто так, отдохнуть от Киева, но рассчитывая напечатать некий текст.

Из Киева я приволок старую некрасовскую пишущую машинку «Эрику», отданную мне после покупки новой, портативной, восхитительно плоской и заграничной. Между нами говоря, печатать я не умел, абсолютно. Обливаясь потом, три часа тыкал пальцем, чтобы слепить одну страницу. Тем не менее я получил ответственное задание отпечатать начисто письмо товарищу Брежневу Леониду Ильичу, Генеральному секретарю ЦК КПСС. Некрасов привёз с собой откорректированный черновик.

Это была жалоба на беспричинный обыск, на пяти страницах.

Вика не хотел, чтобы текст попал в киевское КГБ раньше, чем к Брежневу, поэтому, опасаясь утечки, не отдал его на перепечатку машинистке.

Письмо заканчивалось так: «В свете этого утверждаю, что действия органов КГБ против меня не только глубоко оскорбительны, но и наносят серьёзнейший вред авторитету Советского государства. Рассчитываю, уважаемый Леонид Ильич, на Ваше вмешательство и поддержку».

Напечатав до конца это письмо одним пальцем, я проникся к себе глубоким уважением...

Прибытие Некрасовых переположило не только криворожских чекистов. Этим нештатным событием были потрясены и все родственники Милы. Да и для нас это превратилось в праздник, запомнившийся на всю жизнь.

Но чем, чем же угощать бесценных гостей?

— Что вы любите, Виктор Платонович? — робко спросила Оля, сестра Милы.

— Свежий белый хлеб! — без запинки сообразил писатель.

Через пару дней наша кухня была завалена вчерашним бывшим свежим хлебом, который покупался буханками три раза в день. Был приготовлен роскошный ужин, приглашены отборные гости — несколько робких почитателей Некрасова из наших близких знакомых.

Моя племянница Лара, в то время бойкая отроковица, помогая накрывать на стол, успевала безотрывно глазеть на приезжего лауреата, стараясь ничего не пропустить. И не зря старалась, уловила главное откровение.

— Виктор Платонович сказал, — горя глазёнками, сообщила она всем, — что ненавидит мокрое мясо, чтение толстых рукописей, Корнейчука и антисемитов!

Женщины шмыгали носом в восхищении — вот что значит столичный человек, прямо-таки вольнодумец!..

На третий вечер, прогуливаясь со мной под почтительным надзором криворожских топтунов, Вика торжественно пообещал мне, что если они уедут, он сделает всё, чтобы вытащить нас к себе. Сейчас же, увидев на криворожской площади танк на постаменте, Некрасов встрепенулся и живо осмотрелся.

— Пстой-ка, здесь же мы с тобой выпивали, в загсе! Он где-то неподалёку!

Семь лет назад В.П. уже приезжал ко мне в Кривой Рог, погостить. Гостевание заключалось в круглосуточном балдеже. Через три дня деньги закончились, а в долг мне давать перестали ещё задолго до встречи с писателем.

Утром мы вышли в город абсолютно сухие, без гроша, с надеждой насшибать хотя бы рублишко на бутылку вина. Естественно, ни одного знакомого, расположенного ссудить пару копеек, мы не встретили и печально топтались на площади Мира.

И вдруг увидели процессию: жениха с невестой, дружек с цветами, нарядно одетых людей, входящих в загс. Мы с Виктором Платоновичем, в мятой и худой одежде, покрытые щетиной, проникли туда вслед за толпой, не слишком соображая зачем.

Внутри наткнулись на галдящих родственников и друзей другой, только что расписанной пары молодожёнов, провозглашавших тост за счастье молодых. Протиснулись к подносу, с непостижимой наглостью взяли по бокалу шампанского, выпили и ещё раз взяли. Вика вполголоса воскликнул здравницу. На нас смотрели с недоумением, не решаясь, однако, спросить, кто такие.

Явно поправив настроение, выскочили на улицу, радуясь, что избежали тумачков...

Кроме письма Брежневу Некрасов замыслил и другое судьбоносное предприятие.

После обыска, ещё в Киеве, была написана им статья, предназначенная для публикации в западной прессе.

— Написал, но не знаю, что дальше, — сказал он. — Пока созреваю... Милке пока ничего не говори. А Галке тем более. Чтоб не хлопала крыльями...

Статья называлась «Кому это нужно?».

Кроме буквального вопроса, выражение это является ещё и риторическим восклицанием, модным в то время на Украине. В смысле — что за ерунда! Стоит ли этим заниматься! Бесплезное и бесцельное занятие, мартышкин труд!..

Раз тебя щёлкнули по носу, устроили обыск, надо им ответить. Если что и спасёт, то только неотложная огласка этого дела. Не молчать, как мы все при Сталине, как евреи при Гитлере — тише, друзья, не будем дразнить зверя, только навредим себе, может, пронесёт... Не пронесёт! Кричи, бей в двери, устраивай скандал или истерику на людях — только это может тебя спасти. А так затопчут, сомнут и придушат! Так говорил мне Некрасов во время нашей неспешной вечерней прогулки по криворожским улицам.

Понимая, что моё мнение мало чего решит, но поддержит его, я кивал, мол, согласен, хотя осторожность — мать мудрости...

После взволнованных слов о преследованиях и отъезде инакомыслящих: «Кому это нужно? Стране? Государству? Народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться?» — Некрасов добавил эффектную фразу: «С кем же мы останемся? Ведь следователи КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний».

Что ты думаешь, спросил Вика. Я ответил, что это слишком резко написано. В том смысле, что возврата по-

том не будет. Рубит, как говорится, концы. В.П. покивал головой: именно так он и представляет развитие событий. Вся эта возня надоела, надо принимать решение! Пора уезжать, жизни здесь нет, как на Марсе, грустно пошутил В.П.

Мама с Викой возвратились в Киев, очень довольные приёмом и оставив нам Джульку, чтоб привезти попозже. Они собирались ещё мотнуться в Москву.

Сразу же из Киева прислал благодарственную открытку:

«...Милку мать всегда описывала как простую и милую девчонку. И не ошиблась, скажу тебе. Она мне очень понравилась. И Кривой Рог — город что надо! То есть сам-то город с виду дерьмо, но и вы, и ваши Оля с Вовой встречали нас по-царски. Какие вареники, пампушки, котлеты!»

А потом вторая, уже из Москвы:

«Провернул я всё это молниеносно, ни с кем не посоветовавшись, чтоб не морочили бейцы. Два дня, и готово...»

Мила недоумевает — что провернул, что готово? Я с какой-то пасхальной благостью объясняю, но испытывая стеснение в груди. Фраза означает — Некрасов передал западным корреспондентам статью «Кому это нужно?».

Собственно, ради этого и ездил он в Москву.

Прочтя открытку, я определённо почувствовал, что всё теперь пойдет иначе, что в нашей жизни всё изменится. Не скажу, что в душе моей запели ангелы, но какие-то отголоски райской музыки я услышал явственно. Намечалось нечто неизъяснимое и необычное!

Я тогда и думать не думал ни о каких зловещих последствиях, что будут досажать, дергать, увольнять, исключать и мурыжить. Был уверен, что Некрасова вот-вот выпустят в Швейцарию и вообще произойдёт что-то небывалое, приятное или даже радостное. И всё закончится хеппи-эндом!

И такая беззаботная наивность, как ни странно, во многом помогла нам избежать приступов страха или отчаяния, когда мы остались одни.

А пока что в Москве Виктор Платонович, «совсем не рвущийся в театр, ходил на “Трёх сестер”. Очень так себе», скептически поджимал губы В.П. С этой троицей Некрасову вообще не везло. Его и в Париже понесет нелёгкая на спектакль прославленного Питера Брука — сбежит в ужасе со второго действия...

Единственная отрада — «пошёл в Манеж поглазеть на портрет Брежнева блудливой кисти Налбандяна. Впечатление — яркое, как будто пожевал говна», — сообщает в письме В.П.

Мать, конечно, в гостях пытается сидеть, как всегда, на краешке стула, но даже это особо не раздражает В.П. Вообще после обыска он проникся к Галине Викторовне теплотой, стал гораздо терпимее к её привычкам и недостаткам. Выражение «краешек стула» восходит не помню уже к чьему рассказу о том, как некая жеманная дама, играя скромность и воспитанность, всё время говорила хозяевам дома, чтоб не беспокоились, она посидит, мол, здесь, на краешке стула.

Мама действительно была деликатным человеком и, будучи в гостях, очень заботилась о благоприятном впечатлении.

«Простите великодушно», «не будете ли вы возражать», «я позволю себе попросить вас», «обо мне бога ради не беспокойтесь», «мне необыкновенно удобно» — эти и прочие формулы вежливости высмеивались Викой как буржуйские повадки. Мама страдала от насмешек, но ничего сделать с собой не могла — «краешек стула» торжествовал и шествовал всепобеждающе, как идеи коммунизма.

В мае мы поехали в Киев, отвезти Джульку.

Мужик я был здоровый и сравнительно бодро вытащил из вагона два чемодана с банками варенья, солений и домашних консервов. На шее у меня висела сумка с двумя трёхлитровыми банками вареников с вишнями, залитых вишнёвым же киселём.

Из экономии такси не взяли.

Было дико тяжело. Утешало, что страдал я так ради блага писателя-правдолюбца. Вареники с вишнями почитались Некрасовым как большое лакомство. Состряпала это вишнёвое великолепие Оля, сестра Милы. Сама Мила тащила в авоське огромную кастрюлю, наполненную пампушками с чесноком — ещё одним яством, страстно любимым писателем.

Вадик надрывался под тяжестью коробки с домашним наполеоном. Каким образом я нёс ещё и чемодан с нашими вещами, я уже не помню...

20 мая 1974 года, тюкая одним пальцем, привычно испортив массу бумаги, я печатаю в Киеве второе некрасовское письмо к Брежневу. Письмо это В.П. сфотографировал и копию переслал на Запад через французского корреспондента.

«Все эти факты — значительные и более мелкие — являются цепью одного процесса, оскорбительного для человеческого достоинства, процесса, свидетельствующего об одной цели — не дать возможности спокойно жить и работать.

Я мог бы в этом письме перечислить всё то полезное, что я, на мой взгляд, сделал для своей Родины, но всё это, как я вижу, во внимание не принимается. Я стал неугоден. Кому — не знаю. Но терпеть больше оскорблений не могу. Я вынужден решиться на шаг, на который я бы никогда при иных условиях не решился. Я хочу получить разрешение на выезд из страны сроком на два года...

Само собой разумеется, со мной должна выехать моя семья и дозволено мне вывезти необходимые мне книги и мой архив, как литературный, так и семейный, накопившийся за 63 года моей жизни...

Писатель не может работать, зная, что каждую минуту к нему могут прийти и забрать и не вернуть написанное.

В ожидании Вашего ответа, с уважением, В. Некрасов».

На следующий день, 21 мая 1974 года, правление Киевской организации СПУ исключило Виктора Некрасова из членов Союза писателей Украины за то, что «позорил высокое звание писателя своей антисоветской деятельностью и аморальным поведением».

## Какая сука разбудила Ленина?

Перед своим отъездом в Израиль Наум Коржавин объездил, прощаясь, пол-Союза. Заехал и в Киев, к Некрасовым, часов в одиннадцать вечера.

Весёлый, неуклюжий, в уродливых круглых толстуших очках, вечно голодный и не закрывающий рта.

Мама срочно учинила на кухне повторное чаепитие.

Вика с Эммой (так Коржавина называли друзья) говорят о знакомых, о Москве и Израиле, об очередном диссидентском заявлении, переданном по «Голосу Америке». Мы с Милой почтительно слушаем, в разговор не встречаем, не сводим глаз с именитого поэта.

Эмма по своему обыкновению прямо-таки с прожорливостью буревестника запихивается бутербродом, потом другим, торопится проглотить, чтобы говорить дальше, поведать новости и просветить нас. Вика смотрит на него

с улыбкой: ешь, ешь, Эмка! Мама мажет ему булку маслом — скушай, Эммочка, ещё!

Крошки сыплются поэту на колени и за пазуху. Он периодически роняет на пол то ложечку, то нож. Салфеткой не злоупотребляет.

Эмма не умолкает, громко, но невнятно подшучивает над советской властью, мы очарованы смелостью речи, а Вика гордится другом. Иногда, показав глазами на потолок, — хоть и прослушивают, но я всё же расскажу, — Эмма тихим голосом повествует очередную московскую побасёнку. Потом мы, конспиративно притихнув, склонив головы в кружок, слушаем его, чётким шёпотом читающего свои стихи — знаменитую «Балладу о Герцене», нам тогда неизвестную:

Какая сука разбудила Ленина?  
Кому мешало, что ребёнок спит?

Мы смеёмся, поражены и замираем перед поэтическим бесстрашием. Вика гладит Эмку по голове, тот снова что-то невнимательно жуёт, читает ещё и ещё...

На другой день мы с Викой стоим на террасе Бориспольского аэропорта, провожаем Эмму в Москву. Он снизу, с лётного поля, машет нам рукой и улыбается в ответ на прощальные шуточки. Что-то кричит, тоже острит, наверное. Громадная авоська набита какой-то ерундой, пара бутылочных горлышек торчит наружу. Эмма волочёт эту обузу, оборачивается несколько раз, не может расстаться. Вика, по-видимому, разволновался ужасно, я же просто взгрустнул.

— Приятный человек, правда? — говорю я.

— Приятный! — отвечает Вика. — И страшно талантливый поэт.

Вообще грустить на проводах новых друзей было чуть ли не главным развлечением в Киеве. При этом мы чувствовали себя как в некоем братстве отказников. Или навсегда уезжающих. Или посмевших этому сочувствовать. Душевный приятель Вики, киевский журналист Юрий Дулерайн, уехал на полгода раньше. Крепыш Юрка курил трубку, работал в какой-то речной газете, поэтому считался моряком. Подарил на прощание тельняшку. Некрасов любил его, и, когда Юрка забегал к нам после работы, они с неизъяснимым удовольствием обсуждали киевские слушки, общих знакомых и эпохальные проблемы. То есть связанные с отъездом в Израиль.

Потом они несколько раз встречались в Америке. Некрасов жил в его новом доме, наслаждаясь ласковым вниманием хозяйки Иры и постанывая от неумного красноречия хозяина. Но, возвратившись в Париж, нахваливал хлебо-сольную американскую жизнь, радовался журналистским успехам Юрки и называл Иру «классной бабой».

...Некрасов положил телефонную трубку, закурил неизменный «Беломор» и торжественно объявил, что сегодня мы пьём чай с женой Колчака, то есть с Колчачкой. Двадцать пять лет отсидки и ссылки! Приехала из Москвы, хочет увидеться.

Мама затрепыхалась в обычных переживаниях, я побегал в магазин за чайной колбасой.

Вечером пришли две чистенькие, стройные и сверх всякой меры интеллигентные старушки. Я поначалу даже и не понял, кто из них была знаменитой любовницей Анной Тимирёвой, обожаемой Колчаком, но, конечно, не его законной женой. Та успела уехать в Париж, как мы узнали потом.

На киевской кухне сидели две аристократки и по виду, и по манерам, и по разговору. Беседа, как говорится, тихо

журчала. Вика вёл себя чрезвычайно учтиво, улыбался приятно и не клал на стол локти. Проводив гостей до двери, В.П. посмотрел на меня и покачал головой, мол, да, дамы, что ни говори, — высший класс! Просто рад, что познакомился...

А вот с актёром Станиславом Любшиным они были знакомы давным-давно. Поэтому когда московский театр приехал в Киев на гастроли, Любшин сразу же радостно объявился и был приглашён на чай.

Тут уж затрепетала в волнении Мила — как же, звезда экрана и красавец мужчина, расскажешь в Кривом Роге — не поверят! Любшин пришёл с подругой и приятелем, тоже из их театра. Гости особо не задержались, поговорили степенно и сфотографировались на память. Оставили контрамарки. Некрасов поморщился: начало спектакля было в семь вечера, когда писатель по обыкновению нежился в дрёме на диване. Но увёртки могли обидеть этих хороших ребят. И он пошёл на спектакль.

Все актёры были предупреждены, что в третьем ряду на гостевом месте сидит сам Некрасов. Со сцены всё время поглядывали в зал, интересовались реакцией киевской знаменитости.

В середине первого акта знаменитость сладчайше уснула. И спала довольно долго, до аплодисментов, ранив, вероятно, возвышенные души московских лицедеев. Но ко второму акту всё образовалось, отдохнувший писатель, разобравшись в ходе событий, бодро хлопал и одобрительно ёрзал.

На следующий день он долго и вроде бы искренне извинялся по телефону. Любшин посмеялся и всё простил.

А осенью впорхнула в некрасовскую квартиру редкая по тем временам птаха — американка. Зрелого возраста, с крупны-

ми белоснежными зубами, в ореоле бледно-сиреневого перманента. И не дающая никому слова вымолвить. С Некрасовым она знакома не была, приехала без приглашения и исключительно, чтобы его духовно поддержать.

Тепло и довольно понятно рассказывала о себе по-русски, показывала фотографии мужа, яхты и дома с пальмой. Ни о чём не расспрашивала. Имени её никто не расслышал. Поболтав часок, ушла, раздав всем присутствующим заморские презенты: картонную подставочку для пивной кружки, американский полтинник, два цветных фломастера и частый гребешок в форме уточки. Мне достался ножик для чистки картошки.

Маме была преподнесена коробка конфет. Еле дождавшись ухода благодетельницы, домочадцы набросились на конфеты, а В.П. вдруг пришёл в восторг: конфеты-то были уложены в причудливые соты, выдавленные в пластмассовом листе! Такого у нас в Стране Советов, на родине спутника, не было и в помине! Мы подивились прогрессу, а писатель быстренько приладил эту ячеистую конструкцию гвоздиком на стенку в кухне. До самого отъезда все вновь приходящие гости, поломав голову, сходились на том, что это что-то новомодное, скажем скульптура. Издалека это и вправду походило на нечто, созвучное современным веяниям в искусстве. Вика сиял и потирал руки...

Но наиболее приятным событием было получение посылок и бандеролей из-за границы. Неизвестно от кого. Просто звонили и предупреждали: к вам придут с передачей, ждите. И посылки приходили часто и без проволочек. Потом мы узнали, что этим занимались всякие гуманитарные ассоциации.

Посылались главным образом роскошные книги и альбомы по искусству. Предполагалось, что опальный писатель может их продать в букинистическом магазине,

чтобы в нужде свести концы с концами. Некрасов на концы внимания не обращал, а книги оседали в отдельном шкафу, на чёрный день. К счастью, до его отъезда чёрных дней было немного, поэтому всё это богатство осталось нам в наследство.

Кроме альбомов по почте приходили разнообразнейшего покроя джинсы и растворимый кофе. Тоже, надеялись, на продажу. Торговать носильными вещами никто из нас не умел, а Некрасов ещё и стеснялся огласки. Ославят, боже упаси, спекулянтom! Так как все фирменные джинсы были маленьких размеров и Некрасову не годились, мы с Сашей Ткаченко — поджарые, как борзые, — беззастенчиво выпрашивали их у Некрасова для личного, так сказать, пользования.

Эти царские, по тем временам, подарки делались им с дорогой душой.

## Квартирная кража

— Зачем Киеву два памятника Ленину?! — саркастически воскликнул Некрасов. — По правде говоря, оба дрянь!

Мы пересекли Октябрьскую площадь и направились на Владимирскую горку.

Прогулка задумана как прощальная, поэтому мы часто фотографируемся на фоне встреченных достопримечательностей. Крещатик, Пассаж, Мила с Вадиком возле тележки с мороженым, смотровая площадка над Днепром... Как назло, солнце бьёт прямо в объектив, поэтому днепровской панорамы не получилось, зато возле бочки с квасом фотографии вышли великолепные.

Молча походили вокруг Вечного огня, потом вышли к балюстраде и уставились на Днепр.

С задумчивой улыбкой Вика произнёс: «Сестрику, братику, попрацюємо на Хрещатику!» И, вздохнув, посмотрел на нас. Нечувствительные чурбаны, мы недоумённо промолчали, и В.П. объяснил, что написал эти нехитрые строчки Павло Тычина и после войны их повторял весь Киев. Мы этого не знали.

Когда-то после вечернего чая обязательно полагалось с Зинаидой Николаевной совершать в Царском саду неторопливый променад. Непременно с Евой и Исааком Пятигорскими. Прогуливались медленно, женщины под ручку впереди, мужчины неспешно беседовали. Чаепитные гости тоже не отпускались, шли чуть в отдалении. Ритуал никогда не нарушался.

Близкие киевские друзья Некрасова, Пятигорские, повседневно назывались Евуся и Исачок. Исачок был добрым и немногословным, очень любил встречаться с Викой, и чувствовалось, что приходил отдохнуть душой от обыденной жизни. К властному и прямому характеру Евуси Вика относился добродушно, изредка побаивался её языка, но в основном, как говорили, Еву не праздновал, то есть делал по-своему. Была она преданным другом, но твёрдо верила, что облечена высшей миссией заботиться обо всех мужчинах, и о Вике в частности. Эту опеку В.П. охотно допускал, но раздражался, когда Евуся донимала его нотациями о вреде спиртного.

— Ты можешь объяснить мне, Вика, — сурово отчитывала его Ева, — почему ты третий день подряд пьёшь эту гадость? Почему ты вообще пьёшь водку?!

— Потому что вкусная она! — дерзил он и шёл в кабинет добавить ещё, чтоб утвердить своё достоинство пьющего мужа...

Исаак работал в каком-то строительном тресте довольно большим начальником, а Ева считалась журналисткой и поэтому на работу никогда не ходила. Промышляла она мод-

ной в советские времена «литературной обработкой». Иногда получала задание написать книжку, что-то вроде воспоминаний, от имени так называемых знатных людей. Среди её клиентуры был и знаменитый Алексей Стаханов, доставивший особые хлопоты Еве. С ним можно было беседовать лишь в краткие перерывы между запоями, когда всякий нормальный человек меньше всего хочет сидеть с постылым журналистом, да к тому же непьющей бабой. В общем, беднягу Стаханова заарканили-таки на несколько дней родственники, не выпускали из дому, а Ева в это время выпытывала у него всякую ерунду. Книжка-то у неё была написана ещё дома, заранее, и одобрена в горкоме.

Когда язвительная Ева с глубоким подтекстом рассказывала эту историю, Некрасов страшно веселился и называл Стаханова молодцом.

Потом Исачок умер, стычки с Евусей участились, так как она перенесла всё своё внимание на Вику и без меры принимала советы в будничной жизни.

Их дружба тлела ещё пару лет. А погасла окончательно совсем по другой причине.

Ева испокон веков печатала на машинке всё написанное Викой. Была, как он говорил, обнимая её за плечи, его персональной и безотказной машинисткой. В последние перед отъездом годы Некрасов нередко писал длинные письма, то протестуя против несправедливости властей, то в защиту обиженных, преследуемых, арестованных людей, то пытаясь что-то доказать партийным владыкам Украины. Писал и самому Брежневу, и Суслову, и просто на деревню дедушке, в Центральный Комитет. Ева перепечатывала, хотя была страшно недовольна: зачем он лезет на рожон, да ещё и не в своё дело!

Что переполнило чашу, я точно не знаю. Наверное, что-нибудь из самиздата или один из Викиных рассказиков,

которые тогда граничили с «антисоветчиной», хотя сейчас они выглядят невинными зарисовками. Но Ева, будучи прямым и обязательным человеком, заявила Вике, что она больше ему ничего печатать не будет! Что он ведёт себя как мальчишка, ставит под удар не только себя, но и других, в частности её, и что она потакать ему в этом не желает. Некрасов по-настоящему обиделся, и их контакты полностью оборвались.

Ева не пришла его проводить, не позвонила перед отъездом, не передала ни с кем даже пару слов... Уже после смерти Вики его очень близкий приятель Гриша Кипнис сказал мне, что был на Байковом кладбище в Киеве и могилка мамы, бабушки и тёти, «Викиных женщин», выглядит чистенькой, даже ухоженной.

— Кто же смотрит за ней? — спросил я, не надеясь на ответ.

— Как кто? Ева! Болят ноги, но на кладбище ходит, следит за могилой, из своих копеек платит сторожу, чтобы присматривал за цветами...

Я передал ей денег, но письма не написал, не осмелился... Она была женщиной строгой, честной и преданной. И всегда очень переживала за Вику. А кто был я для неё? Без Вики — никто.

...Купив у входа в Пассаж по порции знаменитого киевского пломбира, мы с Виктором Платоновичем размеренно прогуливались, поджидая Геляшу Снегирёва.

До отъезда в Швейцарию оставалось менее месяца.

Гелий порадовал прекраснодушием маленько выпившего человека. Доел мой обсосанный пломбир, поинтересовался, чем, мол, будем заниматься.

Пошли пройдемся, пригласил В.П. Он договорился, будет сеанс позирования, здесь рукой подать.

Несколько дней назад приходил к нам киевский фотограф Володя Шурубор, сфотографировал небольшую картину Бурлюка, висевшую в кабинете В.П. Цветная фотография была заказана на память. А продать картину он попросил своего московского приятеля, чтобы вырученные деньги оставить нам...

Фотоателье Володи Шурубора представляло собой большое помещение с очень грязным стеклянным, что ли, потолком, щербатыми кафельными стенами и загаженным умывальником в углу. На бельевой верёвке на прищепках сушились плёнки. Одна стена была затянута чёрным, стояла пара юпитеров и рефлекторов с зонтами. К батарее прислонены две большие, добротные позолоченные деревянные рамы.

В банке стояла свежая хризантема.

Фотограф был невысок ростом, трезв, хоть показывая на ярмарке, многодневно небрит и на дурацкие шутки не отвечал. Но разговорился, когда все дружно подивились его заморскому фотоаппарату с громадным объективом. Рассказывая запутанную, абсолютно никому не интересную историю о его покупке, Шурубор отснял целую плёнку с Некрасовым. Чего ещё, поинтересовался?

— Давай, сними нас в этой раме, — оживился В.П., — для хохмы! Иди сюда, Витька, влезай в раму.

Ещё одна плёнка была отснята, потом В.П. позировал с хризантемой, делал томное лицо. Гелий тоже напросился сняться с яблоком, держа его двумя пальцами и как бы задумавшись о судьбах неустроенного мира...

На следующий день пришли за фотографиями. Шурубор протянул нам пачечку. Действительно профессионал, похвалил Виктор Платонович. Это, пошутил, не то что ты, Витька, и даже не я!

Пока они разглядывали снимки, я совершил квартирную кражу — снял с верёвки отснятую плёнку, быстренько

свернул в трубочку и сунул в карман. Хозяин сразу не заметил, но потом наверняка поминал меня на чём свет стоит, до пятого колена включительно. Плёнка сейчас в моём архиве, и когда я на неё натыкаюсь, угрызения совести меня не терзают. Но примерно раз в десять лет я всё-таки огорчаюсь, самую малость, ведь факт кражи, вероятно, говорит о моей моральной червоточинке. А Шурубора вспоминаю с благодарностью. И извиняюсь перед ним...

Навестили мы и Женю Гридневу, вдову друга Некрасова, погибшего на фронте. На довоенных фотографиях она просто красавица, и я сильно подозреваю, что Некрасов был в неё тогда безответно влюблён. Сейчас Женя, курящая папиросы старая женщина, одетая даже чересчур бедно, сидела с нами за столом и плакала.

— Зачем тебе уезжать, Вика? — повторяла она. — И ты там истоскуешься, и мы здесь скучать до смерти без тебя будем...

Подсев к ней, он успокаивал, что-то тихо втолковывал, не хохмил и не поддразнивал. Я уткнулся в полуслепой телевизор. Женя поставила чайник, плакать перестала.

Тут влетела её дочь, Ира Доманская, стройная, с модной причёской, но почти совсем седая в свои тридцать пять лет. Она говорила «дядя Вика», вольно шутила и вела себя как всеобщая любимица. За чаем вспоминали возвращение Некрасова с фронта, как он им покупал мешками картошку, приходил часто, давал деньги и, можно сказать, воспитал Ирку.

— Но никогда ничего не запрещал! — перебивая всех, радовался воспоминаниям Вика. — Не то что твоя мать, женщина с противным характером!

Он не забыл, что Женя опекала его женщин в оккупацию, таскала на себе дрова и воду, не забыл её мужа, своего

друга. Не забыл, как после войны вместе купали они в тазике маленькую Ирку, ничего не забыл...

Все отодвинули грусть в сторону, болтали беззаботно.

Расцеловавшись на прощанье, В.П. попросил отвечать на письма, сказал: Витька привезёт из Пассажа телевизор, прекрасно работает, купили совсем недавно. Никакого телевизора я не возьму, рассердилась Женья, ушла в другую комнату, а Ирка пошла нас проводить.

— Вот возьми немного денег, — сказал В.П., — сунешь матери потихоньку. Не говори, что от меня, а то она такая дура, что даст потом мне прикурить за это. А телевизор всё-таки вам привезём, не выбрасывать же его, правда, Витька?..

Ира умрёт через десять лет, после тяжёлой болезни. Вика печально вспомнит о ней в изящнейшей новелле «Виктория», одной из самых некрасовских вещей. Когда умерла сама Женья Гриднева, никто в Киеве не знает, говорят только, что свою дочь она пережила...

Перед отъездом возникла ещё одна заковыка — куда пристроить книги? Наилучшие альбомы по искусству и подписки я отложил для себя. Будучи, как тогда говорили, книголюбом, я понимал, какую ценность представляют собой книги. Кроме ценности духовной, если позволите. Но самые дорогие издания решено было продать в присутствии Некрасова. Выручка оставлялась нам.

Некрасов пригласил зайти свою знакомую — заведующую писательской книжной лавкой — для оценки и скупки особо редких книг. Было и несколько действительно старых, в частности «История государства Российского» Карамзина. Книги по зодчеству тридцатых годов, многотомные сочинения издательства Academia, шикарные монографии о балете и архитектуре, неподъёмные альбомы по искусству... Некра-

сов грустно смотрел, как с полок выуживались стопки его любимых книг.

Заведующая оказалась хитрованом и так беспардонно занижала цены, что даже простодушный Некрасов заподозрил надувательство и как бы даже цыкнул на неё. Дама примирительно прикладывала руки к груди и в знак своей непорочности увеличила все закупочные цены чуть ли не вдвое.

На следующий день попал впросак и я.

Одному из знакомых Некрасова очень хотелось заполучить собрание сочинений Гюго, и он обратился ко мне якобы за советом. На каких условиях он может вступить, как он выразился, во владение этими книгами? По рублю за том, делая широкий жест, ответил я, это просто бросовая цена! Знакомый заплатил, унес книги и невинно как бы сообщил Некрасову, что я не подарил ему книги, а продал. Некрасов рассердился, даже накричал на меня, дескать, никакой торговли книгами не допустит, велел вернуть деньги. С болью в сердце я отдал деньги и обиделся втайне на своенравного отчима. Но через пару часов обида прошла, а горечь потери одиннадцати рублей стёрлась. Некрасов тоже быстро забыл об этом, я надеюсь.

Перед отъездом он оставил мне доверенность на все будущие его гонорары. Не зная ещё, что уже тогда его книги изъяли из библиотек и уничтожили. Но он был почему-то уверен, что «В окопах Сталинграда» будут продолжать издавать, несмотря ни на что. Он ошибся, «Окопы» тоже были вычеркнуты из памяти почти на двадцать лет\*.

Все книги Виктора Некрасова были официально запрещены приказом Главлита №31 от 13.08.1976. После согласования с ЦК КПСС. В том числе и «В окопах Сталинграда», с пометкой «Все издания на всех языках». Хотя к 1974 году повесть «В окопах Сталинграда» была издана 120 изданиями на 30 языках.

## Ушедшие и пришедшие...

За год-два окружение Некрасова изменилось совершенно. Старые, казалось, навеки преданные друзья как-то стушевались, незаметно и оробело отошли, а иные прямо предупредили — больше знаться с тобой мы не можем, это опасно, ты должен понять!

— Не понимаю, не хочу этого понимать! — чуть не плакал от боли и печали Некрасов. — Ну, нельзя же так бояться! Тридцатилетняя дружба!

Он лежал у себя на тахте и несколько высокопарно изливал свою горечь.

— Это удалось советской власти — вселить во всех страх! — В.П. даже расстроился. — В Москву ехать надо, вздохнуть посвободней и душу отвести. Там не так пугаются пока что...

Он уезжает навсегда, это было всем понятно, а его друзья останутся, тоже навсегда. Что эти люди должны были делать — рыть себе могилу? Дразнить гусей? Бросаться в пасть? С какой целью, зачем и почему?

— Ради дружбы можно было бы... — сказал тогда Вика.

Кто же тогда оставался с ним? Уезжавшие в Израиль. Или отказники. Они не боялись. Им нечего и нельзя было бояться! Да ещё буквально полдюжины старых киевских приятелей...

Некрасов многие годы очень дружил со Всеволодом Вединым, директором Киевского отделения агентства печати «Новости».

В лучшие времена жизнь в агентстве начинала кипеть уже с полудня.

Получалось так, что если банковать на бутылку предлагал не писатель Некрасов, то это был Гриша Кипнис, кор-

респондент «Литературной газеты». А бывало, и сам Сева Ведин ощущал внезапно неизъяснимый трепет выпивки. Не говоря уже о бесчисленных командированных газетчиках, слоняющихся без дела разовых журналистах или киевских коллеггах-щелкопёрах, которые в муках жажды подтягивались к обеденному перерыву.

Сева Ведин не порывал дружбы с Некрасовым даже в предотъездные, самые трудные дни. Ласково принимал его в своей конторе, часто заходил домой, хотя выпивать вместе они, к взаимному огорчению, совсем перестали — у Севы недавно случился второй инфаркт.

Сева помогал канителиться по отъездным делам, доставал всё необходимое, он ведь знал в Киеве каждую собаку. Некрасов называл его хозяином Крещатика и нередко с довольным видом объявлял, что Севка ничего и никого не боится. А ведь он был журналистским деятелем и каким-никаким, но коммунистом.

После отъезда родителей я отдал ключи от квартиры в Пассаже Севе Ведину. Он поселился в этой квартире со своей женой. Бывшая стюардесса, она была намного его моложе, мясиста телом и груба повадками. Всё время хамила Севе, не давала слова сказать и не стеснялась посторонних.

Когда я потом пару раз приезжал в Киев, то останавливался у них. Но общались мы мало. Он выглядел совсем-совсем больным, ещё больше потолстел, о Вике спрашивал на ходу и с утра убегал на работу. Сразу было понятно, что Сева не жилец. Обрюзгший, крупно потеющий, глотающий в разговоре слова, каждую минуту он присаживался и утирался платком. В просторной некрасовской квартире было просто грязно...

Сева умер вскоре после нашего отъезда, жену его из квартиры выселили без особых церемоний, а остатки прежней мебели и скарба выбросили на свалку. Через много лет

мне с гордостью показывали фотографию отреставрированного портрета маслом Некрасова. Портрет был подобран рваным и продавленным, в куче мусора.

Говорят, что соседка по лестничной площадке взяла к себе и сохранила потрёпанный портфель, набитый письмами с фронта, от Вики к его маме. И послевоенной перепиской. Помню, портфель лежал под небольшим навесом в глубине левого балкона, и я тщательно перебрал все письма, вырезав для себя все марки пятидесятых годов. Потом эти письма каким-то образом очутились у одного московского журналиста.

Но сколько всего было брошено в Киеве! Сколько было выброшено документов после отъезда Некрасова! И просто по нашему невежеству, и из-за абсолютной невозможности всё раздать или увезти. Глупцы, мы считали ценностью совсем не то, что было действительно ценно...

Заскакивал к Некрасовым частенько молодой инженер Андрей Семёнов. Он был гостем, высоко ценимым в доме с безруким, как говорила Мила, хозяином, где обычная перегоревшая пробка вызывает такую же реакцию, как отказ самолетного двигателя при посадке. Андрейка умел всё. Чинил розетки, прибывал полочки или менял лампочки высоко под потолком в коридоре. Помогал маме с покупками. Вика с удовольствием звал его к себе на балкон, поговорить.

Вечерами захаживал журналист Рюрик Немировский, ироничный и рассудительный. Приносил киевские новости. Мила немедленно подсаживалась слушать. Галантный Рюрик, воодушевлённый присутствием красивой женщины, блистал язвительностью и с живостью перемывал косточки знакомым да и незнакомым киевлянам. Интересно было не только Миле.

Очень часто бывали Янкелевичи, забыл, извините, их имена. Я знал, что глава семьи — медицинское светило, но в какой области он излучал сияние, никого из нас не интересовало.

Однажды он притащил проектор и диапозитивы. Собралось десятка полтора гостей. После вечернего чая все расселись кто где, выключили свет.

И тихо ахнули.

Профессор Янкелевич был специалистом по изменению пола, иначе говоря, делал из женщин мужчин, и наоборот. На экране он показывал нам этапы операции по превращению женщины в мужчину. Полногрудая женщина постепенно стала мужиком, со шуплым торсом и внушительными первичными половыми признаками. Всё было ужасно интересно, но из-за стеснения многое осталось невыясненным. Жалею до сих пор.

Зачастил в последнее время и юный поэт Алик Петрик со своей пассивной, красавицей и звездой украинского кино Раисой Недашковской. Поэт вдохновенно плёл сказки о тамплиерах, говорил, что орден возрождается, а его, Петрика, приглашают играть заметную роль в общине рыцарей Храма. Некрасов обожал подобный безобидный вздор, усаживался рядом за круглым столом, попивая чай. Известно ли тебе, дружище-поэт, подливал масла в огонь Некрасов, что в незапамятные времена своего могущества тамплиеры имели право на два литра вина в день? Иными словами, они были под мухой в течение всех крестовых походов! Как и мы на фронте, чуть мечтательно молвил В.П., не могли дожидаться ежедневной наркомовской чарки. А потом и второй, и третьей!

Алик этого не знал, но перехватывал инициативу и с чувством привирал, как он прогуливался по Самарканду с рысью на поводке. Как скрывался в тени мечетей, спасая с надёжны-

ми людьми средневековые фирманы. Некрасов попискивал от восторга.

В это время вокруг Некрасова вращалось много именно молодых людей.

Вполне объяснимо, оправдывался он. Молодёжь опасалась советской власти несравнимо меньше, чем старики, помнящие ужасы сталинизма. И необязательно считать, говорил Некрасов, что все эти молодые люди были безбоязненны потому, что были стукачами, — они не боялись просто благодаря своей молодости.

Но были и другие, как бы меченые, в отношении которых сомнений у нас не было.

Воспитанные и располагающие к себе молодые люди возникали из ниоткуда на несколько дней, исчезали бесследно и навсегда. Они были трезвы, серьёзны и разговорчивы. Приходили всегда днем, заводили долгие беседы на литературные темы, заранее договаривались о следующей встрече или же встречались на улице, а потом степенно прогуливались с писателем. Фамилий их никто не знал, а имена были уменьшительные: Шурик, Петруша, Валерик...

Стукач Валерик регулярно навещал раз в неделю. Вызывавший у меня активную (судя по всему, взаимную) неприязнь, Валерик был ладненький, чистенький, начитанный. Рассказывал, что он дежурный электрик поезда дальнего следования, поэтому не удивляйтесь, если он будет отсутствовать несколько дней. Работает, мол, на ташкентском маршруте. Устроился на эту работу по моральным соображениям, чтоб не прислуживать власти.

Появлялся всегда днём, к обеду. Выкушает, бывало, розеточку киселя и говорит складно, расспрашивает негромко, совета просит, как ему обратиться к иностранным журналистам. Написал, говорит, заметки о страшной жизни русских людей вдоль железных дорог, в полосе отчуждения, у нас

в стране никто такого не напечатает, а то и упрячут за это... Некрасов что-то невнятно обещал... Через какое-то время паренёк просто сгинул, не сказал куда.

Кстати, явно находивший вкус в описании подробностей своей жизни, Некрасов нигде в своих произведениях не упоминал о «внутренних» стукачах. Нигде! Только о наружной слежке, допросах, квартирных прослушках...

В тогдашних интеллигентных столичных домах весьма модно было иметь под рукой грифельную дощечку в деревянной рамочке, для дошкольников. Чтобы во время беседы о судьбах мира писать на дощечке наиболее крамольные тезисы. И тут же стирать эти каракули. Дощечка, естественно, привезённая из-за границы, была явным признаком вольтерьянства.

Все охотно демонстрировали грифель, памятуя о повсеместном и поголовном микрофонном прослушивании столовых, спален, ванных и особенно кухонь. По слухам, разумеется. И прежде чем приступить к разговору, пришедший вопросительно дёргал головой вверх, к потолку, дескать, как у вас, всё чисто или есть всё же подозрения? Обычно хозяин многозначительно кивал: да, опасения есть, стоит поберечься.

Зловещим легендам о вездесущих киевских прослушках мы не слишком верили.

Помню, об этом рассуждал на некрасовской кухне Илья Гольденфельд, последний любимый друг Некрасова, физик, фронтовик, дамский угодник и умница. Все звали его Люсик.

Почему — неизвестно, говорил Люсик с красивой жестикующей, но каждый, у кого рыльце самую малость в антисоветском пушку, считает себя в душе значительной персоной, заслуживающей подчёркнутого внимания органов. Каждый уверен, что власти не колеблясь отстегнут из бюд-

жета хорошие деньжищи, чтобы узнать всю подноготную о нём, незаурядном фронтёре.

Ну, хорошо, Некрасов заслужил прослушку, ну Иван Дзюба, ну Таня Плющ, ну Гелий Снегирёв. Ну, ещё паратройка на весь Киев... А на остальных где взять аппаратуру? У нас в стране реального социализма даже простейшие телефонные жучки на строгом учёте! Мы как-то забываем, что у нас социалистическая экономика, иными словами, дефицитная нищета, царство несунув и разгильдяев. Откуда взять столько микрофонов да магнитофонов, да прочих реле и переключателей?! И чтобы всё это включалось, крутилось, да ещё и работало! Вы смеётесь, да?!

Некрасов соглашался с другом — хотя бы для того, чтобы не осложнять себе жизнь неустанной бдительностью.

В общем, насчёт эффективности прослушивания у нас были-таки сомнения, и большие. Но бояться прослушек при этом не прекращали. Так было спокойнее и увлекательнее...

## Кто стучит?

Кто же стучал на Некрасова? Ведь стучали обязательно, но кто же? Этот вопрос всегда был краеугольным среди людей, относящих себя при советской власти к творческой интеллигенции. Да и среди диссидентов он оставался таким же важным.

Первый раз о стукачах мы заговорили с Некрасовым по международному телефону.

Через пару месяцев после отъезда Некрасова в Швейцарию мне позвонил один из его киевских знакомых. В последние месяцы перед отъездом этот среднего возраста человек часто приходил на киевскую квартиру, болтал ни о чём,

поддерживал настроение, выполнял небольшие просьбы моей мамы. Раньше они с Некрасовым особого знакомства не поддерживали, хотя он был архитектором, как и Виктор Платонович.

Они говорили интересно об архитектуре, о Киеве, а перед отъездом человек за немалые деньги купил у Некрасова целую серию альбомов по искусству. Некрасов был чрезвычайно доволен — пристроил редкие книги в хорошие руки, а вырученные деньги отдал детям, то есть нам.

И вот однажды звонит этот человек: он в командировке в Кривом Роге, хотелось бы встретиться, узнать новости о родителях, поболтать... Прогуливаемся, вспоминаем расстроганно киевские встречи, я пересказываю содержание восторженных некрасовских писем.

Человек вдруг без нажима говорит:

— А знаете, Витя, я ведь стукач. Был им. Не мог твердо отказаться, когда мне киевские органы предложили сообщать, что происходит у Некрасова, о чём говорят, что предполагает делать...

Я опешил и поглядел на него, не зная, как себя вести.

— Я не мог отказаться, — бесстрастно продолжал он. — Боялся. За всё боялся. А вот сейчас, верите ли, спать не могу! Прошу вас, передайте наш разговор Вике. Попросите извинить меня. И вы меня извините...

Я даже расчувствовался, взял его под руку. Конечно, понимаю, обязательно скажу! Человек поинтересовался, где живёт Некрасов в Париже. Коверкая, я вымолвил французское название.

— Как? Ах, это произносится Фонтенэ-о-Роз. Я ведь учил французский в школе. Так вы передайте Вике извинения. Не забудете?

Не забуду, сказал я, как такое можно забыть! Понятное дело, этот разговор я слово в слово пересказал в срочном

письме. А когда потом позвонили наши, спросил, как письмо с архитектором, получили?

— Получили, — совсем тихо сказал Некрасов. — А это какой архитектор, отец или сын?

— Отец, я сына и не знаю.

Некрасов помолчал, а потом распрощался...

Когда я вернулся к этой теме уже в Париже, Виктор Платонович был мало расположен разглагольствовать о всяких там сикофантах, и второй наш разговор был краток, хотя и слегка грешил пафосом красноречия.

Заговорили о том, что думать о человеке, который согласился стучать. Это то же самое, горячился Некрасов, как осуждать арестованных, якобы всё понявших и раскаявшихся перед телевизионной камерой. Чем им угрожали, как обрабатывали, пытали? Как нам судить об этом!

Безусловное омерзение вызывают только те, которые добровольно явились в КГБ, чтобы, как выражались, сигнализировать о факте инакомыслия. И дали согласие на «сотрудничество», а то и сами напросились. Или те, которые пошли на это за деньги. Хотя что это значит, за деньги? Живых денег им никто не предлагал, а вот пообещать выпустить фильм, продвинуть сценарий, пособить с расширением квартиры, издать вне очереди двухтомник или разрешить поездку в капстрану — вот вам, пожалуйста, и денег никаких не надо...

Через несколько лет, снова в Париже, мы в третий раз заговорили о доносчиках, шагая к метро.

— Как хотелось бы, — сказал я ни с того ни с сего, — узнать, кто же в Киеве стучал?!

Вика молчит. Я переспрашиваю: разве не интересно?

— Нет! — сухо отвечает он. — Мне не интересно!

Но потом всё-таки добавляет: по всей видимости, это должен быть человек из близкого его окружения...

Но я ведь тоже был близок к писателю...

Вот что интересно: никто ко мне никогда не подкатывался, даже намёком не предлагал поделиться сведениями.

В общем-то, это понятно. Мы с Милой большую часть времени проводили в Кривом Роге, и между нашими приездами были слишком большие перерывы. А значит, провалы в поставке постоянной информации. Да и припугивать или прельщать нас было особо нечем.

А что могли писать об мне в оперативных сводках или характеристиках КГБ? О родственнике Некрасова, из самого тесного окружения? Учитывая, что я частенько поддавал, поря при этом глупости, без меры допускал выходки, абсолютно, бывало, неожиданные, а со стороны просто дурацкие.

Так как же я выглядел в их, гэбистских глазах?

Вика обрадовался, когда я задал этот вопрос, и явно оживился.

— Сейчас, сейчас, попробуем разобраться!

Значит так, я буду говорить, сказал Виктор Платонович, а ты мне помогай и дополняй!

В меру начитанный, незлобный и ненапористый, с удачными потугами на остроумие, скорее тютя. Провинциал со следами интеллигентного воспитания. Бытовой, как говорится, пьяница, с широко открывающейся в этом деле перспективой. Что совсем неплохо для неусыпного спаивания Некрасова. Инженер обыкновенный, талантов на поверхности никаких, после женитьбы особо не юбочник. Обычно не перечит, но иногда бывает дерзок с начальством. Есть опасность, что при попытке его вербовки может открыться своему отчиму...

— Ну, как? Похоже? — поинтересовался с довольным видом.

Лестно полагать, что именно такой и была моя чекистская характеристика.

## Поэт Сосело

Доктор физики Илья Владимирович Гольденфельд был человеком обстоятельным и умел доказывать свою правоту. А прав он бывал так часто, что даже такой известный упрямец, как Некрасов, не слишком артачился, прислушивался к мнению друга.

К отъезду в Израиль Люсик отнёсся как к организации строгого научного эксперимента. «Люсик — главный киевский ребе», — писал в письме В.П., гордясь рассудительностью и серьёзностью друга.

Замечу, что именно Люсик устроил нашей семье вызов в Израиль. Я по телефону попросил его найти якобы потерянного дядю Милы. Вызов пришёл буквально через полмесяца, причём такая шустрость так поразила наши криворожские органы, что заказное письмо принесли мне сразу два почтальона. Один, с чернильным карандашом, почтительно меня рассматривал, а другой, державший письмо, бдительно озирался и почёсывал промежность.

В последние месяцы Люсик и Вика виделись ежедневно — нашего доктора и профессора, естественно, сразу же, не откладывая в долгий ящик, разжаловали, отстранили и уволили. У него появилась масса свободного времени, но ни минуты покоя. Люсик непрерывно с кем-то встречался, одарял советами, ходил на проводы отъезжающих в Израиль, устраивал на дому семинары со своими учениками, и вообще, с дотошностью учёного отдавался обязанностям еврейского активиста. К концу дня уставал как собака, но прибредал со всем семейством к Некрасовым попить чайку. Часто приводя новых гостей, желающих познакомиться с Викой перед отъездом.

В декабре 1973 года они вместе покатали на автомобиле Люсика в Грузию. Профессора пригласили погостить

ученики, узнав про его скорый отъезд. Ну а тот захватил с собой и друга, без меры обрадовав этим приветливых грузин.

Путешественники, конечно же, заехали в Гори, в музей Сталина. Там Некрасов переписал миленькие виршики, написанные в юные годы будущим отцом народов, а сейчас выставленные под пуленепробиваемым стеклом.

Начинались они так:

Раскрылся розовый бутон,  
Приник к фиалке голубой,  
И, легким ветром пробужден,  
Склонился ландыш над травой...

В Киеве эти стишки декламировались всем новым гостям. Гости же давнишние были вынуждены в который раз слушать. Полакомившись любимой халой с маслом и выпив пар стаканов чая, В.П. доставал листок и просил отгадать, чьи стихи он сейчас прочтёт.

Застолье вострило уши.

Задумчивым голосом, совершая кистью руки плавные жесты, В.П. зачитывал стих и вопросительно замирал, глядя на смущённых своей недогадливостью новичков.

— Сосело. 1893 год! — объявлял В.П. — Иосиф Виссарионович Джугашвили!

Гости ахали, складывали губы пуговкой и делали квадратные глаза. Некрасов вкушал сладчайшее удовольствие, любуясь впечатлением...

...В лучшие времена на Крещатике, бывало, отойдя чуть в сторонку, за живую изгородь, Вика любил выпить в позе горниста, запрокинув голову и высоко задрав в руке бутылку. Хотя пить пиво из горлышка в наши времена считалось плебейством. Более робкий, я пил как крысолов, играющий

на дудочке, — держа бутылку горизонтально двумя руками. Что сразу выдавало во мне провинциала

Но это было давно, в безмятежные райские дни. А сейчас прямо на улицах родного города посыпались на писательскую голову неприятности.

Апрельским вечером задержали на Крещатике, всю ночь продержали в милиции, потому что при В.П. не было документов. Утром как ни в чём не бывало отпустили, можете жаловаться, сказали, они не возражают.

В мае в Пассаже, чуть ли не у самых дверей дома, подхватили под руки и отвезли в вытрезвитель. Нельзя, сказал дежурный по району, ходить пьяным по улицам города-героя.

Киевские гэбэшники уже тогда продумали, что это мероприятие им наверняка пригодится и при случае очень хорошо впишется в характеристику писателя — опустившийся тип, с приводами в милицию и помещением в вытрезвитель...

Потом на какое-то время всё в Киеве успокоилось.

Из письма от 31 марта 1974 года: «Я спокоен и раскован. Не знаю только, чем толком заняться. Писать — не пишется. Так — болтаюсь, придумываю какие-то занятия...» Занятия эти состояли главным образом в перебирании бумаг и фотографий. Прикидывал уже, что взять, что оставить, кому что отдать. Хотя об отъезде вслух никто не говорил.

«Писать — не пишется. Так, болтаюсь, придумываю какие-то занятия, читаю “Былое и думы” вперемежку с “Виконтом де Бражелоном”. Листаются купленные для тебя “Смерть Артура” и Мандельштам».

И главная новость, в конце письма: «Сегодня пришло от дядюшки приглашение — мне и Галке — на 90 дней. Буду что-то пытаться».

Приглашение в Швейцарию! Все ликуют, делят небитую шкуру, будто бы всё уже решено. Мама в Киеве,

конечно, всполошена и не слезает с телефона, Вика вида не подаёт, по всей видимости, не знает точно, как реагировать.

Решает, наконец, радоваться и надеяться...

## Целесообразно не препятствовать

Приодевшись в новый гэдээровский серо-коричневый пиджак, Виктор Платонович как-то слишком церемонно пригласил меня проводить его до Центрального Комитета КПУ. Вызывают, сказал, на очередную беседу, хотя давно исключили из партии. Успокоиться не могут!

Здание громадное и длинное, приятного цвета, с колоннадой у парадного подъезда. Я проводил В.П. до самой проходной, громко пообещав подождать.

Некрасов прошагал внутрь, я же пересёк неширокую улицу и уселся на парапете. Постовой милиционер проследил за моим манёвром и отвернулся, сообразив, что так нагло можно вести лишь лицо, облечённое полномочиями. Он, вероятно, принял меня за личного телохранителя только что вошедшего в ЦК седовласого человека.

Минут через десять улица вдруг опустела, приехали две-три милицейские машины, возникло несколько милиционеров и штатских. Прошёлся прилично одетый мужчина, сел в двух шагах, не глядя в мою сторону, не тревожа вопросами.

К левому крылу здания подъехал тяжеловесный лимузин, из него вышел здоровенный мужик — первый секретарь ЦК Компартии Украины Щербицкий.

Я очумело глазел по сторонам, мой сосед напряжённо смотрел прямо перед собой.

Щербицкий прошествовал к служебному входу, машины тут же разъехались, улица ожила, сосед ушел с небреж-

ным видом. Я успел выкурить несколько папирос, прежде чем между колоннами показался Виктор Платонович.

— Мозги морочили! — коротко отчитался В.П. и замолк.

Так молча и дошли до Пассажа.

С секретарем ЦК КПУ по идеологии Валентином Маланчуком В.П. уже виделся пару месяцев назад. Тогда всё было очень официально, секретарь ЦК встретил его холодно, смотрел неодобрительно — докатились вы, товарищ Некрасов, по правде сказать, дальше некуда... Заговорил о письме к Брежневу. Почему вы не обратились к нам непосредственно, мы бы могли всё утрясти здесь, не вмешивая Москву? А публикация за границей идеологически вредной статьи «Кому это нужно?»? Зачем это было делать?..

Но это было тогда, сейчас же писатель Виктор Некрасов был принят по-свойски и улыбочиво препровождён до кресла.

Секретарь сел напротив, чуть в стороне копался в бумагах референт.

Маланчук огорчился, что дело дошло до исключения, советовал зла не таить. Партия, мол, всегда права, всё ведь зависело от вас, шановный Виктор Платонович...

Попросил поделиться планами. В.П. повторил свою просьбу об отъезде в Швейцарию.

Секретарь всплеснул руками — и не думайте, никто вас не выпустит, за границей и без вас хватает антисоветчиков! Хотя он понимает, что не стоить ставить писателя-фронтовика Некрасова на одну доску с этой нечистью. Коммунист, даже не покаявшийся перед партией и исключённый из её рядов, остаётся в душе коммунистом и патриотом. Ведь верно, шановный Виктор Платонович?

Расспросил о дяде в Швейцарии, поинтересовался, чем занимается, почему у него фамилия Ульянов. Понятно, что

однофамилец, но такая фамилия накладывает, как ни говори, ответственность...

Некрасов вежливо соглашался: действительно, ситуация непростая...

Секретарь доброжелательно спросил:

— Ну а что вы вообще собираетесь делать за границей?

— Если получится, буду писать, — полушутливо ответил В.П. — Посмотрю корриду, поеду в Монте-Карло, погуляю по Парижу. С друзьями повидаюсь...

— Конечно, конечно, Виктор Платонович, — мягко согласился Маланчук. — Только вот с антисоветским отребьем мы вам якшаться не позволим! А коррида — это хорошо, почему нет! Только мы вас не выпустим!

Маланчук сделал пару шагов к двери, как бы провожая посетителя...

Не доходя до Пассажа, В.П. вдруг сказал, что надо ему съездить в Москву, похлопотать и посоветоваться, как дальше быть...

— И Галку возьму! — добавил. — Пусть прокатится, чтоб одной здесь не нервничать без толку...

10 июля 1974 года документы на выезд были поданы.

Секретно  
Центральный Комитет  
Коммунистической партии Советского Союза

Писатель Некрасов Виктор Платонович, 1911 года рождения, русский, житель г. Киева, и его жена Базий Галина Викторовна, 1914 г. рождения, пенсионерка, беспартийная, 10 июля 1974 года подали заявление в органы милиции, документы для поездки по частной визе в Швейцарию на три месяца к своему дальнему родственнику Н. Ульянову.

Свою квартиру Некрасов превратил в место сборищ антисоветских элементов — сионистов и других экстремистов, которые с его участием обсуждают вопросы активизации т.н. “движения за демократизацию в СССР”, намечают провокационные акции. Будучи единомышленником Сахарова и Солженицына, Некрасов поддерживает с ними личные контакты, одобряет их враждебную деятельность. В случае выезда Сахарова за границу намеревается стать во главе этого движения.

Неоднократно предпринимавшиеся меры воспитательного характера воздействия на Некрасова не оказали. В 1972 г. он исключён из членов КПСС. Некрасов страдает алкоголизмом, помещался в вытрезвитель. Как писатель работает непродуктивно, авторитетом среди литературной общественности не пользуется.

С целью снижения антисоветской активности Некрасова в январе 1974 г. органами КГБ с санкции прокурора произведён на его квартире обыск, в результате которого было изъято значительное количество антисоветской и идейно вредной литературы.

Некрасов по-прежнему ведёт себя вызывающе и остаётся на открыто враждебных позициях. Его жена — Базий, полностью разделяет антисоветские взгляды мужа...

Учитывая, что Некрасов является морально разложившейся личностью и по своим возможностям вряд ли сможет за границей играть заметную роль в антисоветской эмиграции, а также то, что он и его жена не располагают сведениями секретного характера, представляется целесообразным не препятствовать ему и его жене в поездке в Швейцарию.

Вопрос о разрешении Некрасову возвратиться в СССР можно было бы рассмотреть в зависимости от его поведения за границей.

Секретарь ЦК Компартии Украины В. Щербицкий.

15 июля 1974 г.

## Отъезд

Эмигранты, покидая страну, уделяют особое внимание символическим моментам — последнее фото, последний взгляд, поцелуй и взмах руки, последнее прикосновение...

У Некрасова, вполне естественно, это была последняя рюмка. Он долго крепился, но перед самым объявлением на посадку вдруг побежал в буфет и выпил сто грамм.

Мы затаили дыхание: ещё не хватало, чтобы Вика насопсался до отлёта! Потом поняли, что бояться нечего, даже если захочет, времени не хватит. Да он и не захотел, быстро вернулся к нам, закурил и уставился в никуда...

В последнюю, предшествующую отъезду неделю, в пору чудовищных нервных перегрузок он и в рот не брал. Хотя тут-то тебе, казалось бы, и карты в руки — выпить на прощание хочется, аж кричит! Я не видел его под мухой ни на прощальном вечере в Киеве, ни когда мы были последний раз в Москве. Так что глоток водки, выпитый в бориспольском буфете за полчаса до посадки, был актом высоко символическим. Святое дело — прощание с родиной!..

Перед главным входом киевского аэропорта Борисполь нас было с десяток человек. Вспоминаю Гелия Снегирёва, Галю Евтушенко, Олега и Лялю Лапиных, Сашу Ткаченко, Гарольда Бодыкина, ветеринара Джульки и ещё двух-трёх людей, не помню имён.

Дело было после полудня, 12 сентября 1974 года.

Галя Евтушенко приехала утром в день отлёта, вместе с Лилей Лунгиной. Галя давно пообещала быть на проводах и без напоминаний позвонила, мол, встречать не надо, сама найду.

Чтобы вытащить Лилю, пришлось пойти на крайние меры.

Накануне Виктор Платонович долго разговаривал с Москвой, попрощался с Симой и звал: пусть хоть Лилька придет. Прилетай, грубовато упрасивал её, когда ты ещё меня обнимешь, приезжай на полдня, и всё!

Нет-нет, это исключено, горячилась Лиля, зачем эти сложности, можно и так попрощаться. А обещанную ей на память монографию Сальвадора Дали, в роскошном серебряном переплёте, — такую ни за какие деньги даже в Москве не достанешь, — можно передать с Галей, раз она едет в Киев...

Некрасов взъярился:

— Если хочешь получить Дали, то только в собственные руки, запомни! А там как знаешь!

И повесил трубку.

Лилианна Лунгина всё-таки приехала. Торопилась, дальше двери провожать себя не разрешила. Они обнялись, поцеловались, и расстроившийся В.П. ушёл к себе в кабинет. До отлёта оставались считанные часы...

В здание аэровокзала в тот день никого без предъявления билетов не пускали, объяснил серьёзный дядя в форменной фуражке. В стороне стояла группка сопровождавших Некрасова гэбистов. Если мы чуть отходили в сторону, группка тоже смещалась. Они открыто томились, всё это им было неинтересно, как щекотать самого себя.

Возле нас всё время толочся невозмутимый парень с узким чемоданчиком, в торце которого было отверстие для объектива кинокамеры. Чемоданчик был самодельный, его

отладил, видно, какой-то киевский умелец. Сразу заметив, все начали тыкать в него пальцами и ненатурально смеяться. Парень — ноль внимания, сам глядел в сторону, а объектив направлял на нас.

Вика снова смылся в буфет — повторно выпить сто грамм. Прибежал, когда объявили посадку. Все бестолково начали обнимать и целовать В.П. и маму, тискали Джульку, бормотали какую-то прощальную ерунду.

— Ладно, ладно, — торопил всех Некрасов, — заканчиваем проводы, перед смертью не надышишься! Все по домам!

И они с мамой пошли через вестибюль, а мы смотрели вслед через стеклянную дверь. Никто не плакал. Мама беспрерывно оборачивалась на ходу, махала рукой, Вика ушёл сразу вперёд, не оглядываясь.

Они улетели в Цюрих, а оттуда в Лозанну.

Мы ещё несколько минут взволнованно потоптались, погалдели. До крайности захотелось выпить. Порешили сообразить по капле-другой, помянуть путешествующих, как положено у людей. О слезке больше вспоминать не решались, по сторонам не смотрели, сели в два такси. Поехали, шеф, в Пассаж!..

Генеральные проводы Некрасова были устроены накануне. К всеобщему облегчению, Вика оповестил заранее, чтобы в аэропорт никто не провожал, незачем дразнить органы, устраивать очередное сборище.

Сказать по правде, общую картину этого вечера я помню расплывчато, сбивчиво и урывками, а из подробностей запомнил совсем малую толику.

Народа пришло невиданно и неожиданно много. Некоторых я встретил впервые. Толклись на кухне и в гостиной, в коридоре и на балконе.

Накуруено было невообразимо, люди сдержанно гомонили. Смеялись несмело, шептали на ухо, восклицали тосты и обильно шутили. Никто не фотографировал, это считалось бестактностью — понимали, что это многим не понравится. Музыки не было, это я помню точно.

Некрасов сидел в кабинете, принимал слова прощания, люди подходили непрерывной чередой, подсаживались и уступали потом место другим.

Он был почти трезв. В чём не упрекнёшь компанию.

Помню стоящую в коридоре плачущую Нину Богорад, жену верного друга, не решившегося прийти. Она побывала недолго, поцеловала на прощанье Вику и тихонько ушла.

Помню, как В.П. спрашивал, не пришёл ли его друг архитектор Ава Милецкий? Ранее по телефону тот сказал, что занят, но, может, выкроит минутку...

Ко мне всё время подходил бывший мамин сослуживец Гарольд Бодыкин. Тогда он работал в Днепропетровской опере то ли режиссёром, то ли завлитом. Приехал нарочно на проводы. Удивительно, но именно разговор с ним я запомнил отчётливо, несмотря на пьяный дурман.

— Витя, пошли выпьем! — говорил он и пил сам не увиливая. — Давай ещё по капле! А если что надо спрятать, рассчитывай на меня! Я помогу. Сберегу или ещё что...

— Что там прятать, Гарольд! — неуверенно отпихивался я. — Что там сохранять, всё уже раздали.

— Давай ещё ахнем! — снова подходил он ко мне с бутылкой. — А если какие материалы надо понадежнее пристроить или рукописи, так я готов помочь.

Чтобы отделаться от него, я взял в кладовке толстую папку с рукописью «В родном городе» и отдал ему, вот возьми и храни.

— Всё будет в порядке, — зашептал он и как-то воровато запихнул папку под пиджак, — всё будет о'кей, Витя!

И выскочил на лестничную площадку, даже на скорую руку не попрощавшись.

Порядок в те времена был установлен такой: основной багаж проходил таможеню по месту жительства уезжающего за несколько дней до отъезда. На самолёт все шли только с чемоданами.

Я был единственным, кто на деле помогал Некрасову собирать дома ящики и сортировать вещи. Сашка Ткаченко больше получаса возни не выдерживал, садился с сигаретой и докучал советами.

Свой дипломный проект — рулон пожухлых планов и чертежей общего вида Киевского вокзала, бережно хранимых в кладовке, — Виктор Платонович с почестями вручил Сашке: сохрани для потомков! Было видно, что расставаться с рулоном жалко, но и брать с собой такой громоздкий сувенир молодости было явно не с руки.

В последние дни перед отъездом В.П. обязательно меня прихватывал, когда бегал в домоуправление, милицию, бухгалтерию, ходил по инстанциям за справками и формулярами, метался, заказывая контейнер для ящиков. Вика уже давно привык говорить со мною если и не обо всём, то об очень многом, не скрываясь поведывать свои опасения и заботы и поручать любые дела.

За сутки до таможни мы с Сашкой провели целый день на главпочтамте, отправляя во Францию центнеры бандеролей с книгами, что были отобраны Некрасовым как крайне необходимые для будущей работы. К которой он твёрдо решил приступить сразу же по прибытии в Париж. Не дожидаясь основного багажа! Благие, как всегда, намерения...

Таможенники сочувственно и вежливо поглядывали на Некрасова, нарочито демонстрируя своё безучастное отношение к смехотворным пожиткам и утвари писателя. Мол, что тут смотреть, ясно, что никаких ценностей нет! Какие-то

бумажки, папки, надколотые вазочки, разношёрстная посуда, книжки, рисуночки, рамки без стекла, коробки с фотографиями, ничего заслуживающего внимания.

Фамильное серебро — главную семейную ценность из шести чайных ложек, половника и подстаканников, — никто не взвешивал и не пересчитывал, просто как-то обидно... О вывозе же полудюжины простеньких акварелек и картин и речи не могло быть. Потребовались чудовищные по сложности экспертизы, чего Некрасов убоился. Поэтому всё было оставлено нам.

Досмотр подходил к концу. Наблюдавший подполковник из политической таможни давно уже скучал в сторонке и казался негрозным. Книги, папки с вырезками, фотоальбомы, старые советские газеты и журналы, простыни и подушки... Хлам всякий! Многие десятки разных изданий «В окопах Сталинграда», на память. Наверное, всё-таки велели излишне не придираяться...

Казалось бы, много бумаг, опальный писатель, смотри в оба, может быть, что-то подрывное! Но нет, взяли наугад блокнот, книгу, альбом, невнимательно полистали, вот тебе и весь таможенный досмотр. Полистали тоненькую брошюрку Луначарского «Об антисемитизме». С надписью автора.

— Сентиментальная ценность, как говорят французы! — объяснил Некрасов.

Никто не возражал.

В начале шмона таможенники было насторожились — магнитофонные плёнки! Нарушений в этом никаких, но один всё же взял наугад кассету, вставил в портативный магнитофон, заморскую диковинку. И забренчала гитара, и запел, чуточку бляя, Окуджава. Таможенник заулыбался, а другой перестал ковыряться длинным шупом в тубике зубной пасты.

Надежды ма-а-ленький оркестрик,  
Под управлением Любви...

Каждый принялся вновь за своё дело, но плёнку не выключили, дослушали до конца.

— По-моему, — сказал потом Вика, — все тогда прониклись друг к другу чем-то похожим на симпатию.

Плёнку таможенник положил в сторонку, как бы по забывчивости, и Некрасов не возражал, отвернулся — бери, мол, парень себе...

Открыл коробочку с наградами. Орден «Красная Звезда», «За отвагу», «Знак Почёта», Сталинская премия... Орденские книжки...

— А где удостоверение на медаль «За оборону Сталинграда?» — таможенник пошарил в коробке.

— Потерял! — беспечно так хохотнул В.П. — Ещё в срок пятом. Девятого мая, в Киеве, так выпили, что ничего в карманах не осталось!

— Так не пойдёт! — очень строго сказал подполковник. — Ищите удостоверение, без него медаль останется у нас.

Некрасов заметался. Это была его любимейшая память о Сталинграде. А тут на тебе... Вдруг он выхватил из кучи своих книг какое-то издание пятидесятых годов, открыл книжку и пришилил медаль к титульному листу, прямо на название «В окопах Сталинграда».

— А так пойдёт? — чуть ли не в отчаянии воскликнул В.П.

— Пойдёт! — подполковник неожиданно улыбнулся. — Забирайте свою медаль!

Некрасов облегчённо скорчил хитрющую рожицу и подмигнул мне:

— Ну, как?! Мы едали всё на свете, кроме шила и гвоздя!

Потом в Париже Некрасов не раз рассказывал, какого он натерпелся страху с медалью на таможне.

Я почтительно храню эту семейную реликвию — невзрачное издание «Художественной литературы» 1958 года «В окопах Сталинграда» со следами от медальной булавки.

## Сидение в отказе

Родители уехали. Но расставание гораздо больше сблизило, чем разлучило.

Никогда до этого мы так тесно не общались, как в первый год после их отъезда. Неустанно переписывались и непрерывно перезванивались. Они сообщали нам все свои новости, а мы держали их в курсе всех, даже мельчайших наших дел.

Не успев приехать в Женеву, мама вдруг принялась писать странные вещи. Что, дескать, жалко, что они такие непредусмотрительные. Бросили в Киеве две старинные чугунные сковородки, которые здесь очень ценятся. Пылесос дома оставили. Пледы, одеяла, подушки, простыни... Как бы они сейчас пригодились. Хорошо, хоть проигрыватель и транзистор взяли... Потом спохватывалась: сейчас-де всё это не нужно, живём у друзей как у Христа за пазухой, но вот потом, когда будет свой угол...

Что за чертовщина, переглядывались мы с Милой, какие сковородки, какие простыни?! Это же Запад! Там не только пледов и пылесосов, там автомобилей и фирменных джинсов куры не клюют! Иди в магазин и покупай, не ленись!

— Совсем твоя мамаша всё перепутала! — полыхала возмущением Мила. — В следующем письме пожалеет, что не захватили эмалированные миски да подставку для утюга!..

Началась наша жизнь без Некрасова.

Когда Илья Владимирович Гольденфельд уладил наш вызов в Израиль, меня тут же исключили из аспирантуры. Мила уволилась с работы сама, чтоб не нудили с обсуждением на общих собраниях.

Работать горным инженером на руднике я не захотел, а пошёл на карьер машинистом бурового станка. На общем собрании, тут же организованном парткомом, первым делом от меня потребовали отмежеваться от родителей. Я с некоторой заносчивостью отказался, слегка обхамив парторга и руководящих товарищей. Чем чрезвычайно расположил к себе не только наш славный рабочий коллектив, но и моё прямое начальство. Кстати, и предотъездная характеристика на работе была у меня очень лестная — не лодырь, добросовестен, ладит с людьми, пользуется уважением товарищей. Но, мол, не стремится повышать квалификацию, написал мой начальник. Он был прав, это отнюдь не похвально.

Живя в отказе, мы старались не наглеть. Но показывали всем своим видом, что у нас одна забота — воссоединиться с дорогими родителями! Никакой антисоветчины, боже упаси, всё в рамках прав человека. К тому же совершенно неожиданно для меня выяснилось, что я прирожденный сутяга.

Не откладывая в долгий ящик, я начал писать письма, «телеги», как тогда говорили. Во все возможные верховные советы, суды и президиумы. Нажимал на необходимость соблюдения социалистической законности, но всегда подчеркивал, что я не какой-то там смутьян и горлопан. Вполне законопослушен, работаю, но желаю воспользоваться священной привилегией каждого советского человека — добиваться выполнения конституции, писать жалобы на местных царьков и взывать к справедливости.

В ОВИРе меня начали встречать как почётного посетителя — широко улыбались, предлагали сесть, интересовались отметками сына и здоровьем тёщи.

Беспрерывно обменивались письмами с Некрасовым. Ещё больше писала нам мама, описывая мельчайшие подробности. За полтора года я получил от В.П. более двухсот писем!

Вика писал часто, хотя писать-то было особенно не о чем — штучки-мучки в магазинах, поездки и гости, ну и жизнь дома. Очень любил щегольнуть названиями станций парижского метро. Абсолютно неведомых мне, а ему как бы испокон веку знакомых. Или названиями улиц и улочек, сквериков и мостов. Писал мне, заскорузлomu провинциалу, о Париже, как будто я там сто раз бывал, да ещё в его компании. Ему не хватало собеседника по плечу, вот он и жаждал общения. Я поначалу как бы поддакивал, делая вид, что всё ясно. Но потом постепенно действительно втянулся и начал разбираться во всех этих парижских ребусах и шарадах. По карте Парижа, расшифровывая чуть ли не по буквам статьи в знаменитом французском словаре «Ларусс», который В.П. прислал первой почтой!

Получена была и газетная вырезка — карта Женевского озера с указанием прибрежных вилл знаменитостей. Где-то возле терема Чарли Чаплина пририсовал В.П. красным карандашом стрелку — «Вот здесь я хочу жить!» Мы ликовали, хвастались соседям. Те вежливо завидовали, не слишком понимая что к чему.

Так же была не слишком понятна и вырезка из «Фигаро» с большой фотографией на первой странице — Галич, Некрасов, Максимов. Это было тогда крупнейшим событием — появиться на первой странице такой влиятельнейшей газеты, но мы, конечно, этого до конца не осознавали. Хотя и чувствовали, что дело незаурядное.

Письма доходили практически все.

Полагаю, что вначале власти решали, что делать с почтой: то ли пропускать всё, то ли частично, да и вообще, как вести себя дальше. Решили, видимо, пропускать, и правильно сделали, так как на протяжении полутора лет получали прямо в руки подробнейшую информацию о жизни, планах и настроениях Некрасова и его друзей.

По этой же, наверное, причине нам беспрепятственно разрешали звонить за границу. Наши оттуда тоже очень часто звонили, за казённый счет, конечно, из редакций и офисов. И я при этом во всех деталях рассказывал: когда вызывали, что говорили, как нам ответили...

Попав в Париж, Некрасов писал очень многим москвичам и киевлянам, но регулярно отвечала ему, насколько знаю, только Раиса Исаевна Линцер. Она с мужем, Игорем Александровичем Сацем, очень нас привечала. Мы с Милой останавливались у них, когда бывали в Москве. Хозяин со вкусом и очень занятно, не придавая, как обычно, значения дикции, рассказывал и случаи из жизни, и небылицы. У него был простительный тик — всё время похохатывал, что поначалу сбивало с толку: думаешь, сказал что-то смешное.

— Ленин фантазировал, что у нас каждая кухарка будет управлять государством. Только забыли научить, как это делать! — с хохотом вздыхал Игорь Александрович. — Теперь мы имеем у власти кухаркиных детей!

Нас никогда не вызывали прямо в КГБ, сотрудники органов встречались со мной как бы случайно, то в милиции, то в прокуратуре, то в домоуправлении или на работе.

Так прошли первые три месяца.

Наконец все документы на выезд мы собрали, и я понёс их в ОВИР. И — вот те раз! Принимать их там отказались! Мол, жалуйтесь, если хотите, нам на это, сами понимаете, что...

Потом документы у нас всё-таки приняли, через две недели. Хотя в выезде тут же отказали...

Некрасов был единственным человеком в Киеве, которого неофициально, но всё же выслали. Больше вроде никого, разве что потом Леонида Плюща. А в нашей криворожской глухомани мы были самыми что ни на есть первопроходцами, заявившими, не скрываясь, что хотим уехать в Израиль! И уедем, бесстыдно твердили мы всем знакомым и малознакомым.

Наши местные начальники, конечно, были пугливо взбудоражены таким поведением, мол, это что, управы на них нет?! О вызовах в милицию или к прокурору сообщают в Париж. Работой не дорожат. Деньги законно хранятся на книжке. Голодом не возьмёшь, из квартиры не выселишь. И в тюрьму не отправишь — такая мера несвоевременна, как сразу разъяснили местным властям киевские органы. Родственники Милы тоже не поддавались на угрожающие намёки о прекращении общения с нами, хотя их-то легко могли попереть со службы... При этом посылки из Франции идут непрерывно. Деньги высылаются и через банк, и с посланцами. Звонят...

Телефонное время тратилось на преинтереснейшие разговоры о тряпках — что отправили, что получили, что подошло или пригодилось. Досаждали просьбами о женских париках — они были тогда очень модны, а при перепродаже приносили баснословный доход. Парики у нас считались парижской модой, хотя в самом Париже об этом никто не знал.

В мороз, слякоть или теплынь Мила щеголяла то в белом, то в каштановом или цвета вороньего крыла парике — по настроению! Вызывая безбожную зависть у подруг и соседок.

Парики были прекрасны — никому не приходило в голову, что ваш волосяной покров ненатуральный. Как об



Киев, 1971. Фото Б. Стукалова



Платон Федосеевич и Зинаида Николаевна, родители. Лозанна, 1900-е

Софья Николаевна Моговилова, тётя.  
Лозанна, 1909





В.П. вырос в семье интеллигентов, в окружении эмансипированных женщин, многие годы проживших за границей среди русских эмигрантов. Старший брат Коля, бабушка Алина Антоновна Мотовилова с Викой, Зинаида Николаевна. Париж, 1915



Зинаида Николаевна с Колей. Лозанна, 1909

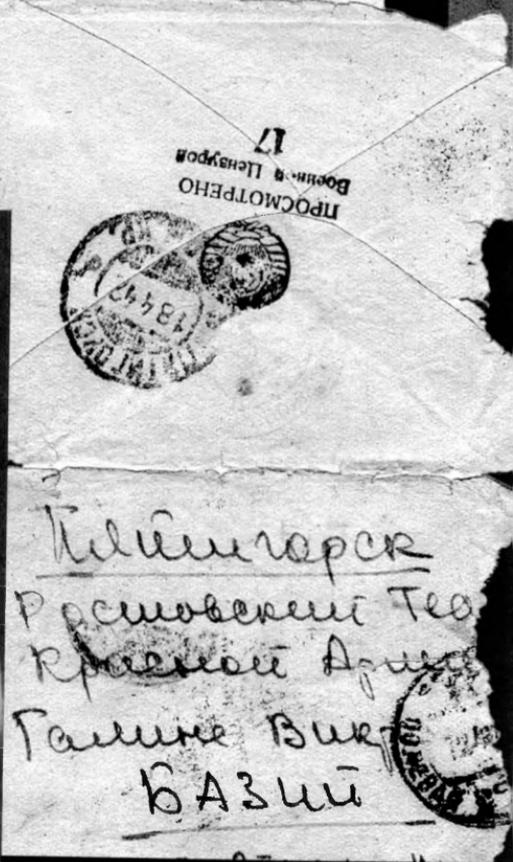


Вика с бабушкой А.А. Мотовиловой.  
Киев, середина 1930-х



Киев, 1936

Воронежская 9. IV. 42  
Ровно не меняй Вика, Га-  
льона! Не было времени -  
все время нам - три месяца.  
Сначала мы несли тяжелое бре-  
мя обосновались здесь.  
Насмущалась курьезной  
привычкой бойцов (!) жуда.  
Не Ред-де-Намюра, но все-  
таки - адекватной, кино,  
много и прочие удовольствия  
увеличивали  
А что как ты  
наше воспе  
перва нашей



Во время войны Вика помнил о Галине Базин, разыскивал её, писал в Киев и спрашивал, нет ли от неё вестей?



В госпитале. Люблин, август 1944

6/90 72/15/1 = ОРД ЖЕНИКИ ДЗЕ  
НАМАГНИЧИВАЊЕ БЛАВПОЧТАМТ 75  
теплов (\*), нашель ВОСТРЕБОВАЊИЯ БАЗИИ  
А. котораго ГАЛИНЕ ВИКТОРОВНЕИ  
изъ мягкаго  
вається отъ 500 до  
мость сразу уменьшается почти до единицы. Когда напряженіе  
позя увеличивается, увелич  
ности становится го  
БАКУ 2497С 16 Б 1739 = ВЦ менѣе быстрымъ  
нія проникаемость  
уменьшается постоянно при повышеніи температуры. Во всеѣхъ  
темпера  
МОЙ АДРЕС БАКУ ЕВАКОГОСПИТАЛЬ аль кри  
О ЗСЧЕТВЕРТОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИВЕТ ВСЕМ = ВИКА ?  
тура можетъ подняться до  $880^{\circ}$  Ц., тогда какъ для стали она  
понижается до  $690^{\circ}$  Ц. Для никкеля критическая температура  
лежить около  $310^{\circ}$  Ц.  
Критическая температура какъ бы соотносится нѣкоторы  
рымъ молекулярнымъ измѣненіямъ въ структурѣ тѣлъ, кото  
рыя кромѣ того обнаруживаются и другими явленіями.  
Кольраушъ замѣтилъ, что при



Телеграмма Галине Базий  
из Бакинскаго госпиталя. 1942

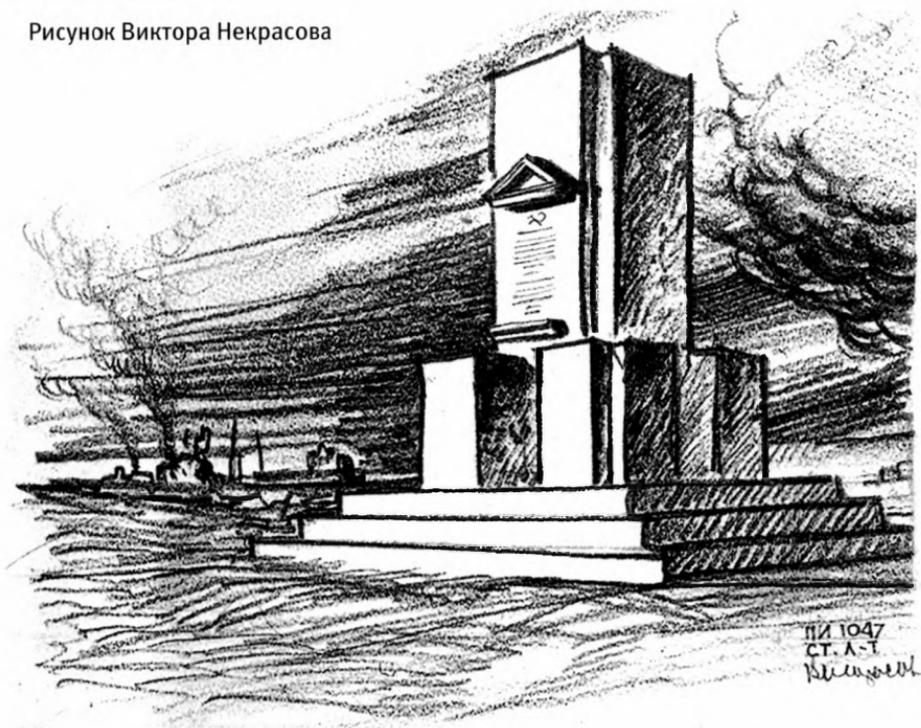
Капитан Виктор Некрасов. 1944. Надпись на фото:  
"Галке в день некоего тридцатилетия... Вика. 25.10.1970"





Благодаря ранению Некрасов написал "В окопах Сталинграда":  
врачи сказали, нужно разрабатывать руку...

Рисунок Виктора Некрасова



ПАМЯТНИК НА МОГИЛЕ КОМАНДИРОВ 1047сп 284сд ПАВШИХ  
В БОЯХ ЗА МАМАЕВ КУРГАН - СТАЛИНГРАД - IX.1942 - II.1943.



В пятисекундной роли пленного итальянца. На съёмках фильма “Солдаты”. 1956

Фронтового ординарца Михаила Волегова (слева)  
В.П. романтически почитал и описал в “Окопах...”  
На Алтае, в гостях у Валеги, с актёром Юрием  
Соловьёвым, сыгравшим его в “Солдатах”



Виктор Некрасов

# Сталинград



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ  
1946

Авторский эскиз обложки (слева сверху) и первые издания книги

ВИКТОР  
Некрасов

# СТАЛИНГРАД

ВИКТОР НЕКРАСОВ



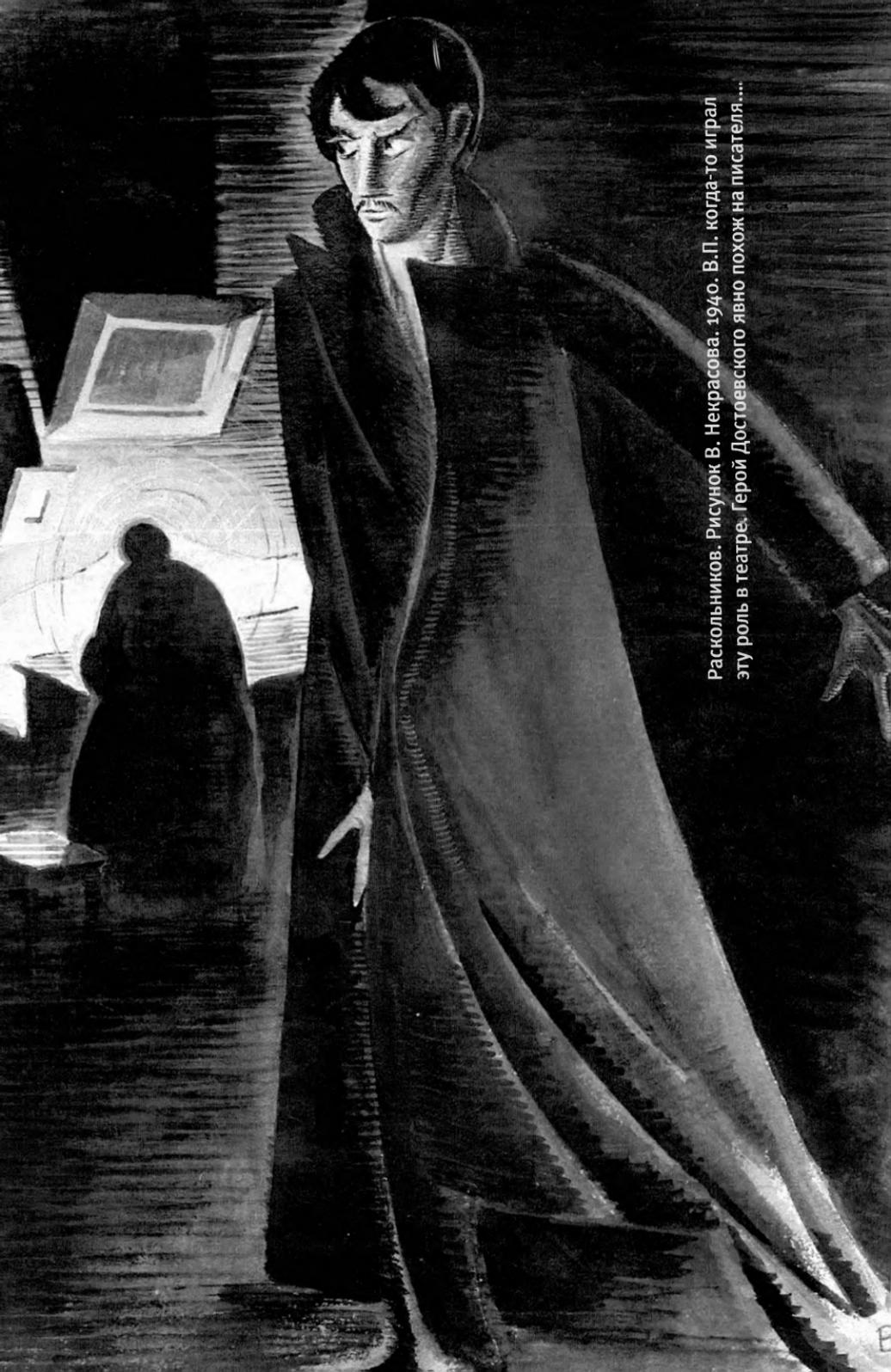
БИБЛИОТЕКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ВИКТОР НЕКРАСОВ

# В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА

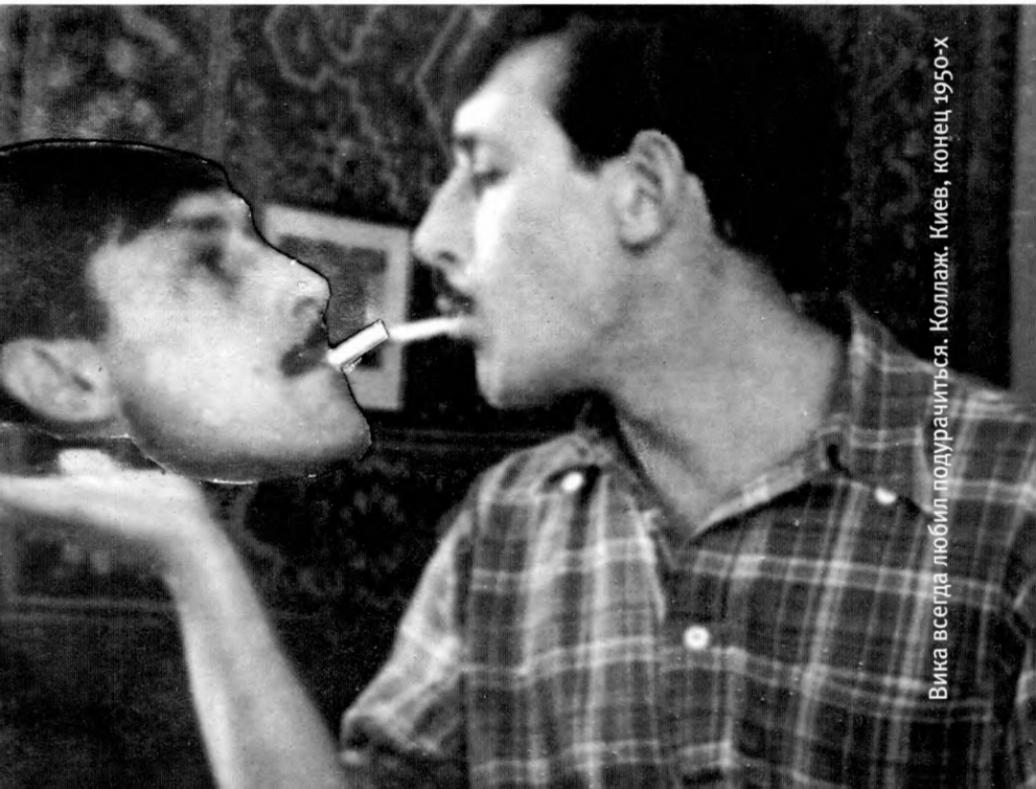
ЛАУГОСНОДАТ · РИГА 1948



Раскольников. Рисунок В. Некрасова. 1940. В. П. когда-то играл эту роль в театре. Герой Достоевского явно похож на писателя.....



Добрые друзья по вечерним чаепитиям — Ева и Исаак Пятигорские — приходили к Некрасову отдохнуть душой. Слева Нина Аль и Зинаида Николаевна. Киев, 1955



Вика всегда любил поддурачиться. Коллаж. Киев, конец 1950-х



Писатели в Ялте: Леонид Волынский, Станислав Славич, Виктор Некрасов. Середина 1960-х



С ближайшим киевским другом Леонидом Волынским. После Победы он возглавил поиск и спасение картин Дрезденской галереи, о чем потом написал в повести «Семь дней»



Киев, начало 1950-х

Всю квартиру Некрасовых в Пассаже опоясывал  
балкон. Вика очень любил смотреть  
на крыши, тропинки между домов, сараи.  
Рисунок В. Некрасова. 1950-е



Сама квартира меня потрясла. Умопомрачительное число занятнейших штучек, картинок, рамок, рисунков, фотографий и вещей. А книг!..





После вечернего чая полагалось совершать неторопливый променад в Царском саду вместе с гостями. Ритуал никогда не нарушался. С мамой и Исааком Пятигорским. Киев, середина 1960-х



Дружеский шарж на маму.  
Начало 1960-х



Зинаида Николаевна и Ева Пятигорская.  
Киев, середина 1960-х



Могилы “Викиных женщин” — мамы, бабушки и тети — на Байковом кладбище в Киеве всегда оставались ухоженными благодаря Еве Пятигорской



Геннадий Шпаликов. Рисунок В. Некрасова. 1982

В. П. Некрасову

Что ты самими книгами дела  
делаешь ты душу мне трепыхаешь?  
Меня целый букет из людей,  
откуда кто-то не мог бы.

Значит приходишь ко мне,  
расклевываешь, с тесной желтой,  
то б что сказала в кругу  
или б что. Выходит в свет?

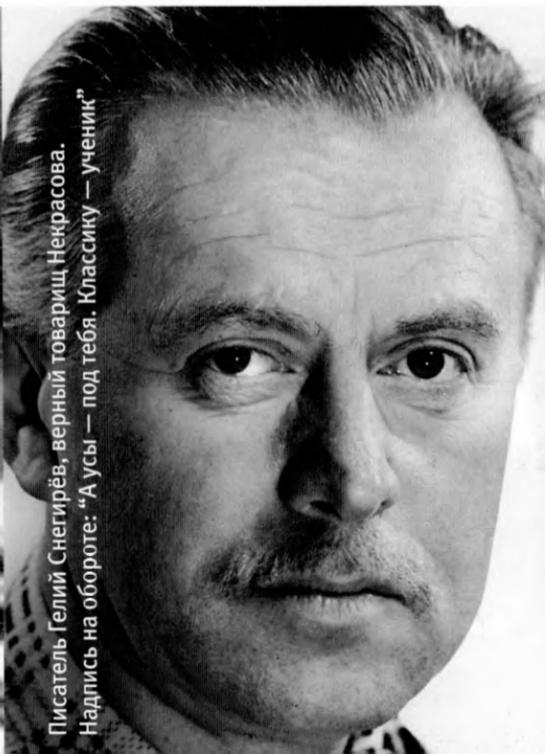
И без тебе <sup>повалил</sup> ~~идея~~ свет,  
а мне не как быть с тобой,  
ни утрирован, хоть б fosse,  
тебя утрирован, зря утрирован

Шпаликов

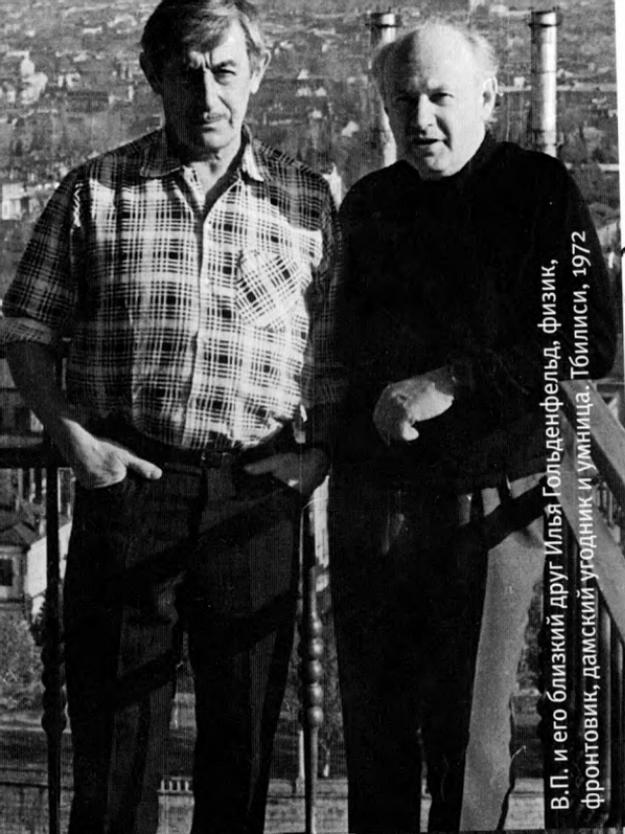
Автограф стихотворения Шпаликова.  
Некрасов ликовал, добившись публикации  
его стихов в "Новом русском слове"



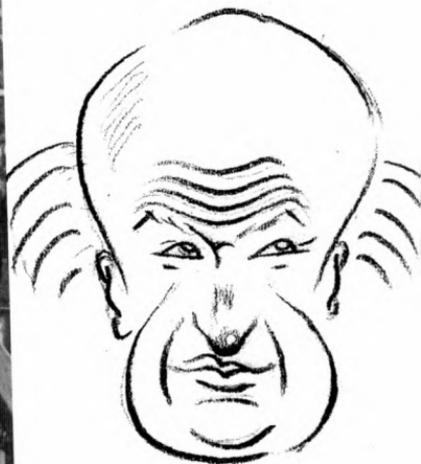
Молодой врач-психиатр Семён Глузман, один из киевских диссидентов, получил "дикий срок за книги и рукописи!"



Писатель Гелий Снегирёв, верный товарищ Некрасова.  
Надпись на обороте: "А усы — под тебя. Класснику — ученик"



В. П. и его близкий друг Илья Гольденфельд, физик, фронтоник, дамский угодник и умница. Тбилиси, 1972



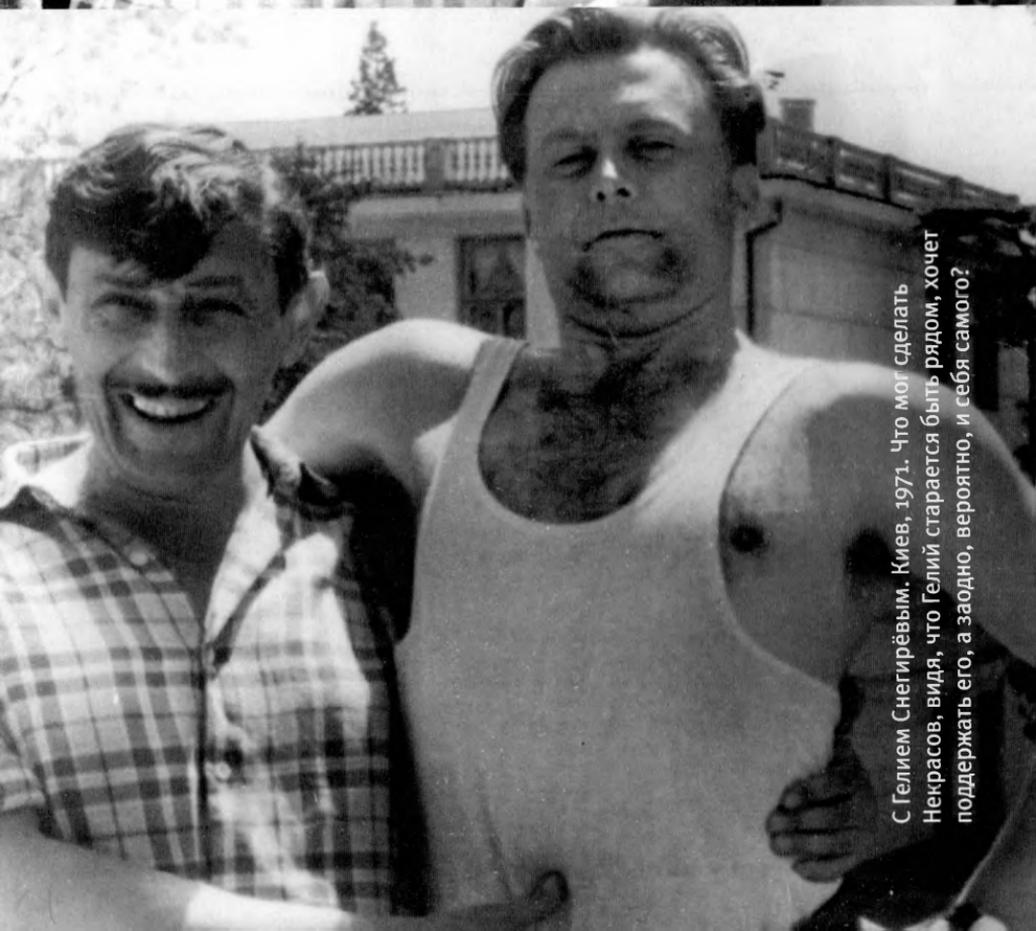
Дружеский шарж на Илью Гольденфельда. 1974



Всеволод Ведин, директор киевского отделения Агентства печати "Новости", не порывал дружбы с Некрасовым даже в предотъездные, самые трудные дни



С Рафаилом Нахмановичем.  
Киев, 1969



С Гелием Снегирёвым. Киев, 1971. Что мог сделать Некрасов, видя, что Гелий старается быть рядом, хочет поддержать его, а заодно, вероятно, и себя самого?

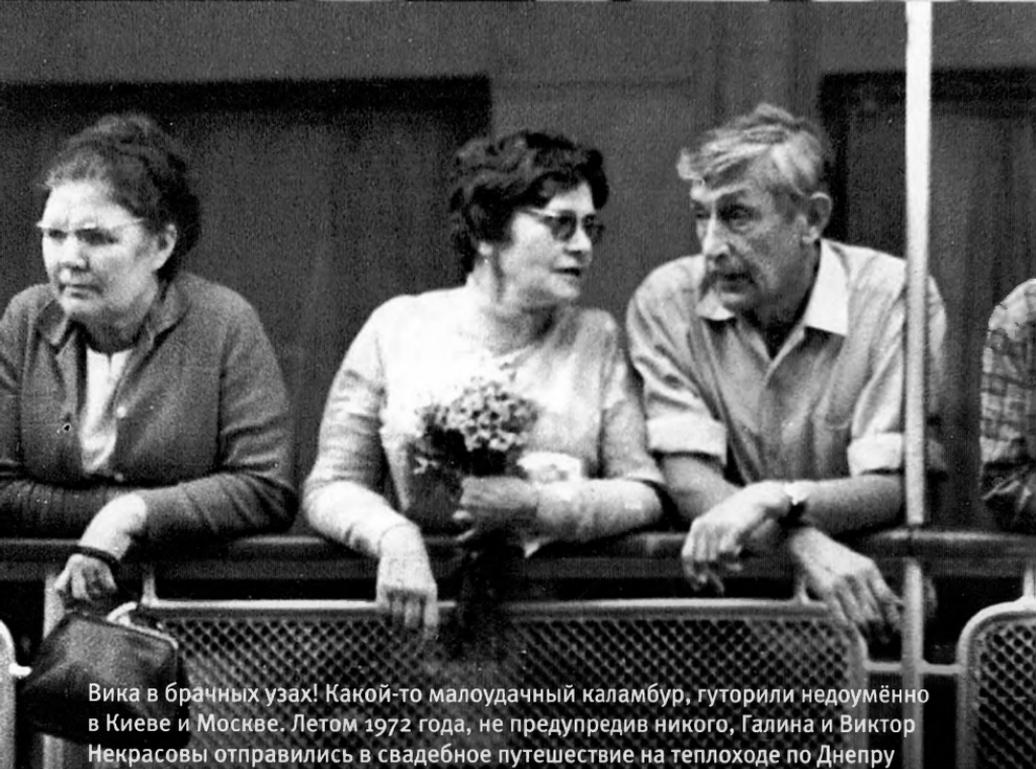


В период гонений Некрасова обкружало много молодых людей.  
Саша Ткаченко был самым тактичным и симпатичным. Киев, 1973



С друзьями. Киев, 9 мая 1966

Витя Кондырев с мамой Галиной Викторовной Базий.  
Ростов-на-Дону, 1945



Вика в брачных узах! Какой-то малоудачный каламбур, гуторили недоумённо в Киеве и Москве. Летом 1972 года, не предупредив никого, Галина и Виктор Некрасовы отправились в свадебное путешествие на теплоходе по Днепру

Галина Некрасова у бюста  
В. Некрасова. Київ, 1971.  
Фото Б. Стукалова



“Сними нас в этой раме для хохмы! Иди сюда, Витька, влезай”. Виктор Некрасов и Виктор Кондырев. Киев, август 1974. Фото В. Шурубора





Виктор и Галина Некрасовы, Мила, Виктор  
и Вадим Кондыревы. Кривой Рог, февраль 1974



Вика не упустил случая сказать горделиво: "Мой звук!".  
Виктор Некрасов и Вадик Кондырев. Париж, 1976



Некрасов любил всю семью Лунгиных, но обожал именно Симу. Они всё время старались с Викой уединиться, посидеть в сторонке или выйти прогуляться. Сколько раз В.П. пересказывал его шутки, остроты и хохмы!

Дружеский шарж на Семёна Лунгина



Малышова  
15 февр. 60  
на балу.



Лилянна Лунгина, Виктор Некрасов,  
Анна Берзер. Москва, 1971

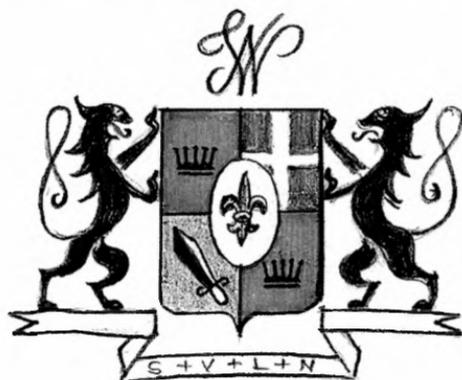


*В.Н.*  
*72*



*79*  
*В.Н.*

Дружеские шаржи на Лилянну Лунгину (1973) и Павла Лунгина (1974)



Герб друзья Лунгиных и Некрасова,  
нарисованный В.П.



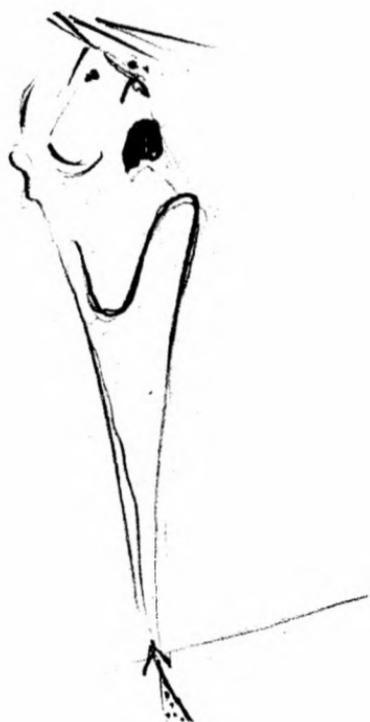
Марлен Хуциев. 1962



Александр Твардовский. Конец 1950-х



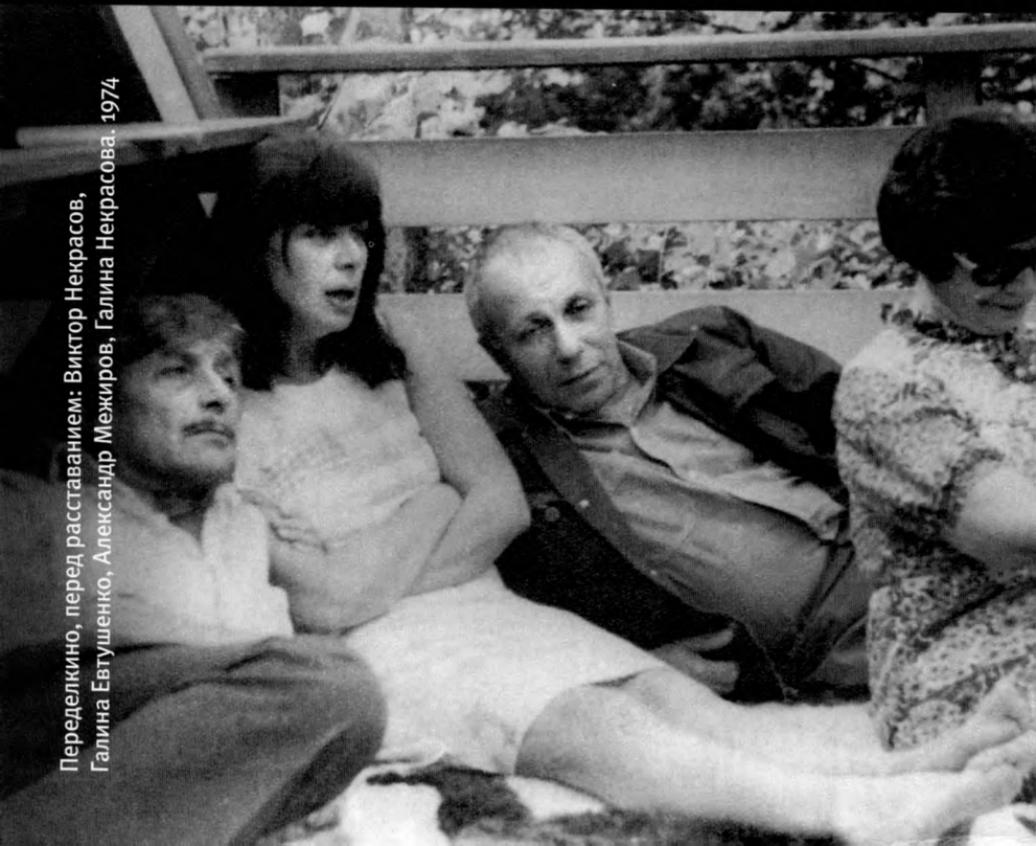
Автошарж. Апшущиемс, 1973



Евгений Евтушенко читает стихи. 1971



Виктор Некрасов, Александр Твардовский, Григорий Чухрай  
с итальянскими журналистами. Рим, 1960



Переделькино, перед расставанием: Виктор Некрасов,  
Галина Евтушенко, Александр Межиров, Галина Некрасова. 1974

Тридцать лет спустя.  
Виктор Некрасов в Сталинграде. 1972



этом не подумали и на таможне в Чопе, когда мы уезжали через полтора года...

Нас обыскивали с пристрастием, вплоть до снятия трусов. У потрясённого до глубины души Вадика забрали ремень с солдатской бляхой, который я на него нацепил как сувенир, — военное имущество, вывозу не подлежит!

А вот стащить с головы парик таможенники не догадались...

Мила хранила этот последний парик, как в старину девичью честь, то есть с особым тщанием. Продадим в Париже, мечтаю, и купим модное пальто, почему нет? Досаде не было предела, когда выяснилось, что парики стоят там копейки и рассчитаны на вкусы негритянских женщин. Которые, скажу вам, выглядели в них весьма соблазнительно.

## Орденосец Луи Арагон

Некрасов с мамой распутешествовались всюду. Были в Англии, Германии, Италии, Швейцарии.

А в феврале прибыли в Нью-Йорк.

Нью-йоркский район Брайтон-Бич прославился на весь подлунный мир колонией наших, бывших советских, еврейских эмигрантов. Несколько лет назад это было гнилое место, облюбованное пуэрториканской и чернокожей рваньё, мелкими наркоторговцами и подростковыми этническими бандами. Американские эмиграционные власти особо не заботились о благополучии бывших одесситов, киевлян и ростовчан, массово хлынувших в Америку. И селили всех без исключения новых эмигрантов на Брайтон-Бич, в этой клоаке и вертепе.

Вновь прибывшие оказались мужиками сплочёнными и привыкшими к решительным действиям в условиях пере-

населённой среды обитания. А женщины остро не переносили, когда к их наставлениям не прислушивались. Особенно горячо не нравилось, что мусор выбрасывался со всех этажей прямо из окон, коврики перед дверями для смеху поджигались, а нужды любой величины справлялись в лифтах...

Первыми свалили наркоторговцы, потом, понеся потери в живой силе и здоровье, рванули прочь бандюги-отроки. Последними ушли пуэрториканцы, с писклявыми угрозами в адрес остающихся «русских».

И Брайтон-Бич развернулся, расцвел, отремонтировал фасады и квартиры, открыл гастрономы, книжные магазины, рестораны, издательства, кондитерские и коптильни, мгновенно превратившись в Одессу в миниатюре, а то и уютнее.

Теперь Некрасовых водили по шумным улицам, оказывали почести на выступлениях, усаживали за столиками лицом к морю, закармливали деликатесами и вообще проявляли умопомрачительное дружелюбие.

Естественно, Вика навечно влюбился в Брайтон-Бич. А вам надо будет сразу же съездить в Америку, закончил Виктор Платонович это длинейшее телефонное повествование, уж тут есть на что посмотреть!

Звонил он, конечно, бесплатно из кабинета Андрея Седых, редактора нью-йоркского «Нового русского слова». Редактор, тоже взяв трубку, нарочито бодро кланялся нам, расспрашивал о делах и приглашал заходить при случае. Мы в своем задрипанном Кривом Роге лишь вздыхали.

На работе я надоел начальству просьбами, как бы сверхурочно поработать, чтобы получить отгулы. Заработав несколько отгулов, мы с Милой отправлялись в Киев или Москву. В Киеве мы тут же попадали под наблюдение. В киевском метро мы с женой, развлекаясь, выпрыгивали на пустой перрон за секунду до закрытия дверей, а за нами, из соседнего вагона, тут же выпрыгивал наш сопровождающий.

И как ни в чем не бывало отворачивался в нескольких шагах. Потом такие фокусы мы выкидывать прекратили, не стоит всё-таки шутить с этой компанией...

Вдруг в слякотную субботу, утром 11 марта 1976 года, позвонили из ОВИРа.

Приятнейший женский голос сообщил, что «вашей семье и вам лично, Виктор Леонидович, разрешён немедленный выезд в государство Израиль»...

Я страшно расстроился — так поспешно надо расставаться с друзьями! Ведь всего месяц назад нам решительно отказали и с открытой улыбкой порекомендовали оставить всякую надежду на отъезд.

Но опальный писатель Виктор Некрасов развил во Франции и Америке неутомимую гуманитарную активность под лозунгом «Отпустите детей Некрасова!». Он без усталости орудовал и в прессе, и на радио, и в кулуарах.

Советская власть не учла ещё и того, что в далёком Париже знаменитый поэт-коммунист Луи Арагон был недавно награждён орденом Дружбы народов. Орден порешили вручить в его восьмидесятилетний юбилей.

Наградой юбиляр оскорбился. Орденишка ведь был затруханым, даже не трудовешник, а типа «Знака Почёта», в обиходе называемого «Краковяк» из-за странноватой позы рабочего с колхозницей, как бы играющих в «ручеек». Такая регалия вручалась обычно иностранным прихлебателям среднего пошиба или же неглупым функционерам из нацменов. А для такого густопсового в своё время коммуниста и действительного таланта, как Арагон, это было так же унижительно, как получить, скажем, звание заслуженного деятеля искусств. Ведь всего пять лет назад поэт удостоился высокого ордена Октябрьской Революции!

Так вот, 25 февраля 1976 года Некрасов вместе со своим новым другом профессором Ефимом Эткингом был принят

Луи Арагоном у него дома. Вика попросил поэта заступиться за нас, своих детишек.

Арагон оказался на высоте — тут же пошёл в советское посольство и заявил послу, что откажется от ордена, если детей Некрасова не выпустят из Союза. Луи Арагон оставался высочайшим авторитетом во Франции, и его угроза была воспринята Советами с должным почтением. Из Москвы приказали — чтоб этих долбанных детей и духу не было! В Кривом Роге немедля аукнулось, дескать, исполним в лучшем виде!..

Когда перед самым отъездом я явился за откреплением к начальнику военкомата, пьющему майору, знакомому ещё со студенческих лет, тот не побрезговал выйти из кабинета в коридор и начал громогласно, с легкими и необидными матючками, стыдить меня. Заманчиво попахивая водкой, уличал в низких моральных качествах, в покушении на предательство социалистической родины. Я невозмутимо смотрел на него, выпятив губы, как каменный истукан с острова Пасхи.

Майор вдруг осёкся на полуслове, схватил мою руку и душевно потряс. Майора осенило! Ведь этот простой русский парень, офицер запаса и наверняка патриот, собирается уезжать не по своей воле, а засылают его на специальное задание в Израиль, в самую пасть мирового сионизма!

Ободряюще тряхнул головой: «Желаю удачи, старлей! Давай там, действуй!»

## Уличная пастьба

До конца марта мы всё продолжали получать, с месячной задержкой, обнадеживающие и ободряющие письма от родителей. Тогда они ещё не знали, что нам разрешат выезд. Получалось какое-то воспоминание о будущем...

А на самый последок пришло письмецо: «Возможно, Ваша мама и Вика Вам обо мне рассказывали...» Поэт Владимир Корнилов спрашивал, как ему поступить с марочным каталогом. Вика, мол, просил обязательно нам переслать. Может, кто-нибудь из вас будет в Москве?..

Каталог был на французском языке, но московские букинисты заплатили за него половину моей шахтерской зарплаты. На вырученные деньги мы пошли с провожающими — Милиной сестрой Олей и её мужем Володей — в купечески роскошный ресторан «Славянский базар». Лепнина, позолота, чёрные бабочки у официантов и сборная солянка так взбудоражили наше криворожское воображение, что все мы до сих пор вспоминаем этот чертог роскоши...

— А ты хоть помнишь наш отъезд? — спросил я недавно сына Вадика, сейчас сорокапятилетнего детину.

— Помню! — улыбнулся он. — Я был во дворе, ты позвал меня из окна. Достал спрятанную пачку жевачек. Бери всё, сказал, иди и гуди с друзьями! Мы уезжаем!

Бабки внизу на лавочке сообщат мне к вечеру, что наш девятилетний Вадик продавал дальним соседским приятелям поштучно уже жёваную резинку за десять копеек. Бабок постигнет разочарование — я не разорался на сына, но посмеялся...

Мы с Милой успели съездить в Киев, чтобы продать букинисту все наши богатства — альбомы по искусству, оставшиеся в наследство или присланные Некрасовым.

Я еле доволок чемоданище с альбомами до магазина, приведя в смятение заведующую громадной кучей бесценных книг, хотя она и была мною предупреждена.

Другой громадный фибровый чемодан еле вместил все бумаги, оставшиеся от Некрасова, — вырезки, записки, рукописи, правки, привезенные мною из Киева. Получился

как бы архив писателя, который я и повёз в Москву к Раисе Исаевне Линцер.

В Харькове меня приветливо ссадили с поезда два милиционера и пригласили пройти в привокзальный участок.

— Ищем оружие! — сообщил с важным видом лейтенант и попросил открыть чемодан.

— Вот и хорошо, — пошутил я, — как раз оружия у меня на этот раз и нет!

— Мы и другое тоже ищем! — серьезно сказал милиционер и удивился, увидев бумаги. — Вы что, писатель?

Некрасовские бумаги я оставил в кладовке у Раисы Исаевны...

Мы выехали из Москвы в Вену 11 апреля 1976 года.

Во французском посольстве в Вене, несмотря на пасхальные каникулы, в экстраординарном порядке — спасибо высоким парижским друзьям Некрасова — нам выдали въездную визу во Францию.

На Восточном вокзале в Париже 21 апреля 1976 года нас встречала мама, прозревшая после операции глаз, и многочисленная компания Викиных новых друзей.

Считалось, что вот тут-то, во Франции, мы и должны вздохнуть полной грудью, вкусить немедленно рахат-лукума свободы, но мы ещё терзались столькими воспоминаниями...

Киевскую слезку я впервые заметил летом 1973 года.

Выйдя из подъезда, мы с Викой медленно пошли по Пассажу в сторону Крещатика. Прохожих было немного.

На Бессарабском рынке надо было купить густой сметаны к любимым оладьям.

Возле рынка встретился мужчина, торопившийся, видимо, по делам. Именно этим — быстрой походкой — он на секунду и привлек почему-то моё внимание. Это был тот же самый, обогнавший нас ещё в Пассаже.

— Э-э! — озарило меня, и я повернулся к Некрасову. — Да это нас пасут! Этого чувака я видел в Пассаже, точно!

Я взволновался, но Виктор Платонович высмеял меня, и мы пошли дальше. Пару раз я резко оглядывался — нас никто не преследовал. Вика измывался, плясал, как он шутил, на крышке гроба, мол, мания преследования, результат внутриутробной алколизации...

Я начал осматриваться, присматриваться к лицам. Прогнали с километр. И всё стало на свои места. За нами действительно следили.

Тактика была проста, как лопата.

Все нормальные люди думают, что при слежке за ними кто-то крадется либо неотступно следует за спиной. Поэтому они тревожно оглядываются, иногда даже прячась за угол в ожидании преследователя. Но те, кто следит, не ходят за тобой, а идут по другой стороне улицы, параллельным курсом или впереди вас. Ходят по двое. Бывает, что один из них проходит вам навстречу и вы на него, естественно, абсолютно не обращаете внимания. Они периодически сменяются. При рутинном наблюдении в группу входят четыре человека и машина с шофером. Машина едет в квартале от вас, её вызывают, если вы пытаетесь оторваться. Бригады часто меняются, видимо, дают возможность поупражняться всем сотрудникам.

Поняв эту схему, очень просто заметить преследование. И при прогулке вы начинаете без труда наткаться взглядом на уже виденных ранее людей.

Дело упрощалось тем, что даже в жару эти люди носили пиджаки. И обязательно рубашки навыпуск. Под пиджаками прятались довольно громоздкие тогда радиотелефоны, а иногда, как говорится, для понта, выдавали агентам и пистолеты, носимые на животе под рубашкой, прямо за поясом.

Писатель наш, наивная душа, непомерно восторгался моей пронизательностью, я же благосклонно внимал заслуженным похвалам...

Когда подошли к Пассажу, идущий впереди свернул налево, а мы двинулись направо.

— Смотрите, — поучал я с победным видом, — сейчас остановится машина, из неё выйдет человек и пойдёт навстречу нам. Заметим его морду. Спорим, что если мы не войдём в подъезд, а пойдём прямо к машине, она сразу уедет, а парень развернётся и пойдёт за нами.

Вика начал было хихикать что-то насчёт плачевной дедукции — и замолк.

Подъехала машина, человек пошёл нам навстречу, и всё произошло, как я говорил.

Писатель поразился. Мы повернули назад и очутились нос к носу с нашим преследователем.

Вика страшно возбудился.

Громогласно захохотал, начал тыкать пальцем в обмякшего от беспомощности сыщика — стой, ты чего, мол, за нами следишь, мы тебя засекали! Парень прошмыгнул мимо, а В.П. хотел было побежать за ним, но остановился, чуть успокоился. Что ж это такое, Витька, говорил он опечаленно, получается, что они не на шутку за меня взялись, а дальше-то что будет?..

Наружное наблюдение в Киеве продолжалось целый год, до окончательного отъезда в Швейцарию. А если к Некрасовым приглашались гости, то на лестничной площадке, как в полицейских фильмах, выставлялась по вечерам парочка как бы влюблённых, которая обнималась, скрывая лица.

За этот год Некрасов так привык к слезке, что даже не вспоминал о ней.

*Глава вторая*

От “Сталинграда”  
до Пигаль



## Булат Окуджава

Письмо с неоконченными стихами было написано на плохонькой, вроде оберточной, бумаге:

Мы стоим с тобой в обнимку возле Сены,  
как статисты в глубине парижской сцены,  
очень скромно, натурально, без прикрас...  
Что-то вечное проходит мимо нас.  
Расстаёмся мы где надо и не надо —  
на вокзалах и в окопах Сталинграда,  
на минутку и на веки, и не раз...  
Что-то вечное проходит мимо нас.

«Остальное придумается потом, потому что стихи, суки, не пишутся. Обнимаю тебя. Всем мои поцелуи. Булат».

Из полнокровной дивизии советских писателей хорошо если можно было набрать сотню-другую нелицемерных, сказал как-то Вика. Писали эти люди о чём угодно, но старались всеми силами не врать по-холуйски.

И Некрасов, и Окуджава были в их числе.

Когда я как-то сказал им с Булатом, что их творчество очень схоже, Вика чуточку смущённо воскликнул:

— Ты придворный льстец, пашенок! Он лучше! Я никогда не дотягивался, как Булат, до исторических романов!

Булат улыбался и пил вино.

Мне и вправду кажется, что некрасовская проза — очерки, зарисовки и рассказы — по плавности и изяществу напоминает стиль прозы и даже песен Окуджавы. Без напыщенности, без пыли в глаза, хотя, бывает, с нотками пафоса. Иногда чуть кокетничая. Оба они прекрасным языком, человечески рассказывали и об обыденном, и о необыкновенном, и даже о вещах невероятных.

Вика писал о людях, городах, странах. Вспоминал музеи, пляжи, архитектуру и выпивки. Булат поэтически описывал горести, радости, любовь, грусть, молодость... Оба писали о войне, о друзьях, о надеждах...

Оба счастливым образом почти не осквернились фужлом социалистического реализма.

В день моего рождения 1981 года я зашёл к Вике в кабинет и ударил челом. Просто необходимо умолить Булата на сегодняшний вечер! Он ведь в Париже, звонил уже не раз, всё равно собирается прийти. Так пусть уж придёт на праздник, вот ахнут-то все друзья-приятели!

Булат на удивление с охотой согласился, только его, мол, надо забрать из гостиницы.

Гостиничный номер поэта экзотически благоухал. Громадное блюдо с исполинской пирамидой из заморских фруктов и марципанов занимало полкомнаты. Это был презент от мадам Мартини, владелицы всего ночного Парижа, в том числе и ресторана «Распутин», скандально прославленного своими ценами. Булат решил довести эту парижскую фруктовую феерию до своей московской провинции.

— Какая Москва! — возопил В.П. — Витька именинник, у него гости уже сидят, давай их поразим!

Булат поколебался и, поглядев на меня, заулыбался:

— Раз у Витьки гости, никуда не денешься! Забираем эти плоды Эдема!

Гитарой запастись мы сразу не додумались, поэтому Булат отдыхал от песен, беседуя с наиболее почтенной публикой — Натальей Михайловной Ниссен и Наташей Тенце.

— Вначале, когда был помоложе, — пошучивал Булат, — я очень хотел за границу, но меня не пускали. А потом уже я хотеть перестал, но меня заставляют ездить. И мы с Рихтером, по сути, единственные, кто зарабатывает для Союза валюту!

Пьяненькая компания долго не решалась притронуться к фруктам, но когда робость побороли, их размели в мгновение ока...

Несколько лет спустя поутру к нам зашёл Виктор Платонович и достал из кармана куртки «Огонёк».

Эффектным жестом шлёпнул журнал на стол.

— Любуйтесь! Нашего Булата пропечатали!

Обложку «Огонька» украшала четырехфигурная композиция из самых знаменитых поэтов Союза.

Цветной групповой портрет — Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский и, чуть с краю, Б. Окуджава. Идущие по заснеженной улице дачного посёлка. Первые трое облачены в модельные импортные дублёнки, и один из них увенчан, как рында, высоким убором из куньего, полагаю, меха. В их позах чувствуется достоинство и проскальзывает озабоченность о судьбе Родины. Булат же, в курточке и кепочке, пристроился рядом с этими великолепными щёголями.

— Вы посмотрите! — возбужденно тыкал нам фотографию В.П. — Гляньте на нашего Булатика, разве это советский поэт?! Просто замухрышка!

Ещё поохал, с нежностью разглядывая Окуджаву. Тут же бросился к телефону и отчитал поэта, мол, все люди как люди, а ты выглядишь водопроводчиком!

Булат смеялся, довольный звонком, и они долго прохаживались по московским знакомым и болтали о всякой писательской чепухе. Вика сиял, как всегда после разговора с Окуджавой...

Каждый раз, когда мы с Милой хотели что-нибудь купить Булату или его жене Оле на память о Париже, он говорил мне:

— Да что вы, Витя! Я же богатый человек! У меня море денег! Я всё могу купить!

Оля была очень экономной в магазинах, берегла валюту, но от подарков Милы тоже всегда отказывалась. Деликатнейшие люди!

Позже Некрасов открыл нам глаза. Оказывается, Окуджава к тому же страшно стеснялся вагонного проводника: что тот подумает, увидев несколько чемоданов!

Где-то в 1977 году в Париж приехала большая группа советских поэтов. Устроили поэтический вечер. Евгений Евтушенко, Константин Симонов, ещё пяток поэтических светочей и светлячков. И Булат Окуджава.

Зал был забит. Много парижан, много русских эмигрантов и тьма работников советского посольства. Поэты сидели на сцене и выступали по очереди. Всем обильно хлопали, для некоторых даже вставали. После своего выступления Булат тут же спустился со сцены и начал пробираться к сидевшему в зале Некрасову. Все головы повернулись в его сторону.

На глазах всего зала Булат расцеловался с отщепенцем Виктором Некрасовым!

У поэтов на сцене были неподвижные лица плюшевых мишек, а посольский персонал суетливо зашушукался.

На следующее утро мне было велено привезти Булата к нам в гости. Раненько подъехав к гостинице на площади Республики, я застал его в вестибюле с кем-то болтающим. Булат громко меня поприветствовал, подозвал и представил своим собеседникам.

Чуть в отдалении стоял Евтушенко, задумчиво смотрел в сторону, может быть, действительно не видя нас с Булатом.

— Познакомься, это Женя Евтушенко! — подтащив меня к поэту, сказал Булат, чтоб сделать мне приятное.

— Мы знакомы, — почтительно сказал я, — вы, наверное, просто не помните...

— Ах да, конечно! — чуть встревожился Евтушенко. — Мы виделись у меня на даче, как же, помню...

Булат полуобнял меня, объявил всем, что мы торопимся, сделал ручкой советской делегации, и мы ушли.

— И что, Женя больше ничего не сказал? — удивился Некрасов моему рассказу. — Не спросил ни обо мне, ни о Галке? Странно... Хотя бы позвонил...

Дома, на улице Лабрюйер, мама решила извиниться перед Булатом за скудость стола, не было, мол, времени приготовить, ты, мол, Булатик, уж не слишком ворчи.

— Стоп! Стоп! Стоп! — сказал Булат.

Все замолчали, и он, чуть наклонившись над столом, оглядел не слишком обильную снедь. Вот такой колбасы в Москве нет уже лет пять, говорил он, указывая пальцем на тарелки, этого сыра вообще никогда не было, а сёмгу у нас едят только миллионеры в фильмах.

— Так что ты, Галочка, не слишком рассыпайся в извинениях, стол прекрасный!

— А хлеб какой у нас, — вскричал В.П., — ты только попробуй! Багет называется, не оторвёшься!..

Вечером Булат давал приватный концерт у Степана Таищева. Впервые в Париже!

Я обморочно всполошился — даже магнитофона нет, чтоб записать! К моим воплям Вика отнёсся с острым сочувствием — абсолютное, воскликнул, безобразие! Помчались в «Галери Лафайет» и складчину купили дорогуший магнитофон. Складчина была однобокая, так как В.П. внёс две трети цены. Роскошный аппарат даже привлёк внимание барда, который на кухне у Степана изволил прослушать только что напетые им песни. Я потом магнитофон присвоил, воспользовавшись тем, что Вика деликатно не возражал...

Уже после смерти Виктора Платоновича Мила разговорилась в какой-то компании с Борисом Мессерером. Поинтересовалась заодно, как там семейство Окуджавы живет. Борис вежливо поблагодарил, спасибо, живут хорошо, не бедствуют, сын помогает.

— Как так?! Какое бедствование, ведь это Булат Окуджава! — ахнула Мила.

— Милочка, — вежливо втолковывал Мессерер, — у нас сейчас поэты денег не зарабатывают. Тем более такие талантливые, как Окуджава!

## Проба парижского пера

— Подведём итоги! — любил говорить Некрасов на следующий день после удачной выпивки.

По-настоящему итоги он начал подводить в «Сапёрли-попете», а поставит точку через десять лет, в «Маленькой печальной повести»...

А вот во «Взгляде и нечто» это была всего лишь прикидка, беглый обзор ситуации.

Хитровато улыбнувшись про себя, Некрасов предварил новую вещь эпиграфом из «Горе от ума»:

В журналах можешь ты,  
Однако, отыскать  
Его отрывок — Взгляд и Нечто.  
Об чём бишь Нечто?  
Обо всём.

Опубликованные в «Континенте» в 1977 году изрядные по объёму заметки «Взгляд и нечто» представляли собой некую суспензию из воспоминаний, набросков и размышлений обо всём — о старых друзьях, о пьянстве в России, о корриде, о компартии, о войне. О Репине и современном искусстве, о диссиденте Глузмани и академике Сахарове. О Париже и Израиле, о довоенном и совсем недавно покинутом Киеве.

И везде — милейшие отступления, намёки, понятные лишь очень посвящённым и особо приближённым. Крошечные и блестящие описания уголков квартиры, улиц, городов, стран. Читатель слегка обалдевает. Но автор вновь принимается за рассказ о друзьях, о Бабьем Яре и Украине... О волшебной и нежной стране Франции и о малопонятных её обитателях, об утомительных французских обедах, о кафе, Габене, парижских прогулках...

Прекрасный восторг — мол, трудновато, конечно, но жизнь кипит, друзья не переводятся, впечатлений хоть отбавляй, природа и климат радуют свежестью. Культура процветает. Вино вкусное, но до водки ему далеко. Но разве посмеешь упрекнуть Некрасова в том, что в Париже он блаженствует и замирает от счастья!

Правда, иной раз автор чуть поднадоедает своими рассказами и подробностями: сколько стоит лимонный сок или порция сушёного мяса, что он посасывает, а что пьёт залпом, — но удержаться буквально не в силах, рассказывает и рассказывает... Некрасов же был абсолютно убеждён, что

всё это бешено интересуется его читателей в России. Это же такое блаженство — чтение подробностей!

Таков стиль Некрасова, ценимый почитателями и хулимый прочими, в частности критиками, на мой взгляд, в большинстве тоскливыми, измученными запорами буквоедами.

Для среднего француза «Взгляд и нечто» — изысканно-непонятная книга.

Какие там исключения из партии, заседания, вызовы в партком или в ЦК! Рассыпанные наборы двухтомников, запрещённые премьеры, зловещие люди, сидящие в сторонке на первом прогоне спектакля! Почему столько разговоров о путёвке в какой-то там дом творчества или о звонке из домоуправления?

Да и обычный русский читатель, астрономически далекий от столичного микрокосмоса, от всех этих издательств, совещаний, президиумов и комиссий, почитав несколько страниц, тоже начинает недоумевать: ну ладно, а книга-то о чём, что дальше-то? А дальше — продолжение рассказа, как автор волновался, как жизнь изменилась, как он пошёл в другое издательство, а там ему сказали... И новый рассказ о мытарствах, мыканьях и превратностях. Не может удержаться! Ему это кажется таким захватывающим, да и нам, близким к нему, всё это интересно до безумия. А вот остальным...

Хотя мне лично его стиль мил.

Только искренний человек и хороший, талантливый писатель может простодушно позволить себе такой пассаж:

«Написал одно письмо. Второе. Третье. Подобрал и наклеил красивые марки. Сходил в уборную. Вернулся. Закурил. Включил транзистор».

Правда ведь, вас не слишком обременяют сопереживания?

А эта злосчастная «Доска почета»!

Из самых добрых побуждений Виктор Платонович решил отблагодарить всех помогавших ему первое время. И перечислил благодетелей и доброхотов, втиснув их на некую придуманную им «Доску почета». Мол, вот они, друзья и помощники, хвала им и честь!

Лукавый его попутал написать об этой доске. Если уж ты начал благодарить, то вспоминай всех. А Вика многие имена упустил!

Иные кротко затаили обиду, а вот тогдашний главный редактор «Русской мысли» Зинаида Шаховская обиделась открыто. Как всё-таки, говорила она, люди неблагодарны, как быстро забывается сделанное добро! Она права, к сожалению. Некрасов извинился потом, но всё же почувствовал неловко...

А главный промах Некрасова — он уподобился Робинзону Крузо, который для поддержания духа решил однажды написать в два столбика — что хорошо и что плохо на необитаемом острове. Но, на беду, никто не сказал опьянённому свободой слова Некрасову, что о местных порядках следует помалкивать! С ангельским простодушием он высадил открытую дверь и обрушился на коммунизм с человеческим лицом, чарующий сердце французских леваков.

И переборщил с восторгами о свободах на Западе, очень раздражавшими парижских интеллектуалов. Убеждённых в необходимости решительных социальных перемен. Не затрагивавших, однако, их невиданные привилегии и тугие кошны.

В 1979 году переводить Некрасова прекратили. Доигрался и дописался, наивный человек!

А как всё заманчиво начиналось!

В первые же парижские дни, ещё в 1974 году, Некрасову позвонили из престижнейшего книжного дома Gallimard.

Знакомство с почтенным Гастоном Галлимаром, владельцем издательства, произошло в «Английской таверне», на Сен-Жермен-де-Пре. Старик Галлимар называл В.П. «моим дорогим изгнанником», угощал роскошным английским пивом и интересовался планами. Планы оказались незатейливыми и никак не связанными с писательством — побегать по Парижу, съездить в Лондон и Монреаль, а потом отдохнуть где-нибудь, скажем в деревне.

Приветливо улыбаясь, Галлимар предложил на отдыхе в деревне побаловаться прозой, мол, издательство ждёт не дожждётся новой книги.

Любой французский автор воспринял бы подобный разговор как небесное знамение и редкостную благосклонность судьбы. Но «дорогой изгнанник» оказался уникальным растяпой и вместо того, чтобы тут же решительно оговорить условия и гонорар, туманно пообещал «иметь в виду».

Простились вроде бы друзьями.

Из России Некрасов привёз с собой «Городские прогулки» — милейшие и безобидные записки о Киеве, о своей юности, об архитектуре, о занятных житейских случаях и встречах. Чтобы насолить ему, советская власть запрещала печатать эту вещь в «Новом мире», потом и в «Москве». Рукопись принимали, долго держали, тянули, даже выплачивали авансы. И с горькими вздохами возвращали автору, извините, мол, ничем помочь не можем, вы сами понимаете ситуацию.

И теперь, оказавшись в свободном мире, писатель решил дописать несколько сокровенных кусков. А заодно изменил название — теперь это «Записки зеваки».

Первое, что было добавлено в привезённую рукопись, это выношенная и взлеянная автором «Эпиталама водке». Как мы знаем, в своё и в наше время Виктор Платонович был выдающимся охотником до этого напитка и часто поры-

вался подробно описать любезный сердцу процесс питья и захмеления. И всегда, во всех редакциях, сцены смачной выпивки вымарывались, крепко пьющие русские патриоты и мировые парни превращались цензорами в каких-то хилых выпивох без роду без племени, а количество выпитого уменьшалось ровно наполовину. Особенно удручало Некрасова, что наиболее рьяно боролся с водкой главный редактор «Нового мира» Твардовский, между нами, первостатейнейший мастер этого самого дела...

Попав во Францию и сбросив путы цензуры, наш писатель отвёл наконец душу:

«О, водка! О, проклятое зелье!.. Не могу не спеть тебе, т.к. слишком долго и упорно дружил с тобой, повергая в тоску и ужас друзей и знакомых, не могу, т.к. только этим искуплю свою вину перед тобой, если и не забытой, то давно уже отвергнутой». Ну и так далее...

В далекой России эпиталама прогремела. Приезжие москвичи говорили, что старый друг Некрасова актёр Михаил Козаков декламирует её по московским кухням. В Париже нередко и сам Виктор Платонович, уступив уговорам чуть подвыпившей компании, читал гостям вслух этот пассаж, предварительно украдкой выпив в кабинете стопку-другую. В смутные же перестроечные времена эпиталама стала объектом непреднамеренного плагиата — её приписали Юрию Домбровскому. Недоразумение было вежливо рассеяно Александром Парнисом, дотошным знатоком некрасовского творчества.

В общем, о водке был сотворён немеркнущий перл, скажем так, для красоты...

Кроме водочной оды в новую книжку были внесены главы о превратностях писательской жизни в Союзе, о слежке и обыске, о новой парижской жизни, о разлуке и обиде...

Но пока Виктор Платонович собирался, настраивался и дописывал, Гастон Галлимар тяжело заболел и от дел отошел. А вскоре и вовсе умер. Наследники же больше об издании «Зеваки» не заговаривали.

Книгу предложили в издательство Seuil, потом в Presses de la Cité, но и там гонорар не понравился литературному агенту Некрасова Борису Гофману. В конце концов остановились на издательстве Julliard — там заплатили девяносто тысяч франков. Сумма по тем временам значительная, хотя совсем не выходящая из ряда вон.

Говоря более или менее по-русски, Боря Гофман был незаменимым компаньоном для сидения в рабочее время в кафе. Но к труду его душа никоим образом не лежала. По советским меркам назвали бы его пустомелей и лентяем.

Его старший брат Жора, такой же общительный, но более серьёзный человек, собственно, и вёл все дела, хотя тоже себя не перетруждал, сберегая силы для любимого занятия — пилотирования своего самолёта. После многолетних обещаний Жора взял-таки Вику в полёт и покружил над окрестностями Парижа, доставив В.П. дикое удовольствие, хотя аэрофотографии получились из рук вон плохо...

Первое время Некрасов часто заходил к братьям в адвокатскую контору на бульваре Сен-Мишель потрепаться или узнать новости. Боря был малый весёлый, оказывал В.П. мелкие услуги, подвозил на машине или советовал, как писать деловые письма. Но потом как-то скис, стал абсолютно необязательным. Некрасов всё больше и больше злился на его наплевательское отношение к его просьбам. Их приятельские отношения, в общем, сошли на нет.

Получив аванс за «Зеваку», Вика незамедлительно начал его просаживать — двинул летом 1976 года в Испанию.

Там в большом, окружённом оливами доме его ждала Жанна Павлович — бывшая киевлянка, врач, старая прия-

тельница. Она много помогала нашим в первые парижские годы, да и потом не обходила вниманием.

Красивая женщина, с прекрасным, на удивление, характером, мило рассеянная в обычной жизни, но деловая при необходимости, Жанна была знаменита тем, что муж её вывез во Францию из Чехословакии в багажнике лимузина, без бумаг, денег и вещей. Так она очутилась в Париже.

Жанна, кстати, возвращаясь из Москвы, не побоялась привезти оставленную нами у Раисы Исаевны Линцер папку с некрасовскими рисунками, пару рукописей и бриллиантовое колечко Милы.

## Идиллия с Натали Саррот

«Помещение моё, — пишет мне Виктор Платонович из Испании, — то ли сарай, то ли конюшня, но оно превосходное. Кресло у окна с видом на дальнее море. Под окном платан, на котором с шести утра орут птицы — будят. В Каталонию влюбился. Что-то крымское, коктебельское...»

Жили они в доме у знаменитого скульптора Фенозы, знакомого Нелли Курно, Жанниной подруги.

Письмо от 20 июля 1976 года:

«До Барселоны пока ещё не добрался, веду в высшей степени размеренный образ жизни. И плодотворный. Накатал уже 30 страниц. Делаю это утром, до завтрака, и после послеобеденного сна ещё часика два... Вечером пьём чай. “Девки” мои на высоте, живём мирно и дружно. Иногда ездим в соседний Вандрей, то за покупками, то за фото, то на почту. Сегодня специально для тебя зашёл, чтоб несколько разнообразить марки на письмах. Присматриваюсь к будущим подаркам.»

Начинаю выполнять свои обещания, данные Маланчуку, пишет он в письме.

Повезло этому человечку-микробу, секретарю по идеологии компартии Украины. Кто ещё вспомнит это имя! А обещал ему Некрасов посмотреть корриду, а тот хихикал, мол, надежды юношей питают...

И через неделю ещё письмо:

«Обе они хорошие бабы — жить с ними легко. Если б не было детей, совсем было бы отлично. Но — грех роптать. Это просто так, от дурного характера. В общем, не жизнь, а сказка... Хотя бы на что-нибудь пожаловаться — на фашизм, двух мух, которые меня одолевают, на дороговизну картошки (давно такой я не едал!), но не получается. Целую. Вика».

По приезде Некрасова ожидали «Записки зеваки», которые вышли в мюнхенском «Посеве», чуть опередив французское издание, в изумительном переводе знаменитого сорбоннского слависта Мишеля Окутюрье.

Эмигрантские газеты книгу вежливо нахваливали, да и немногочисленные французские критики сходились на том, что книга заслуживает быть замеченной.

Левая парижская пресса тогда благосклонно похлопывала по плечу Некрасова, мол, неплохо и занятно. Так сказать, читабельно! Книгу очень благожелательно обсуждали и в телевизионной литературной передаче. Приглашённый на обсуждение коммунистический партбонза по идеологии Леруа вполне похвально отозвался и о «Записках зеваки». И высказал даже недоумение, почему, мол, в Союзе её не хотели печатать. Абсолютно непонятно, говорил, искренне тережусь в догадках...

Одобрила «Записки зеваки» и парижская знаменитость, Натали Саррот, русская по рождению и добрая знакомая Некрасова.

Они поначалу подружились, общались, и я даже был представлен мадам Саррот Викой. Мы специально нанесли ей куртуазный визит, о котором в памяти моей сохранилось

только то, что в сорокоградусную жару мэтр вышла к нам в накинутом на плечи шотландском пледе и войлочных тапочках, в разговоре была приветлива, а я умильно улыбался и чему-то поддакивал.

Мадам Саррот, славный представитель французского «нового романа», как бы опекала Некрасова, часто приглашала домой или посидеть в кафе. Охотно выпивала рюмку-другую, чем немисливо расположила к себе В.П.

Идиллия с Натали Саррот через пару лет сошла постепенно на нет.

Сперва Некрасов не понимал, что Саррот была, несмотря на свои литературные заслуги, совершенной левачкой. Иными словами, буржуазной большевичкой. Как большинство парижских интеллектуалов послевоенного периода. Более того, в лихой ватаге «интеллектуальных террористов» Парижа — Арагон, Сартр, Эльза Триоле — она была видным авторитетом.

Началось всё с того, что Некрасов попал в ловушку, которую не избежали более или менее все эмигрантские писатели и публицисты, — он начал описывать, покритиковать и вышучивать в своих выступлениях идиотские, как он считал, местные порядки в социальном плане. Правда, слава богу, удержался от советов, каким манером их улучшить.

Спрос на диссидентов ещё окончательно не спал, поэтому во Франции «Взгляд и нечто» успел благополучно увидеть свет, кстати, на этот раз его издали в «Галлимаре».

В следующей книге, совсем осмелев, В.П. решился высказать кое-какие мысли о французской демократии.

Раздражали его все эти осатанелые манифестации, идолопоклонство перед заезженными, до рвоты демагогическими левачкиными лозунгами, по сравнению с которыми даже большевистские призывы семнадцатого года отлича-

лись рафинированной глубиной. А тут он к тому же посягнул на местную святыню — забастовки. Пусть алчные, бесконечные, беспричинные и даже просто дурацкие, но они считались неприкосновенным социальным завоеванием и абсолютным доказательством торжества демократии. Некрасов же по простоте душевной разоткровенничался, и его уже нехотя, через губу напечатали в парижской газете.

Полагаю, именно в этот момент Натали Саррот почувствовала, что дружбу с Виктором Платоновичем надо притормозить. Дама, как я уже говорил, весьма авторитетная, к тому же знающая русский язык, она была внутренним рецензентом некрасовских произведений для многих парижских издательств.

Когда он похваливал порядки в Союзе, возмущался советской властью и глупостью трухлявых вождей, всё было хорошо, никто не оспаривал — там-таки непорядок, но вот во Франции у коммунистов подход совсем иной, с человеческим лицом! А он, сам того не подозревая, кощунственно топтал парижские табу. И Натали без колебаний замяла с ним все отношения.

Как же иначе? Ведь такой милый вроде бы Вика на деле оказался ярым реакционером, что на птичьем языке левых радикалов означало фашиствующий уклонист.

Помню, Некрасов всё удивлялся, почему, мол, дела его издательские ни с места, а «замечательная баба» Натали ничего не хочет делать. А ещё называется друг... В общем, вначале недоумевал, а затем понял, в чём дело. Особенно когда из парижских издательств вернули рукопись «Из дальних странствий возвратясь», сопроводив какими-то косноязычными и вежливыми отговорками.

Это была вторая часть крупной диалогии, которую Некрасов начал в 1978 году в Женеве, в доме у Наташи Тенце.

Окружённый благоговейным вниманием и доброжелательнейшим сдуванием пылинок, Некрасов написал тогда первую часть — «По обе стороны стены».

Две отдельные вещи, они связаны общей темой и хитро-сплетениями отсутствующего сюжета — описанием стран, городов, домов, вообще жизни на Западе и сведением счётов с прошлым.

И тут его еще раз больно кольнули, уязвили. Передали мнение одного очень дорогого и очень любимого москвича. Высказанное во всеуслышание. Дескать, незачем писать о каких-то домашних крестинах, читателю это просто неинтересно! Москвича звали Семён Лунгин. К счастью, Вика перетерпел упрек старого друга и продолжал писать, как и раньше.

Но в конце второй книги Некрасов развёл руками:  
«Вот тебе и Рай земной... Нет Рая на земле. Нигде!»

Частично он прав...

Словом, парижские издательства, желающие, естественно, оставаться прогрессивными, явно охладели и к самому Некрасову, и к его творчеству.

А через пару лет мода на диссидентство вообще утихла и наступило полузабвение.

## Кто самый склочный?

Оставшийся в Киеве в безграничном одиночестве Гелий Снегирёв начал, как многим казалось, неприкрыто безумствовать, обличая советскую власть. Но он уже взлелеял сверхзадачу — написать свою книгу! Вначале вёл он себя просто смело, а ва-банк пошёл позже, когда «Мама, моя мама!» была напечатана за рубежом. И никакого взрыва интереса не вызвала. Гелий разошёлся, публиковал всё более и более ед-

кие, а потом и дерзкие вещи. Парижским интеллектуалам уже давно надоело восторгаться архипелагами и диссидентами, а Гелий предлагал начать новый круг конфронтации с советской властью.

— Бедный Геляша, бедный! — повторял не раз Вика. — Как там его мучают, как он там бьётся рыбой об лёд, один-одинёшенек...

И сам Некрасов начал более резко отзываться о советской власти, регулярно выступать на радио, да и в газетах писал о ней без особых околичностей. О том, что советская власть с диссидентами мелочилась, теряла лицо, по пустякам устраивала прямо-таки псовую охоту на робко, в общем-то, протестующих. Власть износилась до дыр, как говорил Некрасов...

В свой второй, заветный, теперь коричневый альбом «Авто-фото-био-эссе-2» Некрасов клеил вырезанные из газет три открытых письма Гелия Снегирёва: правительству СССР, президенту США Картеру, генеральному секретарю Л.И. Брежневу.

Первое напечатано было 7 июля 1977 года.

В солнечный день к нам на улицу Лабрюйер пришла незнакомая женщина и передала трубочку фотоплёнки. Передача от Гелия Снегирёва. Я посмотрел плёнку на свет — десяток кадров с текстом на машинке. Очень мелко, с трудом разберёшь.

«Настоящим заявлением я отказываюсь от советского гражданства... Ваша конституция — ложь от начала до конца!..» Это было «Открытое письмо Правительству СССР».

С плёнкой мы пошли в «Русскую мысль». Вика заходил туда часто, делал фотокопии, пил чай с редактором или просто вёл лицеприятные беседы.

Подожди здесь, сказал мне и постучал в кабинет главного редактора Зинаиды Шаховской.

Я прошёл в общую комнату, где в углу позёвывал, сидя на диване, волоокий бородач, ведший ежемесячную рубрику «Целлюлиту — бой!». В другом углу читал газету противный старик Сергей Рафальский. Умница, злюка и остроумнейший журналист. Год назад, впервые увидев меня, он хмуро поинтересовался, не служил ли я в немецкой армии. Зачем так щёлкать каблуками? Обозлившись, я тогда ответил, что служил офицером не только в немецкой, но и в советской армии, десять лет тому назад. Старик ехидно посмотрел на меня:

— Оно и видно, где служили! Не десять лет тому назад, а просто — десять лет назад. Этого достаточно по-русски!

Сейчас Рафальский оторвался от газеты, приятно поздоровался и снова решил проэкзаменовать меня по родной речи. Вот многие из вас с высшим, как вы утверждаете, образованием, а как сказать во множественном числе «дно»? А если он — пёс, то она — кто будет? Сука? Псина? А вот и неверно!

Разошёлся и начал попрекать всю третью эмиграцию в бескультурье и забвении заветов классиков. Другой старик, поэт и тихоня Кирилл Померанцев, попивая чай, улыбался примирительно и урезонивал своего дружка.

Некрасов вышел от Шаховской расстроенный. До чего же довели Гелия, если он отказывается от советского гражданства! Совсем Гелий пошел вразнос, сокрушался в метро В.П., теперь выхода нет, ведь его не вышвырнут из Союза, а просто убьют, и всё...

Владимир Максимов по обыкновению вышагивал по кабинету в «Континенте» и смотрел на вещи мрачно. Согласился: надо организовать кампанию в защиту Снегирёва, он возьмёт на себя Германию и Скандинавию. Конечно, жалко человека...

Год назад, когда Некрасов принёс ему рукопись Снегирёва «Мама, моя мама!», Максимов прочёл её и почувствовал недоброе. Такие штуки нам могут не простить украинцы, грустно сказал он Вике. Помнишь, как тебя заклевали за твои канадские выступления? Потом похвалил Снегирёва: талантлив! И обречённо вздохнул: «Будем печатать!»

Нашагавшись, Максимов протянул Некрасову письмо с трезубцем в дубовых листьях посередине. Переведи с украинского, попросил, хотя в общем-то понятно...

## СПІЛКА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ

Президиум мирового совета

Главному редактору журнала «Континент» г-ну В. Максиму.

...мы получили целый ряд материалов, доказывающих, что «лирико-публицистическое исследование» Гелия Снегирёва, начало которого Ваша редакция опубликовала в «Континенте» в № 11, относительно СВУ и СУМ в подсоветской Украине, является на 100% провокацией КГБ.

...Как Вам, очевидно, известно, за рубеж передано письмо... «Немного о политическом бандитизме». В этом письме даются характеристики многих членов нынешней редакции «Континента» во время их пребывания в СССР. Здесь есть В. Максимов, В. Некрасов, Галич, Коржавин...

Должны Вам сказать, что эти характеристики ясно указывают, ПОЧЕМУ ВАС ВСЕХ КГБ «выбросил» за границу...

Но мы это дело перепроверяем, не является ли оно также некоей провокацией КГБ, хотя Ваши украинофобские выступления на страницах «Континента», в частности провокации В. Некрасова, направлены на компрометацию украинского народа, так же как и его «юмористические опусы» и характеристика канадских украинцев, а также и его лживые

утверждения, что украинцев в СССР НИКТО НЕ РУСИФИЦИРУЕТ, и это именно тогда, когда он подписывает заявление в поддержку НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ с намеками на «плебисцит», подтверждают то, что написано в письме!

Что все эти редакторы были сталинскими «лауреатами» и трубачами советской системы и никогда не выступали в роли «диссидентов».

За президиум МС СОУ Председатель: В. Коваль.

Некрасов отшутился, мол, отщёлкал нас председатель Коваль по первое число! Но Максимов оставался хмурым, он болезненно, вполне серьёзно, воспринял эту «шутку». С тех пор Некрасов не упускал случая съязвить, что, мол, самые склочные в эмиграции — это украинцы, затем идут художники, а уж потом — писатели. Почему он приплёл сюда художников, мне не совсем ясно. А вот с первым местом он прав, на мой взгляд, и в свое время я ещё расскажу о канадских украинцах.

Дома Некрасов позвонил в газету «Монд». Договорился о встрече, просил упомянуть о Гелии, пообещал о нем статью. А вот «Фигаро» раскачивалась туго, отделалась маленькой заметкой.

Напечатанные в этих газетах статьи, не говоря уже о кампаниях в защиту диссидентов или об их преследовании, считались очень весомым поводом для надежды: может, что-то и получится, человека спасут...

Обязательно надо тормошить и французов, и евреев, и украинцев, возбуждённо делился планами Некрасов. Завтра же пойду советоваться с Максом.

Как-то в кафе, вскоре после нашего приезда, Виктор Платонович деловито закурил, полистал записную книжку и сообщил, что сейчас мы пойдём знакомиться с очень хоро-

шим человеком, его новым другом. Зовут Макс Раллис, и он говорит по-русски — родители вывезли его из России младенцем, в революцию...

Окованные медью двери подъезда старого пятиэтажного дома на бульваре Сен-Жермен могли бы без ущерба выдержать удары осадного тарана, но открывались легко, одной рукой. Вначале, правда, нажималась кнопка, и после волнительно долгой паузы перед объективом телекамеры женский голос интересовался, кто вы и назначено ли рандеву. На пятом этаже двери были попроще, с глазком и обычным звонком. Вам открывала модно одетая женщина, улыбалась как любимому человеку и провожала по квартирному коридору до директорского кабинета.

Увидев посетителей, директор радостно выскакивал из-за красного дерева письменного стола, обнимал за плечи, усаживал в кресло и распоряжался насчет кофе или ещё чего. Тут же театрально смотрел на часы и, соблазнительно улыбаясь, сообщал, что всё складывается на редкость удачно — сейчас пойдём обедать, а там заодно и поговорим...

Седовласый и моложавый, Макс Раллис одевался чрезвычайно элегантно, носил вместо галстука шикарный шейный платок и во все времена года был покрыт загаром. Он и был директором отдела исследования аудитории «Радио Свобода», крохотной и не известной никому конторы, на первый взгляд непонятно чем занимающейся.

Потом я ходил туда еженедельно два-три месяца подряд, получал от секретарши кассеты и шёл в соседнюю комнату с магнитофоном. Это были уже транслированные передачи «Радио Свобода» о жизни и событиях в Советском Союзе. На своё девственное советское ухо я должен был их прослушивать и не сходя с места заполнить анкету с краткой рецензией: компетентен ли автор, каков язык, было ли интересно, актуальна и доходчива ли передача, как воспримется совет-

скими радиослушателями... Приглашались лишь свежеприехавшие из Союза. Считалось, что человек, проживший за границей более трёх месяцев, теряет восприимчивость к пропаганде. Платили весьма щедро...

Вика и Макс шли под ручку, не торопясь, болтая и смеясь, со стороны было приятно посмотреть — два дружка прогуливаются в свое удовольствие, на жизнь не жалуются.

Русский ресторан «Доминик» был далеко не всякому по карману. Даже днём здесь тихо наигрывал тапер-виртуоз, метрдотель знал посетителей по именам, а каждый столик обслуживали два официанта. Крахмальная салфетка была размером с банное полотенце, полагалось укрываться ею от пояса, включая колени. Боясь дать маху, я за столом точно повторял все жесты Макса, но всё же ухитрился перепутать ножи при вкушении исландской маринованной сельди. Подавали вкусные русские блюда, водка замораживалась до густоты желе, вместе с кофе предлагалась сигара. Некрасов водку не пил, а мы с Максом выпили по малюсенькому графинчику. На десерт гости пожелали фрукты, но Макс тихонечко растолковал, что в хорошем ресторане фруктов не подают, считается, это слишком простецки. Вика удивился, я же сделал вид, что это общеизвестная истина.

Естественно, это был деловой обед, поэтому заплатил Макс. А разговор крутился вокруг извечной темы — о всесии КГБ.

Какое там всесие, говорил Некрасов, наверняка у них такой же кавардак, как везде в Союзе. Всесие заключается в колоссальном количестве осведомителей. Не каждый ведь найдёт смелость отказаться стучать.

— А потом, Советам не хочется казаться совсем уж варварской страной, лестно им показать, что и у них оппозиция зарождается, — сказал Макс.

...Некрасов вернулся от Раллиса воодушевлённым и деловитым — о Снегирёве будут передачи и по «Свободе», и по «Голосу Америки». Может, и в конгрессе запрос о нём сделают, так что не всё потеряно.

Позвонил и Андрею Седых, владельцу и главному редактору нью-йоркского «Нового русского слова». Обстоятельно рассказал о предстоящих бедах Гелия, попросил газетную огласку.

Тот твёрдо обещал.

В День Бастилии было напечатано новое письмо Гелия Снегирёва, «Обращение к президенту Картеру». А через несколько дней Некрасову передали «Письмо Брежневу». Стало абсолютно понятно, что Гелий погиб. Такие вещи не прощают.

В эти дни к Некрасову по делам зашла Татьяна Плющ. Заговорили о письмах. Что скажет она, умудрённая опытом жена диссидента? Она же знает диссидентскую психологию. Ну так что же Гелий делает, это же самоубийство? Смотри, Таня, что он пишет: «Вы лишили моих соотечественников-украинцев национального достоинства, вы добились от нас того, что мы боимся и не хотим называться украинцами».

Это бывает с людьми, ответила печально Таня, когда над ними глумятся, уверяют, что у них мания реформаторства. Вот они от отчаяния и решаются на крайнее. Таких нельзя остановить, они закрыли глаза и так пойдут до конца...

Гелия арестовали через два месяца. После ночного обыска, сообщила по телефону его вторая жена, Галина Анатольевна. В «Монде» статья — «Украинский писатель Снегирёв арестован». Некрасов потом ещё трижды писал в этой газете большие статьи в защиту Гелия, неизвестно на что надеясь...

Газеты бессильно оповещали:

«Гелий Снегирёв почти ослеп — кровоизлияние в оба глаза...»

«В результате истязаний и насилия Гелия Снегирёва разбил паралич...»

«Он умер 28 декабря 1978 г. в киевской больнице, где находился под наблюдением КГБ. Жене сообщили, что он умер от рака. Ему был 51 год».

«Умер мученик КГБ Гелий Снегирёв».

«Скончался Гелий Снегирёв. КГБ замучил украинского писателя-диссидента».

«Его друг Виктор Некрасов ранее уже не раз писал в “Монде” об этом отважном и отчаявшемся человеке».

И в конце концов — извещение в нью-йоркском «Новом русском слове»:

В храме Христа Спасителя  
будет отслужена панихида по замученному и убиенному  
Гелию Ивановичу СНЕГИРЁВУ,  
украинскому писателю, борцу за права человека в СССР,  
горячо верующему православному гражданину,  
скончавшемуся в Киеве в декабре 1978 г.

## Ах, утону я в Западной Двине...

Известнейший во всех волнах эмиграции журналистский лис и волк Яков Моисеевич Цвибак, для удобства называвший себя Андреем Седых, питал к Некрасову слабость. И Некрасов тоже любил его. Они и переписывались, и перезванивались, и встречались частенько в Америке. Приехав в Париж с приватным, как он сказал, визитом, Андрей Седых зашёл к нам на Пасху в 1979 году. Выкушал кулич, рассказал о своей парижской жизни в пору, когда он был просто репортёром Яковом Цвибаком. Скромно сунул Вике какие-то гонорарные деньги и подарил свою

книгу «Далёкие близкие»: «Дорогому Виктору Платоновичу Некрасову от друга и почитателя».

Во все годы эмиграции Седых безотказно печатал статьи и рассказы Некрасова и обязательно платил гонорары. Деньги небольшие, но без задержки. Старый литератор, хлебнувший и вкусивший горести и отрады первой эмиграции, он, как никто, понимал, сколь к стати приходятся несколько попутных долларов. А для души еженедельно высылал из Нью-Йорка бандероли с последними номерами «Нового русского слова», чем очень ублажал своего друга.

В начале восьмидесятых Некрасов начал регулярно писать передачи для «Радио Свобода». Многие из них, слегка переработав, посылал в «Новое русское слово», в очередной номер. Особенно ему хотелось, чтобы публиковались материалы об оставшихся в Союзе друзьях, то ли о тех, кто притеснялся, то ли по случаю какой-то их даты, то ли чтобы просто рассказать о них.

После многих лет взаимного благоволения между парижской «Русской мыслью» и Некрасовым начал возникать некий напряг. Когда в газете царила княгиня Зинаида Алексеевна Шаховская, всё было проще, Некрасова без разговоров печатали.

Но затем редакцию возглавила И.А.Иловайская и в редколлегии, видимо, была принята линия, при которой статьям Некрасова первостепенная роль не отводилась. Отношения поддерживались корректные, и газета временами его печатала — но когда он сам отстранял обиду, звонил и посылал какой-либо неотложный материал.

Смею предположить, что в то время редактор и парочка влиятельных диссидентов решили, что грянул час провозгласить «Русскую мысль» дружиной архангелов, рубящихся с Империей зла. А статьи Некрасова были, считали в редак-

ции, беззубыми, мягкотелыми или просто вне злободневного клича.

В редакции работала открыто к нему благожелательная Ирина Гинзбург, но теперь В.П. даже к ней обращался неохотно...

Тогда Некрасов почти полностью повернулся к «Новому русскому слову», посылал туда практически все свои рассказы и статьи. Возможности «НРС», газеты по-американски внушительной, двадцатистраничной, да к тому же ежедневной, ни в какое сравнение не шли с чудосочной восьмистраничной парижской «Русской мыслью». Выходящей раз в неделю и казавшейся американцам местечковой и келейной газеткой, сообщавшей в основном о задавленных на дорогах собачках и сломанном дверном звонке у муниципального советника.

Вот и сейчас В.П. отвалился от телефона, торжествующе потирая руки. Он только что переговорил с главным редактором.

— Я был горд и заносчив в разговоре! — объявил Вика. — Удалось напечатать стихи Генки Шпаликова!

В «Новом русском слове» от 18 июля 1976 года.

Вступительная фраза Некрасова — «Ваша газета будет первой его посмертной трибуной».

Два стихотворения посвящены В.П. Некрасову.

И без тебя повалит снег,  
А мне всё Киев будет сниться.  
Ты приходи ко мне во сне  
Через границы.

Вырезки из «НРС» будут вклеены Викой в специальный альбом, рядом с фотографиями: Гена с Хуциевым, Гена на киев-

ской кухне напевает мне на магнитофон свои песни, Гена там же улыбается, машет рукой...

Был 1973 год. Уже несколько дней подряд Геннадий Шпаликов повадился приходить к Некрасову ранним утром, часам к шести.

Гена тогда не пил, жил в киевской гостинице, не мог спать и писал стихи. Вернее, переписывал уже написанные, чтоб скрасить одиночество и доставить приятное своему другу Вике. Потом приносил исписанные листочки и клочки бумаги и подсовывал их под дверь. По утрам Некрасов первым делом шёл к входной двери и радостно объявлял: «Генка опять приходил!» Поднимал с пола листок со стихами, звал меня в кабинет почитать с выражением. Какой талант, причмокивал, какой молодец!

За завтраком Гена пил только пустой кофе, отказываясь от приготовленных мамой оладий или сырников. Был мало похож на молодого симпатягу с фотографии времён фильма «Мне двадцать лет», висящей у Некрасова в кабинете. Одутловатое лицо, некрасивые липкие волосы, дрожащие руки, пот на лбу. Вид нездоровый.

Не улыбался, ходил по пятам за Некрасовым, подробно говорил о новом фильме. Он приехал в Киев пробивать свой сценарий о суворовцах. Рассказывал многие истории о своей учёбе в Киевском суворовском училище.

Через несколько дней Гена отошёл душой, шутил с Вадиком и Милой, а на мою просьбу спеть однажды согласился не ломаясь. Некрасов живо приволок магнитофон, Гену усадили поудобней, Вадик устроился напротив и усталился ему в рот, а Милу попросили выйти в коридор, чтоб не отвлекать исполнителя женской красотой.

Отстукивая рукой такт по столу, Гена куражливо запел свою знаменитую песенку:

Ах, утону я в Западной Двине  
Или погибну как-нибудь иначе,  
Страна не пожалеет обо мне,  
Но обо мне товарищи заплачут...

— Так у тебя песня не получается! — сказал Некрасов. — Попробуй спеть нормальным голосом. Не кривляйся!

Гена радостно улыбнулся, как-то просветлённо закивал, мол, конечно, можно спеть и серьёзно... И снова запел, и получилось прекрасно, и он записал другие песни, и радовался, когда Некрасов ему аплодировал в дверях кухни, и позировал, обняв Вадика и меня за плечи, а писатель щёлкнул нас несколько раз...

Листочки, исписанные карандашными строками, лежали в отдельной папочке. Некрасов принёс мне пачечку этих обрывков, клочков и салфеток, покрытых стихами. Разглаживал бумажки, без особого труда разбирая почерк.

— Надо перепечатать, — сказал. — Напечатаем моего Генку в «Новом русском слове», я договорюсь с Седыхом...

А через месяц после публикации в «НРС» Некрасов с ликованием потрясал номером «Советского экрана» с подборкой уже других стихов Гены.

— Смотри, Витька, переплюнули мы их, успели первыми! — радовался по-ребячьи Вика.

Да и мне было приятно...

## Пиджак на голое тело

К вечеру Вика позвал меня в кабинет и поделился новостью. Встретил он русского букиниста, тот обещал завтра прийти и показать свои сокровища. Откуда я знаю, сколько стоит, пожал плечами В.П. Наверное, недорого, не будет же этот

книжник, человек молодой и начитанный, непомерно ломить цену!

Книжник оказался действительно молодым и речистым, жуком советского замеса, с манерами вокзального соблазнителья. Из огромной сумки выложил товар — издания первой эмиграции, воспоминания, сборники и монографии.

Мы листали, поглаживали и чуть ли не обнюхивали эти редкости. И тут В.П. как бы мяукнул, так странно, что я встрепенулся. Писатель наш был душевно сражён. Держал пачку номеров «Жар-птицы», прекрасного двухмесячного журнала, издаваемого в начале двадцатых годов в Берлине. Художественное издательство А.Э. Когана «Русское искусство», прямо-таки застонал В.П. Смотри: Лукомский, Судейкин, Григорьев... Боже, какие иллюстрации! «Дориан Грей» Аронсона! Билибин, Шагал, Сорин...

Конечно, поддакивал молодой жук, это настоящий антиквариат, он сам выложил на это немалые бабки, но в хорошие руки он отдаст всё со скидкой, без всякого навару для себя. Двести франков номер, сказал он. Я пискляво хакнул.

Громадная сумма получалась, но В.П. уже пошёл за чековой книжкой, дал жуку чек и ушел с журналами в кабинет. Жук быстренько растворился. С той поры у писателя появилась на первый взгляд богатая мысль: собирать все старые эмигрантские журналы и книги. Через пару лет, погрязнув в книжной мешанине, Вика образумится и прекратит захламлять квартиру, как говорила Мила.

Но тут нагрянула другая квартирная беда. Зачастив на блошинный рынок, Виктор Платонович решил собирать номера журнала «Иллюстрасьон» времён Первой мировой войны. Они складывались вначале в углу кабинета, потом В.П., захлебываясь от нашествия и наплыва бумаг, устроил им склад в кладовке, где уже громоздились бессчётные плас-

тинки, календари, папки с вырезками и книги, приготовленные для подарков москвичам. Десятки разнообразнейших печатных изданий лежали и грустили, забытые всеми, как старики в богадельне, поддерживая у своего хозяина лестное чувство обладателя культурных богатств. И напоминая ему киевскую квартиру, забитую книгами, старыми советскими журналами и кипами «Пари матч»...

Интервьюер из этого популярнейшего иллюстрированного журнала, выпив чая, очень заинтересовался некрасовским довоенным рисунком в черных тонах — стилизованный, стройный эфеб в пальто с поднятым воротником, очень похожий лицом на студента Вику Некрасова, подкрадывался к старухе-ростовщице. Дотошно выпрашивал у писателя о его психологических струнках. В.П. как мог растолковал, что лицо старушечьего убийцы он рисовал со своего, потому что играл когда-то в любительском театре Раскольников. Но сам, пошутил он, убивать старух пока не собирается. Журналист выслушал и написал о Некрасове большую статью в «Пари матч», жутковато озаглавленную «Раскольников — это я!». Рассказав, между прочим, что известный русский писатель успешно подавляет в себе импульсы к убийству старых женщин.

Кроме корреспондентов и киношников на улице Лабрюйер побывало в те годы множество достойных и замечательных людей.

Приходили на чай Галя Евтушенко и Саша Межиров, выпущенные властью на недельку во Францию.

Нанёс ответный визит Андрей Седых, забрал у Некрасова подчистую все статьи, чтоб напечатать в «Новом русском слове». Был словоохотлив и с удовольствием пил бордоские вина.

Главный редактор журнала «Время и мы» Виктор Перельман вначале помалкивал, хотя и слыл известным остро-

умцем. Надписал книгу «в знак глубокой дружбы». Освоившись, засыпал историями о «Литературке», где он работал.

— Хороший парень! — сказал потом Некрасов. — Не болтун и не зануда.

В 1981 году Перельман напечатает в своем журнале некрасовскую «Из дальних странствий возвратясь», к которой Максимов отнесётся вяло и будет тянуть с публикацией в «Континенте».

Кстати, Виктор Перельман предварил эти заметки маленькой вставкой «Виктору Некрасову — 70 лет». И парой слов от себя: «...но вот я сейчас подумал: “А ведь он и впрямь один из самых удивительных людей, которых я встречал. Пройдя через окопы Сталинграда, осыпанный почестями, он, в конце концов, всё отдал за то, чтобы остаться честным, остаться самим собой”...»

Журнальные странички «Из дальних странствий возвратясь» были тогда переплетены, получилась милая штучка, как бы альбомчик. Вика клеил вырезки, открытки, рисуночки, фотографии — вперемежку.

Из континентского «Взгляда и нечто» он тоже соорудил некий альбом. С удачными испанскими фотографиями с комментариями. Клеил и шарж на Гену Шпаликова, и фотографии друзей, и Буковского, Шукшина, Сахарова.

Тогда же был смастерён и альбомчик «По обе стороны стены», с текстом из «Континента». И тоже — фотографии, вырезки, шаржи... Получалась как бы трилогия. В редчайшие веки раз наткнувшись на эти поделки, я вспоминаю Виду и улыбаюсь...

Так вот, снова 1976 год.

Первая встреча с Анатолием Гладилиным. Чаепитие, фотографии, расспросы о Москве. Кто тогда подумал бы, сколько потом добра сделает Толя для Виктора Платоновича!..

Неожиданно приехал и робко общался с В.П. его хороший киевский друг-приятель, скульптор Валентин Селибер. Кстати, именно он — автор мемориальной доски на доме Некрасова в киевском Пассаже, на ней Вика увековечен с сигаретой, которую держит своим фирменным особым перстосложением — указательным и большим пальцами правой руки, образующими кольцо. Я их возил и на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, и по Парижу катал, и заглянули в деловой квартал Парижа Дефанс — любоваться «хмарочесами» — поэтическим украинским синонимом невзрачного словечка «небоскрёб». Валя в Париже говорил исключительно на нейтральные темы, об архитектуре и живописи. Некрасов втихара удивлялся такой осторожности...

Заходил, наезжая из Штатов, и Эмма Коржавин, пил чай, ронял на пол булку, громко читал стихи и прихвастывал молодой женой.

Сима Маркиш стихи не читал, но был тоже с женой, тоже молодой, даже венгеркой. Был пару раз и его брат Давид, здоровяк, балагур и свой парень, этакий, как говорят, еврей-будённовец.

Тогда же Вика познакомился с Наташей Столяровой, представленной нам как бывший секретарь Ильи Эренбурга. Отсидевшая в лагерях какой-то сумасшедший срок, расторопная и неунывающая Наташа станет одним из наиболее ценных друзей.

Частенько приглашался к чаю бодро выглядевший, но считавшийся нами стариком Кирилл Померанцев, журналист «Русской мысли» и поэт. Сидел, зачарованный шумными, незнакомыми людьми, смеялся новым для него шуткам, иногда говорил о поэзии любимого им Галича. Но в основном просто пил чай и слушал. Никогда не ругался матом, что было нам в диковинку — поэт и такой себе на уме!

Поэта поджидало необратимое потрясение.

Начну по порядку. Стол был уже накрыт, но котлеты ещё только жарились — густой их запах проник, наверное, даже в соседнее метро. Ждали поэтессу Беллу Ахмадулину с мужем Борисом Мессерером.

Мы с Милой испытывали некое стеснение в груди — звёзды такого калибра не каждый день встречаются.

Поэт Померанцев принёс громадную бутылку ликёра. Он был нарядно одет и потрясён. Вчера он видел Беллу в другом доме, и она покорила нашего старика до слёз.

— Какой поэт и какая женщина! — застенчиво говорил Померанцев. — Богиня, не лишне будет сказать!

Гость понизил голос и сообщил, что он ещё никогда не видал, чтобы плохо застёгивающийся пиджак дама надевала прямо на голое тело!

— Представляете, Виктор Платонович, пиджак, и всё! — вдохновлялся поэт. — А под ним обнаженная грудь! Поразительно!

Что подделаешь, в меру сочувствовал В.П., нынешние поэтические нравы явно оставляют желать лучшего.

Белла пришла в том же самом тёмно-сиреновом бархатном пиджаке, так ужалившем накануне воображение старого поэта. Она была очень красива, прав был Померанцев, но малоулыбчива. Муж её, Боря Мессерер, выходя простецки, тонко шутил и был изысканно галантен с Милой.

Ели котлеты, запивая ликёром.

Белле хотелось, по-видимому, выпить, она наливала себе сама, но Борис отодвигал рюмку, мол, не торопись. Чтобы отвлечь мужа от своей рюмки, Белла рассказала забавную историю с обезьянкой, сидевшей у кого-то в доме на шкафу и наблюдавшей, как пили.

— А потом обезьянка прыг на стол, схватила рюмку и вот так вот, хоп! И выпила! — И Белла показала как, хлопнув свою рюмку.

Улыбаясь, Вика поддержал тему:

— А вот Твардовский, крестьянский сын, не жаловал в доме ни кошек, ни собак. И тем более обезьян. «Скотина должна быть в стойле!» — назидательно говорил он нам.

— Да? В его устах эта сентенция звучит занятно! — учтиво удивилась Белла и налила себе ещё.

— Известно, что тот, кто питает отвращение к детям и животным, не может быть совсем плохим человеком, — успел ввернуть любимую шутку Некрасов.

Все развеселились. Один лишь старик Померанцев не переставал влюблённо стесняться и вёл себя до обидного неприметно.

Вика принёс из кабинета другую бутылку какой-то заморской дряни и поэтому сохранившейся, нарядившись заодно в привезённую из Испании красную феску. Белла обрадовалась, водрузила феску на голову, Боря напялил какую-то картонную корону, Вика усадил на колени Беллу, Боря обнял Милу — давай, Витька, фотографируй!

На фотографии все получились весёлыми, женщины красивыми. Некрасов в ковбойской шляпе, мужественно опирает себе в колено детское ружьё...

А потом Белла передала из Москвы свою книжку «Метель».

«Милый Вика! Как ты там живёшь? Надеемся, что хорошо. Приветствуем, помним, целуем. Не забывай нас. Белла. 23 февраля 1978»...

## Любил ли я Вику?

Эйфория диссидентства!

Железный занавес чуть приоткрылся, и западная пресса ринулась в прорыв. В Москву в основном. Там муссировались

любые слухи, любая житейская мелочь, связанная с диссидентами. Не говоря уже о более серьёзных фактах, которые возводились прессой и радио в ранг феноменальных событий планетарного значения.

Через годик-другой всё внимание оттянет Афганистан и польская «Солидарность», а потом советские вожди начнут умирать как мухи... Но в те последние годы диссидентства европейские столицы триумфально встречали вырвавшихся или выдворенных инакомыслящих.

Некоторые из диссидентов совершенно искренне думали, что все на Западе непременно должны их холить и песковать, а их соображения и идеи следует внести чуть ли не в конституции свободных стран. Все твёрдо рассчитывали найти здесь свободу слова, убеждений, передвижения, но смутно представляли, как всё это выглядит.

Выяснилось, что далеко не всё так просто и очевидно. Разве что свобода передвижения была почти безусловной...

В Париже первое время некоторые наши эмигранты жили нешуточно бедно.

В базарные дни ходили собирать выставленные в ящиках непроданные подгнившие овощи и фрукты. Так один мой приятель впервые попробовал артишоки, авокадо и капусту брокколи, возбуждающую, по рассказам, половое влечение.

Главным же вопросом была работа.

«Тебе уже нашли работу!» — несколько раз и с торжеством писал мне в Кривой Рог Некрасов.

«По твоей специальности, твёрдо обещают взять», перезванивала мама.

Какая работа, раздражённо недоумевал я. Сразу, что ли, я брошусь работать! Вначале надо осмотреться, насладиться, погулять, а с работой не горит...

Приехав на Запад, мы быстро поняли, к счастью, что здесь всё можно купить, но главное — найти работу.

Больше всего нам хотелось, чтобы жизнь нашу мы могли назвать нормальной. Чтобы в будни работать, а в выходные дни садиться в машину и ехать за покупками. А в субботу пойти в гости или пригласить к себе. А то пойти с друзьями в китайский рестораник, который по карману. Чтоб жить не хуже, чем соседи.

Для нас, эмигрантов, дело было полный швах, потому как в начале словарный запас многих из нас был сведён к минимуму — знали слова «такси», «метро», «кафе», «мерси». Через пару месяцев словарь обогатился еще на «я не понимаю», «который час?», «пошёл ты на хер!», «сколько стоит?», но произносили это с таким акцентом, что французы пугались. Да и профессии у многих русских апатридов были для Французской республики не самые дефицитные — краеведы, истопники, чтицы, кукловоды, тренеры, библиотекари или фенологи. Не говоря уже о писателях, художниках, артистах и преподавателях марксистско-ленинской этики и эстетики.

А тут необычайное везение — мне предложили работу! В лаборатории парижского Горного института.

Конечно, повезло исключительно благодаря Некрасову. Предложили участливые люди, ставшие его большими приятелями, — Софья Григорьевна Лаффит и её муж Пьер, директор Горного института.

За год до нашего приезда блистательная красавица доверенного эмигрантского Парижа Софи Лаффит подошла на каком-то приёме к В.П., представилась профессором русской литературы и вежливо пригласила к себе домой. Они с мужем, мол, будут счастливы отужинать с господином Некрасовым и милой Галиной Викторовной, если, конечно, он сумеет выкроить для них вечер.

Виктор Платонович активно отвергал церемонные французские обеды, на которых все, по этикету оцепенев

и ожидая подачи следующего блюда, держат локти на весу. Не пьют, а пригубляют вино, с некоторой живостью обсуждая способы уклонения от налогов. К тому же его до глубины души возмущала дикарская привычка французов пить водку маленькими глоточками и после еды. Но отказать великолепной Софи он не посмел и правильно сделал — почувствовал, видимо, судьбоносность момента.

Когда выяснилось, что ужин будет в русском стиле, Некрасова обуял тихий ужас! И не зря! Подали телятину с грибным соусом, то есть одно из тех ненавистных им блюд, которые он с омерзением называл «мокрое мясо». Немного полегчало, когда увидел, что ледяную водку Пьер наливал в большие серебряные чарки дозами, напоминавшими наркомовские сто грамм.

Упомянул о детях, о трудностях с их выездом, о всяческих волнениях.

Очень влиятельный Пьер Лаффит обещал посодействовать, разузнать, спросить совета у своих друзей в министерствах и правительстве. Сказал, что займётся организацией комитета поддержки. А во Франции работа сыну будет обеспечена.

На прощание Софи дала приготовленный крупный чек. Мы обидимся, если вы откажетесь, пригрозила она, это на обузаведение и вообще...

Некрасов не посмел обидеть таких милейших людей, мокрое мясо было прощено, а Софи и Пьер Лаффит еще долго помогали нам во многих делах...

Обычно думают, что с писателем следует обязательно говорить о возвышенном или на худой конец о вещах вселенского размаха. Я же на подобные темы с Виктором Платоновичем не говорил никогда. А болтали мы о жизни, о будничных заботах, планах на будущее. Бывало, скромно мечтали. Или же помалкивали, перебрасывались фразой-другой,

считая, что тёртым мужам пристало быть сдержанными, да и близкие люди понимают всё с полуслова. Это было справедливо для трезвых прогулок вдвоем. Переспрашивать не следовало, В.П. не любил объяснять и растолковывать. Ты должен был понять его сразу! Именно это им и ценилось — понимать с полуслова, полувзгляда, полувздоха... Не раз цитировал Фолкнера: «Я не знаю ни одной темы, заслуживающей хотя бы двухминутного разговора».

А теперь не находишь, что сказать, когда спрашивают, что, мол, Некрасов думал о том, что говорил о сём? Хорошо ещё, если забыл, — может, когда вспомню. А то ведь просто не знаю, руки не дошли, как говорится...

Сколько забыто, сколько упущено возможностей!..

Вот что точно помню — писательница Елена Ржевская встретила с Некрасовым в Париже осенью 1977 года. И потрясла его рассказом о Гитлере. В сорок пятом в Берлине она была переводчицей специальной поисковой группы и написала об этом нашумевшую книгу. О последних днях Гитлера, о бункере в рейхканцелярии, об обгорелом трупце... Как нашли челюсть с мостом, по которой идентифицировали Гитлера... Это было такой тайной, что даже Жуков впервые узнал об этом, только прочитав Ржевскую.

— Ты представляешь! Что творилось! Сам Жуков — и не знал! И никто не отвёл в сторонку, не шепнул на ушко! В голове не укладывается! — волновался В.П.

Потом Некрасов выступал по «Свободе», рассказывал о Жукове и Ржевской. Не мог успокоиться...

Как все фронтовики, Виктор Платонович питал какое-то щемящее любопытство к персоне фюрера. Купил биографию и фотоальбомы с жизнеописанием. Полистал и сделал открытие — речи Гитлера напичканы цитатами из Ницше, Шопенгауэра, Достоевского. Теперь, дескать, стало ясно,

почему речи фюрера никогда на экранах не переводят, показывают только его мимику.

— Представляешь, Витька, Гитлер не любил цыплят! — удивлялся В.П. — Что они ему сделали, эти крохотные комочки?

Отдельно приобрёл альбом с акварельками Гитлера. Оказалось, тот не переносил, когда видел в букете хотя бы один увядший цветок.

— Мы с ним близки! — смеялся В.П.

Елена Ржевская потом напишет, что В.П. отрекомендовал ей меня как сына и друга. Немного сентиментально, но мне приятно.

Иногда он чуть язвительно называл меня «пашенок». Долгое время я думал, что это уменьшительное от слова «пасынок», и лишь случайно обнаружил в словаре, что кликал он меня «мальчишкой, молокососом, щенком». Как говорится, тоже красиво!

...Любил ли я Вику?

Ответ на первый взгляд очевидный — ну а как же иначе!

Переживал за него, болел душой. А он нас действительно поражал добротой, щедростью, а то и расточительностью. К этим чертам его натуры мы все в конце концов так привыкли, что потом не понимали, почему эти качества заслуживают одобрения. Бывало, он ещё и раздражал нас этим, особенно когда излишняя щедрость и доброта относились к другим. Чего он транжирит, чего он раздаёт всё направо и налево, негодовали мы тайком. Самим, мол, не хватает!

Так любил ли я его?

Уверен, меня он любил, а в последние годы и по-настоящему уважал. Естественно, я отвечал ему тем же. Я стремился выполнять все его желания и просьбы. Мы

с Милой прежде всего думали: не обидится ли Вика? Что скажет Вика?

Как мы всегда боялись, что он, выпив, напорет какой-нибудь, мягко выражаясь, ереси. И этим навредит себе! Мы изумлялись его непрактичности. Осуждали за беззаботность — надо же думать не только, скажем, о летней развлекательной поездке, но и чуть дальше заглядывать. Как будет зимой, вы думали об этом?

— Нет, — отвечал он. — Не думал и думать не хочу! Будет так же, как и летом!

Так любил ли я его, в конце концов?!

При жизни я не боготворил его и не обожал слепо. Не преклонялся, но почитал. Не высказывал громогласно и прилюдно восхищение, как по душе, мол, мне ваши писания, Виктор Платонович! А на публике мы даже приземляли наши чувства. Это, кстати, тоже была одна из общих черт. И я, возможно, ему подражал, заставлял себя быть сдержанным, хотя, как и он, был просто застенчив от рождения. И как он, стеснялся патетичности.

Подвыпив, он мог с нежностью называть меня дорогим или любимым Витькой. Я же и в пьяном виде оставался с ним сухарём. Разве что чуть размоченным.

Да, мы жалели его, мы дёргались из-за него, мы волновались за его доброе имя и беспокоились о здоровье. Переживали, как повернётся его жизнь. И тем не менее я, чёрствый балбес, никогда в жизни ему не сказал, мол, Виктор Платонович, всё-таки я вас люблю! Наверняка он был бы тронут...

И всё же, любил ли я его?

Что мне сказать — через четверть века после смерти Виктора Платоновича!

Ничего не скажу. И так всё ясно.

Для меня.

## Национализм? Русификация?

В начале семидесятых в Киеве судили Ивана Дзюбу. В газетах изгалялись над украинскими националистами, поливали их помоями. Мы не особенно верили тому, что пишут, но всё же... Как и многие из советских молодых людей, и даже как бы патриотов, я не то чтобы с пылом осуждал националистов, но не одобрял. Какая ещё там незалежність! Кто там подавляет украинскую культуру?! Какие москали, какие хохлы, ведь мы все прекрасно и в согласии живём на Украине!..

Быстрым шагом уже почти дошли до Киевского университета, а я всё выпытывал о суде над Иваном Дзюбой.

— Кто он такой? А чего он хочет? Независимости? Зачем ему эта независимость?

— Интеллигентный киевский мальчик. Журналист. Считает, что украинскую литературу притесняют, украинский язык затирают...

Некрасов особо не распространяется, говорит отрывисто. Набросилась советская власть на Ваню, долбает его за рукопись «Интернационализм или русификация». А он упрямец и принципиальный, и они наверняка укут его, хотя он и болеет...

— Человек хочет говорить по-украински, так пусть себе говорит! Он ведь не всегда неправильно рассуждает, — тихо произнёс Некрасов.

— Да что ему этот украинский язык?! — я решил щегольнуть эрудицией. — Тоже мне язык, смесь польского со старославянским! Я вот прочёл недавно, что украинский язык — это рабский язык!

Я никогда не видел, чтобы В.П. так разъярился, и никогда не увижу до самой его смерти.

— Слушай, никогда, блядь, не заикайся при мне об этом! Люди идут в тюрьму за свой язык, а ты повторяешь

мне газетную фуйню! Никогда не лезь с такими идиотскими высказываниями! Ты понимаешь, честных людей судят за их мысли, вот что самое страшное!

Мне было так стыдно, так ужасно противно, что я запомнил этот разговор слово в слово. А к незнакомому Ивану Дзюбе проникся симпатией...

Иван Дзюба очень нравился Некрасову. В Киеве я часто слышал, как Вика называл его по-настоящему толковым парнем.

Некрасов, бывало, пошучивал, что он сам ревностный приверженец хаотического образа жизни и с младенчества враждует с дисциплиной. При случае прихвастывал, что независим, как сиамский кот. Поэтому ему, человеку с непредсказуемым нравом, импонировал спокойный, обстоятельный, вероятно даже педантичный Иван Дзюба.

Как-то через пару дней после посещения Дзюбы в больнице, по выходу его на свободу после ареста, Вика долго рассказывал нам — Гелию Снегирёву и мне, — как понравился ему усталый, печальный, но совершенно не озлобленный Ваня.

— Вообще-то он правильно многое говорит, — кивал головой В.П. — Хотя я и не согласен с его коньком — русификацией Украины. Но смотрите, как его терзают и ломают! По неволе согласишься в его правоту, раз эти гады так злобствуют...

Вскоре я ещё раз подскочил в Киев, просто так, на недельку. И мы вновь гуляли, абсолютно трезвыми, по улице Ленина, и я спросил между делом, как там дела у этого националиста Дзюбы.

— Засудили его! — бросил В.П.

И вдруг заговорил, на удивление горячо, даже с восхищением:

— Как он на суде себя вёл! Всем нос утёр! Говорят, даже свидетели обвинения боялись смотреть друг другу в глаза!

Но дали парню пять лет! Какие суки! Ваня, умница, все их экспертизы опроверг! Но никто не заступился! Никто!

Некрасов отвернулся, а я молчал. Что я мог сказать? Шел рядом и молчал...

Много позже я узнал, что рукопись прославленной книги Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация» Некрасов читал, когда она была ещё в форме письма к первому секретарю ЦК Украины Шелесту.

Попав в Париж, Некрасов сразу написал статью «Иван Дзюба, каким я его знаю».

«А вот такие понятия, как порядочность, благородство, терпимость, сердечность, кротость, милосердие, великодушные, ну и упомянутая уже деликатность, начисто выпали из нашего словаря положительных качеств... Враги Дзюбы любят называть его хитрым и опытным демагогом. Это всегда говорят о людях не так хитрых, как умелых, с которыми трудно бороться логическими категориями, поскольку логика на их стороне... Поэтому их называют демагогами... Дзюба всегда сражается с открытым забралом... но иной раз может воспользоваться и оружием противника».

Очень жалел Ивана, когда тот как бы покаялся публично.

— Что там с ним делают? Как его там давят! — говорил он печально. И вздыхал. Россия... Украина... Киев...

Некрасов любил говорить, что никогда не слышал — «русские киевляне», «украинские киевляне», но все говорят — «киевляне». Просто киевляне!

В очерках «По обе стороны стены» Некрасов беспрерывно сравнивает. Как здесь, как там. Здесь лучше, успокаивает он себя.

Всё, всё, тебе говорят, забудь о прошлом! А как забыть? А Киев? А Днепр? А Москва? А пляж Коктебеля? И главное — читатели-то твои? И понимаешь, что ты не жале-

ешь лишь о гомункулусах, о ерунде, о декорациях, о деталях. А вот о первостатейном тоскуешь. О людях тоскуешь — друзьях, знакомых, соседях по столику, попутчиках, прохожих в Пассаже и купальщиках на Днепре... Говорящих, думающих, шутящих на русском языке, твоём родном языке... И на украинском тоже. Чего там хитрить...

— Я злюсь, когда без тени иронии, чтобы обидеть, меня называют москалём, — говорил Некрасов. — Как какого-то интервента или работарговца...

Москалём его обозвали в 1975 году в Канаде местные украинцы, ярые антисоветчики и такие же русофобы. Согласен, говорил Виктор Платонович, что натерпелись они от преступлений советской власти дальше некуда. Но они хотят отрешить его, истинного киевлянина, от Украины, обвинить во всех её бедах и отстранить от забот!

— Я русский, но прожил всю жизнь в Киеве! Вся моя семья глубоко чтит украинский народ! — горячился Некрасов.

И если ему бывает больно или радостно за Россию, он абсолютно так же переживает и за Украину.

— Это моя страна, Украина! — сколько раз повторял В.П.

Вместе с Иваном Дзубой Виктор Платонович выступил 29 сентября 1966 года на знаменитом митинге в честь 25-летия расстрела десятков тысяч людей в киевском Бабьем Яру. Толпа скандировала их имена. Они призывали помнить о тысячах и тысячах погибших, почтить их смерть достойным памятником, не дать поднять голову антисемитизму.

В Париже через много лет Вика возмущался памятником, наконец установленным в память расстрела в Бабьем Яру.

— Что за помпезность! Что это за мускулистые богатыри с гордо поднятыми головами! Просто непонятно, поче-

му они сдались в плен! — саркастически вопрошал он, потрясая передо мною украинской газетой.

Но газетная вырезка в рамочке была поставлена на полку.

А вскоре он объявил, что памятник хорош и такой, по крайней мере, есть где цветы положить, слезу уронить, вспомнить да задуматься...

Тогда же, после митинга в Бабьем Яру, начали таскать Некрасова по райкомам и горкомам, надо, мол, разобраться с этой сионистской провокацией.

— Зачем вы, Виктор Платонович, идете на поводу у сионистов?! Разве немцы расстреливали одних евреев в Бабьем Яру? Были там и русские, украинцы, наши военнопленные.

— Правильно, расстреливали не одних евреев, но только евреев убивали лишь за то, что они евреи! — отвечал он.

На него смотрели глазами мороженого окуня...

Советская власть всегда чрезвычайно опасалась людей, уважающих себя, спонтанных, бескомпромиссных. Некрасов был именно таким человеком, к тому же обаятельным, ироничным и по-настоящему тонко воспитанным.

— Ну зачем вам, Виктор Платонович, — удивлялись одни, — нужно ввязываться в эти еврейские сборища, лезть на рожон из-за этого Бабьего Яра? Всё и так утрясётся, не стоит ссориться с партией из-за каких-то евреев!

— Что тут удивляться! — говорили другие. — Некрасов ведь никакой не русский дворянин, он самый настоящий еврей, посмотрите на нос его матери!

Что за сволочи, злился В.П., они думают, что защищать память об уничтоженных евреях постыдно для русского человека! У них в голове не укладывается, что безответных людей кто-то защищает просто так, без задней мысли. В том числе от хамства, грязи и вранья!

## Машинописец на «Эрике»

Каждую неделю, ближе к выходным, звонил Виктор Платонович:

— Зайди, заведи что печатать!

Иногда разнообразил:

— Поднимись, возьми клевету!

Обычно я отвечал сухо: сейчас буду! Или: оставьте на столе! А то: положите под коврик у дверей. Сухость объяснялась моим затаённым недовольством — целую неделю тянет с работой и только в пятницу садится писать! И конечно, напечатать надо к понедельнику и, как всегда, безотлагательно. А в субботу у нас с Милой назревала очередная гулянка, называемая на петровский манер «ассамблеей». Либо мы с компанией собирались «выйти», как говорят французы.

Но никогда, конечно, не посмел я ему отказать. Поступал, как прославленный в советских романах мужчина, — концентрировал волю и с сожалением отгонял лень. Понимая, что моя помощь действительно необходима. И очень боялся обидеть отказом.

Поворчав про себя, я принимался печатать...

На рукописях В.П. делал пометки. «К понедельнику!» — если давал в субботу. Или: «Не торопись», то есть можно напечатать и на следующей неделе. Ну а ежели он давал на печать в воскресенье, то писал извинительно: «Вить, на завтра!»

Забыл сказать, что купленная пишущая машинка с русским шрифтом тоже была марки «Эрика», воспетой Галичем...

Так как я перепечатал всего Некрасова — сотни статей, тысячи страниц, — то у меня в голове всё перепуталось. И не раз записав удачную фразу, я вскоре натыкался на неё

у Некрасова. Так это, оказывается, Вика сказал! А я-то простодушно считал, что это мне добрый гений шепнул!

Виртуозно, входя в некий шаманский транс или просто в порыве вдохновения, я мог расшифровывать его, бывало, невообразимые каракули. На первый взгляд кажется, что всё яснее ясного. Но когда начинаешь читать, то далеко не сразу разгадываешь его скоропись — многие буквы он пишет чуть ли не одинаково, любит сливать две, а то и три буквы в один иероглиф. Иногда забывался окончательно и так куролесил на бумаге, что я заборно чертыхался.

Но я разбирал почти всё! Лишь иногда возмущённо печатал несколько вопросительных знаков подряд, но в основном получалось неплохо. Мне нравился графологический вид его рукописи — ровный, уверенный, довольно крупный почерк. Писал он быстро и вымарывал редко. Описок не делал, а грамматических ошибок было очень мало.

Я так влезал в шкуру Виктора Платоновича, в его стиль, в его лексику, что просто-напросто угадывал, что он хотел сказать. Писал он хотя и гладко, но далеко не штампами и редко употреблял заезженные фразы и потёртые словечки. Вероятно, я подсознательно впитывал его стиль, его манеру составлять фразы, его язвительные обороты и ироничность. Проще говоря, я незаметно для себя учился писать прозой, описывать, удобочитаемо излагать свои мысли, избегать повторов и к месту ввёртывать нужное словцо. Достиг ли я небывалых высот в мастерстве письменного изложения? Нет, но пару холмиков и крутых пригорков я покорил, пыхтя. Что уже неплохо, согласитесь.

Я прочел абсолютно всего Некрасова, начиная от заметных вещей и кончая самыми невразумительными статейками. Поэтому рефлекторно и подсознательно узнал или усвоил взгляды, вкусы, привычки и мнения В.П. о многих ве-

цах и людях. Я могу, подумав, ответить почти на любой вопрос о тех или иных воззрениях Некрасова. Правда, факты его жизни, даже последних двадцати лет, знакомы мне гораздо меньше. Некоторые моменты и ситуации он нигде не описывал и даже мне не рассказывал.

Читать Некрасова нужно лёжа на раскладушке на подмосковной даче, или примостившись в холодке на веранде в Ирпене, или же сидя в белом шезлонге на прекрасном газоне в Женеве. Читаешь часто с полуулыбкой, подтаивая от прелести слога и умиляясь от удовольствия. Сюжет, когда он существует, очень условен, хронология расплывчатая, несусветные меандры, изящные отступления. Намёки для посвящённых, улыбка краешком рта, строки из классиков, колокольчик иронии, реминисценции из Серебряного века. Некрасов был уверен, что его читатель понимает толк в живописи, литературе, архитектуре, истории и, главное, в выпивке!

Достоевский любил диктовать свои романы, лёжа на кровати и отвернувшись к стене. В.П. всегда писал сидя, обязательно мягким карандашом, положив на колени предусмотренную для этого картонку, истёртую, с обгрызенными углами. На её обратной стороне была изображена литография какого-то синего цветка. Перед тем как начать писать, он затачивал десяток карандашей, чтобы не отрываться от работы. Потом карандашные огрызки веками хранились в особом пенале...

Произведения более обширные Некрасов любил писать в уединении. В Женеве, в прекрасном ухоженном садике, у Наташи и Нино Тенце. Или в рыбацком домике в Норвегии, или в старинном каменном доме в деревушке Марлотт. Или в Фонтенбло, под Парижем, или в Коллюре, в Пиренеях. Или в Испании, на старой ферме. А то и в Германии, у Льва Копелева.

Дома же, в Ванве, таинство творчества до смешного упрощалось — очередную передачу писал часа два, перечитывал и отдавал мне печатать на «Эрике». После этого машинопись просматривалась, чуть исправлялась, редко дополнялась одной-двумя фразами. Рукопись я укладывал в большую коробку и отправлял на хранение в свою кладовку. Вика был доволен — освобождалось место в кабинете.

Потом я обнаружил, что за целый год — 1982-й — рукописей нет ни у него, ни у меня. Куда они делись, не знаю. Подозреваю, что Некрасов отдал пачку статей одному известному коллекционеру. Тот промышлял у всех писателей, а особенно подчищал всё у писательских вдов и детей. Я его видел пару раз у В.П., но не придал должного значения. А восемьдесят второй год тем временем исчез...

Начиная крупное произведение, Некрасов лишь в самых общих чертах представлял, что и как писать. Знал наверняка одно — начнёт с описания какой-нибудь мелкой поездки или крупного путешествия. Это обязательно, ни одна его вещь этого не избежала. И тут же вдруг остановит свой взгляд на абсолютно неожиданном предмете — на газете ли «Правда», на прочитанной ли недавно книге, на статье ли из «Брокгауза и Эфрона». Тогда он немедленно отстраняет плавное повествование и, как бы по наитию, начинает пересказывать своими словами статью, заметку или книгу. И получается очень приятное, плавное и уместное сочинение.

## Витя, Галич умер!

В обеденный перерыв позвонил мне в лабораторию в Фонтенбло Некрасов:

— Витя, Галич умер! Час назад!

— Как! — обомлел я.

Александр Галич, почитаемый всеми нами бард, умер странной смертью — его убило током. Вернулся с работы, с «Радио Свобода», специально пораньше, чтобы заняться великолепной стереоустановкой, только что купленной. Последней модели «Грюндинг». Ньюша, как называли друзья его жену Ангелину Галич, пошла выводить собачку, а вернувшись, увидела лежащего на полу мертвого Сашу. Экспертиза установила, что антенна установки странным образом оказалась под напряжением, он прикоснулся к ней, и больное его сердце не выдержало удара тока. Так полиция и объявила.

Абсолютно было непонятно, каким образом можно включить в сетевую розетку радиоантенну! Многие считали, что это всё было подстроено... Разве что Ньюша решила сама включить аппарат, перепутала контакты и оставила его под током. Другого мало-мальски серьёзного объяснения мы с В.П. не видели.

Он принёс домой золотой крестик. Полицейские, унося тело, сняли его с покойного и передали Некрасову. Мы поколебались, может, оставить себе на память, но Вика, помолчав, твёрдо решил — надо вернуть. Отдал его Ньюше после похорон...

Саша Галич умер! Александр Аркадьевич умер!

Для третьей эмиграции это была первая смерть. И сразу такая утрата — Галич!

Его пели все, сказал над гробом Некрасов, то есть многие миллионы людей, можно назвать это славой, но это больше чем слава — это любовь...

И скромно, чтоб не тревожить соседей, зазвонили колокола собора Святого Александра Невского на улице Дарю. Отпевание было по всем правилам, хор сладкозвучен, в ладанном тумане мерцали капельками свечные огоньки, красиво и печально...

Громко рыдал, стоя на коленях, какой-то молодой человек, наша семья отошла к стене, мы с Викой кланялись, когда другие крестились...

По нашим эмигрантским понятиям, народа в церкви была несметная уйма. И когда все вышли, церковный двор заполнился толпой.

Гроб поставили на паперти, над ним произносили речи. Как потом будут их произносить на этом же месте над гробом и Некрасова, и Максимова, и Булата Окуджавы...

Я поражался, как достойно вела себя Ньюша. Очень красивая и торжественная, она стояла, сжав руки в перчатках, и смотрела как бы вдаль. Никаких публичных рыданий, никто не поддерживал под руки обессиленную от горя вдову... На кладбище Ньюша прислонилась лбом к гробу, положила цветы и посторонилась; все пошли гуськом, бросая в могилу цветы и крестясь. Некрасов тоже вдруг перекрестился, и я за ним...

Виктор Платонович скажет потом, что почувствовал что-то несуразное в том, что Галича похоронили не в Москве, а здесь, на этом притихшем кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Но тогда он только начинал привыкать к этому волнующему и волшебному для русской души месту.

По подписке «Русская мысль» собрала довольно много денег на надгробие, щедро дал Владимир Максимов от «Континента», Вика послал крупный чек, я — поменьше, да и мало кто, по-моему, отказал...

Плита и крест из чёрного гранита, такие же вазоны, золотом написанная цитата из Библии — надгробие вышло на славу, всегда приятно показывать его приезжим.

Впервые Саша Галич припожаловал в Париж зимой 1975 года из Норвегии. Зашел к Некрасову, подарил свою первую пластинку.

Некрасов обрадовался встрече, порывисто потянул побродить с ним по Парижу, поделиться восторгами, показать знаменитую площадь — пляс Пигаль с девочками, выпить по-человечески. Какие там прогулки, отнекивался толстеющий Саша, он из машины теперь не вылезит, обленился совсем. И они взяли такси, двинули через весь Париж в восславленное поэтами и прозаиками кафе «Куполь» на бульваре Монпарнас. Именно на заднем сиденье этого такси, поглядывая по сторонам, Галич с громким вздохом выдал, чуть переиначив, знаменитую фразу: «Да, Париж таки стоит, блядь, мессы!» Вика закатился в счастливом смехе...

Радость была недолгой — в «Куполе» прославленный наш бард, слышавший дотоле тончайшим ценителем хмельного застолья, огорошил печальной вестью о своем разрыве с питием. Некрасов безутешно поник: какое невезение! Лишь вторая кружка пива принесла душевное облегчение, беседа наладилась, заказали для гостя улиток и устриц, и Вика забыл о досадном изъяне друга.

Галич мечтал переехать в Париж, Норвегия была ему не по сердцу. Да и Ньюша там скучает, донимает его беспрестанно. Сообщил по секрету, что устраивается на «Радио Свобода», в парижское отделение. Вот тогда заживём, обрадовался Некрасов. Все слетаются в Париж, гляди, скоро прохода не будет от бывших советских...

Галич охотно позировал, и я пользовался этой слабостью, щёлкал в каждый их приход к Некрасовым, на улицу Лабрюйер.

У нас он почти не пел, но дважды читал стихи. За чайным столом, чуть отодвинувшись. Читал тихим голосом, с театральным выражением, потупившись.

Случалось, что за чаем Ньюша Галич без видимой причины страшно возбуждалась и без умолку начинала говорить, беспардонно захватив внимание участников застолья.

— Хватит тарыхтеть, Нюша! Дай нам поговорить! — добродушно раздражался Вика.

Прервав разговор с Некрасовым, Саша Галич строго замолкал и смотрел на жену, подняв брови и сложив губы куриной гузкой. Этот устрашающий демарш главы семьи не производил ожидаемого впечатления, Нюша только поднимала ладошку и кивала, дескать, да слышу я, что вы ко мне пристали. Галич шёл на крайние меры — клал руку на её плечо и внушительно говорил:

— Просят помолчать!

Нюша приостанавливалась, абсолютно не обижаясь. Выждав несколько секунд, она начинала говорить снова, правда вполголоса. Мужчины делали вид, что это уже им не мешает...

В Париже она не пила при жизни Галича, побаивалась, надо полагать. После его смерти убеждала Некрасова, что твердо решила не начинать пить. Длилось это, я думаю, недельку-другую. А потом начала прикладываться. Как-то она пришла к нашим подвыпивши и первым делом заверила всех, что дала зарок и капли в рот больше не возьмёт.

К этому времени она нашла вкус в розовом вине, не отказывая себе в удовольствии начинать день с рюмки-другой этого нектара. Не ленилась спускаться для этого в кафе, первое время прекрасно одетая, в кольцах и браслетах. Со своей любимицей болонкой под мышкой. Держала, в общем, класс...

Некрасов её жалел.

Наверняка тосковала и вспоминала Сашу, жалела себя. Ездил с нами и Некрасовым на могилку, на Сен-Женевьеве-де-Буа. Звонила пару раз поздним вечером, пугала Некрасова и нас. Однажды мы ей даже поверили.

Часов в девять вечера раздался звонок.

— Я ухожу из жизни! Прощайте!

— Нюша, подождите, что вы! Мы сейчас с Милой приедем! — заметался я.

С нами ударился в панику и Вика. Поспешаем к ней, доехали довольно быстро, пробок не было. Дверь приоткрыта.

— Я, к несчастью, передумала! — голос Ньюши из её спальни.

Тявкает испуганная болонка. Некрасов матерится. Мы с трудом приходим в себя.

Ангелина Галич умерла лет через десять, но мы с ней, кажется, больше уже не встречались...

## Милый наш городок Ванв

Голые стены новой квартиры глубоко огорчили Некрасова. Тут же было решено украсить интерьер своими рисунками и собственноручно расписанными тарелками. А рисовал он действительно очень занятные вещицы.

Первым делом скопировал пером рисунок Рембрандта, подделал его подпись и представил, так сказать, на мой суд: ничего, а?

Ничего, похвалил я, только зачем слепо копировать гения? Надо бы вставить в рисунок свой штришок или, скажем, персонаж. Или дату изменить. В.П. согласился и пририсовал в облаках свой профиль.

— Вот сейчас получилось совсем удачно! — предложил Вика свою оценку творчества, и я не возражал.

Длинношейй Чехов под Модильяни или автопортрет в камуфляжных штанах и со стаканом «Московской» среди пикассовских авиньонских дев... Танец, как у Матисса, а красный Вика с оттопыренными ушами в центре хоровода, с батареей бутылочек рядышком и выглядит абсолютно свежим и трезвым... Автопортрет в стиле кубизма тоже получился интересно.

Но вершиной я считаю автопортрет под Юрия Анненкова. Все охают и ахают, мол, как здорово. И таки — да, здорово! Подписан рисунок «Ю.А. 1981». Редко кто обращает внимание на дату, Анненков ведь умер в год приезда В.П. в Париж, в семьдесят четвёртом. Благоговейно спрашивают, когда же Виктор Платонович, мол, позировал художнику. Я торжествую...

История переезда Некрасова в ближайший парижский пригород Ванв, как говорится, поучительна и проста.

В шестнадцатизэтажном доме на втором этаже жили наши новые друзья Юра и Наташа Филиппенко. Мы с Милой жили здесь же, на седьмом этаже. Внезапно Филиппенко переехали, а свою квартиру предложили снять Некрасову. Везение действительно сказочное — мы с родителями в одном доме!

Но в глазах квартирной хозяйки писатель, да ещё и русский, съёмщик несолидный. Я же был служащим с постоянной зарплатой и хозяйке подошёл. Вот мы и переселились с седьмого этажа на второй, а в нашу старую квартиру въехали наши старики — здесь хозяин был покладистее.

Приехав куда-нибудь, даже в гостиницу, Некрасов первым делом принимался фотографировать изоконные виды.

В Ванве всё бы хорошо, но очень огорчал вид из окна — какие-то брандмауэры, безрадостные дворы, пожарные лестницы. Вожделенных парижских крыш и близко нет. Но зато возвышается шпиль церкви тринадцатого века и видно небо над Парижем...

Теперь мы могли видаться хоть каждый день, утром и вечером! Ведь до этого приезжали к родителям лишь в выходные дни. Да и то когда выкраивали время.

Из Ванва на метро до самого центра Парижа — площади Согласия — было двадцать минут. Ещё меньше затрачивалось до любимого некрасовского кафе «Эскуриал».

А сам городок всем давно нравился — старинная церковь Сен-Реми и маленькая, как зеленый сквер, наша площадь Кеннеди. Тут же ухоженный английский парк, с громадной магнолией у входа.

Два кафе — «Централь» и «Всё к лучшему».

Булочная, гастрономчик, сапожник, три аптеки, три банка, шесть магазинчиков готового платья с увековеченной торговой точкой «Сапёрлипопет», торгующей модным женским бельём. Газетный киоск, цветочная лавка, автомастерская и магазин радиотоваров. Узенькие улочки вокруг и разнокалиберные дома.

Вот только наш дом выглядел совсем уж заурядно — современная коробка из бетона, с жалкими покушениями на модерн шестидесятых годов. Зато у подножья — живописный садик, газончик, родник питает озерцо у подъезда, кусты роз и чистота. И главное — келейная тишина! После дьявольского рёва мотоциклов на улице Лабрюйер у нас тишайшая гавань, слышно, как в парке покрывают утки в пруду.

Очень быстро всей округе — спасибо нашему консьержу! — стало известно, что новый жилец — заметная персона, русский писатель, и по телевизору его показывали, и дважды приходили газетчики. В местной газете были опубликованы два подвала «Русские пришли!» с фотографией писателя, смотрящего на клумбу, якобы в раздумьи.

Но злой рок не дремал! Выяснилось, что не хватает мебели. Некрасов затосковал. Ходить, прицениваться, не зная, на чём остановиться... Это было выше его сил, и он нашёл таки выход. Забрал нашу, когда-то наспех купленную по неопытности плюшевую мебель, а нам дал деньги на новый диван и кресла. Старомодный плюш явно вписался в интерьер, особенно когда над диваном были развешены итальянские акварели дедушки в рамках красного дерева...

Ритуал посещения кафе был выработан уже давно, но в Ванве он приобрел уютный, домашний характер. Покупалась газета «Фигаро», и писатель шествовал в кафе «Централь». Хозяин встречал его возгласом благоволения: «Привет, юноша!», ставил на столик кофе и круассаны. Ублаженный Виктор Платонович закуривал и принимался за чтение газетных заголовков, уделяя особое внимание мелким или скандальным заметкам.

Не спеша возвращался домой и принимался за более серьёзный завтрак — чай, свежий багет, масло и сыр. Или манная каша, если мама внимала его мольбам.

Я считал эти походы в кафе безнравственным расточительством и открыто осуждал, хотя потом смирился и даже иной раз составлял компанию.

В другое кафе, «Всё к лучшему», писатель заходил исключительно в моменты приступа алкофилии.

— Почему не пользуемся свободой передвижения?! — вскричал он однажды за чаем.

Для приличия погоревав об упущенном времени, решили съездить в Англию на зимние каникулы.

Живя в Союзе, мы считали, что здесь, на Западе, свободные люди свободно занимаются кто чем хочет, свободно думают, любят и тратят деньги. Казалось непреложным, что раз люди могут делать всё, что хотят, то это, бесспорно, люди высококультурные, правдолюбивые и искренние.

Приехав же сюда, мы увидели, что их довольно редко гнетут вселенские думы. Было странновато, что французы далеко не в первую голову ставят выставки поп-арта, покупку дорогуших, хотя и поддельных, литографий Сальвадора Дали, посещение фильмов Пазолини, Годара или Бергмана. Промысел контрамарок на спектакли в «Комеди Франсез» тоже не был их всенепременной заботой.

Постепенно выяснилось, что они ежедневно занимаются обычнейшими делами — работой, детьми, ремонтом, отпуском.

Поклоняясь свободе передвижения, Некрасов и не подозревал, что три четверти французов никогда не пересекали границу своей страны. Многим это было не по средствам — путешествие, отели, кафетерии, музеи. Другим жалко было транжирить деньги — зачем тащиться в какую-то Испанию, когда у шурина в деревне большущий дом с бассейном?

Как же так, оробело посматривал на нас Некрасов. Вместо наслаждения прекрасной, свободной жизнью они здесь толкуют не умолкая о дороговизне, налогах, распродажах и возмутительном росте цен на бензин. И только пожив на Западе с десятков лет, мы уловили, что свобода-то здесь есть у каждого, но далеко-далеко не все согласны с нами, как надо ею пользоваться. Особенно в повседневной жизни.

Да и по праздникам тоже...

Итак, Англия.

В Лондоне нас встретил профессор философии Александр Пятигорский. Был он косоглаз и учтив. Красота Милы его чрезвычайно впечатлила, в такси он то и дело проникновенно пожимал ей руку. Очень интересно рассказывал о Лондоне и порекомендовал сегодня же пойти в лондонский паб, это действительно заслуживает посещения.

— Мы бы рады, — с абсолютно серьёзным сожалением сказал Вика. — Но нам нельзя — Мила у нас запойная, мы её оберегаем.

Моя жена истерично захохотала — это глупость, Александр, не верьте им, это у них шутки такие, неумная выдум-

ка! Пятигорский, съёжившись и вымученно улыбаясь, быстро-быстро кивал головой, конечно, он понимает, это юмор такой...

Всю оставшуюся дорогу мы с В.П. хихикали, Мила не переставала ужасаться, а профессор прекратил давать рукам волю. Вежливо раскланялись, он, вероятно, о нас забыл, но мы случай этот запомнили и часто рассказывали.

В Англии наша экспедиция вела себя как все — мы бродили по улицам, спотыкаясь от усталости, ели дорожные и безвкусные бутерброды, толпились в очередях за входными билетами и активно покупали открытки, которые дома не знали куда девать. Мы были одеты как туристы, озабочены поиском достопримечательностей и необычных, как нам казалось, ракурсов. И даже пахли как туристы, несвеже. И тем не менее надменно отказывались считать себя туристами, вульгарными и суетливыми. Считали себя любознательными, приветливыми и просвещёнными гостями страны, выигрышно выделяющимися из этой толпы своим осмысленным видом.

— Смотрите, Виктор Платонович, на эту толпу япошек!

— Спасу от них нет, как от термитов! Туристы, что возьмёшь...

Были в Кембридже, в гостях у некрасовской приятельницы Маши Слоним, она водила нас любоваться фламинго.

«Что может быть прекраснее английского парка?» — вопрошал как-то Некрасов в письме из Англии. Разве можно сравнить этот зеленый простор, говорил он, эти крохотные рощицы, чудесные кусты и пригорки с припомаженным французским парком, с его шпалерами деревьев, неуместными лабиринтами и монументальными фонтанами!

Но японский сад всё-таки вне конкурса, утверждал Вика потом, после Японии.

## Вояж в Испанию

Поездка в Испанию летом 1978 года готовилась так же тщательно и суматошно, как путешествие к центру земли у Жюль Верна.

Идея поездки была выпестована мною. Год назад я съездил туда, в Севилью, по работе. И неизменно влюбился в эту страну.

Невиданный и чарующий, хотя и начисто пустынный испанский пейзаж. Красного цвета поля, каменные холмики на межах, оливковые рощи, из марева над асфальтом внезапно возникающие встречные машины. Чёрные фанерные быки вдоль дороги — реклама малаги. Жарища почище, чем в Израиле.

— Представляете, Виктор Платонович, — взхлёб живописал я впечатления, — красная земля и синейшее небо! Матисс, и всё тут! Вы умрёте, увидев это! Давайте вместе в Испанию!

Вика был сразу же покорён.

— Над всей Испанией безоблачное небо! — вскричал он. — Что ты меня уговариваешь, я согласен! Едем, как получишь права и купишь машину!

Я сдал на водительские права с первого раза! Достоин кисти Цицерона, как говорил комендант нашего общежития.

Морковного цвета «ауди» поразила меня в самое сердце и даже глубже. В меру подержанная, надраенная, большая. Всем хороша, но с крупным изъяном — дорогая! Четырнадцать тысяч франков! Каравай не по рылу, в тоске слонялись мы с Милой вокруг этого шикарного ландолета, слишком дорого!

Деньги на покупку дал Виктор Платонович. Позвав в кабинет, торжественно вручил мне чек — на десять тысяч франков!

Через месяц начинался мой отпуск.

После подсчёта общих финансов выяснилась необходимость в неумолимой экономии. Решили в дороге жить артельно. Был закуплен дешёвый провиант, взята напрокат палатка, проложен маршрут. Мама с Джулькой ехать отказались, убоившись аскетизма предстоявшей бродячей жизни. Впервые отправляющаяся в заграничный вояж Мила взяла с собой все купленные за год носильные вещи, включая шарфы и шали, на всякий случай, если непогода, пояснила она. Получилось два огромных, как сундук с приданым, чемодана.

В багажник влезла треть из приготовленного снаряжения. Вике пришлось употребить бессердечный авторитет, приказав загружать лишь то, что поместится в машину после палатки и пакетов с консервами. Поместилось на удивление много. В общем, тронулись, держа на коленях большие коробки с испечёнными Милой на дорогу пирожками и сжимаемая ногами термосы с кофе.

Из экономии, избегая платных автострад, ехали по маленьким шоссейкам. В дороге у Некрасова раскрылся и пышно зацвёл талант штурмана. Держа на коленях дорожную карту, он безупречно довёл нашу экспедицию до Андорры.

Пикниковали и перекусывали на каких-то замызганных придорожных полянках. Виктор Платонович взбунтовался и настоял на покупке складного стола и стульев. Теперь на каждом привале мы раскладывали нашу мебель, комфортабельно садились у дороги, неторопливо подкреплялись и любовались ревущими грузовиками, пронесившимися в двух метрах от нас. Вика победно поглядывал и помахивал ручкой сигнализировавшим шофёрам, очень ему нравилось это дорожное братание.

После Андорры Виктор Платонович начал неистово мечтать о предстоящей встрече с несравненным архитекто-

ром Антонио Гауди и до самой Барселоны упивался предчувствием этого свидания. Мы тоже не скучали, дивились испанской жизни.

Боже, что случилось с Викой, когда он увидел собор Саграда Фамилия!

Арки-параболы, падающие опоры, зализанные своды — вся эта фантастическая, будто вылепленная в пластилине конструкция привела его в оцепенение. Он задрал голову и так оставался несколько минут, топчась и поворачиваясь на одном месте. Потом понёсся перебежками внутрь собора, фотографируя на ходу. Посмотрите на бетон, чуть ли не кричал В.П., сто лет назад никто ещё и не слышал о бетоне, в таком монолите он здесь применён впервые!

Перед стендом с подлинными листами проекта с ремарками и поправками рукой самого архитектора Вика начал просвещать нас насчёт истории строительства и судьбы самого Гауди. Вначале я был польщён его вниманием, но потом понял, что В.П. как бы забыл о нас и просто вещает, заливаясь восторгом. Говорил о поразительных архитектурных новшествах, тыча пальцем в план, а потом находя эти детали в натуре. И снова щёлкал фотоаппаратом, мечась по закоулкам, чтобы и фотографии были под стать собору — необычные и завораживающие. Впечатление было настолько всепоглощающим, что последующая наша экскурсия по парку Гуэль прошла, я бы сказал, без особого интереса. Полюбовались видом Барселоны с огромного криволинейного балкона, тоже придуманного Гауди, погладили рукой округлые формы с премножеством вмазанных в бетон осколков фаянсовых тарелок и пошли в порт, смотреть на памятник Колумба.

Поглазев по дороге на Гаудиев фонтан в виде трёх граций, мы прошвырнулись по бульвару Лас-Рамблас, заполненному толпой уличных музыкантов, артистов и фокусни-

ков. Под платанами вдоль бульвара стояли ресторанные столики, маня недоступной роскошью — тенью и прохладительными напитками. Мы чудно вписались в вереницу затурканых туристов, ошарашенно остававшихся перед сложенными в копны ворохами кожаных сумок, поясов, портсигаров, тапочек и шляп. Бронзовый Христофор Колумб брезгливо стоял посреди захламлённой портовой площади и старался не смотреть на сомнительной репутации кабачки, таверны и ночлежки.

Надо было думать, где остановиться на ночь. Несколько халуп-гостиниц, подходящих по цене, но без постельного белья и с уборными без дверей, Вика начисто отверг. Выбор остановили на заведении с виду почище и, пожалуй, классом повыше, о чём свидетельствовали три девочки, приветливо стоящие у входа.

Утром наша экспедиция двинулась на юг Испании, вдоль побережья, ежедневно проезжая пару сотен километров.

Целую неделю решили посвятить общению с природой, то есть просто-напросто купанию в море. Природа представала в виде череды пустынных или диких пляжей, а общение вылилось в ночёвки в палатке, книжное чтение под зонтом и приготовление еды на газовой плитке. На обжитых пляжах палатку ставить не разрешалось, поэтому стойбища разбивались на отшибе, часто рядом со свалками. Это абсолютно не нарушало благостного настроения, близкого, по словам Некрасова, к безмолвному счастью.

От палатки Вика отказался в первый же день — втроем было тесно. Он опускал в машине спинки сидений и устраивал себе с виду уютное ложе.

Вика радовался покою и солнцу.

— Пойду погружусь в пучину и поборюсь со стихией! — посмеивался он, забредая в мягонькое и тишайшее

море. Тело его было покрыто шрамами — военные ранения в руку и бедро и раскромсанный живот от недавней операции.

Достигнув южного города Альмерии, мы повернули на север — на Мадрид. И на следующий день узнали, что такое адская жара.

Гранада, Севилья, Кордова, Толедо... Дворцы с патио, крепости, оливковые рощи, кипарисы, памятники, музеи и галереи. Восхитительная тень королевских покоев и дурманящий зной площадей и смотровых площадок на крепостных стенах...

Столовались в придорожных харчевнях и на обочинах, спали в маленьких отельчиках, подешевле, а значит, и пообшарпаннее. Завернувшись от жары во влажные простыни, глухо засыпали с кошмарными сновидениями. Однако на жизнь не жаловались, было страшно хорошо.

В Толедо Некрасов почему-то особенно стремился. Город вообще-то известен трансформацией своих храмов — на протяжении веков соборы превращались в мечети, те — в синагоги и наоборот. Временами храмы использовались как склады, казармы или постоянные дворы.

Обегав все мечети и соборы, мы присели в чихлом холдеке передохнуть.

И вдруг Виктор Платонович засуетился — а ну, пошли, троглодитов ещё не видели! Так назывались обычные жилые помещения в виде пещер, выкопанных в мощном пласте глины, — довольно распространённый тип жилья на юге Испании. Я нецензурно отказался, Мила просто сказала: «Никаких троглодитов!» Вика посмотрел недоумённо, потом презрительно и несколько загадочно сказал: «Пусть вам будет стыдно!» И бойко побежал смотреть троглодитов, сам! Любопытство всё пересилило! Мы, не испытывая ни малейшего стыда, сели на корточки в тень от одинокой колонны

и начали изнывать от абсолютно разнузданной жары. Ну и неугомонный, удивлялась Мила, да и меня он добил своими троглодитами.

А вот Мадрид был к нам благосклонен. Отпечатался в памяти солнечной свежестью и ночной прохладой.

Огромный музей Прадо оказался поменьше парижского Лувра. Шикарные лестницы, величественные колоннады, росписи и позолота. Босх, Эль Греко, Дюрер, Гойя... Картин Франсиско Гойя было до неприличия много. Богатство так бессовестно напоказ не выставляют, завистливо переглядывались мы.

Когда вошли в отдельный музей Гойи, стало тоскливо буквально в третьем зале. Такого количества страхов и ужасов, сюжетов и персонажей, стольких великих картин, гнетущих тревожными оттенками и мрачно-кровавыми красками, наши непривычные души выдержать не могли. И мы, пробежав ещё по нескольким залам, одурев от впечатлений и потрясений, позорно ретировались, не досмотрев до конца...

Памятник Сервантесу очаровал гиперреализмом. И тут же огорчил своей неприступностью. Наш писатель долго нарезал круги вокруг громадной конной скульптуры Дон Кихота, соображая, как вскарабкаться на лошадиный круп, чтобы получилась небывалая фотография. Еле отговорили, отсняв десяток кадров с точек, выбранных Викой. Он же настоял, чтобы мы, одновременно плюнув на режим экономии, посидели в кафе на известнейшей площади Майор, похожей на площадь Вогезов в Париже. Момент запомнился на всю жизнь, так как именно здесь мы впервые в Испании выпили по-настоящему холодного пива.

В Мадриде нас с почестями принимал редактор и владелец крошечного антикоммунистического журнала Габриэль Амима, десяток лет назад вернувшийся из Советско-

го Союза. Он был одним из многих тысяч испанских детей, вывезенных на советских пароходах перед самым падением Испанской республики. Советская пропаганда трубила об этом, как о спасении будущего Испании. Пройдя через советский детский дом, школу, университет, прожив в Москве почти тридцать лет, Габриэль вырвался к себе в Испанию искреннейшим антисоветчиком. Багровел и потел от злости при словах «братская помощь» и «интернациональный долг».

Ночевали в редакционной комнате. Мы с Милой на полу, на надувных пляжных матрасах, Вика — на огромном письменном столе. Чтобы не мешал стул, его пришлось выставить в анекдотично крохотный туалет.

На стенах комнаты висела парочка гневных плакатов и были прибиты четыре маленьких рукописных объявления — поучительно-иронического характера, как объяснил хозяин. На подоконнике — крышка от обувной коробки с сотнями грошовых марок с профилем генералиссимуса Франко. Больше в редакции не было ничего — ни огрызка карандаша, ни клочка бумаги, ни даже прошлогоднего календаря.

Милейший Габриэль пригласил нас к себе на ужин, видимо, выдержав небольшой семейный скандалчик со своей молодой женой, но убедив её всё-таки принять знаменитого писателя-эмигранта. Мы пришли вовремя, прошлявшись в Мадриде по жаре весь день, изголодавшиеся, потные, в замызганной одежде.

Хозяйка, — мы поняли это сразу, — с самого начала питала определённые предчувствия. А увидев нас на пороге, сокрушённо и торжествующе посмотрела на мужа. Все её наихудшие, хотя и неясные ожидания блестяще сбылись! Не будем осуждать — компания наша своей мятой, обтрёпанной одеждой и бегающими голодными глазами напоми-

нала сказочную шайку в составе лисы Алисы, Буратино и кота Базилио.

Угощая вкусными лепестками мяса в оливковом масле и ледяной окрошкой гаспаччо, хозяйка, как могла, приветливо и односложно общалась с нами. Не в силах оторвать глаз от крупного, как революционный орден, томатного пятна на груди именитого изгнанника — последствия неудачно откушенного в обед сэндвича с кетчупом. Гости, что было очень мило с их стороны, быстро сжевав мясо и всосав суп, от кофе отказались, сослались на занятость и заторопились домой, в редакцию. Хозяйка подобрела лицом, Габриэль выдохнул воздух и расслабился, а мы, церемонно высказав надежду на встречу в Париже, шустро кинулись восвояси.

Восторг от перемены мест незаметно пошёл на спад. Возникло неясное желание послать всё подальше.

Позади осталась Долина Павших, где в базилике, вырубленной в граните, похоронен генералиссимус Франко. Своей циклопичностью сооружение напоминало что-то древнеегипетское. Высоченный крест, гигантские колоннады, безбрежные гранитные плиты, мемориал десяткам тысяч убиенных, замученных и пропавших. Республиканцы и франкисты лежали рядом, символизируя национальное примирение. Величественность сооружения вызывала лёгкий трепет души. Некрасов был сражён. Пытался было в который раз жаловаться на помпезность сталинградской Родины-матери, мол, проигрывает она в сравнении с грозной и умиротворённой пышностью испанского мемориала. Но в конце дня вдруг сказал тихо, что и в Сталинграде атмосфера благоприятствует поминовению, а то и слеза наворачивается, особенно возле Вечного огня...

Позади уже и крепость Алькасар под Мадридом, в казематах которой отсиживались сторонники Франко, сдерживая ежедневные штурмы республиканцев.

Позади остался и осмотр дворца-монастыря Эскориал, со строгой, как монашеская ряса, архитектурой...

Позади было почти всё...

Оставался город Фигейрос, на побережье Коста-Брава. Знаменит он был музеем Сальвадора Дали. Здесь он провел последние годы жизни, здесь похоронил жену свою — Галу. После её смерти забросил живопись и днями напролет заливался слезами в полутёмной спальне, отказываясь от еды. Что мэтр нашел в уроженке Казани Елене Дьяконовой — не вполне ясно. Гала не имела других заслуг, как вовремя перепорхнуть из постели Поля Элюара под одеяло к Дали, вызвав на долгие годы трепыхание души и телесные содрогания великого сюрра.

Смешно, но это так, рассказывал нам Некрасов, особой глубины или хитрости в картинах Сальвадора Дали нет. Творчество его основано на двух главных темах двадцатого века — секса и паранойи. Это относится и к самой личности художника. «Единственное различие между мной и сумасшедшим заключается в том, что я не сумасшедший», — кокетничал Дали, пытаясь ввести публику в заблуждение.

— Этого различия не существует! — воскликнул В.П.

Но тем не менее Некрасов был поражён и очарован творчеством Дали. Он считал его чуть ли не самым искусным художником двадцатого века. Дали — бесспорно гений, утверждал Некрасов. Он придумал и написал потрясающие сюрреалистические картины, правда, без труда копируемые сейчас художниками разной степени одарённости.

— Даже мною! — улыбнулся В.П. — Приедем, я подарю вам тарелку, расписанную Дали...

Город Фигейрос оказался привлекательным населённым пунктом, но создавалось впечатление, что всё его население

только и занималось тем, что входило или выходило из музея Сальвадора Дали.

Кроме картин и скульптур великого каталонца напоказ была выставлена любовно составленная коллекция объявлений «Фотографировать запрещено!». По залам бесшумно передвигались строгие служители и уличали нарушителей. Неудивительно, что и Вика по-глупому оскандалился. Нет чтобы исподтишка и быстро щёлкать своим шпионским аппаратиком. А он на виду у всех вприпрыжку приседал вокруг экспонатов, вертелся и так и этак и, конечно, сразу же выдал себя.

Не помогли ни умоляющие жесты, ни слезные односложные возгласы на нескольких европейских и славянских языках, мол, простите и извините! Вика просто на удивление просительно разговаривал с дежурной, истекал таким умоляющим обаянием, что его стало жалко.

— Да не унижайтесь вы! Фуй с ней, с плёнкой! — зашипел я.

— Ты думаешь? — сразу успокоился Вика и протянул аппарат.

Неподкупная матрона без разговоров засветила плёнку.

На улице Некрасов радостно пискнул, увидев у стены музея мешок с мусором прямо под табличкой с названием «Площадь Галы и Сальвадора Дали». Сладострастно фотографировал. Мщения жажду, шутил он, ославлю потом на весь мир!

Ну а потом...

Фотограф Виктор Некрасов был посрамлён. Что повлияло больше — неважный аппарат, слепящее освещение или необдуманное ракурсы, неизвестно, но снимки получились вялыми или мутными. В.П. снимал инстинктивными движениями, как отмахиваются от мух, боялся показаться портретистом. Из двадцати плёнок приличных

кадров почти и не оказалось. Пришлось ему забрать себе для альбома фотографии, сделанные мною. Чему я был горд, но слегка огорчён — на вторые отпечатки с негативов денег не было...

А вообще Витька, сказал мне как-то В.П., фотографирую я почти всегда с неясной надеждой, что пошлю всё это в Москву или Киев. Чтобы там увидели, где я шатаюсь и прохлаждаюсь. Ведь они всего этого лишены! Пусть порадуются вместе со мной! Даже если им и начхать, пусть порадуются...

Я считал это вопиющей наивностью, но Вика вполне искренно верил, что доставит людям радость...

## У-у, мандавоха!

Глазая в окно парижского такси осенью 1976 года, наш Вадик вымолвил:

— Маленький городок, но приятный!

Виктор Платонович обрадовался, притянул Вадика к себе и потискал. Тот недоумевал, что такого он сказал?

Наше прибытие в Париж имело место быть вечером 21 апреля 1976 года. На Восточном вокзале встречала нас дюжина незнакомых людей. Махая руками, улыбались искренне и покрикивали, как на ипподроме. Мама в диком волнении трепетала среди них.

Первые мои слова:

— А где Виктор Платонович?

Там, там, смеялись все и тыкали в сторону, где Вика, приседая враскорячку, снимал нас крохотным аппаратом.

Полтора десятка новеньких чемоданов сложили курганом на перроне. Были они набиты, по недомыслию,

абсолютно ненужным скарбом, льняными простынями и скатертями, ширпотребными сувенирами и пудами фотографий.

По замусоренному окурками полу громадного зала ожидания ползали, резвясь, какие-то детки. Возле горы объедков вокруг заваленной всякой мерзостью урны валетом спали клошары. Сквозь разбитую стеклянную крышу вокзала стекали водопадики дождя...

Обнимая нас, мама счастливо рюмзала, Вика подшмыгивал носом...

— Что брать с собой?! — надрывались мы в трубку в Кривом Роге перед отъездом.

— Берите всё! — со значением отвечала мама.

Мы злились: какая бестолковость, что значит всё?

Потом мама позвонила и радостно сообщила, что опытные французы советуют покупать лён. Столовое и постельное бельё, да и просто штуки этой редкой на Западе ткани. Мы купили в Москве тяжеленную кипу постельных принадлежностей и скатертей для банкетных столов.

Чтоб не возвращаться к этому проклятому льну, замечу, что колоссальные полотнища ни стирать, ни гладить было Миле не по силам. Поэтому мы в течение нескольких лет сбавривали наш льняной запас на дни рождения доверчивым французам, а что осталось — выбросили...

На вокзале расторопный человек, как потом выяснилось, профессор Мишель Окутюрье прикатил откуда-то огромную багажную телегу. Толкать гружённую чемоданами колесницу пристроились все встречающие.

Некрасов бегал вокруг, залихватски, не целясь, фотографировал. Чувствовалось, что снимки будут дрянными, но всё же первые шаги по земле Франции...

Галдящая процессия шагала вдоль перрона, скопом катя телегу, как стенобитное орудие.

Седеющий и стройный парень моих лет, с красивым лицом впечатлительного эльфа, был крайне разговорчив. Я вежливо кивал в ответ на восторженный шепоток эльфа, представившегося Володей Загребой. Будущий хороший приятель и обходительный врач Некрасова, он на протяжении десятилетий будет в нашей семье лестно именоваться Вовочкой.

Сейчас Вовочка часто округлял глаза и делал брови домиком, дескать, какой момент, не уппусти, запомни! Это профессор-лингвист Эткинд, толкал меня Вовочка в бок, ты только пойми, сам Эткинд везёт твой багаж! А это декан факультета славистики Сорбонны Мишель Окутюрье! А это профессор-славист Татищев, ты понимаешь, граф Татищев! А вон тот имеет Гонкуровскую премию, ты только представь себе! А это личный переводчик президента Франции! А тот посол для особых поручений! Вон глазной хирург, мировое светило, понимаешь!

За три недели до этого маме сделали операцию на глазу. Беспокойству не было предела — ничего, кстати, удивительного! — хотя она и непрерывно заявляла, что ни капельки не боится. Врачи в клинике имени Ротшильда успокоили — мадам будет видеть как никогда! Было из-за чего впасть в панику, даже кому покрепче и поуверенней в себе, чем она. Ведь глаз, который оперировали, оставался у неё один, второй был безнадежно потерян. Операцию лазером безукоризненно провёл встречавший нас знаменитый хирург. Мама теперь читала без очков даже названия улиц! Как поверить, что в Киеве она наливала чай, держа палец на кромке стакана, чтобы сослепу не перелить на стол! Дома выпили шампанского. За детей Некрасова! Встречающие незамедлительно разъехались.

Чемоданами заставили полквартиры. Несколько различных сувениров Вика быстренько установил на полки,

а пару пустячных поделок с радостью утащил в кабинет, для икебаны, как он говорил...

Парижская квартирка на улице Лабрюйер была настолько крохотной, что мне сделалось нехорошо. Как здесь жить, теснота невиданная даже для двоих, а нас тут пятеро!

Особенно огорчила уборная, совмещённая с сидячей ванной. Выяснилось: чтобы сесть на унитаз, надо выполнить в этом закутке серию выверенных телодвижений в строго продуманной последовательности. Иначе можно было уйти несолоно хлебавши...

Когда мы вышли первый раз на прогулку по городу-светочу, столице мира Парижу, сорвался противный апрельский дождь. Светоч безумно разочаровал и поразил огорчительно.

Дочерна закопчёнными величественными фасадами. Тротуарами с кучами собачьего дерьма. Шайками слоняющихся по городу миролюбивых, но крикливых негров-торговцев. Какими-то нечисто одетыми, косматыми и конопатыми деваками и малолетками мужского пола, с рюкзаками и в кожаных шляпах.

Вся эта братия вальяжно валялась на газонах, парапетах и скамейках. Многие сидели прямо на асфальте тротуаров, не говоря уже о ступенях папертей. Все курили, гомонили, пили кока-колу, но были абсолютно трезвы. Что как-то пугало.

Везде на стенах домов были нанесены краской трафареты «Ширак — пидор!», что, как выяснилось, было одним из лозунгов предвыборной борьбы за место мэра Парижа.

Широченные Елисейские Поля с невразумительными разнокалиберными домами, с противными потёками от крыш до цоколя, вдоль и поперёк завешанные невзрачными рекламами.

Среди всей этой сумятицы Мила тихо спросила:

— И почему это называется самой красивой улицей в мире?

Некрасов сделал вид, что не слышит.

Урны переполнены мусором. Плотные ряды невымытых машин в обе стороны стояли, как бы не двигаясь, непрерывно и противно пипикали. Люди тоже, казалось, топтались на месте.

Временами эта неисчислимая орава буднично-праздных людей приходила в беспорядочное движение и продвигалась на сотню метров, мешая друг другу и не глядя вокруг. Потом все снова останавливались.

Ходу отсюда, немедленно! С облегчением втискиваешься в вагон метро...

Только вернувшись сюда ещё и ещё, ты притираешься, приглядываешься и присматриваешься.

Раздражения никакого, ты замечаешь вокруг улыбки и приятные лица. Непонятно почему душа начинает мурлыкать, а потом откровенно напевать. В некоей усладе и обрётённой лёгкости. И чувствуешь себя молодым и беззаботным, как в студенческие годы, когда, сладко выпив на последний рубль, сидишь в холодке на скамейке, обняв подругу, в предвкушении стипендии...

Тут ты встряхиваешься и видишь, впервые отчетливо, величавую архитектуру, добротные дома и таинственные особняки, волшебную перспективу с Триумфальной аркой. Вдали, в другой стороне, обелиск на площади Согласия, фонтаны и колоннады, позолоту решёток и прозрачность изысканных витрин...

Машины на этот раз движутся фотогеничным потоком, и среди них множество таких красивых и сверкающих, что ты ахаешь и присвистываешь восхищённо. А поразившее нас скопище коптящих колываг объяснялось модой. Требовавшей, чтобы все жители столицы мира, от студентов до

академиков, ездили на мятых, дребезжащих и грязных, как ташкентские нищие, развалюхах...

Пройдя вдоль Сены, с улыбкой смотришь на щеголеватую Эйфелеву башню, неприметный издалика собор Парижской Богоматери, набережные, мосты и эспланады, ну, прямо бальзам на сердце...

Люди вокруг дружелюбные, озабоченные, улыбающиеся, целующиеся, задумчивые, парни-симпатяги и девушки с чудными лицами. Правда, одеты все как-то странно-вато, мешковато и бедновато — по нашим понятиям, естественно.

Витрины, прилавки и развалы будоражат, как в первый день, но мы научились уже, хотя и с трудом, держаться старжилами и не впадать в обалдение и нервный ступор перед книжными и обувными лавками.

Но свербит тебя некое сомнение, ждёшь ты какой-то каверзы и вновь задаёшь себе вопрос — почему же всё-таки нет очередей? Неужели правду пишут советские газеты, что простому люду это не по карману? Поэтому, мол, и в магазинах так пустынно... Ну, хорошо, бедняки колотятся по домам, сводят концы с концами и волком воют, но и богатых там как-то не густо. А товаров, фруктов, колбас, питья и джинсов — кучи, холмы и горные хребты... Как это объяснить?

А вот и краса Парижа, Пон-Нёф — добротный мост через Сену.

С этого в действительности самого старого в Париже моста в пасмурный апрельский день я впервые увидел Сену, темно-горохового цвета, с какой-то баржой с песком, с осклизлыми набережными.

Мы облокотились на каменные перила и тупо вперили взгляд в воду.

Снедаемый тоской от неустройства, неизвестности и вообще от жизненного перелома, я произнёс знаменитые слова:

— У-у, мандавоха!

— Как!!! — закричал Вика, ошалело посмотрев на меня. — Что случилось?

Я ответил уклончиво, мол, восторг встречи перехлестнул через край, не удержался...

Некрасов даже расстроился от неожиданности...

## «Хельга» нашей мечты

Кладбища были слабостью Некрасова. Как книжные магазины или парижские кафе.

Заходишь, говорил он, на старое кладбище в маленьком французском городе. Смотришь на замшелые плиты, обшарпанные склепы с корявыми решётками на входе, стёртые надписи, вазоны с бумажными цветами. И приходят тебе на память чистые украинские кладбища, где у каждой могилы ограда, или русские погосты, с деревянными крестами или табличками на колышках, поросшие травой, с протоптанными тропинками.

Как вспомнишь могилки с крестами из ржавых труб, обнесённое проволокой жалкое кладбище на Камчатке, опять что-то шевельнётся в душе, губы вздрогнут или вдохнёшь грустно...

— Ничего общего с французскими, — рассказывал В.П. — Но вот такие кладбища я и люблю!

На третий день нашей жизни во Франции нас с Некрасовым повезли на русское кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. Оно напоминало чем-то киевское Байковое кладбище. Своей зеленью, задумчивостью, отрешённостью от городской колготни.

Нам оно сразу понравилось. Летом там прохладно, в дождь не мокро, зимой не зябко.

Очень скоро мы поняли, что кладбище это переполнено некими флюидами, струящимися безобидным сквознячком между трогательными берёзами и ивами, сановитыми кедрами и елями с ласковой хвоей, чопорными кипарисами и мужественными платанами вдоль главной аллеи. Некими эфирами, витающими в окрестностях церкви Успения Богородицы, простенькой голубой маковкой, виднеющейся сквозь ветви деревьев. Церковь эта, крохотная и приветливая, написанная по-сказочному, пленительно приветствует душу...

Холмики, могилки, могилы, усыпальницы, мемориалы... И кресты, кресты, и плиты, русские фамилии... Каждый крест не похож на соседний. Исключая самые бедные могилы с одинаковыми бетонными крестами, могилы первых обитателей русского старческого дома, расположенного по соседству.

— Наверное, это неуместно, — вздохнул задумчиво Вика, — но место просто живописное! И для живых, и для усопших.

На кладбище это мы ездили с Некрасовым очень часто и почти всегда с кем-то из приезжих. Бывало, я даже поскуливал от скуки, плетясь сзади всех по главным аллеям, по продуманному самим Викой маршруту для иногородних и иностранцев. Но случилось, Виктор Платонович звал меня съездить просто так, вдвоём, побродить и поглазеть. Я брал фотоаппарат, и мы ходили между могилами, выискивая именитые фамилии или умиляясь надписям на плитах.

Иногда у Некрасова был список, по которому мы искали нужные ему могилы. Тогда ещё у входа не висел план кладбища для российских туристов, которых повадились привозить полными автобусами.

Главной и постоянной достопримечательностью была могила Бунина. Справа, в начале главной аллеи, — небольшой, из светлого песчаника намогильный крест. Чуть странной формы, похожий на мальтийский. Но никто, наверное,

не задерживается — а она совсем рядом! — у могилы нашей любимицы — знаменитой в своё время писательницы, бесподобной Тэффи, Надежды Лохвицкой...

Некрасов ходит, бывало, между могилами, кружит по аллеям, пошучивает: знакомлюсь с моими будущими соседями!

И обязательно остановится у Саши Галича. Присаживается рядом на корточки и закуривает.

Молчит, и я молчу, смотрим. Если чёрная гранитная плита недавно вымыта дождём, то в ней прелестно так отражается крест и деревцо в изголовье...

В первые недели жизни в Париже Вика таскал нас с Милой повсюду за собой, на все свои встречи и рандеву.

Показывал и рассказывал, волочил в Бобур, правда, шатались мы вместе лишь по улицам и паркам да ещё по выставкам. По серьёзным музеям он любил ходить один. Но иногда и вдвоём, со мной.

Некрасова зачаровывали уличные художники. Особенно у собора Парижской Богородицы, на Сен-Жермен-де-Пре или под Эйфелевой башней. Художники были истинными мастерами, они тончайшим образом вырисовывали свои картинки и пейзажики, изящно подкрашивая и подретушёвывая.

— Класс! — восхищался В.П.

И покупал обязательно картинку — повесить у себя или подарить москвичам...

Все первые пару лет мы продолжали по субботам прогуливаться по Парижу, слонялись по соборам или ходили на марочный базар.

Десятки палаток филателистов!

Коллекции, раритеты, сцепки, тет-беши, блоки. Марки в пакетах на килограммы. Богатство выставлено такое, что меня сразу же одолела неудержимая болтовня, восторженная

и завистливая. В.П. был чрезвычайно доволен эффектом, это тебе не фунт изюма, это тебе Париж! Какие же мне начать собирать, нудил я, надо же что-то выбрать...

Решили остановиться на парусниках — и красиво, и романтично. Выбрали несколько серий, искали экзотические, никому не ведомые страны и острова. В.П. купил кляссер и тут же начертил: «Свежего нам ветра! В.Н. + В.К. 29.5.76». Сам он очень быстро охладел к походам за марками, но я многие годы продолжал единолично пополнять и блюсти парусную коллекцию.

Почему-то парусники вызывали у Некрасова особый трепет — отзвук детских мечтаний о бесстрашных капитанах и покорённых морях, о приключениях, абордажах и корсарах. То он привёз в Киев макет «Трёх святителей», то прилежно клеил в Москве «Санта-Марию», то прислал мне в Кривой Рог роскошный галеон, потребовавший для сборки чуть ли не неделю! А в Париже радовался подаренному большому трехмачтовому бригу. Водрузил его сверху на полку с Большой советской энциклопедией, накупил несколько раковин и морских звёзд, уложил вдоль киля. Получилось красиво. Потом подумал и раскрасил тарелочку, как бы стилизованное солнце, и пристроил её над парусами. Похвастался, мол, ещё один уголок обустроил.

Да и из дальних странствий привозил он обязательно кораблики, не только простенькие сувенирные, но и требующие сложной ручной работы и твердой руки. Тщательнейшим образом выискивалось место, куда их поставить, чтоб радовали взор...

Вика поджидал нас у входа в метро, вертясь и всматриваясь вдаль, как суслик над норкой.

Мы уговорили его пойти с нами в мебельный магазин. Намечалась покупка века.

Боже, как мелко выглядит «Хождение за три моря» купца Никитина в сравнении с полноводной, но ненаписанной повестью о поисках и приобретении мебельного артикула под названием «Хельга».

Так называлась в Союзе некая конструкция с дизайном умопомрачительной для наших простодушных сердец красоты. А ещё говорили про неё — «стенка».

Обычно она импортировалась из Югославии и сразу, со склада, разбиралась слугами народа.

Книжные полки, застеклённая витрина, разнокалиберные шкафчики и ящики — весь этот комплект был искусно выполнен из прессованных стружек. И облицован полированной фанерой, отражающей счастье хозяев дома. Короче, это был некий гибрид горки, комода и книжного шкафа.

«Хельге» в наших планах отводилась роль гвоздя обстановки нашей новой квартиры.

Мы с Милой оббегали все мебельные магазины Парижа. Объездили пригороды, а потом и их окрестности. Пустой номер!

Чудовищные цены, хлипкие мебелишки, смотрящие на нас, как на зулусов, продавцы. И ни малейшей «Хельги», к нашему отчаянию. Мы были на грани полного разочарования капиталистической системой. Куда ещё пойти, укажи и надоумь, боже всемилостивейший!..

Такие сюрпризы любят описывать в вокзальных романах — мы увидели её внезапно, в глубине магазина, сияющую, отливающую якобы красным деревом, мерцающую громадными застеклёнными створками, никелем, алюминием, с ручками-пупочками под бронзу. Мечту нашу ненаглядную, «Хельгу»!

Пухленькие ангелочки счастья восторженно задрожали крылышками в нашей непритязательной душе.

Магазин был дорогой и арабский. Продавались там кресла, вырубленные в мраморе, инкрустированном большими как бы яхонтами, плюшевые верблюды в натуральную величину, коврового бархата, шитые стеклярусом диваны в виде влагалища и литые хрустальные люстры размером с ярмарочную карусель...

К счастью, Виктор Платонович был дома, взял трубку, и мы упросили его приехать, чтобы поделиться с ним радостью находки.

Увидев «Хельгу», Вика промолчал.

— Вам нравится? — любопытно спросили мы и застеснялись своей наивности, как если бы задали такой вопрос перед статуей, скажем, Ники Самофракийской.

— При чём тут я! — дипломатично ответил В.П. — Но если это нравится вам — берите, и всё!

Подозвали продавца. В арабском магазине кредит не практиковали.

Мы осели в коленях от страшного предчувствия — таких денег у нас и близко не было, четыре тысячи франков! А пока мы будем экономить, эту прелесть поднебесную, нашу нежнейшую «Хельгу», могут умыкнуть алчные арабы, да и европейцы, пронюхав, вполне могут позариться...

Вика нарушил молчание.

— Кто на неё клюнет?! — цинично сказал он и вздохнул. — Вам это правда нравится?

Мы без усталости любовались стенкой, как яйцом Фаберже.

— Я дарю эту штуку вам на новоселье! — добавил В.П.

И тут же на наших глазах превратился в небесную силу бесплотную, златокрылого архангела, спустившегося на землю, чтобы спасти сырых и облегчить страждущих!

Видение ещё не рассеялось, а Мила уже висела на шее В.П., покрывая в избытке чувств его чело и ланиты зыбкими

поцелуями. Опомнился и я, прильнув к милому отчиму взмокшим лбом, хохоча и тормоша нашего такого роскошного деда.

Вика прошёл в кассу, и через неделю «Хельга» стояла у нас в большой комнате, проливая бальзам на душу и веселя глаз. А потом все к ней привыкли, а некоторые из новых в доме людей с завистью спрашивали, где купили. Тогда непременно рассказывалась её история.

Всех вновь проходящих к нам на улице Лабрюйер я до тошно и назойливо фотографировал. Трудно поверить, но второй нашей крупной покупкой в Париже был фотоувеличитель, за который Некрасовым были заплачены большие деньги. Но всё увенчалось провалом — то плёнка не подходила, то бумага, то освещение, то выдержка не соответствовала. Бледные, как спирохеты, снимки соперничали с тёмными, подобно сибирским сумеркам, отпечатками. Сейчас-то я понимаю основную причину неудач — фотограф был никудышный.

Лишь через пару месяцев стало понятно, что цветные, отпечатанные в лаборатории за ближайшим углом снимки не шли ни в какое сравнение с моими кустарными чёрно-белыми фотографиями...

Ну а первой серьёзной покупкой был письменный стол для Вадика.

Мы тогда ещё льстили себя надеждой, что сын наш с энтузиазмом засядет за учебники. Поэтому, получив первое денежное пособие, мы зашли, опять же по невежеству, в шикарный и дорогуший универсальный магазин, в получасе ходьбы от дома.

Продавец спросил наш адрес, чтобы доставить туда покупку. Никто из нас троих не понял, зачем ему адрес и с какой стати он хочет оставить у себя уже купленный стол.

Я решительно отстранил что-то лопочущего продавца, дав ему знаками понять, что нас на мякине не проведёшь, мы стреляные, мол, воробы и такие номера с нами не проходят.

Взвалив стол на плечи и сгибаясь, как Иисус из Назарета под тяжестью креста, понёс его на себе домой. Обмякший от удивления продавец мямлил что-то нам вслед.

Два километра я тащил на горбу страшно тяжёлую и неудобную мебель. Мила заботливо семенила впереди, Вика сзади пытался что-то поддержать и помогал советами. Случай этот стал семейной легендой, и сейчас все думают, что это шутка и надо смеяться. А Мила, когда хочет подчеркнуть мою бестолковость, язвит, мол, помнишь, как ты стол на себе из магазина припёр?

Так вот, о фотографии.

Все были огорчены фотографическим фиаско и во всём винили плохое качество бумаги. Хотя В.П. уже тогда насмеялся над фотоаппаратом, пока ему не надоело. Пришлось довольствоваться Викиным аппаратиком.

С фотоаппаратом Некрасова было какое-то злополучие!

Первая, убогая компактная модель, приводившая его в восторг своей простотой, имела обидный недостаток — снимки получались в разной степени нерезкими. Это был маленький, шпионский, как говорили, аппаратик, который тогда только поступил в продажу. Потом был куплен аппарат подороже, «Минолта», тоже ничего делать не надо, кадрюй и щёлкай! Сколько было испорчено редких и неповторимых кадров!

Горе усугублялось ещё и тем, что фотограф безуспешно стремился к естественности и презирал позирование. Хотя, признаюсь, были у моего дорогого отчима и хорошие снимки, вопреки незамысловатой фототехнике.

По этим причинам первые парижские месяцы были отражены для потомства довольно мутно и паршиво. Да к то-

му же я, экономя, снимал очень редко, памятуя, что каждый кадр в фотолаборатории стоит франк.

Глупец, даже Некрасова я фотографировал мало, только лет через пять чуть разошёлся.

Когда Вика был в настроении, он с удовольствием фотографировался и послушно позировал. Обожал шуточные или дурашливые фото — в масках, касках, колпаках, шляпах.

— Наденьте вот это, Виктор Платонович! — И В.П. охотно напяливал на себя какой-нибудь петушиный наряд или мундир, тогу или зловещий плащ с капюшоном.

На многих общих фотографиях мы с В.П. получались глупыми и надутыми, с какими-то фельдфебельскими физиономиями. Многие думали, что это от природы. Мы же просто иронизировали, принимая глуповатый или заносчивый вид, но на фото ирония исчезала, и на наших лицах оставалась только безыскусная глупость...

Сам Некрасов в покупках, по местным понятиям, довольствовался малым. Снобизм его не терзал, комплексом неполноценности он отмечен не был, павлиний хвост самоутверждения тоже не прельщал. Ему и в голову не приходило покупать дорогую посуду, модные картины, престижные вещи с фирменными марками. А уж на одежду он, извините, от души плевал — была бы удобна и легка. И куплена ли она на рыночном развале или на авеню Монтень — его абсолютно не трогало. Так что первые годы одевался Некрасов в затрапезное, привезённое ещё из Киева барахлишко. Но мнения о себе он был благоприятного, считал, что одевается по-современному, с парижским, можно сказать, шиком. Все вежливо поддакивали ему, да из его окружения мало кто обращал на это внимание. С шиком так с шиком...

Голого короля разоблачила Мила.

— Что это за ужасная на вас куртка! А туфли-то напялили, прости господи! — поразились она однажды.

— Ты что, рехнулась! — всполошился Вика. — Все говорят, что куртка — класс!

Но Мила настаивала, убеждала, дескать, вы всё время на людях, надо одеваться по-человечески. Хватит, заявила, лавсановых и шерстяных брюк, сплошное посмешище, как киевский пенсионер республиканского значения...

После назойливой обработки и промывания мозгов, действуя и тишайшей сапой, и затеявая лёгкие скандалчики, Мила наконец уговорила В.П. пойти с ней по магазинам и по-людски одеться.

И двинули они вместе в Париж, и купили моднячую кожаную курточку фасона «Ален Делон», и несколько пар туфель, обязательно мягоньких и невесомых, и кучу рубашек, даже брючные пояса не были забыты. Но главное, настояла Мила на покупке дорогих фирменных джинсов, к которым писатель сразу же проникся тёплым чувством.

— Бросил пить и приоделся! — довольно посмеивался он.

Теперь он носил лишь джинсы, все последние десять лет жизни. Благоговейно внимая советам Милы, часто, по моде, менял модели. Чем, кстати, слегка раздражал всегда элегантного Максимова.

— Почему это Платоныч всё время в джинсах? Это как-то несолидно, скажите ему, Виктор!

Я хмыкал неопределённо, мол, упрямец, что поделаешь, никого он не слушает...

Чувствуя, что под натиском Милы его гардеробным принципам приходит конец, писатель беззаветно вцепился в последний символ своей мужской независимости — носовой платок. Сейчас носовыми платками, продолжала осаду Мила, пользуются только ветераны гражданской войны

в Испании, всякие старикашки, а вам пора переходить на бу-  
мажные, они такие гигиеничные.

— Ни за что! — гордо вскрикивал В.П. и назло снохе  
рассовывал платки по всем карманам.

Он сам их стирал, гладил и складывал стопочкой у себя  
в головах, на нижней полке ночного столика. Мила отступи-  
ла, посрамлённая...

## Променады по Парижу

Стараюсь пореже цитировать Некрасова, но сейчас приведу-  
таки обширную цитату:

«Свобода! Господи, как только не обыгрывается это  
понятие. Свобода умирать под мостом, свобода изде-  
ваться над неграми...

И всё же только здесь, на Западе, я понял, что это  
значит...

Я не озираюсь! Не говорю шёпотом, не закрываю  
все двери и окна, не открываю крана на кухне или в ван-  
ной, не кладу подушки на телефон, не говорю “тс-с-с!”  
и не указываю пальцем на потолок...

И писать могу, что хочу...

Стоит, стоит, тысячи месс стоит Париж, в котором  
я сейчас живу.

И одна из них — свобода умереть под мостом.

Что может быть лучше — придёшь вечером, ночью  
к Сене, спустишься по лесенке у Тюильри на набереж-  
ную, пройдёшь под аркой моста Pont-Royal, сядешь себе  
на лавочку у старого, со свисающими до самой воды вет-  
вями вяза (люблю я этот вяз) и закуришь. За твоей спи-  
ной Лувр, у ног тихо плещется Сена, и одно только  
окошко светится ещё на том берегу.

Сидишь и куришь. И думаешь. И сердце вдруг останавливается... Всё... Чем плохо?»

Ничем! Всем хорошо...

Вяз, Сена, Лувр. По-мужски в меру романтично. Я тоже пожелал бы Виктору Платоновичу такую смерть, спокойную, без сюрприза, без обиды. Когда-то мы с ним дурачились, придумывали, кто как хотел бы умереть.

Вика сказал:

— Вовремя! Я бы хотел вовремя...

Этого ему не было даровано, умереть вовремя. Мог бы вполне и ещё пожить, уж пяток лет свободно.

Да что там говорить...»

Префект Парижа в середине XIX века барон Жорж-Эжен Осман потрудился на славу, прежде чем войти в историю.

Прорубив по приказу Наполеона III широкие артерии — улицы и бульвары, дающие доступ к вокзалам, мостам, театрам. А обустроив несколько громадных, узловых площадей, он во многом изменил урбанистическую архитектуру столицы мира.

Всесокрушающий барон в корне преобразил городской пейзаж, не постояв перед излишне жестоким разрушением старого города. Парижские улицы были застроены тысячами великолепных, светлых и монументальных зданий из тесаного и штучного камня, знаменитого парижского песчаника. Считалось приличным до середины прошлого века аккуратно высекать на фасадах фамилию архитектора и год строительства.

Наше с В.П. развлечение было бесхитростным — вышагивать по парижским улицам и на глазок издали угадывать дату сооружения здания, судя по архитектурным деталям, меняющимся со временем. Чья дата была ближе к указанной над подъездом, тот и выигрывал.

Мне обычно везло, и я угадывал не реже Некрасова, что давало мне повод для некоторого тщеславия...

Некрасов редко ходил просто так, без толку по Парижу. Для выхода в город всегда имелась причина.

Продолжительные прогулки следовало начинать с покупки какого-нибудь альбома о Париже, обычно роскошного. Который тщательно рассматривался и лишь потом выбирались достойные посещения места и памятники.

Так было заведено ещё в 1976 году, в первый приезд Лианны Лунгиной.

Лильку выпустили в Париж! А Симу оставили в Москве в заложниках! Сообщив нам эту новость, Вика извёлся от радости. Советская власть показывала, что зла на Лильку не таит и поведением её довольна. Но как только Максимов робко заикнулся об этом, Некрасов вознегодовал и даже повысил голос.

Что нам остаётся между воспоминаниями о прошлом и мечтами о будущем? Известно что — остаётся настоящее, которое мы торопимся прожить и вновь окунуться в щемящее прошлое или маловолнительное будущее. Это не я придумал, мне это сказал как-то Виктор Платонович.

Сейчас уже редко, но бывает, что я без особой надобности решаю пройтись по Парижу. И нет-нет да и поглядываю вверх, вскользь по верхним этажам старых, конца позапрошлого века зданий, как научил меня В.П. во время наших пешеходных прогулок.

Все окна этих домов имеют невысокие перильца, обычно чугунные, литые, но встречаются и кованые или из фасонных деталей на заклёпках. Это знаменитые парижские балкончики, придуманные королевским архитектором Мансаром. В честь которого, как известно, тесное жилое помещение под крышей названо мансардой.

Так вот, именитые и знатные горожане того времени были весьма недовольны пооконным налогом, взимаемым французскими королями. Строя многоэтажные палаццо и особняки и стремясь оградить своих прижимистых заказчиков от королевских поборов, этот модный архитектор исхитрился устраивать маленькие ограждения в нижней части окон. Которые благодаря этому архитектурному излишеству превращались из окон в балконы. И переставали быть предметом налогообложения.

Узнай о такой хитрости, что бы мы с вами сделали, будучи королем Франции? Взяли бы и установили новую пошлину, теперь уж на балконы! Но король, заметьте, не пошёл на это. Помня о своих собственных бескрайних балконах — взять хотя бы Версальский дворец Его Величества.

А парижские балкончики знамениты ещё и потому, что узор на их решётках ни разу не должен повторяться! Уму непостижимо: десятки тысяч решёток — и все разные! Так что просвещённому зевাকে Виктору Некрасову было чем любоваться...

Прогулкам по Парижу посвящались многие часы, а если приезжали москвичи, променадам отводилось всё время. Одних Некрасов водил в парк Монсури, других — на Монмартр, третьих — смотреть Бобур, Латинский квартал или небоскрёбы в районе Дефанс. До этого в качестве лазутчиков мы везде побывали вдвоём.

Некрасов с видом хозяина, как у себя в Киеве, проходил по парижским бульварам. С гордостью старого парижанина объяснял москвичам, что нумерация домов начинается от Сены, чем дальше по улице от этой реки, тем выше номер. Сама река завораживала его, он тянул всех на её набережные и огорчался даже малейшему равнодушию.

Восторгалась безмерно этой рекой и Татьяна Литвинова, дочь бывшего наркома иностранных дел, безотказная спутница Некрасова в прогулках по Парижу. Когда она приезжала из Лондона, Вика бросал дела, и они бродили вдоль Сены. Глазели на речные трамвайчики и любовались плакучими ивами, а потом усаживались в кафе на острове Ситэ, лицом к реке.

— Что тебе, Вика, больше всего по душе в жизни? — спросила как-то она.

— Гм, — впал в думу В.П. — Литературу отбрасываем, алкачество тоже, что же остаётся? Люблю писать письма и развешивать фотографии. Свежий багет с маслом. И книжные магазины!

Так вот, для приезжающих в Париж настоящее заключалось во встрече с Некрасовым. Что может быть чудеснее, чем свидание после долгой разлуки, за тридцать земель! Для многих его друзей, знакомых, да и малознакомых тоже, было лестно и приятно выпить с ним. Эти моменты запомнились надолго. Случалось, что и я пристраивался, чтоб влиться или выпиться в их компанию.

Но с глазу на глаз, один на один, я с Викторией серьёзно и ярко выпивал в Париже нечасто, чуть ли не считанные разы. Слишком уж хорошо я знал, что эфемерная радость, захватывающая полупьяная болтовня, завтра почти наверняка обернётся вначале вдохновенным похмельем и неизбежным постылым запоем.

Поэтому водку собственной рукой я наливал Вике крайне редко. Да тот особо и не нуждался в таких церемонных знаках внимания — сам брал бутылку со стола и наливал себе.

Кстати, рюмок он не любил, терпел их наличие на гостевом столе, но в будни предпочитал эмалированную кружку. В память о фронте, утверждал. Дивную влагу В.П. пил не залпом, а глотками, как говорил, любил переполовинить.

Но зато чисто вдвоём, и частенько, мы пили наше французское вино — я усердно хлестал, он вяло отхлёбывал.

— Как хорошо выпивать с пьющими! — говорил, бывало, Вика, орлом оглядывая компанию.

Что может быть хуже, когда партнёры по застолью один за другим говорят: «Я — пас!» И ты вынужден пить один, а потом нести ахиною и хохотать над своими же шутками. Так завоёвывается репутация дурака! Нет, в компании, как у коней в квадриге, разношёрстность недопустима...

У Некрасова была своеобразная мания величия, окаймлённая самодовольством, — французы, утверждал он, не умеют пить, как мы, истинные мужчины и россияне!

В «Зеваке» он позволил себе даже насмешничать над приютившей нас нацией. Только мы, русские, можем метафорически описать все стадии питья. А у них даже нет такого необходимого, такого всеохватного и образного слова, как «похмелье». И опять же суждение нашего писателя было основано на общении со смехотворно пьющими парижскими интеллектуалами и далёкими от чарующей и раздольной выпивки дамами-переводчицами.

Есть, всё есть в прекрасном языке Мольера! Надо просто получше выучить. Есть и «похмелье», и «опохмеляться», и «на похмелку», «с похмелки»...

Наивный человек, Виктор Платонович! Доверялся в этом святом деле невежественным людям! Которые не только опохмеляться, напиваться и то не умеют!

## Православный безбожник

Из письма ко мне от 30 сентября 1976 года:

«Привет из Галилеи. Держим путь к этому самому, изображённому на марке акведуку. Вчера провели торжественное

бабьеярское действо в некоем Ашрафе на Тивериадском озере. Собралось со всего Израиля 500 киевлян. Я держал речь, пылало пламя, приспустили флаги. Потом пили. Чай».

— Вообще-то я славлюсь как безбожник, — начал он. — Но безбожник явно не воинствующий.

Некрасов вернулся из Израиля и теперь за чаем выкладывал впечатления.

Но там, на Святой земле, мечтательно так рассказывает Вика, ему просто хотелось поверить в Бога. Не раз как бы вздрагивал, ощущая Его присутствие, простите за банальность. В храмах ли Иерусалима, на Тивериадском озере, среди гефсиманских многовековых олив, в Вифлееме или среди камней Галилеи, везде ходил и поглядывал на небо — а вдруг увидишь Его лик...

Чувствуешь себя каким-то остолопом. Ведь нас же учили, и дома, в семье атеистов Некрасовых, говорили, что не было никакого Иисуса Христа, ни апостолов его — всё это наивные и антинаучные байки, поповщина...

Некрасов говорит очень серьёзно.

Но в то же время ощущаешь, как обволакивает тебя странное и приятное чувство, что когда-то и Он ходил по этим местам, говорил, учил, проповедовал... А вот здесь Он присел, задумался или задремал... И тебе хочется оторваться от спутника, остаться одному, надеясь, что Он воспользуется случаем и возникнет на миг из чистейшей небесной голубизны или перламутрового знойного марева над камнями... И ты предстанешь перед Ним в умилении. А потом вспоминаешь, что ты атеист, что никакого явления ты не дождёшься и идёшь прочь, сожалея о своём неверии...

В октябре 1976 года израильская газета «Наша страна» опубликовала объявление:

Объединение ОЛИМ из СССР  
извещает о встрече с известным писателем,  
другом еврейского народа Виктором Некрасовым

— И поразительное чувство — я вернулся в свой Киев! — не мог нарадоваться В.П.

Подходят к тебе люди, родные киевляне, часто совершенно незнакомые, и говорят с улыбкой или чуть не плача — мы из Киева!

И у тебя самого наворачиваются слёзы, ты вспоминаешь всякие киевские мелочи, а тебе напоминают о встречах и именах, болтаешь, хохочешь, обнимаешь, оставляешь адрес.

Ты у себя дома, среди своих, милейших киевлян, таких трогательных, взволнованных, неумолкающих!

Даже в магазинах вывешены объявления по-русски: «Солёные огурцы для продажи, а не для пробы!»

— Одна беда, — чуть улыбается В.П., — замучили меня там вечерними встречами с бывшими соотечественниками.

Интересно, остроумно или слегка торжественно начинается, но через часок принимаешься гадать: а угостят ли чем выпить эти прекрасные люди? Или опять твой лучший друг, киевлянин и профессор-физик Люсик Гольденфельд, начнёт под шумок всех предупреждать, чтобы водку на стол не выставлять, хватит, мол, немного вина. Но, хвала Господу, Царю Иерусалимскому, находится всегда особо сердечный, то есть пьющий, еврейский человек, который приготовил четвертинку для любимого писателя.

И тогда торжество оборачивается маленьким праздником...

Письмо от 28 сентября 1976 года: «...А вообще, Иерусалим таки да... Живём у Люсика. Конечно, слишком много женщин, а в городе слишком много евреев, но впереди всё-таки огни... Завтра едем на Голаны, оттуда через Хайфу на-

зад. Пока что более или менее с успехом отбиваюсь от людей. Целую!»

В Израиле, на встрече в память Бабьего Яра, Некрасову подарили странную красно-жёлтую картину с символической горкой берцовых костей. Вика с содроганием принял подарок и тут же, в сторонке, отверг его, передав кости Люсику. Но я уговорил его забрать зловещую картину и повесил её у себя дома. Никто не страшился...

Виктор Платонович вырос в семье русских интеллигентов, в окружении эмансипированных женщин — мамы и тётки, толерантных атеисток. Многие годы проживших за границей, в кругу русских эмигрантов, где веровать в Бога считалось зазорным и не созвучным эпохе.

Однажды Вика сказал, что ему очень подходит объяснение веры в Бога, которое он слышал от своей мамы. Боль от неизбежной будущей смерти наших близких заставляет нас обратиться к вере, которая смягчает эту боль. Это скорее даже страх потери. Хотя даже этот страх не заставил маму верить в Бога, улыбнулся тогда В.П.

Но вот воинственным безбожником Некрасов не был наверняка — он был просто неверующим человеком. Но всё-таки православный!

Ходил он в церковь на Пасху только в начале эмиграции, а потом бывал там лишь на похоронах, да на панихидах, да на молебнах по Государю. На Рождество я его в церкви не видел. Вполне возможно, что он бывал там один или с приежими.

Становился в сторонке, не крестился, склонял голову, когда священник обращался в его сторону с благословением.

Но не счесть церквей и храмов во всех европейских городах, которые мы с Викой, будучи прилежными туристами, посещали или хотя бы бегло осматривали.

Особенно он благоволил к французским кафедральным соборам. Их во всей Франции восемьдесят две штуки. Многие из них начинали строить чуть ли не в тысячном году. Тогда в Европе вряд ли набралось бы с полсотни человек, знающих деление, а о геометрических чертежах, говорят, никто и понятия не имел! Но тем не менее построили эти соборы, расчудесное архитектурное чудо.

Пошли, Витька, взглянем, говорил он мне! А в глубине души ему, наверное, было просто приятно преступить порог великолепных чертогов недостижимой сложности застывшей музыки. Зайти и остолбенеть от праздничной красоты витражей, освещённых солнцем... И ощутить и прочувствовать умиротворённые воздуха, радостные всплески которых иногда заставляют дружно колебаться кисточки свечного пламени...

Вика впадал в упоительный раж при виде собора Нотр-Дам. Общёлкивал снизу, потом, пыхтя и стелая каждый раз, поднимался на верхний балкон, метался туда-сюда, протискивался к перилам и снимал, снимал... Химеры, аркбутаны, крыши и дали Парижа, ангел на углу правой башни, эта же башня в облаках, отражённых в луже... Довольно удачные фотографии, надо сказать...

В Киеве мы были в церкви лишь однажды. Проезжая на троллейбусе из Жулян, Некрасов позвал меня сойти. Зайдём, пригласил, в эту вот церковь, сегодня, кажется, есть служба.

Внутри было приятно и благостно, из прихожан почти никого, но много букетов цветов в банках, перед иконостасом. Мы постояли молча пару минут, потом я спросил, как насчёт свечек, может, поставим. Поставим, согласился Виктор Платонович и купил три штуки. Одну дал мне, а две зажёг сам...

В парижский собор Святого Александра Невского на улице Дарю он захаживал частенько.

Проходил поближе к хору. Стоишь и слушаешь стройное пение, приятное занятие, говорил Вика, а неразборчивое бормотание священника убаюкивает, когда не знаешь ни порядка службы, ни молитв.

Он, я думаю, не осеняя себя крестом, не хотел притворяться верующим. Но и равнодушным церковный обряд его не оставлял. Как он говорил, во всём этом есть что-то «значительное и необходимое, что-то обязывающее к чему-то».

Конечно, обстановка в церкви трогает душу, успокаивает, вздыхал В.П., но что поделаешь, если тебя воспитали неверующим и в церковь ты ходишь для других — на крестины, свадьбу или панихиду.

## Три эмиграции

Я не слышал ни разу, чтобы он пренебрежительно, или с издёвкой, или просто с ухмылкой отозвался о верующих людях.

Но любил подразнить свою большую приятельницу, Наталью Михайловну Ниссен, верующую женщину. Будучи из генеральской семьи, из первой эмиграции, она надменно относилась к мелкому эмигрантскому люду. Славилась злым языком и мерзким нравом, была остроумна и хлебосольна.

Кроме божественного барда, сердцееда Саши Галича, из третьей эмиграции она любила лишь две семьи — Максимовых и нашу.

Мадам Ниссен была квартирной хозяйкой Максимовых, ей же принадлежало и помещение журнала «Континент».

Сохраняя вокруг себя всё русское, старые дворянские традиции, воспитанная в ненависти к большевизму, она видела в диссидентах чуть ли не продолжателей Белого дела. Резкая и холодная с окружающими, она сразу же прони-

клась приязнью к Максимовым и решила взять их под свою опеку. Её беспрекословно — а как же ещё! — поддерживал муж, деликатный и внимательный Александр Александрович Ниссен, которого, как понимаете, все называли Сан Саныч.

Таню Максимова она по-настоящему полюбила, но самого Максимова любить опасалась, так как Владимир Емельянович, не слишком поощряя опекуницу, держал её на некотором расстоянии.

Настойчивая забота её удвоилась, когда у Максимовых родилась дочь.

В честь крёстной матери малютке дали имя Наталья, но до сих пор все зовут её Бусей. Наталья Михайловна буквально не сводила с Буси глаз. А когда через годик у Максимовых родилась Лёля, вторая дочь, то ревниво следила, чтобы гости уделяли больше внимания Бусе, её двухлетней крестнице.

Естественно, обе чудесные девочки воспитывались в любви к Богу и отвращении к большевикам. Когда, подросши, они ссорились между собой в детской, Буся с гневом кричала на сестру: «Ты такая противная! Ты просто Надежда Хрупская!» Маленькая Лёля горько плакала от такого чудовищного оскорбления...

Поздним вечером, непрерывно попивая чай, Наталья Михайловна долго и обстоятельно болтала по телефону с моей мамой, своей милой подругой Галиной Викторовной, посвящая её в парижские сплетни и эмигрантские дрязги.

Строго воспитанная матерью-институткой, Наталья Михайловна, однако, обожала слушать русский мат и млела, как при аккордах неземной музыки, когда Вика, чтобы угодить даме, щеголял образчиками срамословия.

Мама моя, напротив, не поощряла ругань и часто отчитывала свою подругу.

— Фу, Наташа, какая ты хулиганка! — разносились по ночной квартире её возгласы.

Тогда в дверях маминной спальни появлялся потревоженный, но заинтригованный В.П.:

— Когда ты, Галка, наконец научишься поддерживать светскую беседу? Дай-ка я отвечу Наташе парой слов, чтоб беспечнее спалось!

Мама конфузилась...

Крёстным отцом Буси Максимовой был Александр Галич, кумир Натальи Михайловны.

Как забыть мечтательное её лицо, с сияющими умилением глазами, когда она слушала у себя в доме песни, исполняемые Галичем чуть по-барски, с актёрскими ухватками, с хорошо поставленным гневом в голосе или с тонкой улыбкой властителя дамских грёз!

Вторым её любимцем был Вика Некрасов, с которым у них с первой же встречи установились свойские отношения. Приходя в «Континент», В.П. созванивался с ней, и они часок посиживали в кафе, болтая об эмигрантской жизни.

Виктор Платонович и Наталья Михайловна с удовольствием пикировались, причём он обзывал мадам Ниссен «недорезанной буржуйкой», а она его клеймила «чёртовым атеистом», считая это очень обидным.

Наталья Михайловна Ниссен была заметной фигурой первой эмиграции в Париже.

Ровесницы Натальи Михайловны относились к ней с почтительной опаской. А она знала каждую собаку среди коренной парижской эмиграции и безошибочно определяла точное место этой собаки в эмиграционной иерархии.

А иерархическое расслоение эмиграций соблюдалось в Париже строго.

Высшая каста — очень уважаемые представители первой эмиграции.

Не обязательно родовитые. Чаще это бывшие поручики, мичманы, гимназистки, нижние чины или санитарки — все, кто ушёл в изгнание очень молодыми. Или это были потомки тех, кто под огнём красных в неопикуемой неразберихе грузились на пароходы в Одессе. Кто достойно, не бросив ни одного раненого, покидал Крым и планомерно эвакуировал Новороссийск, кто прошёл лагеря для беженцев в Галлиполи или на проклятых островах Лемносе и Принкипо. Томился от безделья и безденежья в Константинополе, Белграде или Бизерте, а потом постепенно стягивался во Францию. Образовав в Париже «Россию в миниатюре», как говаривали газетчики.

Аристократия и буржуазия, политики, служащие, интеллигенция, донские казаки, солдаты и офицеры, русские люди. Патриоты и неуёмные фантазёры. Сохранявшие поколениями русский язык и культуру. Сберегшие православную веру.

Только приехав во Францию, они страшно бедствовали по тогдашним понятиям, копошились на самом социальном дне, на рабских условиях трудились на заводах «Рено» и соглашались на унижительную по тем временам работу парижских таксистов. Кстати, их охотно брали, потому как бывшие офицеры прекрасно разбирались в плане Парижа, были воспитанны и отличались безукоризненной честностью.

На последние гроши они посылали своих детей учиться. Сейчас их дети и внуки, чистейшей воды французы, прекрасно устроенные в жизни, трепещут перед всем русским.

Первая эмиграция была склонна к всепрощению, легко впадала в нежные чувства при упоминании России, а многие были не прочь грянуть хвалу Стране Советов.

Затем идет эмиграция вторая.

Это были безоговорочные враги большевистской диктатуры.

Угнанные на работы в Германию, попавшие в плен в начале войны в чудовищных клещах немецких танковых армий Гудериана и Клейста. Когда грозным немецким генералам противостояли во веки веков прославленные своей бестолковостью «Ворошилов на лошадке и Будённый на коне». Они помнили коллективизацию, жуткий голод в Поволжье и на Украине, высылку, лагеря, колхозных придурков с батогамы, туфтовое счастливое детство, страшную городскую нищету...

Были и крестьяне, сами бросившие оружие, чтобы не погибать за большевиков, уморивших голодом или сгноивших в сибирской ссылке их семьи, включая младенцев. Были и выжившие в фашистских концлагерях, и скрывшие после войны свою национальность уже в лагерях для перемещённых лиц. Были власовцы, ставшие под знамёна вермахта.

Эта вторая эмиграция, бывшие советские рабочие, крестьяне, служащие, военные, тоже устроились во Франции кто как мог — многие получше, а кто и похуже. Они сторонились нас недолго, быстро присмотрелись, оценили нашу демократичность и готовность выпить, не поминая старое.

А потом в Париж нагрянули мы, третья эмиграция. «Третья волна», как наши возвышенные умы прозвали самих себя. Публика, как говорится, дальше некуда — разношёрстная, разнопёрая, разноликая. Москвичи, считающие всех остальных деревенщиной, включая петербуржцев. Питерские, смотрящие на всех свысока, а коренных москвичей обидно кличущие «фоняками».

Писатели, художники, филологи и историки, поэты, журналисты, инакомыслящие и диссиденты, настоящие и самозванные. Потомственные, чуть ли не столбовые интел-

лектуалы и интеллигенты в первом поколении. Разночинцы всех мастей, смышлёные служащие и даровитые простолюдины, люди без определённых занятий, разрешающие именовать себя талантами. А гениев искусства, отрицателей традиций, жарких трибунов или борцов за народное счастье была тьма несметная! Причём многие старые знакомые сердечно друг друга ненавидели.

Храня и приумножая причудливую традицию выпускать в изгнании печатные органы, старшее поколение очертя голову бросилось издавать газеты, журналы и альманахи.

Кто их покупал — тайна за семью печатями. Лично я думаю, что не покупал никто, существовали же они на субсидии и семейные сбережения издателей.

Если в первой эмиграции, по преданию, все мужчины работали таксистами, а женщины — сплошь белошвейками и модистками, то сильный пол третьей волны массово подался в технические переводчики, а слабый — бойко освоил машинопись, а позже покорила компьютер.

Во множестве блистали прекрасным произношением выпускники советских факультетов иностранных языков, были и обучившиеся французскому самоуком. Подавляющее же большинство говорили как бог на душу положит. А клал он так, что при детях и сказать неудобно...

Сколько было нас, приехавших во Францию, предусмотрительно сочетавшись браком, часто по любви! Примерно столько же проникли туда, вступив, простите, в мезальянс. Однополые браки вначале были редки.

Пили наши эмигранты все без исключения, но по-разному. Кто пил ежедневно, под предлогом разлуки с родной, а кто — эпизодически, по случаю.

В общем, русская эмиграция допустила нас в своё славное лоно, не обцеловала и нежно не полюбила, но приняла почти как равных. Что очень нам польстило.

И вот, прожив в Париже тридцать пять лет, на вопрос «Вы кто?», не жеманясь, с гордостью отвечаем:

— Третья волна, а вы?

— Мы, собственно, аборигены! — радостно оживает собеседник. — Но моя бабушка была из первой эмиграции.

И мы понимающе смеёмся, и похлопываем друг друга по плечу, и расспрашиваем о пустяках, в общем, ощущаем приятное чувство знакомства.

Стержнем нашей третьей волны была, как ни крути, еврейская эмиграция.

По-другому и быть не могло, просто иначе никого из Союза не выпускали. Даже тех, кого беспардонно выталкивали. И под эту марку выехали многие россияне. В то время и антисемитов среди нас было с гулькин нос — не знали, как благодарить евреев за приглашения на выезд!

«По израильской визе» высылали всех подряд: и тишайших интеллигентов, и инакомыслящих бузотёров, художников, писателей, актёров, учёных. Почти все они прошли через полосу положенных скотских унижений, добываясь выезда с настойчивостью, упрямством, бывало, с бесстрашием.

Осевшую в Париже третью волну можно лишь отчасти отнести к политической эмиграции. Упрощённо говоря, экономическая эмиграция процветает, если трудно въехать в другую страну, а политическая — когда трудно покинуть свою.

Некоторые из третьеволновых эмигрантов без труда убедили себя, что они являются носителями высших достижений российской культуры. Что вкус их изысканный, а воспитание утончённое. Образования они разностороннего и всеохватного. В России кульминационной точкой их карьеры была работа, скажем, в бибколлекторе или массовиком-затейником на турбазе, хотя подобная несправедли-

вость афишировалась как месть таланту со стороны бездарной системы.

Этих людей было трудно чем удивить, они были надменны, как рыцари революции в пионерских песнях, и любили показывать, что всё — дежа вю. Они не кидались сломя голову знакомиться с обычаями и традициями нашей хозяйки дома, чудесной Франции, но уверяли друг друга, что именно хозяйка много выиграла от их прибытия. Так чего суетиться!

Но, понемногу пообтёршись и пообнюхавшись, мы осознали, что негоже быть всю жизнь инородным телом, как неразварившаяся горошина в молочной вермишели...

Замечу для сведения, что четвёртая волна, постперестрочная, называется у нас колбасной эмиграцией...

Наталья Михайловна Ниссен собирала у себя на ужин сливки третьей эмиграции. Сливки были взволнованы.

Будет Булат Окуджава!

Пришли Ростроповичи, Максимовы, Гладилины, Некрасовы, доктор Котленко, поэтесса Наталья Горбаневская и Миша Васильев, сын Натальи Михайловны.

Мстислав Ростропович, по обыкновению, блистал. Остроумием, тостами, актёрской улыбкой. Угождал счастливым дамам. Мила была посажена рядом со знаменитым музыкантом и цвела от его галантных домогательств.

— Вы знаете, Витя, меня опасаться нечего! — улыбался Слава, целомудренно обнимая Милу. — В моём возрасте следует как можно чаще избегать половых сношений!

Мила заливалась радостным смехом, польщённая объятиями. Некрасов грозил пальцем — эти музыканты такие развратники, держи ухо востро!

Я приступил к фотографированию.

— Давай, Витька, быстрее, будет редкий снимок — Володя улыбается! — закричал В.П., обнимая Максимова.

Максимов улыбнулся ещё раз, для вечности...

Галина Вишневская поругивала советскую власть, вспоминала смешные театральные анекдоты. Остальные внимали. Было удивительно приятно.

Хозяйка спохватилась:

— Булат, дорогой вы наш, спойте же нам, порадуйте!

— Нет-нет, — засмутился Булат, — какие песни в присутствии Ростроповича! Я ведь и пою неправильно, и на гитаре, говоря по правде, не умею...

— Булат, милый дружище! — вскричал Ростропович. — Мы с Галей тебя не просто любим, мы слабнем сердцем, когда слышим тебя! Спой же, пожалуйста! Есть в доме гитара?

— Конечно! — обрадовался Сан Саныч и поспешил в прихожую за гитарой.

Не обращайтесь вниманья, маэстро!

Не убирайте ладони со лба!

Булат пел, Ростропович блаженно улыбался, Вишневская шептала слова песни и кивала медленно в такт музыке. Мы просто слушали, поглядывая на знаменитостей.

Онемевшая от счастья Наталья Михайловна не сводила глаз с Булата и стала красивой, как румяная гимназистка...

## Мы из третьей волны!

— Думали ли мы?.. — повторяет и повторяет Вика этот вопрос в «Сапёрлипопете».

Он-то, может, и не думал определённо, что будет именно так, но вполне мог подумывать о каких-то переменах в своей жизни. И мог правомерно их ожидать — как ни говори, но личностью он был незаурядной.

Мы с Милой к такой категории не относились и даже во сне не могли увидеть грядущие пируэты судьбы. Переезд за границу, в эмиграцию, был совершенно неожиданным, уникальным шансом в нашей жизни.

Первая русская эмиграция два десятилетия сидела на нераспакованных чемоданах, надеясь не сегодня завтра вернуться на Родину.

Мы же сразу вывалили свои пожитки, а чемоданы выбросили — мы оставались навсегда! Франция нас пригрела, приласкала, одарила конфеткой и предоставила полную свободу — выпутывайтесь дальше как знаете.

Во все времена русские эмигранты первым делом открывали рестораны. Вторым — основывали журналы и газеты. Третьим — пекли на дому пирожки, писали книги, устраивали благотворительные концерты, сколачивали хоры и организовывали комитеты по спасению России.

В третьей эмиграции почти вся сестробратья подалась в технические переводчики и машинистки, причём через десяток лет многие прилично насобачились в этом деле. Другие перебивались лепкой пельменей, зарабатывали преподаванием русского языка во французских лицеях или работали у первых эмигрантов мамзелями, то есть приходящими нянечками.

Особенностью нашей эмиграции стали вернисажи — с бесплатной, а значит, скудной выпивкой. Водка пряталась и выдавалась из-под полы особо именитым гостям. Приглашались иногда и французские приятели, с восторгом внимавшие пьяненьким перепалкам художников. Французы считали, что так они приобщались к светлой тайне славянской души.

К тому же в эмиграции легко прослыть писателем. При этом что-то писать необязательно. Оторванные от родины люди поначалу доверчивы, многие просто верят вам на слово. Сказал — писатель, значит, так и есть.

О журналистах и говорить нечего — их было пруд пруди...

— Мне просто стыдно сейчас вспоминать, — говорил Некрасов, — как я пренебрежительно отзывался об эмиграции десять лет назад, в своих первых очерках.

Мол, оторвавшись от родной почвы, эмигрант истощается и озлобляется.

Русская первая эмиграция не только страдала, тосковала и жила впроголодь, она и сберегла, и обогатила русскую культуру.

— Какие имена! — всегда восхищался Виктор Платонович. — Бунин, Цветаева, Куприн, Тэффи, Ходасевич, Газданов, Гиппиус, Дон Аминадо, Шмелёв, Алданов!

А десятки других, достойных и памятных...

Мы позволили коммунистам, говорил он, вдолбить себе в голову, что русская литература здесь, мол, влачила, прозябала и перебивалась, а она жила настоящей, хотя и очень непростой жизнью!

— Нашу, третью эмиграцию, — не раз повторял В.П., — Франция встречала как братьев по разуму.

И главное — дала нансеновские паспорта, признала политическими беженцами! Что потянуло за собой немало жизненных преимуществ. Право на работу, на щедрейшее социальное обеспечение, на пособия, на недорогую квартиру. И на беспрепятственное передвижение по всему миру. «За исключением СССР и его сателлитов», как было написано в этом документе...

Русские первой эмиграции посматривали на нас чуточку свысока, с ироничной снисходительностью. Мол, приехали на всё готовое, никто не брошен на произвол судьбы, французы с вами носятся, как курица с яйцом, куда вам до наших лишений и невзгод!

Цвет русской нации и краса интеллигенции голодали и холодали, рыбой об лёд бились в поисках заработка, за

гроши соглашались на любую работу. Вот где русские люди хлебнули горя!

Таки хлебнули, уважительно соглашались мы.

И старые эмигранты оттаивали, помогали советами, связями и деньгами, сначала сдержанно, а потом, освоившись и перезнакомившись, чуть ли не наперегонки старались помочь.

Но и эмигрантов, и иностранцев приводила в тревожное недоумение некрасовская привычка наклеивать на конверт марки в двойном или тройном тарифе.

— В Союзе будут счастливы получить такие марки! — растолковывал В.П.

Но зачем же их клеить, говорили разумные люди, вкладывайте непогашенные марки в конверт, не тратьте их зря!

— Нет, на конверте они принесут больше радости.

Люди пугались своего непонимания и умолкали.

А Вика поглядывал на них свысока — прямо невероятно, какие же они здесь мелочные! И продолжал, как бы бахвалясь, клеить широкой рукой ненужные марки.

Милые французы прощали ему такую глупость, думая, что это удел гениев...

Приехав в Париж, Некрасов и не задумывался, что ему нужно будет работать — то есть регулярно трудиться с целью заработать деньги. Он был уверен, что для денег будет достаточно написать книжку, дать там и сям несколько интервью, либо лекцию прочесть, либо по телевизору передачу устроить. Может статью-другую тиснуть или, если будет желание, съездить на какую-нибудь писательскую гастроль. И всё будет в лучшем виде! За гонорарами, вознаграждениями, выплатами — пройдите, пожалуйста, в кассу!

Честно говоря, первые два-три года так примерно и было.

Писателя из-за железного занавеса рвали на части, ему совали деньги — не пухлые пачки, но весьма солидные суммы, — он как бы даже жаловался, дескать, как всё это осточертело, нет ни отдыха, ни покоя! Потом-то всё изменилось...

Солидные эмигрантские писатели, получив здесь первые, довольно приличные гонорары, купили себе квартиры или домики в деревне. Некрасов же все деньги проматывал — книжки, сувенирчики, посылки в Союз, поездки, подарки. Да и помощь нам, как мне об этом забыть!

Его подход был проще пареной репы — деньги есть, надо их тратить, зачем работать! Когда кончатся — тогда и начнём думать, где заработать. Что ещё написать, где выступить. Какие глупости насчёт железа пока горячо! Зачем откладывать деньги, вы ещё скажите — вкладывать! Вы что!

Как брошенной жене хочется непрерывно говорить о бывшем муже, известном мерзавце, так и нам хотелось бесконечно толковать о мерзостях советской власти и поругивать Францию. У Некрасова хватало тонкости и ума не хаять Францию, а восхищаться её культурой, нравами, бытом. Правда, эта любовь поддерживалась и его знанием французского языка.

Для порядка Виктор Платонович ворчал на французов — мол, меркантильные, расчётливые, эгоистичные, — но делал это мимоходом, не захлебываясь желчью.

Но было одно, с чем Виктор Платонович первое время ни в какую не мог согласиться.

С налогами!

С дурацким французским законом о добровольной сдаче в казну значительной части своих кровных денег. Боже упаси спросить, какие у француза доходы, — на тебя посмотрят как на неотёсанного марсианина, не знающего,

что шумно чесать, к примеру, под мышками за столом малоприлично.

Поразительная мелкотравчатость! Только о налогах везде и говорят, бесконечно насмешничали мы. Говорят все, даже самые интеллигентные люди, окружающие Некрасова. Утончённую писательскую натуру это очень огорчало — прошу вас не заикаться о налогах, капризно умолял он. Вика томился от таких разговоров, чувствуя себя слегка обманутым в лучших чувствах, подобно романтическому балетоману, обнаружившему вдруг, что прима-балерина да и весь кордебалет не чистят зубы. Взимание налогов казалось нам, бывшим советским подданным, унижительным фарсом и полным идиотизмом. Не укладывалось в голове, почему ты должен добровольно платить эти постылые поборы!

Сразу же приходила на ум незатейливая комбинация — не сообщать о полученных суммах в налоговое управление, ведь не могут же там знать всё и обо всех.

Прожив в Париже года три, Некрасов чуть обеспокоился и полюбопытствовал у французов, как ему вообще-то быть с налогами.

Ответ бесконечно обнадёжил писателя.

— Главное во Франции — это не торопиться с налогами! — сказал умный человек, новый друг, врач Витя Гашкель, многозначительно посмотрев в глаза.

Некрасов давно, между нами говоря, надеялся, что лично ему, преследуемому за убеждения писателю, какие-то поблажки с налогами будут. Не платить же прожорливому фиску чуть ли не треть от всех гонораров! Так что совет не торопиться он понял как однозначный намёк, что, мол, не будь глупцом и налогов не плати. А там видно будет! Виктор Платонович успокоился и о налогах как-то даже забыл.

Но поблаженствовать в забвении ему не позволили. Требования об обязательной и немедленной оплате налоговых долгов шли неумолимым потоком, а когда встревоженный В.П. показал все эти бумажки знающему человеку, тот схватился за голову.

Этим человеком оказался Михаил Васильев, юрист по образованию, наводящий ужас на французских бюрократов своей въедливостью и знанием законов. Но законы эти Миша уважал и старался внушить это чувство всем нам, эмигрантам. Не медля, с нижайшими извинениями надо писать покаянное письмо! И бежать оплатить все налоги, штрафы и пени. А то будет катастрофа, пригрозил Миша.

В течение нескольких лет Некрасов расплачивался за свою наивность, которая чуть не была принята за злостное уклонение от налогов. Единственно, чем смог помочь Миша, — это добиться разрешения выплаты набежавших долгов в рассрочку.

Эта история увенчана моралью и хеппи-эндом — Виктор Платонович Некрасов стал самым безотказным налогоплательщиком третьей волны...

## Улица Лабрюйер и окрестности

Чем могла прельстить Некрасова улица Лабрюйер? Чем очаровал этот девятый округ Парижа? Чем замечательно было жить возле площади Пигаль?

Шумное и голосистое, захламленное, бестолковое и балдёжное место.

Не протолкнуться от туристов, поток машин на улицах до трёх часов утра. Ни одного нормального магазина, всё какие-то лавчонки, кафе, обжорки, секс-шопы, бары размером с будку сапожника, с парой девочек.

В общем, шипучая и пенящаяся парижская жизнь, обольстительная для нас, залётных простаков и дурачин, но обрыдлая живущим в округе парижанам.

Некрасов же искренне считал, что это и есть тот самый старый Париж его мечты, что с квартирой необыкновенно повезло и что только невесёлые люди с ограниченным кругозором, которых принято называть филистерами, могут позволить себе постно оглядываться или ханжески ворочать нос.

Квартира рассчитана была на холостяка, малоденежного, но всё-таки могущего себе позволить столоваться в бистро или ресторанчиках по соседству. Так как кухня подходила разве что для узкоплечего карлика и позволяла лишь вскипятить воду на миниатюрной газовой плите, приготовление яичницы выросло в проблему.

Квартирный выбор прекрасно иллюстрировал парижские капризы Некрасова — мол, Галка, абсолютная мудачка, ничего не понимает, и в частности своего счастья жить в старом Париже.

— Сам такой! — возмущались мы с Милой, за глаза, конечно.

Надо же, выбрать такую халупу! Никакой это не старый Париж, ничего хорошего нет в этом грязном и трескучем квартале! И только такая бесхитростная душа, как Вика, мог клонуть на чуть ли самый клоачный район Парижа. Кто живёт там испокон веков, у кого иного выхода нет — пусть себе живут! Но чтоб поселиться здесь по собственной воле — это надо уметь!..

Полгода назад Некрасову была предложена парижской мэрией большая квартира, на самой южной кромке Парижа, на бульваре Брюн. Квартира оказалась двухэтажной, с антресолями, что-то вроде ателье художника, с высоченным потолком в главном помещении. Виктору Платоновичу она не

понравилась, слишком уж огромная, никакой мебели не напасёшься, оправдывался он потом. Да и на таких стенах ничего не будет заметно: ни рисунки, ни фотографии, ни картины, ни штучки-мучки. Нет-нет, это не подходит...

Господи, нет предела человеческой непрактичности, становимся мы с досадой и по сей день, проходя иногда мимо этого дома.

Дело, безусловно, было не в необъятности квартиры. Загвоздкой было то, что предлагались эти современные апартаменты в новом безликом доме, а не в постройке прошлого века на узенькой старой парижской улице. И отказался Виктор Платонович, как дитё малое и неразумное, прямо-таки от подарка небес!

А потом жалел, живя на улице Лабрюйер, в живописной квартирке с окнами на симпатичную улицу, но терявшую свой шарм, когда промчится по ней ревуший мотоцикл или воющая полицейская машина, а потом, через минуту, другой мотоцикл и ещё одна машина, и так до рассвета...

В один из первых наших парижских дней В.П. позвал прогуляться по округе, купить сигареты, газету, выпить, если захотим, кофе. Чего дома сидеть, время терять! Сходим ещё раз на нашу веселую пляс Пигаль, благо это в двух шагах.

Утром площадь, воспетая поэтами, живописцами, эротоманами, ночными гуляками и всеми путеводителями, выглядела блёкло, буднично и постыло. Захламлённые тротуары, кучи мешков с ночным мусором и набитые пустыми бутылками урны придавали ей гадостный вид. В кафе редкие трезвые посетители читали газеты. Девочек было раз два и обчёлся, да и выглядели они какими-то долгожительницами.

Ну и ну, переглянулись мы с Викой, вот тебе и Пигаль! Бывает повеселее...

Зато ночью пляс Пигаль содрогалась в неоновых вспышках, обольщала игривой бегущей рекламой, шумела непонятно откуда извергавшейся музыкой и орала противными гудками машин, осатаневших в постоянных уличных пробках. Особую пикантность этой суете придавали внезапные, прямо под ухом, придурочные вопли зазывал, без церемоний хватавших за руки хихикающих и отнекивающихся зевак у дверей каких-то заманчивых, как подсказывало воображение, злчных местечек.

В прилегающих улицах, улочках и тупичках таковых размещалась тьма-тьмущая. Крошечные полутёмные или с эротической, надо думать, подсветкой — то ли ночные бары, то ли микробардачки. Дверь полуоткрыта, пара столиков со скатертью и свечами, в глубине у стойки бара — две-три девицы наилегчайшего поведения, издалека необыкновенно притягательные. Публика, по русским понятиям абсолютно трезвая, оробело фланировала мимо этих манящих гнёздышек разврата, прикидывая, видимо, в уме финансовые возможности.

Между этими уютными притончиками несли вахту блудницы всех возрастов, рас и размеров. Некоторые были настоящим образом голы, другие чуть прикрыты, третьи, недотроги, стояли в строгих платьях, застегнутых на все пуговицы. На крохотных перекрестках шушукались и театрально жестикулировали проституты — нежнейшие мужчины в неправдоподобно узеньких брючонках.

Вдали — неоновый контур мельницы «Мулен Руж»...

И на каждом шагу секс-шопы, иные площадью с гастрономом, иные чуть больше вагонного туалета. Цепи, железные маски и оковы, немислимых размеров и конфигураций половые члены, модулируемые влагиалища с подогревом и поддувом, надувные куклы с алыми ротиками, кнуты, плети, багоги и какие-то шпицрутены...

Полки срамных книг, журналов, альбомов. Мириады кассет, с которыми ценители удаляются в частные кабинки для интимного просмотра. И всё в свободной продаже! Глаза пугливо разбегаются, а дыхание затрудняется.

Пойдём, проходите, зовёт Вика, вы не в Кривом Роге, чего стесняетесь!

— Когда меня впервые привели сюда парижане, — подбадривает он нас, — я тоже не знал, куда деваться от стыда, а сейчас всех приезжих буду водить...

Разве не удивительно, веселился он.

Удивительно, конечно, удивительно, пришибленно соглашались мы и торопились на улицу, в гущу провинциалов, жителей заморских территорий и бледнолицых туристов...

А завтра — дальнейшее приобщение к тонкостям столичной жизни. Порнография! Приятно наслышаны!

— Пойдите обязательно! — было приказано Викой. — Каждый культурный человек должен это знать!

Порнушный фильм в абсолютно пустом зале, конечно, оглушил новизной, но к концу как бы разочаровал и поднадоед своей ненатуральностью. Да-да, решили мы, впечатляет, но ниже среднего. Даже в долгие зимние вечера не слишком поразвлекаешься...

Вот и тем безликим утром мы с Виктором Платоновичем корчим недовольные рожи: бывает, дескать, веселее.

— Может, поедem прокатимся на метро? — придумал развлечение В.П. — Покажу тебе одну штуку!

Здесь же, на пляс Пигаль, спустились в метро. Через пару остановок поезд метро вылетает из-под земли и по эстакаде грохочет на уровне третьего этажа.

Я тарашусь во все глаза — всё ведь в диковинку.

— Мы выходим!

Шумная и неудобная площадь, серые дома, скопище чернокожего народа, красоты, скажем прямо, никакой. Фонари, как сталагмиты из голубинового помета.

— Знаешь, как называется эта станция? «Сталинград»! В честь битвы! — торжествующе сообщает В.П.

Я вежливо удивляюсь. Послonyaвшись, едем домой.

— Ты так и не уловил, Витька, — говорит Некрасов, глядя в окно. — Как мы едем? От «Сталинграда» до «Пигаль»! Вот совпадение... Я одно время хотел так назвать новую книжку — «От Сталинграда до Пигаль». Мол, еду по этой линии и вспоминаю жизнь... Но не решился! Звучит слегка ёрнически. А, как ты думаешь?

Звучит, конечно, хлётко, соглашаюсь я, но давать лишний повод для насмешек не стоит. Начнут всякие там советские бумагомараки злопахать, чего их дразнить лишний раз.

— Да я на это, в общем, положил! Главное, я и сам не хочу! Чего поминать всеу... — говорит Вика и молчит уже до самого дома...

## Французский без прононса

Встретив нас, Вика как мог старался подыскать нам приятелей-французов. Мол, чтобы мы практиковались в разговоре. Но из-за своего жалкого словаря и чудовищного произношения мы стеснялись вымолвить даже простейшую фразу по-французски. И если мы иногда осмеливались высказать подряд несколько слов, наши собеседники так напрягались, как будто старались вникнуть в третий секрет Фатимы. И после декламации продуманной, как нам казалось, фразы наступала унижительная пауза, после чего нас тихо переспрашивали: «Как вы сказали?»

И сколько из нас обиделись на Францию! Раздражала дикость местного населения — подавляющее большинство французов не знали даже приблизительно великого русского языка и чихали на своё невежество.

Нашей семье в эмиграции повезло, мы не прошли через все адские круги и муки. Мы приехали к родителям, нам сразу же помогли — морально и материально.

Некрасов устроил нас в благотворительный фонд для еврейских политических беженцев. Его шеф, с сумрачной фамилией Фауст, хотя рождён он был Адамом Райским, оказался участником Сопротивления и сердечным приятелем Виктора Платоновича. В фонде помогли советом и ободрили, дали денег на обзаведение, оплачивали транспорт, курсы французского...

Длинные, как полицейская дубинка, местные огурцы мы нарезали кружочками и подали гостям — угощайтесь!

Парижане, прежде чем съесть ломтик, долго орудуют ножом и вилкой, очищая кожицу. Некрасову приходилось постоянно уговаривать всех есть прямо так, это вкуснее! Но парижане не соглашались и пугали, мол, так никто огурцы не ест, можно отравиться. Мы дивились такому идиотизму.

Это ещё ничего, шутил наш новый друг Юра Филиппенко, а вот когда вам в буржуазном доме подают целый персик и вы обязаны очистить его от кожицы десертным ножом и вилкой, тогда вы обливаетесь одновременно и горячим, и холодным потом. Есть что потом вспомнить!

Но все эти огурцы и персики с кожицей просто ничто по сравнению с французским языком!

Некрасову было хорошо, он сразу же окунулся в русскую среду и уже не вылезал из неё, как говорится, до могилы. Наслаждаясь обществом, в котором все, и французы в том числе, говорили только по-русски. И совершенно не

терзался, что это препятствует совершенствованию французского языка. Он и так говорил по-французски, как мы поначалу думали, прекрасно, просто нам всем на зависть!

А наш Вадик ещё лучше, все им гордились — пойди купи хлеба и узнай, когда они закрываются на перерыв!

Примерно тогда же я с ужасом констатировал, что несколько часов ежедневных занятий на курсах французского языка дали огорчительные плоды. Все беды усугублял французский прононс, недоступный носоглотке и уху простого советского человека. Даже два-три слова подряд произносились с некоей мукой. Французам же никакая мука не помогала, чтобы понять эти слова. Я в панике кинулся заниматься дополнительно, дома.

Но где можно пристроиться?! Негде! Нет ни малейшего местечка или закутка!

Домочадцы постоянно толкутся друг у друга на голове, от вечерних гостей спасу нет, каждую минуту, как аврал на подлодке, громыхает телефонный звонок, а разговоры чётко прослушиваются из любого уголка нашего терема-теремка. Все без исключения родичи, каждый в своей комнате, громко переговариваются, даже если кто в уборной.

Выход нашёл Вика.

В нашем теснейшем, как средневековый каменный мешок, санузле он положил на ванну гладильную доску, установил настольную лампу и усадил меня на стульчак унитаза.

Самообразование длилось ночами. Виктор Платонович помогал как мог.

По телефону говорил только громким шёпотом, шипел на часто нарушавших шумовую дисциплину маму и Милу и осаживал гомонящих гостей.

Через пару месяцев я начал понимать написанное на вывесках и осмысленно читать крупные заголовки газет — это радовало.

В общем-то, мы постепенно опарижанивались, как говаривал В.П. Мы научились ходить боком, как крабы, не отрываясь от витрин, понимать магазинные этикетки и при малой нужде смело проходить в уборную в первом попавшемся кафе...

Французы оказались чудом!

Мы с Некрасовым таскали их за собой по хвостатым очередям в префектурах, тянули с собой в магазины, мэрии, школы и издательства. Заставляли обзванивать всех бюрократов, искать ключи к влиятельным персонам, писать ходатайства и быть нашими гарантами, выслушивая наши стенания или похвальбу. Даже сейчас, через тридцать пять лет, мы поражаемся, как наши милые французские приятели не послали нас тогда в заветное место, а терпеливо и безропотно, как с парализованной бабушкой, возились с нами, не пытаясь придумать хоть какие-нибудь благовидные отговорки...

У мамы появилась первая близкая подруга.

Галина Никитична, бывшая дягилевская балерина, жила по соседству и однажды, придя в мясную лавку, обнаружила привязанную к ручке двери скулящую собачку. Ты чья, заинтересовалась добрая старушка, а мясник ответил, что собачка по-французски не понимает, она русская, её забыла хозяйка и сейчас, вероятно, вернётся за ней.

Но Галина Никитична привела Джульку прямо к нам домой. Так и познакомились.

В первый день она страшно удивилась, когда мама спросила у неё, кто в Париже может вставить молнию мужу в штаны.

— Зачем вашему мужу молния в штанах? — поразилась она и тревожно уставилась на маму.

Старая эмигрантка, она не знала, что такое застёжка-молния.

Некрасов первое время долго беседовал с ней, расспрашивал о знаменитой балетной труппе Дягилева «Русский балет», о Нижинском и Фокине, Карсавиной, Слесивцевой...

— С Бакстом я была очень хорошо знакома, — мило улыбалась Галина Никитична, — а вот Бенуа был холоден со мной...

Вика очаровывался и выпрашивал подробности, приносил из кабинета книги и альбомы...

Переехав в Ванв, мама перезванивалась с ней всё реже и реже, и Галина Никитична как-то потихоньку, в неизвестности скончалась. Мы узнали об этом из третьих уст...

Приехали мы в Париж в конце апреля, и Вадик был устроен в школу, чтобы не болтался без дела и учил язык. Некрасов позвонил кому-то, и нам нашли школу на один месяц, мол, никаких особых документов там не спрашивают. Заведение было для детей арабских и португальских эмигрантов, хуже некуда, но тогда мы обрадовались счастливому выходу из затруднения.

И начал Вадик ездить в школу на автобусе до самого моста Пон-нёф.

Каждый день дядя Вика сопровождал и забирал внука. Относился он к этому поручению со всей серьёзностью. Перед школой они заходили в кафе, Вика пил кофе, а Вадика оплачивалась партия на игорном автомате, хотя малым детям играть запрещалось.

— Главное, обходить запреты! — весело поучал он Вадика, и тот охотно соглашался...

В первое лето нашей эмиграции во Франции разразилась свирепая засуха. Жара стояла невообразимая. А так как приезжие израильтяне внушили Миле, что если на улице жарко, надо закрывать окна и задёргивать занавески на окнах, мы обливались потом в плотном полумраке.

Для Вадика начались первые школьные каникулы. Ему надо куда-то поехать, не оставаться же всё лето в вонючем Париже, суетилась по телефону бабушка.

Вадик был отправлен в русский скаутский лагерь, к «Соколам». Добрые люди из первой эмиграции сказали Некрасову, что там очень интересно. Дети, мол, ходят в походы, вечерами разводят костры, а по утрам разучивают молитвы.

Отправлялся он в скаутскую неизвестность скромно, за ним просто заехали домой, но встречали через месяц с помпой, всей семьёй. На вокзале Виктор Платонович насмешливо поинтересовался, как обстоят дела с молитвами.

— Ничего не выучил! Времени не было! — иронично улыбнулся Вадик.

Хотя они часто и протяжно пели «Фольксваген наш Господь в Сионе», добавил он. «Коль славен» для Вадика было слишком заумно.

Кроме того, сын наш в лагере обовшивел!

Панику в семье в корне подавили знающие люди. Не волнуйтесь, успокоили, все дети летом привозят домой вшей. Это милые, безобидные вши, идите в аптеку и купите брызгалку.

После войны бабушка, мечтательно вспоминал я, тщательно вычёсывала из моих волос гнид. Частым, из белого рога гребешком. Вши падали на расстеленную на столе газету...

Вика поддержал меня и рассказал жуткую историю о смерти от тифа их соседского мальчика во время Гражданской войны.

— Мальчика звали Нолик, — скорбно уточнил он.

И пошёл в аптеку за средством для изведения вшей.

Начали подумывать о работе для Милы.

Галина Никитична увидела в какой-то витрине подходящее приглашение на работу. Подходящим оно ей показалось

потому, что работа не требовала ни знания французского, ни особых навыков — надо было красить шелковые платки. С восьми утра, работа сделанная. Одевшись понаряднее и наведя обольстительный марафет, Мила потянула с собой Вика как переводчика.

Трудоустройство увенчалось фиаско. Хозяйка, увидев красавицу Милу, в новом платье и туфлях на головокружительной высоты шпильках, с улыбкой поинтересовалась, какая у неё профессия. Инженер-электрик, ответила простушка Мила. Некрасов попытался было расхвалить деловые качества своей невестки, но хозяйка шуточно всплеснула руками. Она не позволит, чтобы такая образованная красотка губила свою жизнь в красильном цехе!

— Поверьте, дорогая, вы не то, что я ищу!

Очень гордый этим отказом, Виктор Платонович оповестил о событии весь интеллектуальный Париж.

Первый парижский день рождения Милы решили отгрохать на славу и устроить полноводный праздник, хотя на вечер были приглашены всего лишь малочисленные знакомые, оставшиеся на лето в Париже.

Гвоздём должен был стать роскошный подарок.

— Пошли, Милка, купим тебе что-нибудь! Любое желание, без купеческих замашек, естественно! — торжественно сообщил Вика после утреннего кофе.

Девичьей скромностью желание не отличалось. Мила захотела туфли, настоящие, иными словами, дорогие.

Через дорогу был обувной магазинчик, хозяйка принесла коробки, и началась примерка.

Виктор Платонович искренне считал, что чем быстрее делается покупка, тем она удачнее. Поэтому когда Мила примерила вторую пару и в раздумье промолвила, что эти вроде ничего, он схватил туфли и полез за деньгами.

— Покупаем! Бери! Пошли отсюда!

Опешившая от такой прыти хозяйка сделала даже книксен, а Мила опомнилась уже на улице, прижимая к груди роскошные туфли.

— Ну, как! — ликовал В.П. — Как мы это провернули! Это тебе и есть Париж! Захотела и купила, раз-два, и всё!

И только дома Мила с ужасом осознала, какого маху дала. Ведь за эти деньги можно было примерить десятки пар в шикарнейших магазинах Парижа! А тут таинство приобретения роскошной обуви свелось к бездушной сделке купли-продажи! Мила чуть не заплакала от досады.

Виктор Платонович долго ещё похвалялся своим умением ходить в магазины, а Мила до сих пор, спустя тридцать пять лет, вспоминая, вздыхает: боже, какая она была дура...

Мы долго ничего не понимали в ценах и со страшным скрипом постигали каждодневную житейскую мудрость, как себя вести в самых обычных ситуациях. На Некрасова рассчитывать не приходилось. Он сам страдал от бытового невежества.

И некому было подсказать — все его знакомые были интеллектуалы и зажиточные буржуа. Которые и не думали, что выгодно купить здесь, а что покупать не следует, лучше в другом месте. А чтобы посоветовать, где купить табуретку, обои или кухонную занавеску, и речи не было — просто близко никто не знал!..

К первым потрясениям высшего порядка прибавлялась хозяйственная сердечная боль при виде выставляемых каждое утро на улицу, на выброс, дощечек, планок, досок, реек, плиток. После ремонта ли, переезда либо просто после очистки подвалов и кладовок. На Украине всему этому не только не было цены, такое просто не могло даже привидеться в сладчайших сновидениях. И здесь всё хотелось унести домой!

Мы с Виктором Платоновичем так и делали, за несколько месяцев накопив чудовищные запасы этих поделочных материалов в забитых под потолок подвалах. И только через пяток лет я собрался с духом и, в свою очередь, начал выбрасывать грудами эти прекрасные предметы, роняя слёзы сожаления.

А сколько мы потратили времени на то, чтобы понять, что в случае срочной необходимости вызывают здесь не скорую, а пожарных. Они приезжают быстрее и не требуют платы за визит.

Сколько раз нам повторяли, что нельзя бросать в мусоропровод бутылки, грохот может побеспокоить соседей!

Что надо везде всем говорить «мерси!» по любому поводу. И без повода тоже.

Что принято улыбаться в ответ на улыбку кассирши в винном отделе — это казалось нам просто издевательством над здравым смыслом! Или приносить «пардон» соседу, разминаясь с ним на лестничной клетке, даже уступая дорогу.

Что в витрины не следует уставляться, как корова на проходящий поезд, а надо принимать как бы рассеянный вид, мол, случайно заинтересовался каким-то пуствяком.

На наших курсах французского языка «Альянс Франсез» мы с Милой впервые увидели живого Леонида Плюща, киевского диссидента. Некрасов несколько раз выступал во Франции в его защиту.

Всего лишь десяток дней назад Виктор Платонович возбуждённо объявил, что Лёню не только выпустили из психушки, но и выпроводили во Францию! Плюща встречали его заочные друзья-математики и бесчисленные марксисты. Дело в том, что Лёня упорно подчёркивал, непонятно для всех почему, что он убеждённый марксист и желает защищать это благородное учение. При этом он противник со-

ветской власти, что страшно нравилось салонным парижским левакам. Диссидент и марксист — они смотрели на него с нежным любопытством, как на пятиногого ягнёнка.

Из киевских разговоров полушёпотом мы бессчётное число раз слышали о Плюще от его жены Тани и от Некрасова.

Таня в последний год часто приходила к нам, в киевский Пассаж, иногда болтала на кухне за чаем, а потом закрывалась с В.П. у него в кабинете. Выходили на балкон, она советовалась с ним и выговаривала накопившееся на душе. Подробно рассказывала о своих поездках в закрытую психушку в Днепропетровск, куда упрятали Лёню. Он там страдал от унижения и зверских уколов, а Таня на воле писала бесконечные прошения в Москву, наивно считая, что только там могут приструнить украинских самодуrow...

У приехавшего в Париж Плюща был очень усталый вид, видимо, сильно ослаб после страшных лекарственных пыток, а пришел он в себя, кажется, только через несколько месяцев.

И начал участвовать в политической жизни!

Растерянный Вика вышел из кабинета и показал мне только полученное письмо. Лёня Плющ, киевлянин и его как бы подзащитный, отчитывал Некрасова и запрещал называть его своим другом!

Что это вы, господин Некрасов, писал Лёня, лезете в друзья и трубите на всех перекрёстках о дружбе. Никакой я вам не друг и не единомышленник и прошу моё имя в целях личной рекламы не употреблять! После всех тех высказываний, которые Некрасов допустил в Канаде в отношении украинцев, он не хочет, дескать, иметь с ним ничего общего.

Вика, бедный, аж прозяб от такой обиды.

— Какая мне от него реклама? — растерянно смотрел он на меня.

— Да не огорчайтесь вы так! — заволновался я. — Большое дело! Возомнил вдруг Лёня! Как же, на его вельможное имя посягают москали!

Поміритесь, даст бог, успокоил я, если он умный человек, а если нет — так вы, можно надеяться, не зачехнете в разлуке!

Попозже Некрасов с Плющом таки помирились, но память о пробежавшей между ними кошке не способствовала тёплому дружескому общению. Хотя они вполне лояльно встречались на «Радио Свобода», вместе участвовали в демонстрации в поддержку польской «Солидарности». Там я их даже сфотографировал...

Мы приехали в Париж вскоре после того, как Некрасову была сделана повторная операция по удалению катетера. Его установили после основной операции.

В мае 1975 года у Виктора Платоновича заболела спина.

Он крепился, как всегда никому не жаловался, лежал на диване. Сам поставил себе диагноз — болела старая рана в верхней части бедра. Такое случилось с ним впервые, но другого объяснения не было. Боль была сильной, а когда становилась просто нестерпимой, он наполнял ванну горячей водой и часами сидел в ней.

Именно эта процедура приведёт потом в ужас врачей — при перитоните ни в коем случае нельзя париться! А это был-таки перитонит, возникший из-за необъяснимого абсцесса на почке...

И по нашей русской идиотской привычке обращаться к врачу не принято при первой непонятной боли — глядишь, всё пройдёт само собой, подождём, обойдётся как-нибудь...

Конечно, не обошлось!

В парижской больнице «Амбураз Паре» ему были сделаны подряд две сложнейшие операции, а затем и третья. Даже врачи ни на что не надеялись. Некрасов не умер чудом,

непонятно, как выжил. О его случае даже было сделано научное сообщение на каком-то медицинском конгрессе!

Андрей Синявский, заклиная рок, написал во время болезни некролог. И помогло! Вика выкарабкался! Автограф-талисман был подарен Некрасову после выздоровления...

Выписавшись, В.П. отлёживался в садике дома Эткиндов, в парижском пригороде Сюрене. Приятное лежбище, как говорил он, нарушаемое угрызениями совести. Врачи велели делать гимнастику и плавать в бассейне. Но, шутил Вика, лень оказалась непобедимой, как Красная Армия.

Назло врачам и перепуганным домочадцам Некрасов слез с кровати и вышел на улицу, посидеть на лавочке возле дома.

Профессор-хирург Жан-Мари Идас встретил В.П. с улыбкой — простите, мсье Некрасов, мы ошиблись с диагнозом, вам придётся ещё пожить несколько лет! Вы — человек-загадка! Потом, правда, уже серьёзно сказал, что надо будет делать ещё одну операцию, удалять последствия первой...

Во время сладкого безделья в садике у душевного Фимы Эткинда попалась Вике на глаза скандальная газетёнка-шавка «Иси Пари» (что означает примерно «Говорит Париж»). Наш писатель прочёл пару номеров и обомлел — статейки короткие, всё понятно написано, поливают грязью всех подряд! Или, для разнообразия, мажут дерьмом. Это было так внове, интересно необыкновенно! А эти учёные и по-скучному воспитанные французы и не подозревают, что у них под боком пульсирует такой гейзер свободы слова!

Блестящий повод подчеркнуть свою независимость в глазах записных парижских ханжей и добропорядочных интеллектуалов, решил В.П. Выставить себя таким сорванцом, ни в грош не ставившим мелкобуржуазные моральные устои.

Не столько он, по правде говоря, зачитывался этой газеткой, сколько начал трубить об этом во всех статьях и интер-

вью. Будучи уверенным, что это не тривиально, что ли. Близкие ему французы открыто не возражали, шутливо осуждали, хотя многие и понимали, что это всего лишь бравада.

Через несколько лет левацкая пресса, всегда постно воспринимавшая все эти истории с инакомыслящим, всерьёз припомнит ему его наивные фортели.

## Майя, Мария, Машка

В Цюрихе прилетевших из Киева Некрасовых поджидала Мария Васильевна Синявская, которая в начале их знакомства звалась Майей.

В знак добрых чувств вручила симпатичный презент — карманный атлас Парижа. С душевным автографом мужа, знаменитого диссидента: «Дорогому Виктору Платоновичу Некрасову — с приездом в наш Вольный Город. Андрей Синявский. 12.9.1974».

Ироничная, чрезвычайно разговорчивая и чудовищно энергичная Майя очень понравилась Некрасову. В мгновение ока ему были рассказаны не только все парижские, но и планетарные эмигрантские новости, слухи и побасенки. Патетически продекламирована масса наставлений и жизненных правил. Объявлено её личное участие в хлопотах о визе во Францию.

Обуянный симпатией к этой привлекательной особе, Вика с места в карьер решил называть её Машкой, что означало признание своей. Она обрадовалась. Машка, сказала, подходит. Но в литературном мире, заметила полушутливо, она известна как Мария Розанова.

И выждав немного для приличия, заговорила о Солженицыне, посвятив опешившего слегка Вику в бесхитростную, но важную интригу. По-свойски открыв глаза при-

ехавшему из заштатного Киева, сообщила, что автор «Архипелага ГУЛАГ» на самом деле патентованный мракобес, циничный эгоист и дикий склочник. И знаться с ним здесь как-то неприлично, горячилась она, даже противоестественно! Людям тонким и интеллигентным это не к лицу! На Западе все уважаемые граждане, левого, естественно, толка, сразу раскусили реакционера и открестились от него!

Было ясно, что по какой-то глухой и скрытой причине жизненное благополучие Майи прямо связано с тем, как скоро все эмигранты возненавидят Солженицына.

Виктор Платонович подивился такому обороту. Для него Александр Исаевич бесспорно входил в когорту богоподобных наряду с Хемингуэем, Булгаковым и Твардовским. Майе было твёрдо обещано, что во Франции Некрасовы останутся у них, в пустынном трёхэтажном доме в городке Фонтенэ-о-Роз под Парижем. Майя уехала, очень кстати забрав с собой самые тяжёлые чемоданы и Джульку, чем сильно облегчила жизнь...

А наши тем временем навестили в Лозанне дядю Колю, совершившего благое деяние с вызовом в Швейцарию. Известнейшего геолога, награждённого за свои труды орденом Почетного легиона. Старик у было крепко за восемьдесят, он одиноко доживал век в небольшой квартире, уставленной книгами.

Из письма ко мне от 16 сентября 1974: «...дядя Коля. Прелесть! Очаровательнейший из всех мудаков, которых я встречал в жизни. Маленький, сухонький, абсолютно неутомимый... с внешностью Эйнштейна и бровями невиданной густоты, но не скрывающими милых, добрых глаз... С деньгами у него таки-да туговато... Прижимист. Но не скуп. Вернее (увы) — не жаден. Насколько я понял, всякие его заказчики обводят его вокруг пальца. А он не из торгующихся...» В общем, туманные, ласкающие слухи о дядюшки-

ном богатстве оказались всецело дутыми. Что нас огорчило, наверное, больше, чем Некрасова.

Просторнейший дом Синявских в Фонтене-о-Роз напомнил Некрасову достопамятную московскую квартиру Лунгиных. Трехэтажная коммуналка, обрадованно заключил В.П.

Сразу бросился писать мне письмо.

«Очень хорошие наши хозяева. И жутко разные. Она — утомительно деятельная, он — тихий, спокойный, несуетливый и удивительно располагающий. В доме полный бардак».

Комнат не счесть. Столько же коридоров и переходов. Лестниц ещё больше. Пропасть тупичков и укромных местечек. На каждом шагу ванны и туалеты, в том числе и действующие. Мебель самая необходимая, в большинстве своём непокупная. Уборка дома делается лишь при крайней необходимости. Гора невымытой посуды в кухонной раковине, в передней — прорва распарованной обуви, везде кипы бумаг. Куда ни глянь — иконы шестнадцатого века. Громадные древнерусские фолианты и инкунабулы аккуратно лежат на полках.

В фотоальбоме 1974 года — надписи под фотографиями: «Первое убежище — Синявские...» «Приветливая, доброжелательная хозяйка!» И тут же коллажик — на открытке с библинкой Бабой-ягой в деревянной ступе вместо головы старухи приклеено лицо Марьи...

Некрасов предложил было накормить золотых рыбок в маленьком, размером с лоханку, бассейне перед домом, но получил взбучку — эти деликатные твари могли умереть от излишка корма. Собакам же смерть от переедания не грозила. Все начиналось вот с таких мельчайших песчинок...

«Пишу письма и читаю Набокова!» — сообщал нам Некрасов.

Повидались они с Владимиром Набоковым в Женеве, когда после долгих переговоров Некрасов был допущен

к знаменитости. До этого капризуля Набоков не принял опоздавшего на встречу Солженицына.

— У меня время рассчитано до мелочей! — заявил знаменитый писатель, хотя делать ему, откровенно говоря, было абсолютно нечего.

Разговор с Некрасовым занял минут десять, считая паузы со вздохами и причмокиваниями. О чём говорили, Вика начисто забыл. В дальнейшем при случае и как бы невзначай ронял: да-да, мы с Набоковым встречались. Для нас не было секретом, что о существовании писателя Набокова он узнал лишь незадолго до отъезда из Союза. А прочитав его, испытал более чем легкое разочарование.

Из письма ко мне от 14 июня 1974 года:

«...Совсем отупев, возвращаюсь домой и, умяв творог со сметаной, предаюсь лёгкой дрёме. Очнувшись, начинаю борьбу с набоковским “Даром”. Все в восторге, а я мучительно продираюсь сквозь дебри литературного кокетства. Сам себя назвал “Искателем словесных приключений”. Холодный, как собачий нос, изысканный сноб, истекающий ностальгией по вещам и блистательно описанной прочей фуйни. Действия никакого. Лишь на 200 (!) странице намечается роман. У\*бёт ли, сомневаюсь...»

Первые серьёзные стычки с Синявской произошли через несколько недель.

Амикошонские покрикивания и командирский норов Марии Васильевны, на правах желающей добра опекуниши, нисколько не злоупотреблявшей волшебным и просто добрым словом, поддерживали в доме постоянную боязнь быть обтяжканным и затюканным кстати и некстати.

Удручённая бедламом на кухне, мама попыталась было разобраться с невытой посудой. В том смысле, что после еды тарелки хорошо бы вымыть. Оскорбительный намёк!

М.В. гаркнула: не лезь, куда не просят, нужная посуда моется лишь перед самой едой. Мама пришибленно сжалась, уселась «на краешке стула», со слезами на глазах.

— Ты, Машка, парижский вариант Салтычихи! — не выдержал В.П.

Обмен колкостями мгновенно перерос в добротную кухонную склоку, с вопежом и грохотом кастрюль, но вскоре воцарилось видимое замирение.

С самого начала дело осложнялось тем, что в Париже мама была прикована к дому из-за слабого зрения и безъязычия. Не в пример Швейцарии, где ею занимались предупредительные и деликатные люди. Гостеприимная и тонкая хозяйка на званых домашних вечерах и литературных посиделках, Мария Синявская в повседневной жизни была беспардонна и своенравна. Окружающие маялись от опеки и поучений, но вынуждены были приспособливаться. Мама робко помогала по дому, но у неё всё валилось из рук, всё выходило не так, и она страшно стеснялась своей беспомощности. И никак не могла угодить строгой хозяйке. Всё чаще и чаще Виктор Платонович должен был встречать в ссору и приструнивать Марию. Это помогало, но лишь до следующей стычки.

Как бы извиняясь, Некрасов писал мне:

«Увы, приспособливаться мать не умеет. К тому же две женщины в одном доме — не лучший из вариантов. А наша милая Майя любит и поучать, и поменторствовать, и покомандовать, чего ни мать, ни особенно я не любим. Были и вспышки, и обиды, и повышение голосов (не материнского, конечно, — с чужими у неё не получается)».

Но зато получалось на славу со своими. Нервы сдавали у обоих, переругивались уже не скрываясь, выход был один — съезжать как можно быстрее!

Но быстрее пока не получалось, подходящую квартиру так сразу не найдёшь...

Виктор Платонович не раз говорил мне, что на остывание его приязни к Синявским очень повлияло безжалостное отношение М.В. к маме.

Некрасов, слегка озверевший от сволочного нрава «Машки», принял сторону жены...

А пока суд да дело, В.П. обустроил в своей комнате рабочий закуточек — развесил фотографии, пару картинок, мама пришила над его раскладушкой рисунок Вадика. Вроде всё становится на свои места, но где покой, где диван, хочется, стонет в письмах Некрасов, подремать как часовой на посту! К тому же Синявские беззаветно пашут на общественно-литературной ниве, не давая покоя и своему гостю.

Бесконечные визиты, randevу, чашки чая с печеньем. Нужные люди, важные персоны, крупные персонажи, избалованные модные журналисты... В.П. похныкивает в письме: «Меня Майя — ох и деловита! — одолевает тоже всякими делами. То с тем встретиться, то с теми. Нужно! И таки да, нужно. А где же полежать? И когда?»

Иной раз приезжал с гитарой Галич, засиживались допоздна, предавались трёпу, в общем, как в Москве, на кухне у незабвенных Лунгиных. Только ещё более суматошно, многолюдно и галдёжно...

Наконец к Новому году мама и Виктор Платонович переехали в загородный дом их новой знакомой, милой и весёлой Вити Эссель.

По-буржуазному благовоспитанная и чистенькая деревушка Марлотт в лесу под Фонтенбло умилила Некрасова. Дом впечатлял абсолютной тишиной, изысканным порядком и камином. Некрасов тут же отвёл душу и оборудовал свой уголок над письменным столом: рисунок брата Коли, шарж на Симу Лунгина, фотография с Валегой. Своего фронтового ординарца Валегу он романтически почитал и с радост-

ной нежностью описал его в «Окопах». В жизни же его звали Михаил Волегов и жил он на Алтае. За несколько лет до отъезда Некрасов съездил к нему в гости, вместе с актёром Юрием Соловьевым, сыгравшим роль Валеги в кинофильме «Солдаты». И сама встреча, и трехдневное безвылазное застолье оставили у писателя наиболее приятнейшие воспоминания.

Наслаждение покоем. Пишутся дополнения к киевским «Городским прогулкам», теперь переименованным в «Записки зеваки».

Частенько заезжает Анжела Роговская, бывшая киевлянка, лёгкая на подъём и неунывающая женщина, до нашего приезда безотказная некрасовская машинистка. Первым делом она везёт их в Версаль и Фонтенбло, вторым делом — сопровождает в парк Монсури. Рядом с этим парком Некрасовы поселились сразу по приезду после рождения Вики в Киеве, и прожили здесь до самой революции. Сейчас все погуляли возле пруда, посетили туристами площади Муфтар в Латинском квартале, Эйфелеву башню, Бобур...

Новый год с ёлочкой, свечками и бенгальскими огнями. Непрерывно разжигается камин. Сырые, пустынные улочки в Марлотт, по которым так приятно прогуливаться с Джулькой...

## «Континент» и «Синтаксис»

Под Новый год Степан Татищев привёз в подарок Вике в Марлотт советскую офицерскую шапку. Любезный Стёпа, старый знакомый!

...Ранняя весна 1974 года. Граф Татищев сидит на киевской кухне и ест оладьи. Ему они больше нравились с ва-

реньем, Вика же налегает на сметану и сахар. Беспардонно впериw взгляд в сиятельного визитёра, я выкушиваю экзотический нектар, привезённый гостем, — растворимый кофе.

Культурный атташе Франции в СССР Степан Татищев специально приехал в Киев, чтобы навестить и ободрить травимого властями писателя, киевского инакомыслящего, как писали иностранные корреспонденты. Он привёз пачку журналов «Пари матч», любимых Викой за шикарные иллюстрации и сжатый объяснительный текст.

Незаметно передал конвертик с валютой, пояснил — за публикации во французской прессе. Маме подарил парижские духи.

Был Степан строен, тонкорук, красив и приятен в манерах. Под явно парижским пиджаком был серенький свитерок. Говорил мягко, фотогенично улыбался, ел не спеша и нож держал элегантно, как смычок скрипки...

Разговор шёл о киевских делах, Некрасов рассказывал об исключении из партии. Степан не отрываясь слушал, не слишком, видимо, улавливая всю эту историю с партбилетом, бюро райкома, писательским членством.

Они перешли в кабинет, и там В.П. долго говорил о Славике Глузмани, о суде над ним. Получил парень семь лет лагерей, подумать только! И Ваню Дзюбу замучили, заставили обвинить самого себя, опять разволновался Некрасов, довели до больницы. Одного из редких честных людей в Киеве!

Вконец потерявшийся во всех этих жутких историях, Степан начал прощаться, поцеловал руку маме и оробевшей от смущения Миле, откланялся с милейшей улыбкой.

А через пару лет, уже в Париже, я уже лично убедился, что граф Степан Татищев был чудесный человек, учтивый друг и любитель устраивать у себя эмигрантские суаре.

На эти вечера набивалось бесчётно разношёрстных гостей, главным образом из нашей третьей волны. Все старались не ударить лицом в грязь, вели себя, как могли, по-светски, не орали и водку пили изо всех сил в меру. Если матерились, то вполголоса. Хозяин надевал шёлковую косоворотку и подпоясывался тонким кавказским наборным ремешком. Анна, его супруга, в нарядной русской шали, благодушно улыбалась и обносила присутствующих пирожками, солёной и солёными огурцами, считавшимися во Франции как бы колониальным товаром.

В середине вечера приходили по-соседски Синявские, садились скромно за столик в уголочке, кивали знакомым.

Степан обходил всех гостей, любопытствовал, свежа ли водка и достаточно ли закуски, чокался, шутил, смеялся вместе с рассказчиком над анекдотом, одаривал улыбками и говорил женщинам комплименты. Женщины сладчайше улыбались, иные грозили пальчиком, другие с оттяжкой хлопали графа ладонью по спине.

Веселье набирало обороты, многих тянуло потосковать по утраченному прошлому, давайте споёмте, господа, порадуем хозяев! Господа на призыв не откликнулись, но две-три госпожи затягивали всё-таки какую-то кручинушку. Выли они с такой тоской, что остальным становилось не по себе. Приехавшая как-то погостить красивая и не прочь выпить бразильянка не на шутку расстроилась. Вот у нас в Бразилии, задумчиво сказала она по-русски, люди пьют, а потом поют и танцуют! А вы, русские, какие-то странные: напьётесь водки и воете, как волки!..

С Андреем и Марией Синявскими теперь встречался Некрасов нечасто, разве что на «Радио Свобода» или в редакции «Континента», у Владимира Максимова.

К тому времени главный редактор журнала Максимов уже предложил Некрасову стать его заместителем. Синяв-

ский тоже сотрудничал с журналом, но примерно через год, подзуживаемый, как считал Вика, женой, ушёл, в который раз повздорив с Максимовым. Сначала продолжал скромненько печататься, а окончательно хлопнул дверью, кажется, ещё через год.

В пику отъявленному антисоветскому, да к тому же косному и недостаточно когнитивному, как они считали, «Континенту» супруги Синявские организовали свой небольшой журнал «Синтаксис». Провозгласив его либеральным и, само собой разумеется, прогрессивным. Прогрессивность заключалась главным образом в охаивании Солженицына и Максимова, а либерализм проявлялся в модном тогда плюрализме: милости просим к нам всех авторов доброй воли, отвергнутых зловещим «Континентом».

Кстати, никогда не печатаясь в «Синтаксисе», Некрасов читал этот журнал с удовольствием, кое-что и нахваливал, советовал мне почитать. Как-то прихвастнул, что в «Синтаксисе» № 1 за 1978 год на последней странице напечатано: «Журнал “Синтаксис” благодарит за материальную поддержку Юлию Вишневскую и Виктора Некрасова».

Так и жили...

Снова я увидел её, Марию Розанову, спустя почти три десятилетия в парижском доме добрейшей Тани Максимовой, вдовы Владимира Емельяновича.

В окружении внимающих собеседников, в сторонке от общего стола благостно сидела Мария Васильевна. С чуть печальной улыбкой, с виду этакая матушка-гусыня — в круглых очках, в русском платке крест-накрест, с уже совсем седой причёской... Интеллигентная пожилая женщина.

Из-за спин гостей, исподтишка глазел я на неё, бывшего полудруга Некрасова.

Разве скажешь, что это та самая «Машка» Синявская — едкая журналистка и одарённый литератор, прославленная

интриганка, беспощадная к безответным и нетерпимая к перчившим, отменный агент влияния. Нет, не скажешь, да и другим не поверишь...

Сам Андрей Донатович Синявский, знаменитый даже во Франции писатель, профессор Сорбонны, диссидентский патриарх, в те годы в споры и публичные склоки не вступал, писал повести и романы, иногда публикуя в «Синтаксисе» статью, реплику, памфлетик. Подписывал открытые письма, составленные женой или другими носителями передовых идей. Собственноручно клеймил редко, не злобствовал на людях, вёл жизнь книжника, с виду тихую.

Когда-то, видя, как расстроился Владимир Максимов, прочитав очередную чернуху о себе и «Континенте», я слегка удивился. Мол, чего это Синявский не приструнит жену.

— Да он сам такой! — ожесточённо ответил Максимов. — Вы думаете, Виктор, что если бы он был не согласен, она бы написала? Конечно, всё с его согласия!

Что тут возразишь?

Естественно, Синявский был в курсе её дел, молча одобрял и, может, не активно, но исподволь направлял её гнев. Хотя ей и самой, как шутил Некрасов, палец в рот не клади.

## Книги от Аниты

Подошло время ехать за книгами к Аните.

Так вся парижская третьеволновая эмиграция, чуть бравируя фамильярностью, называла Анну Анатольевну Рутченко.

Видная, со сдержанными манерами женщина, она казалась чуть загадочной. Проявляя приветливый интерес к посетителям, была не склонна к панибратству. Но Некрасова любила, и он это отношение ценил.

А была Анита директором заманчивого и уникального в Париже учреждения — книжного распределителя. Всё, что издавалось в Америке и Европе на русском языке, попадало во многих экземплярах к Аните.

Оттуда книги должны были отправляться в Союз. По разным каналам, но в основном с туристами и командированными. Серьёзные надежды возлагались и на помощь новых эмигрантов. Считалось, что они знают секретные ходы и выходы и могут подключить особо доверенных людей к перевозке литературы через советскую границу.

Могучая ядерная держава испытывала утробный ужас перед зарубежными печатными изделиями, перед подрывающей незыблемые устои антисоветской литературой и наказывала возможных читателей каторжными сроками. Поэтому редкие перевозчики книг сильно рисковали, и найти бесшабашных добровольцев было непросто. Гораздо чаще литературу перевозили французы, не осознававшие опасности. То совсем юнцы, то студенты, то отцы семейств, из любви к романтике или чувства долга перед принципами свободы, равенства и братства.

Контора Аниты располагалась в самом центре Парижа, недалеко от сада Тюильри. Непримечательный дом на боковой улочке возле рынка. В подвальном этаже находился рыбный склад, и посему в подъезде стоял неистребимый и тошнотворный запах рыбы. Нажав кнопку потайного звонка и сообщив о себе в микрофон, посетители, стараясь не дышать, проходили по нескольким кривым коридорам и попадали в книжный рай.

В двух небольших комнатах стояли заставленные книгами стеллажи. На полу в прихожей громоздились не распакованные ещё коробки, тоже с книгами. Это были запрещённые в Союзе книги классиков и светил эмигрантской лите-

ратуры, великих писателей, диссидентов, перебежчиков, философов, публицистов, историков. О которых мы, бывшие советские люди, в лучшем случае смутно слышали самым что ни на есть краем уха... При виде этого богатства у книжников щемило сердечко и потело темечко.

Анна Анатольевна отводила Некрасова в сторонку, конфиденциально беседовала, мило смеялась, а я принимался отбирать книги. Первое время брал всё подряд, в двух-трёх экземплярах, не обращая внимания на неподъёмный вес громадных стопок — главное, исхитриться допереть на руках всё это богатство до машины. Через пару лет такая процедура происходила уже гораздо степеннее, с большим разбором, со знанием дела — откладывались лишь книги по-настоящему интересные. Да и дома уже не хватало места для всего этого великолепия, хотя при первой же оказии в Союз Некрасов обременял едущих увесистыми стопками.

А через месяц-другой звонил Виктор Платонович и снова как бы обречённо говорил:

— Пора съездить к Аните. Как ты?

Я бросал дела, и мы, предвкушая и чуть волнуясь, вновь пробирались по мерзостно пахнущим лестницам в царство Аниты...

До пересадки на площади Согласия оставалось ещё пятнадцать минут, и Виктор Платонович приступил к рассказу о своей поездке в Германию. Следя, как всегда, за моей реакцией.

Вернулся он то ли с конференции, то ли с семинара — эмигрантского шабаша, как тогда шутили. Съехались туда братья по перу и сёстры по чернильнице со всей Европы по приглашению немецкого университета. Как всегда в таких случаях, дорога, жильё и пропитание оплачивались, поэтому от приглашения мало кто отказался, собралась добрая компания.

Говорили кто о чём. Многие надолго задерживались на своей заметной роли в литературе, другие, посдержаннее, просто делились соображениями, как улучшить мир.

Пришёл черёд и Некрасова. Как всегда, выступал он как бог на душу положит, заранее не подготовившись. Заговорил почему-то о довоенном времени, о неясном предчувствии войны, о благоговении перед интернациональными бригадами в Испании, о статьях Михаила Кольцова, о всех процессах над коварными врагами народа. Удивительно, говорил Вика, мы жили, любили, учились и не представляли даже, что в это время на этапах и в лагерях гибнут миллионы наших людей. Мы были беспечны и не кручинились, мы были молоды!

Здесь Мария Синявская прервала его с места, без особых церемоний, как бы по-приятельски. — Да ты и не хотел этого тогда знать! — громко сказала она. — Вы плевали на это, веселились у себя в Киеве! А у нас в Москве еженощно тысячами расстреливали!

— Нет, нет! — с удивлением запротестовал В.П. — Мы действительно ничего не знали, это же наша молодость!

— Да какая молодость! — вдруг окрысилась М.В. — Что ты морочишь нам голову молодостью, тебе тогда было уже под тридцать! Ничего себе молодость! Обязаны были знать! Вы все повинны в расстрелах — и кто не знал, и кто не желал знать!

Её урезонивали, а она, раскрасневшаяся, гордо оглядывала эмигрантскую аудиторию...

Ты понимаешь, говорил В.П., из-за шума метро наклонившись близко и глядя мне в глаза, я опешил от такого нахрапа. Чего она вдруг взъерепенилась! Сколько раз говорилось о тех временах у них дома, с Андреем. Никогда ничего подобного она не несла! А тут, вот те раз, обвинила в пособничестве! Что бы она сказала, если бы я начал попрекать её за молчание во время травли Ахматовой и Зощенко?

Конечно, студент Киевского строительного института Вика Некрасов не знал ни о сплошной коллективизации, ни о страшном голоде на Украине. В газетах об этом не писали, по радио не говорили, из Киева он никуда не ездил. Откуда можно было знать?

Молодость, увлечения — и не только театром и архитектурой, переписка с Корбюзье... В сёлах умирали молча, гибли миллионами, а в украинской столице работали, учились, пели и любили советскую родину. Разве упрекнёшь за это?

Найди в себе смелость быть открыто объективным, накачивали Некрасова у Синявских, ты же видишь, что в «Континенте» засели примитивы, называющие себя антисоветчиками, а на самом деле это советчики наоборот, надо от них раз и навсегда отмежеваться!

Мария Синявская отдавала себя всю целиком, чтобы приобщить его к постоянным дразгам, хотя тут В.П. просто-напросто упёрся и ни в какую. Но она неустанно тянула его в эту обширнейшую интригу против Владимира Максимова. А значит, и против «Континента», за судьбу которого Некрасов так переживал.

Пока не произошло неожиданное.

Андрей Синявский молчал, молчал, а потом без видимой причины тоже куснул Некрасова! Правда, как бы между прочим, вставил абзац в непримечательной с виду статье.

Как ему, мол, надоели все эти бесконечные писания о войне! О чём ни заговоришь с некоторыми братьями, отгородившимися от сегодняшнего мира, всё сводится у них к Сталинграду, к Мамаеву кургану! Сколько можно талдычить об этом, господа!..

Подсев к свету, я читаю цитату и возвращаю журнал Некрасову. Тот сидит на диване в кабинете, смотрит в сторону, шевелит губами, такой растерянный, что аж жалко стало его...

— Как это расценить, Витька? Зачем он Сталинград трогает? Чем он ему помешал, ну скажи? — теряется в догадках В.П.

Успокаиваю Вику, сам озлобленно горячась. Может, не только потому, что Андрей Донатович печётся о литературной правде? Может, ему лестно поддерживать репутацию ниспровергателя, правдолюбца, неугомонного критика?..

Вконец расстроенный Вика стелет постель...

Когда Андрей Синявский опубликовал свои «Прогулки с Пушкиным», эмигрантский Париж заволновался весь. В телефонных разговорах некоторые улавливали даже сдерживаемые всхлипы, а в очных беседах допусkaliсь крепкие слова.

Что слишком, то слишком!

Мало, мол, ему его статей, мало фразы «Россия — сука», так ещё и на Пушкина замахнулся!

Кто его за что тянул!

«Русская мысль» отозвалась неодобрительно, хотя и постеснялась отчитывать знаменитого диссидента. Но Роман Гуль в Америке заступился за Александра Сергеевича и дал рецензию «Прогулки хама с Пушкиным».

Ни в грош не ставит американец нашего Донатыча, отхлестал по щекам, как приказчика в шляпном магазине, возмутился Вика и устроил обсуждение прямо за ужином...

В гостях был Юра Филиппенко, славист и эрудит.

— Книга интересная, — не слишком уверенно начал Некрасов, боясь возражений. — Ну, пару раз Андрей пережал! Без должного пиетета... А так обычная книга... Даже хорошая, можно сказать.

Деликатный Юра тихо возразил, что есть, мол, вещи, о которых нельзя писать в таком бойком стиле... Но В.П. уже точно решил поддержать всеми заклёванного друга-писателя.

И заявил веско:

— Книга как книга! Не стоит скандала. Право автора писать, как он хочет!

— Ну как можно, Виктор Платонович! — стонал Юра. — Как можно писать о Пушкине, что он вбежал в поэзию на тоненьких эротических ножках!

— Между прочим, — наклоняясь вперёд, В.П. опирался ладонями на стол, — известен ли тебе небывалый случай? Царь Николай I оплатил карточные долги Пушкина! Непомерные! Гордому нашему вольнолюбцу да отказаться бы от царской подачки! Не отказался! А мы тут рассуоливаем: тонкие ножки, тонкие ножки...

Юра доказывал, говорил ещё и ещё, долго, занятно и учёно.

Я пошёл на кухню кипятить следующий чайник...

## Дорогие мои женевцы

Об этой супружеской паре Некрасов упоминал множество раз, уклончиво называя их «моими женевскими друзьями». В своих писаниях порывался рассказать о них подробнее, но был, видимо, связан неумолимой клятвой, запрещавшей славословие и восторги. «Тем более, как выяснилось, — чуть обиженно недоумевал Некрасов, — о живых людях лучше не писать — одни пугаются, другие обижаются, третьи вообще непонятно что».

На наше счастье, эти «женевские друзья» здравствуют и поныне. И я, не стеснённый никакими клятвами и зароклами, коротко расскажу о них.

О Наташе и Нино Тенце.

Вообще-то мужа крестили Альбертом, но за тридцать лет я не слышал, чтобы кто-либо назвал бы его этим серьёзным именем.

Началось всё так.

Через несколько дней после прилёта в Лозанну Некрасов с почестями и предосторожностями, достойными мумии Тутанхамона, был привезён в Женеву его новыми швейцарскими знакомыми и окружён благоговейным вниманием.

Сейчас вновь прибывшая знаменитость сидела в кругу почитателей свободомыслия в России, на террасе роскошнейшего женевского кафе. К нему поочередно подпускались местные журналисты и именитые горожане русского происхождения. Некрасов источал обаяние, не скрывал душевной простоты и блистал манерами. Внезапно все вдруг замолкли на полуслове и повернулись, глядя на вошедшую даму. Вика вспомнил смутновато, что накануне их познакомили на вечере у известнейшего женевского слависта Жоржа Нива.

Даму сопровождал приятель Вики, литератор Симон Маркиш, на которого общество обратило самое малое внимание.

Высокая, пышноватая, привлекательная платиновая блондинка шла к их столику поступью павы, взволнованно теребя большущее антикварное кольцо на левой руке. Улыбающуюся умильно, тающую от счастья предстоящего общения со своим кумиром, её ещё раз представили писателю-звезде. Некрасов иронично посмотрел на эту тонко благоухающую женщину, ярко одетую, с высокой прической. Негромко вздохнул и учинил губами гримаску, как бы жалея себя. Мол, владыка всемилостивый, это что ещё за фифочка! И с нею я должен сейчас вести светскую беседу?!

Женщину звали Наташа Тенце.

Скажи ему тогда, разве поверил бы Некрасов, что эта модно наряженная и чуть восторженная дамочка будет впоследствии — анонимно, к сожалению, — возвеличена во всех его книгах и расхвалена им до небес во всех уголках мира. Её щедрость и верность в дружбе будет без меры, но заслуженно восславлена!

А любовь Наташи к русской культуре, литературе, писателям изумит всех нас, и в первую очередь её кумира Вику Некрасова. Что эта первая встреча будет им благословляться до конца жизни!

Некрасов не поверил бы...

Чуть позже Некрасов познакомился и с её мужем, Нино Тенце.

Молодой офицер итальянского флота Альберт Тенце провоевал всю войну в партизанских отрядах в Югославии. Сын словенского крестьянина из-под Триеста учился усердно и — редкость из редкостей! — был принят в итальянское морское училище. Внешностью он был высокий красавец, что тоже сыграло свою роль — флотские офицеры должны были впечатлять одним видом, так уж принято в Италии, смеясь, уверяла нас Наташа.

— Было бы гораздо удивительнее, — подтрунивал В.П., — если бы в итальянском флоте отдавалось предпочтение невзрачным замухрышкам.

Русских Нино тоже любил, хотя иногда позволял себе удивиться их непомерному и напористому пристрастию к алкоголю.

Наташей был предложен Некрасову кров и стол.

Кров оказался бесподобно уютным, а русско-итальянский стол изобильным. Хозяйка дарила внимание и общение, вечерами пылал камин, чирикали синицы на берёзках под окном, и живущий в саду ежик приходил под дверь пить молоко из блюдечка.

Из письма ко мне из Женевы:

«Я — купаюсь в блаженстве и комфорте. Тепло, уютно, тихо... Всё здесь удобно, продумано до мелочей. В ванной под головой специальная думочка, везде лампочки, выключатели, пепельницы, коврики. Есть и книжки для меня — например, четыре громадных альбома “Русско-японская вой-

на”. Генералы и поручики в усах, в папах — прелесть! Женева — очарование! Гуляю по ленинским местам. Одним словом — всё о’кей! Целую В.»...

Вика обожал быть в компании подвижных, энергичных женщин.

Были ли это его сверстницы или дамы помоложе, но их способность неумоимо передвигаться считалась первостепенным качеством.

Наташа Тенце своей лёгкостью на подъём приводила в изумление. Как и Татьяна Литвинова, неумоимый ходок по Парижу. Как и Наташа Столярова, очаровавшая В.П. потрясающими рассказами о своей лагерной жизни. Как и Светлана Гельман, несмотря на корпулентность, восхищавшая Некрасова своей энергичностью и весёлым характером.

Хотя у него были и близкие приятельницы, так сказать, камерного, застольного, что ли, толка — та же Екатерина Федоровна Эткинд или Наталья Михайловна Ниссен. С ними было приятно беседовать, сидя за чаем или кофе.

Мама, к сожалению, выпадала из этой колоды — у неё болели колени, она была рассеянна и склонна к падениям, как говорил Виктор Платонович. Поэтому вдвоем они прогуливались редко, да и то на расстояния недалгие.

К тому же Наташа Тенце любила смеяться. Что тоже чрезвычайно нравилось В.П. Мы представлялись ей недостижимыми остроумцами. И то сказать — откуда ей было знать все ветхие шутки и анекдоты, заезженные хохмы или пионерские прибаутки, до боли банальные для нас самих, но вызывавшие у нашей смешливой и благодарной слушательницы искры веселья и всплески смеха.

Некрасов, будучи изумительным рассказчиком, околдовывал Наташу историями из жизни лауреатов Сталинской премии или действительно занимательнейшими повестями о своих путешествиях.

Кроме многочисленных похвальных качеств и нескольких штришков характера, достойных деликатнейшего порицания, Наташа обладала ещё и двумя редкими божьими дарами.

Во-первых, она виртуозно и бесстрашно водила громадный «опель-адмирал». По серпантину у Монблана, по узеньким шоссейкам Хорватии, по каменистым дорогам Черногории, по немецким автобанам или итальянским автострадам Наташа твердой рукой вела на запредельной скорости машину, напевая песенки, болтая с пассажирами и мило пререкаясь с Нино. Проявляя стальной характер в нуднейших женеvских пробках и весёлых римских заторах, где тебе начинают сигнальть, если ты останавливаешься на красный свет...

При такой удалой езде Вика прямо-таки вкушал наслаждение жизнью, а Нино в сторону, как реплики в театре, бормотал укоры жене за бесшабашность.

«Наша Наташа на высочайшей высоте!» — кратко описал В.П. своё впечатление от Италии.

Во-вторых, Наташа умела, как никто другой, покупать абсолютно не нужные, но очень милые пустяковины и безделушки. И дарить их Некрасову. Особенно ценились в качестве презентов роскошные настенные календари размером со стенгазету.

Наташа страстно любила кошек, да и всех зверей, птиц и почему-то насекомых. Исключая, как ни странно, тараканов.

Вика был любимец всей семьи, а любимчиком лично Нино был поэт Вадим Делоне.

Тенце пригласили его в Женеву, ласково ухаживали и подкармливали. А выпивал Вадим без посторонней помощи. Сидел на газоне под берёзами, читал, дремал, отдыхал. Он был тихим, вежливым и мечтательным. И совершенно очаровал хозяев...

Как-то летом 1976 года мы с Милой вернулись с французских курсов домой, на улицу Лабрюйер.

— Познакомьтесь! Вадим Делоне, поэт и настоящий диссидент, не в пример мне! — Вика обнял его за плечи, подвёл к столу.

Поэт был красив, высок и вначале малоразговорчив.

На вид он казался славным юным пареньком, хотя ему уже было за тридцать. Отсидел срок в лагере за участие в дерзкой демонстрации на Красной площади против оккупации Чехословакии в 1968 году.

Поговорили о жизни, он похвастался новыми парусиновыми туфлями, потом продекламировал стихи о поручике Голицыне — мы попросили. Прочёл ещё пару своих стихов, грустно улыбаясь, показывая тёмные зубы. Очень он нам понравился. Виктор Платонович этому обрадовался: вот видите, я вам говорил, что хороший парень!..

В августе я познакомился с Вадимом поближе. Тогда же выяснилось, что Вадим выпивает, и крепко.

Мила была приглашена на недельку к морю. Некрасов тоже уехал на несколько дней, оставив мне кучу денег на хозяйство.

— Будешь брать сколько нужно! — сказал он на прощанье.

Я благопристойно принялся за французские учебники, вежливо отвечая на звонки. Позвонил и Вадим Делоне, причём тема разговора определилась как-то сразу — чего это нам сидеть в одиночку по домам, когда можно встретиться и прогуляться по прекрасным улицам Парижа. И совместная наша прогулка растянулась на три дня!

Утро действительно начинали с променада, вернее, с посещения ближайшего кафе. Вадим рассказывал о лагере, о друзьях, о своей любимой Москве, говорил быстро, с короткими смешками после фраз, но, к сожалению, слишком скоро пьянел. Возвращались в некрасовский дом передохнуть, а к вечеру прогулка начиналась вновь, до ночи.

В первый день Вадим читал стихи, свои и чужие, попережку. Или ставил Высоцкого и буквально повисал над магнитофоном, с плачем бормоча слова песен... К концу третьего дня разгульной жизни деньги кончились.

Во вретнице и пепле, полный раскаяния и смирения, ожидал я возвращения В.П. Что же будет, как вернуть хотя бы половину прогулянных денег?.. Некрасов отреагировал на новость о растрате довольно рассеянно и хладнокровно, мол, что поделаешь, огорчаться слишком не надо! Попросил подробно уточнить, где были и что пили.

— Вадим хороший парень, — сказал В.П., — но несчастный человек. Он так тоскует по Москве! И сколько пережил!..

А что до пропития некоей суммы, улыбнулся Некрасов, то он не потеряет веру в человечество от этого прискорбного, конечно, факта. И подставил щёку для поцелуя — благодаря, мол, за щедрость и прощение. Я облегчённо возликовал...

Потом Вадим звонил ещё несколько раз по утрам, но я уже взялся за ум, приступил к учёбе...

Через несколько лет Некрасов позвал меня на Трокадеро. Поддержим, сказал, Вадима Делоне.

Вместе с поэтессой Наташей Горбаневской, тоже участницей знаменитого выступления на Красной площади, они объявили голодовку в знак протеста. Не помню, против чего. Голодали они на людях, под транспарантом, на фоне Эйфелевой башни. Какие-то женщины им сочувствовали, приносили кофе или чай.

Вадим сидел, укутавшись в одеяло, ему нездоровилось, а потом стало по-настоящему плохо. Вызвали врача, и Вадима увели, поддерживая под руки. Бледный и взмокший, выглядел он несчастно, и видели мы его в последний раз...

Вскоре он умер.

Некрасову было его очень жаль. Да и нам тоже...

## Фонтенбло

Свобода передвижения! Боже, какое это счастье!

Сколько раз восславлял Вика этот шикарный принцип.

Некрасов, кстати, объездил всю Европу, не доехав лишь до Португалии. «Жалко, везде был, а там — нет!» Он вспомнил об этом в последнее, предсмертное лето, и я бодро пообещал ему съездить с ним туда на машине, мол, махнём, как только поправитесь. Это когда врачи дали жить ему три месяца и половина срока уже прошла...

Советские писатели обожали ездить за границу. Высшим счастьем были Лондон, Париж или Рим. О Нью-Йорке, Мельбурне или Лос-Анджелесе и не мечтали...

— Почему? Ну, почему нельзя человеку поехать в Париж, когда ему это хочется?! — нервничал В.П.

Возникал и другой вопрос — почему всё же выпускают кое-кого из писателей за границу?

С одной стороны, понятно почему — в награду, как поощрение, как знак расположения и признак доверия власти. Но ещё и чтобы посеять зависть и разбередить душевные раны собратьев, оставленных куковать у себя на даче или в лучшем случае — в Доме творчества Литфонда.

Но бывало, вдруг выпускали хороших, честных общеизвестно, совершенно неожиданно для них самих. Чтоб замести следы, не засвечивать доносчиков и ушлых прихлебал, считал Некрасов.

Живя в постоянной нехватке общения, Некрасов с нетерпением дожидался путешествий и в мгновение ока отправлялся в поездки. Непрерывно искал незнакомые впечатления, новые встречи, всегда упоённо высматривал что-то занятное или примечательное.

— Мне надо ездить, чтобы писать! — повторял В.П. — Впечатлений ишу!

— Да вы как бы казахский акын! — иронизировал, бывало, я.

— Да, да! — смеялся добродушно В.П. — Еду по степи, что вижу, о том пою! А ты почитай Гончарова. «Фрегат Паллада». И он пел, что видел! Я тоже хочу так писать...

Будучи абсолютно городским человеком, он предпочитал гулять или слоняться по городу, а не по деревенским окрестностям. Бесспорно, он не знал жизни народа, как и вообще почти все писатели, его современники. Они, особенно после войны, жили совершенно оторванными от обычных людей, варились в собственном, не всегда целебном, соку.

Был далёк от народа, скажете вы? Ну и что? Сколько писателей, далёких от народа, стали на века народной гордостью?! А сколько было, как вы говорите, близких, прямо-таки спаянных, сросшихся с народом, и что дальше? Да ничего!..

Этак через годик после приезда во Францию было решено, что мне необходимо на время снять комнату прямо в Фонтенбло.

Ежедневно я тратил часа три на поездки из Парижа в Фонтенбло, где работал в горном исследовательском центре. Злило, что терялось столько времени без толку, когда надо учить язык. Вика принял это решение близко к сердцу — он сразу понял, что сможет уединиться в Фонтенбло и приступить наконец к новой книге. Он уже придумал название — «Взгляд и нечто». Такой поворот дела понравился и мне.

Снятая с помощью моих сослуживцев комната оказалась обширнейшей залой, с потолками до небес. На высоченных окнах висели просто-таки музейные портьеры. В углу стояла странная короткая кровать под балдахином. Вика выбрал себе для спанья диван, от короткой кровати отказался, заявил, что это пережиток Средневековья. Мол, тогда лежать на кровати во весь рост считалось вызовом смерти. Поэтому спали полусидя.

Кроме того, его смутил балдахин. Это хорошо было в замках, растолковывал он, когда анфилада королевских комнат была как проходной двор. Вот король ночью и задёргивал себя портьерами — и теплее было, и фаворитки предпочитали под балдахином — всякая труха с потолка не сыплется...

Возвращаясь с работы, я готовлю ужин, Виктор Платонович покупает днём в магазине всё, что надо. Часам к шести каждый приступает к своим занятиям — В.П. пишет, сидя на диване, я зубрю за столом французский... Так было задумано. Действительность превзошла, как пишут в газетах, все ожидания.

Выяснилось, что нет более удобного времени для безделья, чем сидение за холостяцким ужином, а самый подходящий момент для бесцельной прогулки — именно время после ужина. Истосковавшуюся одиночеством душу отводили на вечерней трепотне, иногда за чаем.

Некрасову, правда, всё же удавалось писать днём, когда он оставался один.

По субботам приезжала Мила, шла проверять холодильник, чем, мол, питается писатель.

— Господи! — причитала она. — Как можно, Виктор Платонович, есть такую дрянь! Что это за колбаса, дайте я её понюхаю!

— Я ем всё подряд, как могильный червь! — посмеивался Вика и демонстративно съедал странноватую колбасу.

Мила варила обожаемый им фасолевый суп с луком. В.П. был счастлив, я давился постылой фасолью, но тоже радовался...

С резонными оговорками, жизнь действительно начала налаживаться. Мы работаем, мало того, на государственной работе! Это синоним льгот, невозможности увольнения, твёрдой зарплаты, ранней пенсии.

Правда, наш французский по-прежнему откровенно жалок, хотя мы погружены во французскую среду. Я довёл себя до исступления одинокой зубрёжкой французских словарей. Мила устроилась в лицей ассистентом русского языка — преподавателем, который ведёт практические занятия. И тоже безуспешно пытается хоть как-то говорить на работе по-французски — её коллеги, учителя русского языка, используют в общении исключительно язык Пушкина и Гоголя...

Но жизнь таки устраивается.

И Виктор Платонович не нарадуется, ему так хочется, чтобы всё было хорошо, чтобы никто не захныкал от повседневных невзгод, не начал канючить, что здешняя жизнь ему надоела и дома было лучше.

За это нехныканье, кстати, Вика нас тоже любил...

На террасе кафе, напротив наполеоновского замка, на солнышке было просто жарко.

Поджидая моего прихода, Некрасов прочёл «Правду» и принялся за нью-йоркское «Новое русское слово». На третьей странице большое объявление: «Лечение от алкоголизма. Можно без ведома пьющего. Гарантия 100%».

Я был встречен возмущённым возгласом:

— Какое свинство! — Вика показал газету. — Представляешь, проснулся, и оказывается, что ты уже не алкоголик!

Хозяйки маленьких бутиков мыли щётками тротуар перед входом. Прошли модно одетые богомолки...

Теперь Вика возмутился всерьёз — Валентином Катаевым, его статьёй «Хочу мира» в «Правде», где он называл диссидентов «синьорами» и «поджигателями войны».

— Что ему не хватало? Что ему сделали диссиденты?!

Катаев всю свою жизнь входил в обойму верных помощников партии, хотя среди молодых шестидесятников он прослыл симпатичным и ненавязчивым ментором.

— Не смог соблюсти на старости лет благопристойность!

Чтобы скрасить горечь, ничего не оставалось, как заказать пива и пойти поужинать по-человечески, да и чуток ещё выпить...

## Гонолулу с мангустой

Повесть Эдуарда Лимонова «Это я — Эдичка!» Вика прочёл залпом. Пожелал сказать сразу что-то хорошее, но так прямо не решился.

Поэтому начал издалека.

— Почитай! — протянул он мне книгу. — Прочти сейчас же этот пассаж. Такое впервые по-русски!

Мне отрывок не понравился, показался нарочитым. Рассчитанным на доверчивых отроков или рановато испорченных выпускниц средней школы. Некрасов огорчительно вдохнул — дело, дескать, не только в этом, просто видно, что автор не без таланта. Книгу поставил на главную полку, напротив тахты — подчёркивая свое благоволение. Я прочёл книгу, ревниво придираясь к эротическим сценам, прочёл с интересом. Допускаю в душе, что Вика был-таки прав. Да и после лимоновского «Подросток Савенко» Вика просто надоел с рекомендациями почитать, даже в письме ко мне: «Эдика Лимонова прочёл взахлёб!.. А вообще грязно, как всегда у Лимонова, но лихо и страшно».

— Лимонов — парень талантливый! — повторял В.П.

Хотя тот и поливал публично грязью нашего несчастного Вадима Делоне...

Многие из нас, эмигрантов, или оставшиеся в Союзе писатели просто мысли не допускали, что здесь можно писать обычные романы и рассказы, а не публиковать сплошные разоблачения, обвинения или воззвания. Ведь свобода слова же! Надо навёрстывать, чего не дописали в Совдепии!

Испокон веков русские эмигранты, приехав в чужую страну, первым делом сломя голову бросались налаживать издательское дело, а затем насаждать всем осточертевшее доброе и вечное.

Как злодеи, так и светлые рыцари вели кипучую литературно-общественную жизнь, перекраивая альянсы и заключая тайные пакты. Через обычно малое время союзы и пакты прогнивали, и бывшие единомышленники принимались с новой силой рвать глотки друг другу.

Некрасов старался держаться в стороне. Но не тут-то было! Надо было и здесь, вдали от СССР, выбирать сторону баррикад, лагерь и стан! А он хотел жить в согласии и писать себе потихоньку, в своё удовольствие. Его писания подходили на застольную беседу, на неторопливый разговор во время прогулки, на занятный трёп на кухне за чаем, на тихий монолог на песочке у моря, когда есть время рассказать интересные вещи.

У него была единственная книга, западающая в душу бесчисленным читателям, — «В окопах Сталинграда».

Вдруг позвонил Владимир Максимов и сумрачным тоном предложил Некрасову слетать на Гавайи. В Гонолулу. Расходы, сказал, оплачиваются, выступишь с докладиком на писательской конференции, устроенной местным университетом.

— В Гонолулу!!! — зашёлся в радости Вика и вознёсся на седьмое небо...

С этим городом в нашей семье на многие годы будут связаны тревожные чувства и нервные ахи. Началось всё со свадьбы. Выдавая дочь замуж, Галина Вишневская поинтересовалась, почему, мол, в церкви нет Вики. Он уехал в Гонолулу, простодушно ответили мы.

— Ах, ЭТО сейчас так называется?! — понимающе съязвила Вишневская. — Запой вы зовёте Гонолулу!

С тех пор в нашей семье и для людей посвящённых «поехать в Гонолулу» стало означать многодневный некрасовский загульчик. А в Женеве любимый дружище и поэт Тоша Вугман вдохновился и сделал поэтический жест — посвятил Вике большое стихотворение, начинающееся так:

Мне зевота сводит скулы  
От женевского бытья,  
Только, только в Гонолулу,  
Умоляю в Гонолулу,  
Ради бога, в Гонолулу  
Не езжайте без меня...

Стихотворение это пелось и под гитару, наводя некую вполне изъяснимую грусть: дескать, надо выпить! Вика очень одобрял такую субтильную поэтическую особенность Тошкиной вещи и радовался за него...

Так вот, в Гонолулу... Мгновенно написал доклад, как всегда понемногу обо всём, в том числе и о советской литературе. Прилетев на райский остров заранее, Вика от безделья и непонятно откуда нахлынувшей трезвости предался эпистолярным экзерсисам.

Письмо от 9 декабря 1979 года:

«...Море — почти кипяток, пляжи громадные, конца не видно, народу не густо. А вокруг небоскрёбы... И вообще городишко ничего, более или менее шикарный. Главная прелесть — хожу... босиком. Почему? А так принято. Вероятно, из-за поминутных дождей... Гаваяне и гаванки — ничего, красивые, чернокудрые, глазастые, хотя носы малость и приплюснутые. Вроде приветливые — а ведь когда-то капитана Кука сжевали. Природа? Вдали какие-то горы, с другой стороны море — на волнах прыгает на досках молодёжь. Пока воздерживаюсь...

Не пойму, как вы переносите телевизор. Я после сегодняшнего вечера на 100 верст к нему не подойду. И главное — не оторвёшься. Включил! Единственное интересное (и то слишком долго) — аквалангисты шуруют по затонувшим крейсерам — вчера как раз 38-я годовщина Перл-Харбора... Ладно — кончаю. Доживём до завтрашнего понедельника. Целую. В.».

Через пару дней писатель надел только что-то купленные сандалии, взошёл на кафедру и зачитал доклад по-французски, блистая прононсом и выразительно артикулируя.

Письмо от 20 декабря 1979 года:

«Прощальные строчки с Гавай... С Новым годом! Жил бы и жил здесь... Немноголюдно, хотя и туристский сезон, все красивые, старухи — монстры, в разноцветных платьях, в штанишках и раскрашенные до отвращения. Старики тоже не отстают. Даже я напялил на себя какую-то гавайскую рубашу всю в географии... Фотодела — держался в рамках. За десять дней только семь катушек... Докладом моим все довольны, жмут ручки. С переводом длился сорок минут. Слушали. Даже где-то смеялись. В ответ острил — мы же такие. Обрато смеялись. Сувенирчики — ничего... И себе подарок сделал. Ахнете! Но он требует комментариев. Не ясно, куда его ставить. Целую! В.»

По возвращении в Париж выяснилось, что хотя доклад и был встречен куртуазными аплодисментами, студентов присутствовало всего ничего, а большинство пишущей братии в этот момент сидели под пальмами на пляже. Зря стиль оттачивал, жаловался В.П., и дикцию попусту шлифовал. Ведь доклад свой он трижды репетировал вслух в гостинице, один раз частично в ванной, перед зеркалом!

В общем, в письме он чуть приукрасил действительность, чему способствовало легкое расслабление в местных барах.

Накануне прилёта из Гонолулу Вика позвонил и радостно сообщил маме о своём прибытии, мол, пусть Витька встретит, домой, дескать, кое-что везется...

На прощанье сказал:

— Целую тебя, Галка!

Мама огорчилась — там ещё утро, а муженёк уже тёпленький, целует...

Я встречал его в аэропорту Шарль де Голль.

Вика волочил за собой картонный короб и держался молодцом.

Позвал в буфет выпить пива и, интригуяще улыбнувшись, задал загадку: что в коробе? Раковины? Морские звёзды? Фигурки из кокосовых орехов? Да-да, всё это тоже, но главное-то? По дороге домой он наспех рассказал о конференции, обрадованно сообщил, что его там никто не знал, поэтому все дни одиноко провалялся на пляже. Но вчера целый день посвятил культурному туризму — обошёл пяток с виду пивнушек, на деле оказавшихся дорожными кафе во вкусе работорговцев...

Сейчас Виктор Платонович поставил коробку на стол в гостиной и принял позу ярмарочного факира.

Так вот, милые мои домочадцы, сказал он, идучи перед отлётом на прощальное пляжное омовение, я увидел вот это чудо и купил его! Двумя руками, благоговейно, как чашу Господню, извлёк из коробки нечто, в первый миг показавшееся мне хорьком.

— Мангуста! — воскликнул Вика и просиял.

Чучело зверька на задних лапках, перед вздыбившейся гремучей змейей!

Мы стояли с суконными лицами. Вика заметно огорчился нашей толстокожестью.

Разбирая привезённые сувениры, поведал нам, что когда он учился в киевской школе в двадцатом, что ли, году, на

треугольном флажке их скаутского отряда был изображён именно этот зверь. И как раз этот флажок был когда-то доверен ему, десятилетнему Вике Некрасову, на сохранение.

С тех пор, по его словам, мангуста являлась ему в сновидениях.

— Трезвых? — хихикнула Мила, но Вика надменно промолчал.

Иноземная композиция была установлена на почётнейшем месте, под цветной фотографией Шильонского замка, на центральной книжной полке.

К скаутам Некрасов питал жгучую приязнь. Читал о них всё подряд, собирал книги и открытки. И был по-мальчишески рад подаренному ему австралийскими русскими скаутами серебряному значку, в виде королевской лилии, с Георгием Победоносцем. Восхищался изящной крохотной надписью с узурпированным когда-то юными пионерами призывом «Будь готов!».

В больнице, когда после смерти В.П. нам вернули его вещи, я снял этот значок с лацкана его пиджака.

Одна его радиопередача была посвящена восьмидесятилетию скаутского движения. И первому командиру юных разведчиков — сэру Роберту Баден-Пауэллу. Дата на рукописи — 20 июля 1987 года.

Это была самая последняя статья, написанная в жизни Виктором Платоновичем Некрасовым. За полтора месяца до смерти.

Я отнёс эту вещицу Владимиру Емельяновичу Максиму, и он напечатал её в «Континенте», в память о Вике. Там же был опубликован и мой шуточный рассказ «Перст судьбы» — о первой моей встрече с В.П. Так и я вошёл в число авторов «Континента». Максимов, кстати, был строг и явную ерунду в журнале не печатал. Поэтому я этим малюсеньким опусом при случае сдержанно горжусь.

*Глава третья*

Свои сто грамм,  
кроме всего  
прочего



## Телефонные розыгрыши

**П**одвыпив и предвкушая продолжение, мы сидели в кабинете Виктора Платоновича.  
— Как удочка, дошла? — вдруг вспомнил он.  
— Дошла и ошастливила!

Мой лучший друг, Виктор Конин, помешанный на рыбалке, просил об одном — прислать ему из Парижа, если можно, шестиметровую телескопическую удочку, он где-то читал о таком чуде.

Виктор Платонович пришёл в восторг и напросился пойти вместе по магазинам, поискать. Удочку нашли довольно быстро, но стоила она неправдоподобно дорого, и желание сделать подарок как-то сникло. Вика облил меня презрением: как можно, опять о деньгах, ведь друг ждёт! Пошёл к кассе и сам заплатил за удочку...

Удочку отвезла Анжела Роговская, вызвав чудовищное любопытство у киевских таможенников, поражённых невиданной снастью...

— Друг продолжает писать?

— Пишет, и вам приветы всегда передаёт.

— А вот мои друзья помалкивают, не понимаю, что происходит! — глотнув ещё, как-то смиренно говорит Вика.

Я вдруг решаю сунуть нос не в своё дело и слегка злюсь.

Не в меру трусоваты ваши друзья, дорожат усиленной пайкой! Затаились и молчат, хорошо хоть ещё публично не отрещиваются!

Вика покачивает головой: нет, всё не так просто...

— Как ножом отрезало! — вздыхает В.П. — А ведь они всё понимают, всё...

И так горько это сказал, что понятно стало: скверно человеку...

За два года до смерти Некрасов напишет об одном из друзей: «Что он совершил? Что нарушил? Что преступил? И в чём я его обвиняю? Я обвиняю его в одном из тягчайших преступлений перед человечеством. Он выключил свою память. Он забыл и попрам самое святое и возвышенное, что есть в жизни, — дружбу».

Много ли друзей изменили Виктору Платоновичу?

Немало.

Он искал им оправдания. Страдал, не забывал и с лёгкостью прощал, когда они, любимые москвичи, как ни в чём не бывало и когда это разрешили, зачастили в Париж.

Мне он очень завидовал, ведь мои криворожские друзья и родственники многие годы после нашего отъезда регулярно писали, посылали занятные сувенирчики, книги, газеты.

Если в своей трезвой жизни Виктор Платонович больше всего опасался посещения книжных магазинов, то в подпитии наибольший риск приходился на телефонные разговоры.

Вначале уединялся в кабинете, читал что-то приятное сердцу, «Театральный роман», скажем, или «Графа Монте-Кристо», попивая мелкими дозами водку и осаждая светлым

пивом. Главное, было выждать момент, чтобы в доме никого не было. Закуривая, усаживался в кресло и открывал записную книжку...

Звонил, бывало, в Киев, кому — не помню, но обзванивал многих.

В Москву в основном звонил тем друзьям, которые не боялись с ним переписываться. Всегда долго-долго говорил со знаменитым бардом Юлием Кимом, даже пристал однажды к нему, чтобы тот спел новую песню. Продолжительно общался и хохотал с актером Владом Заманским, названивал поэту Владимиру Корнилову. Беседовал с доброй и верной приятельницей Раисой Исаевной Линцер и обязательно пробивался к Булату Окуджаве, шутил, признавался в любви и приглашал к себе...

Любимым друзьям, Симе и Лиле Лунгиным, не звонил никогда. Один раз, правда, не удержался и всё-таки позвонил — и попал на домработницу. Она с ним поболтала, и он так счастливо хвастался направо и налево, вот, дескать, не побоялась!..

К концу месяца приходил телефонный счёт, который подлежал сокрытию. Вика стеснялся моей идиотской иронии и опасался выговоров моей жены Милы — зачем тратить впустую такие деньги, вам ещё столько надо в дом купить...

А в начале восьмидесятых годов у Некрасова ненадолго появилась одна досадная привычка — пьяные телефонные розыгрыши. Некий киевский литератор писал, что Некрасов ему позвонил, сказал, что сидит на пересадке в киевском аэропорту Борисполь, летит, уверял, в Непал. Отлучаться, мол, никуда не разрешают. Расспрашивал о делах и якобы заплакал.

Насчёт плача, даже в пьяном виде, сильно сомневаюсь. Я никогда не видел его откровенно плачущим. Влажные глаза — да, видел не раз, но рыдания в трубку...

Проделывал такое и с москвичами, только тогда он транзитом летел в Китай. Глотнёт, бывало, маленько и начинает наяривать в Москву! И первому, до кого дозванивался, рассказывал эту выдумку...

Свои телефонные шуточки он представлял нам как продуманные розыгрыши.

На самом деле, конечно, испытывал В.П. вполне понятное желание пообщаться с покинутыми друзьями-приятелями. На что он рассчитывал, что хотел услышать дорогой мой Виктор Платонович, подвыпивший и томящийся в одиночестве у себя на седьмом этаже?

Я точно знаю, чего он желал. Ждал он, что ему ответят, мол, постой, Вика, я сейчас примчусь в аэропорт, очень хочется с тобой повидаться, хотя бы через стекло! Он страстно хотел услышать слова ободрения, сожаления о том, что невозможно встретиться. И послушать обрывки столичных новостей, ответить на расспросы.

Не слыша ничего, кроме невнятных фраз и притворных возгласов, он чувствовал тревожное нетерпение собеседника. Улавливал облегчение в его голосе при прощании.

Розыгрыш розыгрышем, но хотел, вероятно, В.П. сказать, что жив я, вот, и здоров, мотаюсь по всему миру! Вспоминаю о вас. Может, это и так. Но главное для него было — напомнить о себе и услышать радость в голосе друга или приятеля.

Этого он так и не дождался.

## Акын Шатобриан

У наших на седьмом этаже только что, видимо, произошла перебранка.

Именно в этот момент я и зашёл.

Мама решила, что не хватает постельного белья. Мол, подкупить надо. Куда его класть, вскричал писатель, у нас простыней больше, чем в городской больнице! В.П. выдвинул ящики в комод и принялся пересчитывать белье.

Стойте, стойте, воскликнул я! С одной стороны, белья не хватает — это факт, с другой стороны, его бесспорно некуда девать, вот и всё! Компромисс достигнут, чего ещё, шутил я всюду, затаптывая занимающееся пламя семейной ссоры... Они разошлись по комнатам, но вскоре, правда, помирились.

Вообще-то к этому времени супружеская жизнь представлялась им обузой лишь в редкие моменты, хотя мама и не отказывала себе побеспокоиться по любому поводу. Скажем, из-за прихода гостей или покупки новой полки. Да мало ли причин впасть в легкую, как сильфида, панику! Поэтому о возможных событиях мы старались ей сообщать в самый последний момент.

— Главное, поменьше информации для Галины Викторовны! Слишком полошится! — говаривал В.П.

Тут надо упомянуть о кодификации имён друзей и знакомых.

Мою маму Вика в разговоре со мной называл «мать». А обычно она была Галка. Никогда не слышал, чтоб он называл её супругой, женой или благоверной, ни тем более своей половиной — Галка, и всё! В письмах ко мне иногда говорилось «баба Галя». Когда произносилось «Галина Викторовна» — хорошего не жди, Виктор Платонович язвит или злится.

Я в обиходе назывался Витькой, реже — Витей, ещё реже — Вить. В литературе, бывало, упоминал — сын Витька.

Жена моя всегда и при всех обстоятельствах звалась Милкой, а наш сын — Вадиком.

Особо уважаемые люди уменьшительно не назывались. Говорилось — Толя, Фима, Нина, Миша, Таня, Лёва, Наташа, Володя...

Тошка, Машка, Сашка, Витька, Милка — В.П. говорил так не из-за пренебрежительного отношения, это была дружеская фамильярность, чуть снисходительное отношение к молодёжи. Хотя часто Симками, Лильками, Верками и Ирками назывались и дожившие до почтенного возраста дамы, и невинные, случалось, девушки.

По имени-отчеству хорошо знакомые люди почти никогда не назывались, за исключением Екатерины Фёдоровны Эткинд, а по фамилиям — совсем редко... Например, доктор Котленко.

Во Франции мама всей душой полюбила лечиться, принимать лекарства и ходить к светилам. Особенно ценились пожилые профессора, в очереди к которым надо провести пару часов. Молодые врачихи считались вертихвостками, мало разбиравшимся в сложных заболеваниях. К примеру, в простуде или сенной лихорадке.

К счастью, в Париже проживал непререкаемый авторитет и признанный мамой исцелитель. Доктор Вадим Котленко, ироничный и бородатый под адмирала Макарова, разговаривал с мамой грубовато и чуть цинично, чтобы как-то излечить мамину щепетильность и заставить её меньше слушаться всяких и разных врачей.

С этими врачами была просто катастрофа. Во Франции любой врачебный визит оплачивался государством без разговоров. Как и все прописанные лекарства. Что же удивительного, если советский человек, особенно женщина, обожающая лечиться, сдавать анализы или ходить на консультации к профессору, воспользовалась таким даром небес!

Доктор Котленко был из первой эмиграции, и поэтому мама ему бесконечно доверяла. Он отбирал у мамы все вы-

писанные лекарства и широким жестом сеятеля выбрасывал их в мусорную корзину. Потом давал одно лекарство, мол, на сегодня этого хватит! Мама, покорённая медицинским авторитетом, помалкивала.

Екатерина Фёдоровна Эткинд... Непонятно, почему такая официальность, — она была ровесницей В.П. Милейшая женщина, ироничная и, что особенно ценилось, несуетливая.

Но чтобы подчеркнуть всё-таки своё расположение, В.П. придумал имя «Катя Фёдоровна». В отличие от просто Кати, её младшей дочери.

Жена профессора французской литературы Ефима Эткинда, великого умельца вести высокоинтеллектуальную беседу, она обладала редкостным качеством не вступать по-молчаливо в серьёзный, как считалось, мужской разговор, но была готова в любой момент его подхватить и к месту вставить пару фраз.

Вика относился к ней очень мягко, не позволял себе даже лёгкого матюжка, а за столом оказывал внимание, передавал тарелку, следил, чтобы брала себе колбасу или печенье, что с его стороны было верхом пиетета.

Катя Фёдоровна была обширно образованна, интеллигентна и знала русскую литературу, я думаю, не хуже мужа. Правда, тот великолепно знал ещё и французскую.

Ефим Григорьевич Эткинд был мировой знаменитостью. Именно в области французской литературы. И одним из задушевных парижских друзей Некрасова.

Как мне не повторять того, о чём уже писал Некрасов?! Он ведь описал всё, до травинки и пылинки, живую и неживую природу, написал о близких друзьях, дорогих сердцу врагах и случайных прохожих, искал сюжеты во всех закоулках памяти, любые мелочи сразу же обнародовал, спешил описать пустяжные происшествия. Многие, очень многие

случаи, фронтовые шутки или разные занятные недоразумения, рассказанные мне, были затем изложены им на бумаге. Наблюдая, как я реагирую, он прикидывал, каким манером стоит писать.

Вика писал обо всём, что слышал, знал и помнил. Ведь тем, событий и сюжетов было маловато, а писать нужно. Все события его жизни были описаны, малейший случай вписан в историю, разговоры записаны, посещения запечатлены, высказывания изложены на бумаге.

Некрасов писал обо всём — даже о том, как он склеил макеты «мессеров» — самолётиков, ненавистных на войне, а сейчас его восхищавших. И как повесил их на ниточке над письменным столом, призвав меня на помощь, чтобы придать им пикирующее положение...

Как-то отложил газету и полушутливо сообщил, мол, французы говорят, что у Шатобриана его собственная жизнь с приключениями лежит в основе его вещей. Так вот и он сам — что ни случится с ним, тут же излагает! Приключения, злоключения и услады жизни, встречи, разговоры, не упуская ни одного штришка...

— А я к тому же ещё и акын! — смеялся тогда Вика. — Только он обо всём, что видит, — поёт, а я — пишу! Прямотаки Джамбул Джабаев, только охваченный грамотностью! Или акын Шатобриан!

Как-то утречком зашёл В.П. и позвал прогуляться по холмистым окрестностям.

— Ну, какие новости? — неизбежный вопрос, задаваемый ежедневно, с неослабным безразличием.

— Новости? Вчера в Версаль ездил! — ответил В.П.

— Чего вдруг? — вяло удивился я.

— Решил погулять. Походил по парку. Позевал по стононам. Вот и всё! — сказал В.П. совершенно без иронии.

Вдали в романтическом одиночестве, в утреннем, уже чуть прозрачном тумане виднелась Эйфелева башня, над еле различимыми крышами домов, как мальчик-пастушок среди овечьего стада...

Захотелось побродить по округе. В парке напротив, по газонам между деревьями, мимо обнимающихся парочек, прогуливались утки из пруда. Прошла дама с тремя голубоглазыми собаками разных пород. Пролетела хрюкающая птица.

Зашли на рынок купить цветов, он обожал живые цветы. Принося букетик домой, громко объявлял: «Купил цветы!» Мама радовалась, считая, что цветы для неё.

Но когда её не было дома, Вика с таким же успехом покупал несколько цветков и торжественно ставил вазочку, обычно на ломберный столик с телефоном. Исключительно для себя. Было замечено, что если цветок ставился в дальний угол, он от огорчения вскоре умирал...

Вернувшись из Японии, Виктор Платонович побежал за мимозой, а потом развесил по всей квартире репродукции гравюр с видами горы Фудзи.

Подарил и мне парочку.

— Ты понимаешь, Витька, этот Хокусаи — гений! Ты согласен со мной? — радовался он, украшая гравюры веточками мимозы.

Что мне оставалось сказать? Конечно, гений...

Чтобы облегчить себе жизнь, В.П. утверждал, что его подход к искусству непритязателен. И критерий не хитёр — хочет ли он видеть это у себя дома? Что может быть лучше, серьёзно говорил он, как с утра взглянуть на Серова, Левитана, Серебрякову? Открываешь глаза, а перед тобой серовская «Девочка с персиками»! Мечта!

В молодости в его душе царил французский дух — Матисс, Ван Гог, Ренуар, Гоген, Моне, Утрилло...

На Кандинского и Ларионова посматривал с легким интересом, нравился Филонов, манеру которого он слегка использовал в своих рисунках. Любил Татлина, обожал Родченко, его фотомонтажи, плакаты, эскизы театральных костюмов.

Это потом, после войны, он воспылал любовью к традициям — «Миру искусства», Билибину, Жуковскому, Сомову, Александру Бенуа, Добужинскому. От Леона Бакста был просто без ума, в молодости пытался подражать ему, по-моему, безуспешно...

Что ни говори, писал Некрасов, а советская литература всё-таки что-то дала, не прошла мимо событий последних шестидесяти лет. А вот живопись? Настоящая живопись, а не отупляющий социалистический реализм, что она дала? Мало чего дала... Прекрасные пейзажи, неплохие портреты, милые натюрморты... Но как ухитрилась эта живопись не отметить вехи советской жизни? Возьмём хотя бы войну, сколько настоящих картин было написано о ней?! Но ещё больше картин не написали, не осмелились, запретили сами себе.

— Что вы пристаёте, что мне больше нравится, что меньше! — отмахивался В.П. — Многое нравится...

Из советских не нравился никто, но не любил одного — Илью Глазунова. Эпигонство и размазанные сопли, считал он. Рассматривая альбом Глазунова, В.П. кривился и не одобрял на первый взгляд красивые картины художника, а мы допекали его укорами, мол, чем это плохо? Портрет солдата, всё как надо, натруженные руки, глубокие морщины, медаль на телогрейке, сильный характер, что не нравится?

— Не знаю что, но плохо, это не живопись! Ненатурально и слащаво! — вяло защищался он.

Потом уточнил. Отталкивал его, запятнанный словом «социалистический», реализм. Передвижники были хороши

сто лет назад, в Императорской Академии художеств, сейчас это устарело, это недостойно нашего времени. Хотя как рисовальщик Глазунов бесспорно мастер.

Но если кто-то так пишет картины, пусть, конечно, пишет, размышлял Некрасов, но восхвалять это как настоящую, хорошую живопись нельзя! Это обычное, хотя и небесталанное эпигонство, здесь абсолютно отсутствуют и поиск, и новизна, и интерес...

На верхнем этаже гигантского современного выставочного центра «Бобур» проходила очередная выставка современного искусства.

Художники и скульпторы выставили свои сокровенные, выстраданные произведения. Плоды, как говорят, творчества, иногда самые неожиданные, иногда занятные, иногда поразительные. Но чаще в виде этих самых плодов представлялась на обозрение публики безрадостная трахомундия.

Среди затрапезнейших абстракций, лепёшек с дырочками, раздавленных колокольчиков, взломанного бетона и унылых структур из кусищ чёрного металла откуда-то сверху падали капли на раскалённую сковородку. И шипели. Что-то хлопало крыльями, наклонно и спонтанно бил фонтанчик, обрызгивая зазевавшихся. Что-то клокотало за самоотканой ширмой. Несколько чурочек были прибиты ровненько вдоль стены, одна из них украшена кнопкой. Из коробки на ажурной подставке, если приложить ухо, слышались вздохи огорчения...

Любопытный В.П. послушал чуток и отошёл в сторонку, к громадному застеклённому пролету. Задумчиво уставился на расстилавшиеся у ног парижские крыши. Вроде бы неприметные по отдельности, но глаз не оторвёшь от их умиротворяющего скопления.

И заговорил сам с собой, не слишком обращая ко мне. Иногда смотришь, говорил он, на все современные штукен-

ции, на гнутое, давленное, скрученное, смотанное или забрызганное, и, честное слово, теряешься! С одной стороны, вроде бы хлам и дрянцо, за дурака тебя принимают. А с другой — вспоминаешь, как вначале так же вот издевались над Клодом Моне, затюкивали Руссо, Шагала, Малевича, оплёвывали Миро, Брака, Цадкина...

А как Гитлер сатанел при виде неарийских дегенератов! А как Хрущёв улюлюкал в Манеже, кричал «пидорасы!» на русских художников, халтурой попрекал. А сам-то, фуй малограмотный, злился Некрасов, и «Мойдодыра» до конца не дочитал! И становится неловко, чего ты со своим суждением лезешь, подождём немного, лет десять-двадцать, там видно будет...

— Вообще западное искусство, конечно, развивается и шагает, но куда и зачем — не знаю! — говаривал Вика...

Хотя, улыбался он, помню, как после выставок социалистического реализма в Манеже ты выходишь напрочь обалдевший от скуки, охреневший от всех этих сладких слюней. Одно хорошо — после таких выставок обострялась тяга к пьянке. Особенно — к коллективной...

Но, с другой стороны, в конце жизни Виктор Платонович не раз разводил руками и удручался.

— Называйте меня ретроградом, пассаеистом, — негромко декларировал он за чаем, — обвините во всех грехах, и в частности в узости кругозора и изъянах вкуса, пеняйте, что я впал в детство, но мне по душе всё-таки наш Репин! Не спорю, прекрасны Матисс, Тёрнер, Сислей. Чудесна кустодиевская купчиха, совершенна климтовская Юдифь. Великолепна четвёрка французской живописи — Делакруа, Моне, Дега и Сезанн. Но Репин! Бесконечно ценю! — говорил В.П. — Очень нравится его «Вернулся». Восторгаюсь репинскими рисунками. Набросками у Толстого в Ясной Поляне.

Не устаю, говорил, любоваться...

## Святочные хари

Увидев впервые полотна Олега Целкова, Вика нарочито в упор и неотрывно уставился на картины, расставленные по всей мастерской.

Знаменитые целковские гоминоидные морды! Многоголовые и многоглазые. Кухонные ножи, лопаты, булавки, топоры, вилки. Потрясающие цвета, и эманация агрессивной, но нечеткой тревоги.

Повернулся ко мне, пока Олег побежал за следующей бутылкой.

— Боже, какие страхи! — полусерьёзно сказал он, покачивая головой.

— Да вы всмотритесь получше! — вскричал я. — Сколько в этих картинах иронии, выдумки! А какой колорист, таких поискать надо!

Некрасов вздохнул: нет, это не для меня, мне бы что попроще и не таких огромных размеров! Где бы я всё это повесил? Вот картины Бориса Заборова — это по мне, хотя человек он непьющий.

С Заборовым они приятельствовали, иногда виделись, прогуливались, болтали о жизни или разговаривали о серьёзном. Симпатизировал Вика и Эдуарду Зеленину, встречался пару раз и с современным художником Вильямом Бруем, видным мужиком, плавно рассуждавшим о своём искусстве — разлинованных в разнообразную клетку полотнах. Известен Виля был ещё и тем, что вся эмиграция при встрече с ним вспоминала нехитрую при сказку:

Хочешь жни, а хочешь куй,  
Всё равно получишь Бруй!..

По дороге домой я неутомимо убеждал Вику, вот, мол, как повезло, что мы так сблизились с Целковыми, теперь всё время проводим с ними, нашими друзьями. Как трудно заиметь в эмиграции друзей. Как их найти! Чтобы могли пособить, посочувствовать, посоветовать. Как найти приятного в компании соотечественника...

У нас в эмиграции, поддержала Мила, редкость даже приятелями стать, а о друзьях и говорить нечего, неизмеримо трудно находить друзей.

— Да какие вы с ними друзья! — как-то бесстрастно и слегка ревниво сказал Вика. — Вы не друзья, вы просто собутыльники!..

Только через много лет выяснилось, что В.П. как в воду глядел...

Некрасов несколько раз приглашался на ужины к Целковым и всегда внимательно и даже тщательно осматривал поразительные картины, а по дороге домой делился впечатлениями.

— Олег-то, — тихонько удивлялся В.П., — пишет свои устрашающие полотна, будучи в жизни не задиристым, жизнерадостно пьющим и симпатичным человеком. Всё говорит о том, что он парень что надо. А своими картинами явно стремится подорвать основы!

Но что интересно, скажу я вам. Увидев картины Олега, буквально все жаждут высказать своё суждение. А особо чувствительные, слывущие посвящёнными в эзотерические тайны, говорят об отрицательных флюидах и о некоей пагубной ауре. Мне смешно!

Буквально все, в том числе и Вика, обожали сниматься на фоне картин Целкова! Предварительно поужасавшись и пожаловавшись на отрицательные эмоции.

Никто не мог сообразить, что его персонажи — тупорылые, неотёсанные, скотские, с пристальным взглядом

вепря — были полны иронии, насмешки и укора. Ироническая аллегория, можно сказать. Но зрители видели только живописные ужасы и не замечали животной теплоты. Какие, поражались, чудовищные рыла! Мерзкие святочные хари! Что за маски! Да не хари это и не маски! Ведь под маской должно что-то скрываться. А тут обычные лица!..

Лично у меня целковские персонажи вызывают откровенную симпатию. Будучи помоложе, я перебрасывался, бывало, с ними парой-другой слов. Естественно, выпив для облегчения контакта.

Хотя Некрасов говорил, что тревожная аура, как ископаемое излучение, иногда действительно улавливается. Истоцаемая не столько самими целковскими персонажами, сколько зловещими аксессуарами — ножами, топорами, корявыми орденами, гвоздями, верёвками, булавками.

Посмотрите, отвечал я, достаточно этим мордам увидеть стрекозу, кошку, лампочку, арбуз или пуговицу, как персонажи эти расцветают милыми ухмылками. Да и кого оставят равнодушными лучезарные краски, непостижимые оттенки, насмешливые мазки и лёгкая, загадочная пастозность полотен Олега Целкова?!

## Зеленинские ассамблеи

Художник Эдуард Зеленин издал свой первый каталог в Париже. И попросил Некрасова написать предисловие. Тот не отнекиваясь быстренько накропал: «Почему мне нравится Зеленин».

«Хочется ли тебе иметь его картины у себя? Вот критерий оценки произведения искусства самый что ни на есть примитивный, но — что делать? — это мой крите-

рий. И это, как мне кажется, не дело техники или гения, но скорее эмоциональной нагрузки: нужна ли она или нет... Что мне нравится в нём, что он... никогда не прекращал быть самим собой: его произведения живые, радостные... и, как мне кажется, красивые»...

Солнечные лучи редко освещали живые и радостные картины Зеленина. Художник любил работать при электрическом свете, поэтому ставни часто забывали открывать. Дом живописца в первые годы нашей эмиграции прославился своим хлебосольством и приветливостью.

На гулянках сам хозяин дома пил исключительно кока-колу, поскольку если и любил предаваться питейным утехам, то делал это в одиночестве, раз в сезон, с усердием и до беспамятства.

Весёлая, простодушная и со всеми свойская Татьяна Зеленина любила человеческое окружение и могла поддержать компанию в любой день недели и при любой погоде.

На первый взгляд нет ничего проще, чем пригласить к себе знакомых и захмелиться. Но в эмиграции всё не как у людей — даже обычная групповая пьянка организовывалась со скрипом и всхлипами. А что говорить о продуманных гульбищах! Адов труд!

У нас в доме эти собрания звались ассамблеями.

Сложность эмигрантской жизни заключается в том, что все друг друга хотя и знают, но знакомы не тесно. Поэтому к искренне выпивающим людям сплошь и рядом примешиваются непьющие или, страшно сказать, трезвенники-воители.

В доме Зелениных подобная дикая ситуация никогда и никого не подкарауливала. Пили все и помногу. Элегантные французские вина пугливо глазели на бесцеремонную и болтливую водку. Разбавленный аптечный спирт булькал

что-то маловразумительное. Распираемое английским юмором чопорное виски поглядывало надменно и втихомолку благоухало. Дешёвый коньяк вел себя как районный уха-жёр — хорохорился и перебивал других.

В кухне на стене, среди тульских пряников и хохломских тарелок с ложками, висел рукописный транспарант: «К зелёному змию питая пристрастье, в вине утопил он семейное счастье». Там выпивали опоздавшие и спал кот Семён.

Посреди мастерской на козлах укладывались фанерные щиты. Вокруг на стулья и табуретки стелились доски, в виде скамеек. За этим необозримым столом рассаживались намеренные или случайные гости.

Предприимчивый авангард таких званных вечеров формировался из недавних русских эмигрантов, хотя и французские славянофилы с удовольствием и умилением подключались к попойкам. По квартире слонялись потомки первой эмиграции, бывали цыгане, новоиспечённые израильтяне и американцы, частенько забредали иногородние сородичи.

Каждый приносил еду или питьё по возможности. Тарелки мылись изредка самими гостями, в основном с лицевой стороны. Стаканы и рюмки осквернялись проточной водой совсем редко.

Распитие и поедание складчины начиналось субботним вечером.

...Так вот, тронутый Эдик Зеленин пригласил Некрасова на очередную людную и крикливую вечеринку, чтобы отблагодарить за дружелюбное предисловие. Подарил симпатичную акварельку.

Весь вечер Вика не пил, поэтому вынес массу впечатлений о выпивающих, самое известное из которых вошло в поговорку:

— Просто удивительно наблюдать, как люди глупеют прямо на глазах!

Был там и поэт Виктор Соснора, который приехал в Париж по издательским делам и запил. Две недели пил безвылазно у Зелениных, даже к кухонному окну не подходил. Прослышав о гулянье, попытался принять участие, но заснул за столом, положив голову меж тарелок, ещё до прихода первых гостей. К концу вечера он очнулся, обвёл потрясённым взором шумное застолье и громко объявил: «Я начинаю пить!» Успел познакомиться с Некрасовым и отключился вторично минут через двадцать...

Любитель порезонёрствовать, Эдик как бы выглядывал из-за своих огромных очков. Коренастый, редко матерившийся и себе на уме, он был широким человеком. Считал, что все галерейщики нечисты на руку, поэтому картины продавал сам. Покупатели объявлялись далеко не каждый месяц, но когда сделка удавалась, немедленно звал друзей в ресторан. Шли обычно в «Балалайку». Сам художник в рот не брал, но приглашённые не стеснялись, а он слушал цыганские песни, рассеянно улыбаясь. Цыгане тоже любили его, приходили не чванясь в гости, а со знаменитым цыганом Алёшей Дмитриевичем он крепко дружил.

С русским языком Дмитриевич был вообще-то в натянутых отношениях, с падежами прямо-таки враждовал. Пил только тёплый чай. Его манера пения была очень своеобразной, с резкими, неожиданными и невнятными подвываниями. Но именно это знатоки высоко ценили.

Когда Алёша брал гитару, его молчаливая молодая жена становилась у него за спиной и слегка покачивалась в такт музыки, кутаясь в цветастую шаль. Алёша преображался лицом и молодедел осанкой.

Мы открывали где-то рестораны,  
И строили какой-то аппарат,  
Носили с голоду газетные рекламы,  
И наших жён сдавали напрокат!

Компания вместе с исполнителем пьяненько переживала за тяжёлую судьбину русских изгнанников.

Некрасов вертел головой, как цесарка, очень ему было занятно всё это наблюдать. О нём быстро забыли, но скучать ему не дал художник Олег Целков, выпивший пока в меру и жаждущий излить душу:

— Эти партийные бляди меня сорок лет лишали возможности видеть все эти музеи, выставки, вернисажи! Как они смели запрещать мне поехать в Париж, Венецию, Мадрид, Амстердам! Из-за этих косорылых скотов сколько новых замыслов у меня не родилось! Не давали рисовать, как я считал нужным!

Некрасов, как мог, его успокаивал. Расстроившись нервами, Олег оглоушил фужер водки. В пику Советам, надо полагать.

Жена его Тоня, славянская красавица с высокой причёской праздничного цвета, бывшая артистка московских театров, встревожилась: почему это у Виктора Платоновича совершенно пустой стакан?

— Я вообще не пью! Разве что пробные мужские духи!— улыбнулся Некрасов.

Тоня по-светски оценила шутку.

Тогда ходили слухи, что Некрасов выпил у радушных хозяев то парижские жидкие румяна, то шампунь для жирных волос, то смывку для маникюрного лака. Всё это относительно, бесспорно, к устному народному творчеству. Из озорства Некрасов не опровергал категорически эти легенды, лишь посмеивался.

...Невысокий мужчина моего возраста, с приятным молодым лицом и короткой стрижкой, подошёл со стаканом к нам с Некрасовым и вежливо предложил выпить. Явный француз, шикарно одетый в полотняную исподнюю рубаху, в белых в обтяжку брюках, заправленных в кожаные боты, он безукоризненно говорил по-русски. Это был Поль Торез, сын знаменитого французского коммунистического кормчего Мориса Тореза. Всё своё детство он провёл в Союзе, летом — в Артеке, зимой — в Москве, а потом закончил тамошний университет.

Поль пил водку на русский манер, не брезговал напиваться допьяна, после чего обожал орать советские песни, наполненные гражданским пафосом. Мы с ним на этой почве сблизились и, бывало, обнявшись на кухне, со слезой подвывали, отбивая такт:

Если в край наш спокойный  
Хлынут новые войны  
Проливным пулемётным дождём,  
По дорогам знакомым  
За любимым наркомом  
Мы коней боевых поведём!

В перерывах он непечатным матом ругал свою мамашу, партийную даму высшей категории, члена французского политбюро Жанетту Вермерш. Кроме того, Поль с удовольствием танцевал танго с мужчинами...

Так как большая комната была полностью забаррикадирована столовым настилом, люди, единожды севшие за стол, выйти из-за него подобру-поздорову не могли и были приговорены к общению с неожиданными соседями.

Олег Целков выбрал место в дальнем углу, подальше от надзора жены. Соседкой оказалась сравнительно молодая

В день отлёта.  
Киев, 12 сентября 1974

ШКІЛЬНИИ



МОРОЗИВО

Виктор Некрасов, Лев Копелев, Елена Боннэр  
в больнице у Андрея Сахарова. Москва, 1973

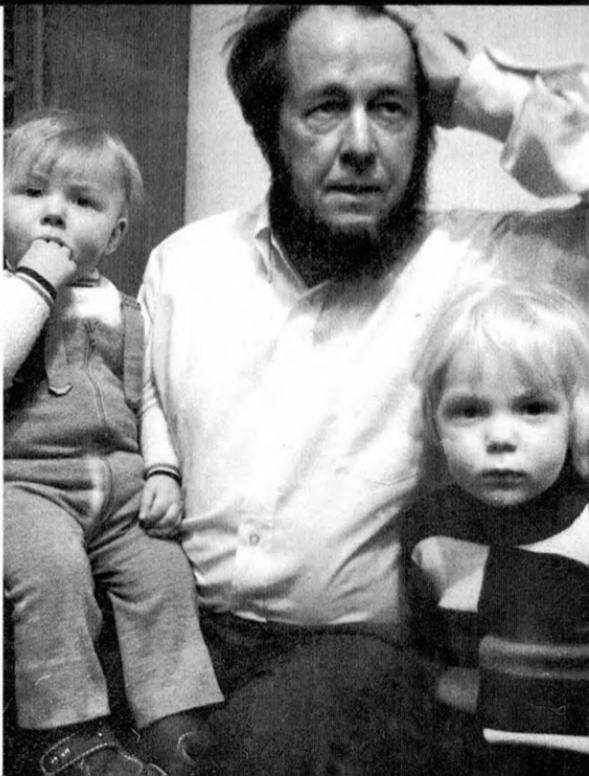


Из письма 19 сентября 1972 года: “Вызвали на партком и зачитали обвинения: отрыв от масс, непосещение партсобраний и неуплата взносов. Потом перешли к более серьёзным вопросам — дружба с Иваном Дзюбой, Солженицыным, Сахаровым”



В.Н.  
73

Александр Солженицын с детьми. “Дорогому Виктору Некрасову  
в тяжёлые дни. Наталья Солженицына. 6.3.1974”



Генеральному секретарю ЦК КПСС  
товарищу Брежневу Л.И.

Уважаемый Леонид Ильич!

Я вынужден обратиться к Вам с этим письмом, так как все, происходящее со мной и вокруг меня, толкает меня на принятие определенного решения.

Условия моей жизни за последние годы сложились так, что я нахожусь лишен возможности работать. Вот факты. В мае 1973 г. я был исключен из партии, в которую вступил 30 лет назад в разгар боев в Сталинграде. Об обстоятельствах этого исключения я в свое время Вам писал. Два года тому назад, в марте 1972 г., был наложен запрет на издание двухтомника моих произведений в Гослитиздате и с тех пор жороба к читателю моего контента.

Трудно, конечно, смириться с мыслью, что писателя, в свое время отмеченного Государственной премией за повесть "В окопах Сталинграда" и которого изданы более чем 120 изданиями на 30 языках мира, полностью исключили печатать. Но кому-то этого оказалось мало. Найдены были другие способы воздействия и наказания за то, что ты всегда стремился отстаивать свои принципы и убеждения. В январе этого года у меня в квартире был проведен обыск.

Фрагмент письма Виктора Некрасова Л.И. Брежневу. Боясь утечки, Некрасов не отдал письмо машинистке. Напечатав до конца это письмо одним пальцем, я проникся к себе глубоким уважением...



Скоро расставание: Виктор Кондырев  
с мамой и В.П. Киев, август 1974

Первый день на Западе. Цюрих, 13 сентября 1974





Николай Ульянов (родной дядя Вики, сделавший ему вызов в Швейцарию), галеристка и певица Дина Верни, Галина и Виктор Некрасовы. Лозанна, 1974

**ВИКТОР НЕКРАСОВ**

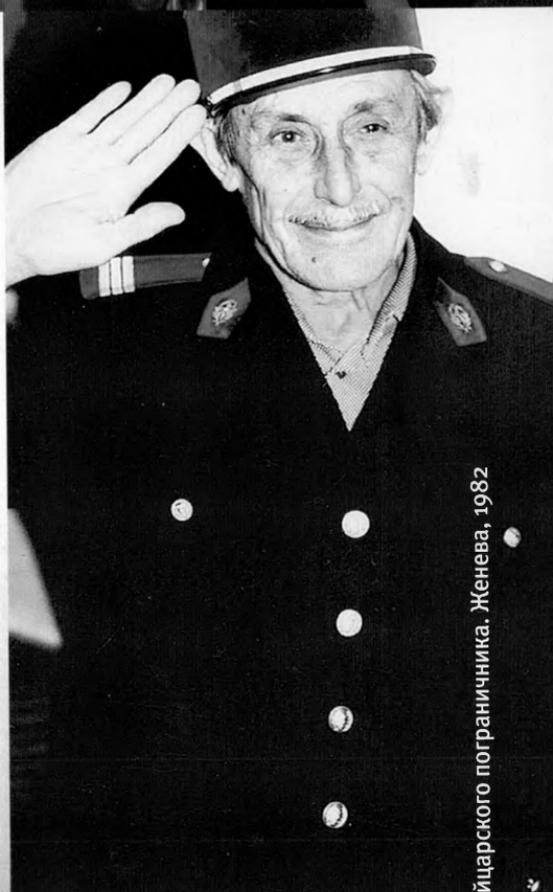
*Окопах*

**СТАЛИНГРАДА**



Государственное издательство  
УДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Москва 1958

Удостоверение на медаль за Сталинград Некрасов потерял ещё в 45-м. Вывезти медаль разрешили, только когда Вика прицепил её на титул "В окопах Сталинграда" для нового издания



В форме швейцарского пограничника. Женева, 1982

В фотоальбоме 1974 года — подпись под фотографиями: “Первое убежище — Свияжские...” Мария Розанова, В.П., Андрей Свияжский. Фонтенэ-о-Роз, 1974



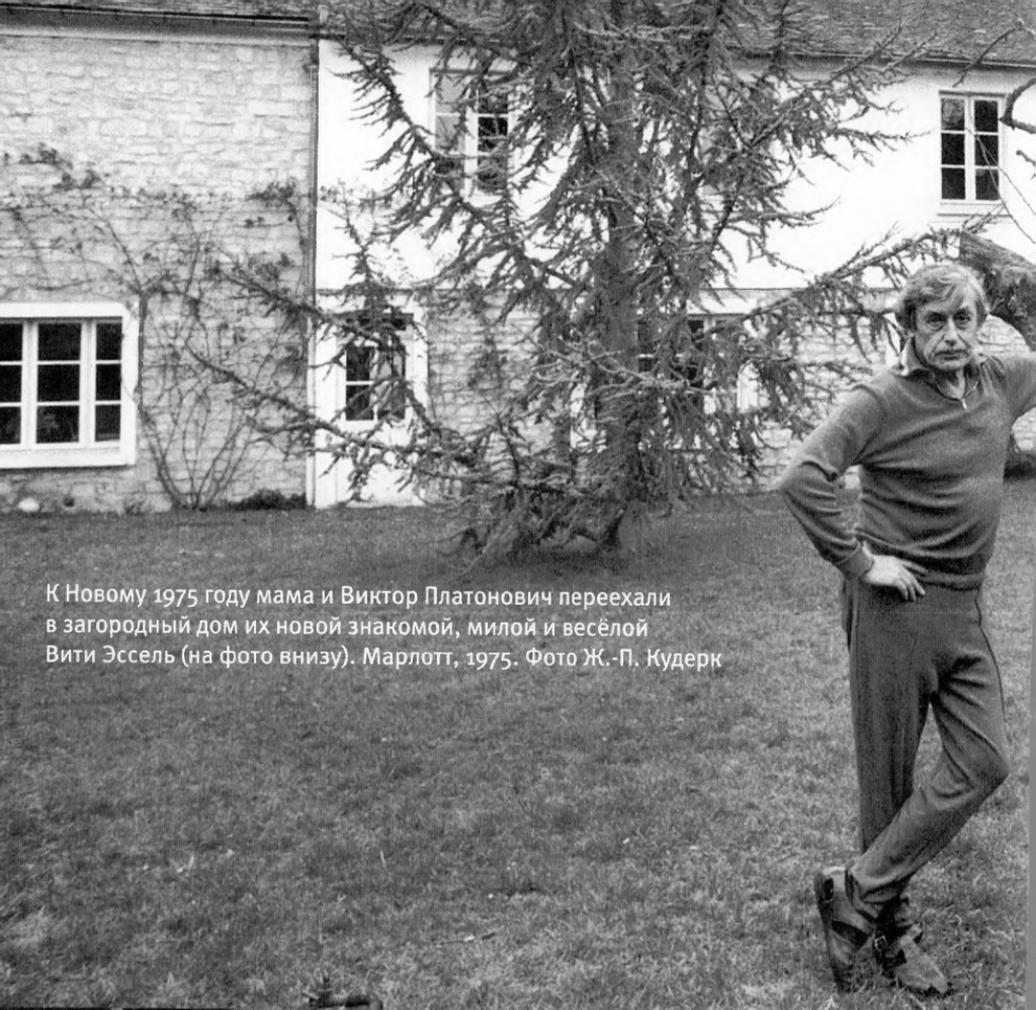
Дружеский шарж на Андрея Свияжского



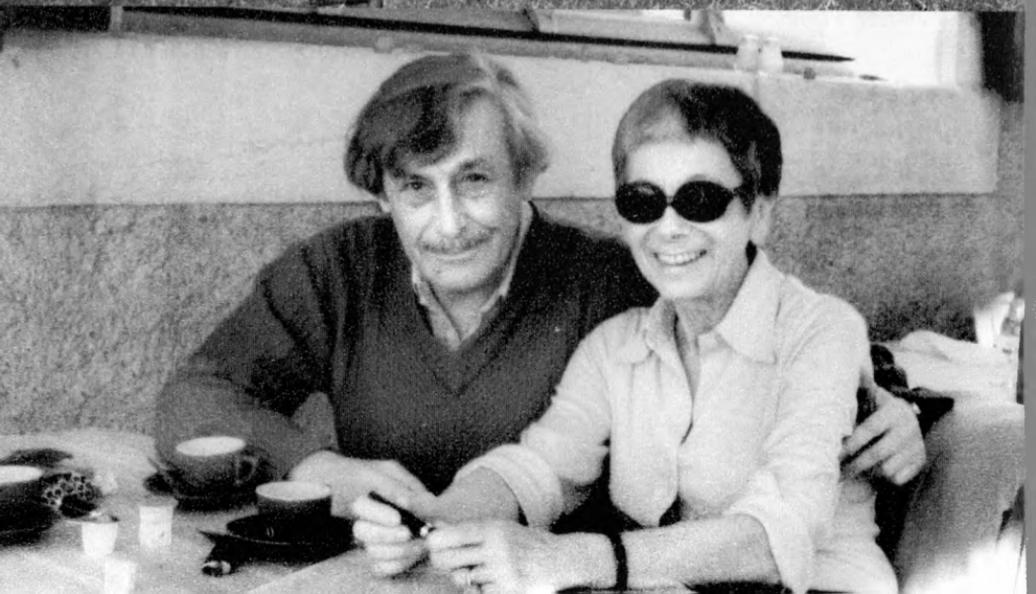
Коллаж — на открытке с билибинской Бабой-Ягой вместо головы старухи приклеено лицо Марьи...  
Подпись в альбоме: “Приветливая, доброжелательная хозяйка!”



Виктор Некрасов с любимой собачкой Джулькой.  
Марлотт, 1975. Фото Ж.-П. Кудерк



К Новому 1975 году мама и Виктор Платонович переехали в загородный дом их новой знакомой, милой и весёлой Вити Эссель (на фото внизу). Марлотт, 1975. Фото Ж.-П. Кудерк





Галина и Виктор Некрасовы.  
Марлотт, март 1975



С Максом Раллисом, директором отдела исследования аудитории “Радио Свобода”. Седовласый, моложавый и чрезвычайно элегантный во все времена года... Ванв, 1974



Виктор Кондырев и главный редактор “Русской мысли” княгиня Зинаида Шаховская. При ней тексты Некрасова охотно печатали в журнале. Париж, 1980

Виктор Некрасов и атташе по культуре Франции в СССР Степан Татищев. Он поддерживал Некрасова ещё в Киеве. Марлотт, 1975



Дом на площади Кеннеди в Ванве. Здесь на седьмом этаже  
поселились Виктор и Галина Некрасовы





1.7  
+0.0  
Jean Paul  
Sartre  
1905  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

2.1  
+0.5  
1981  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

ll



Париж, 1978. Фото С. Бассу



Victor V. NEKRASSOV  
3, Place Kennedy  
92170 VANVES

Конверт с самодельными марками, посланный Некрасовым самому себе. 1985



... Взгляд и Него!  
 О чем, Юлень, Него?  
 Обо всем!

Januar January Janvier Gennaio

Ср.	Чет.	Пят.	Суб.	Вос.	Пон.	Вт.
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24 <sup>15/29</sup>	25	26	27	28	29



Шуточные рисунки с автопортретами В. Некрасова (1981–1982): под Рембрандта; под Матисса — “Перешёл на пиво”; под Пикассо





У Некрасова в Париже сразу же появились хорошие друзья:  
Михаил Яковлевич Геллер, историк, литератор и политолог (Ванв, 1986)...



...блестательная красавица довоенного эмигрантского Парижа, профессор русской литературы Софья Григорьевна Лаффит (Ванв, 1979)...

...поэт Анатолий Вугман (Женева, 1981)





Старая дружба: Владимир Войнович и Наум Коржавин.  
И новая: Юрий Филиппенко, славист и эрудит (внизу). Ванв, 1983



С итальянским журналистом Дарио Стаффа.  
Познакомились в Киеве, продолжили  
дружбу в Риме. 1980

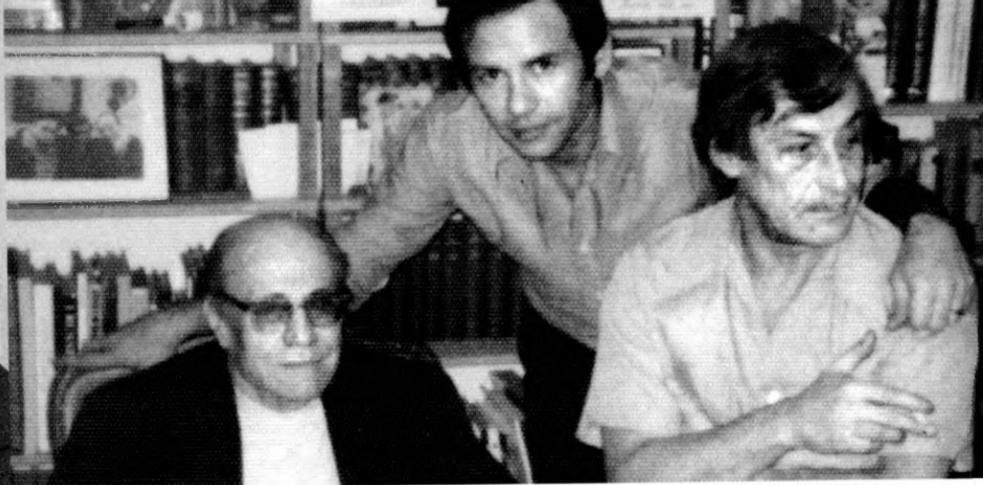


Братья Маркиши: Симон (вверху), профессор литературы Женевского университета (Женева, март 1976) и Давид, литератор, "здоровяк, балагур и свой парень, этакий еврей-будённовец" (Израиль, май 1981)



В.П. и Михаил Моргулис, редактор журнала "Литературный курьер". Вверху на танке "Шерман" в Луна-парке. Вермонт, 1983





Каждое слово Анатолия Максимовича Гольдберга, лондонского обозревателя Русской службы Би-би-си, В.П. ещё в Киеве благоговейно ловил сквозь все глушилки и принимал как абсолютную истину



Один из задушевных парижских друзей Некрасова — Ефим Григорьевич Эткинд, профессор французской литературы, мировая знаменитость. Ванв, 1984

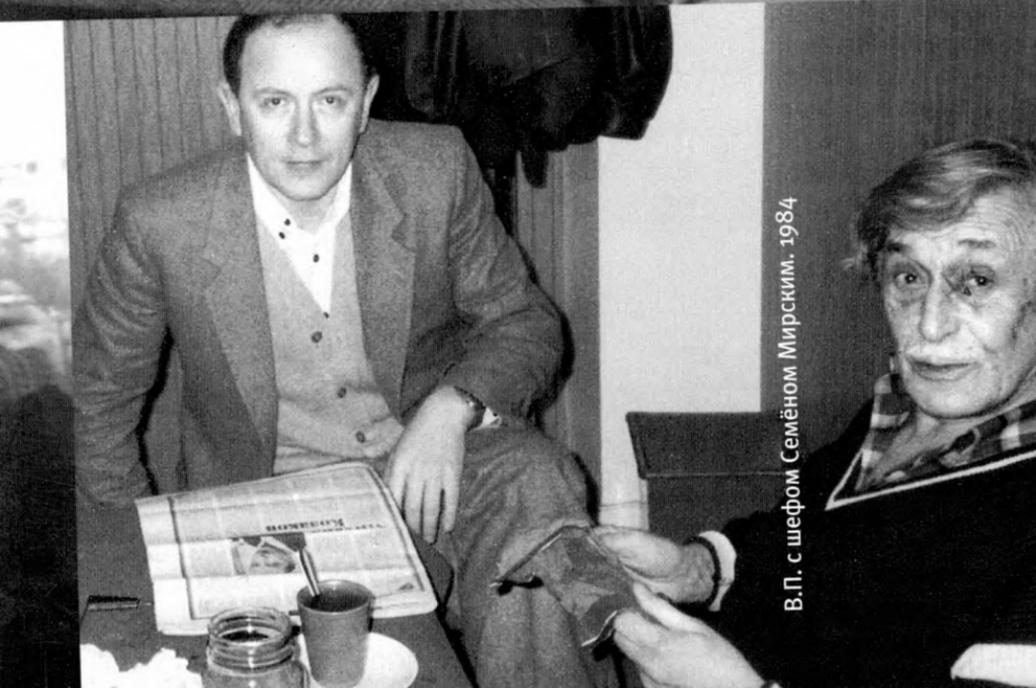
С поэтом и обозревателем "Русской мысли" Кириллом Померанцевым





Фатима Салказанова, Анатолий Гладилин, Виктор Некрасов, Анатолий Шагинян.  
"Радио Свобода", на балконе. Париж, 1982

Каждую неделю, в понедельник, к десяти утра, Некрасов являлся с папочкой на "Радио Свобода" и около часа записывал две десятиминутные передачи. После записи начиналось самое приятное — благодушный треп с друзьями и приятелями



В.П. с шефом Семёном Мирским. 1984



С Владимиром Максимовым  
и Мстиславом Ростроповичем. Париж, 1978



Дружеские шаржи на них



С Галиной Вишневской. Париж, 1979

У Максимовых дома: Татьяна Максимова (Вика называл её "идеальной писательской женой"), Наталья Круглая-Энке, Мила Кондырева, Лёля и Буся Максимовы. Париж, 1983





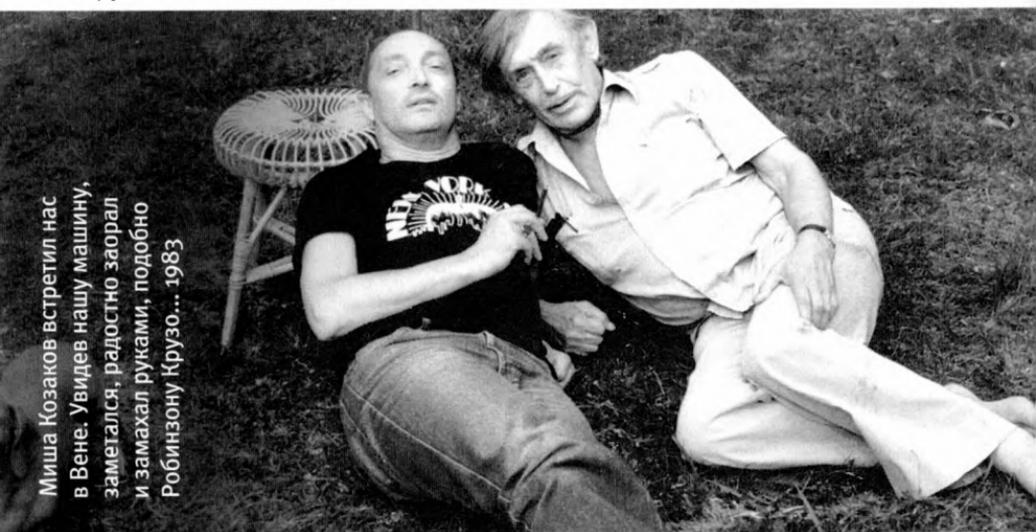
Андрей Вознесенский  
и Виктор Некрасов. Ванв, 1981



Виктор Платонович, Мила Кондырева, Василий Аксёнов с женой Майей  
и Макс Раллис. Орлеан, 1984



Наталья Михайловна Ниссен (справа) из третьей волны эмиграции любила, кроме Саши Галича, лишь две семьи — Максимовых и Некрасовых. В центре — Лев Круглый и Мила Кондырева. Париж, 1981



Миша Козаков встретил нас в Вене. Увидев нашу машину, заметался, радостно заорал и замахал руками, подобно Робинзону Крузо.... 1983



Вениамин Смехов бесподобно расписывал жизнь "Театра на Таганке". В центре — Степан Татищев. Ванв, 1983

Дорогих Наташу и Нино Тенце В.П. называл "мои женевские друзья". Справа — Мила Кондырева. Женева, 1979

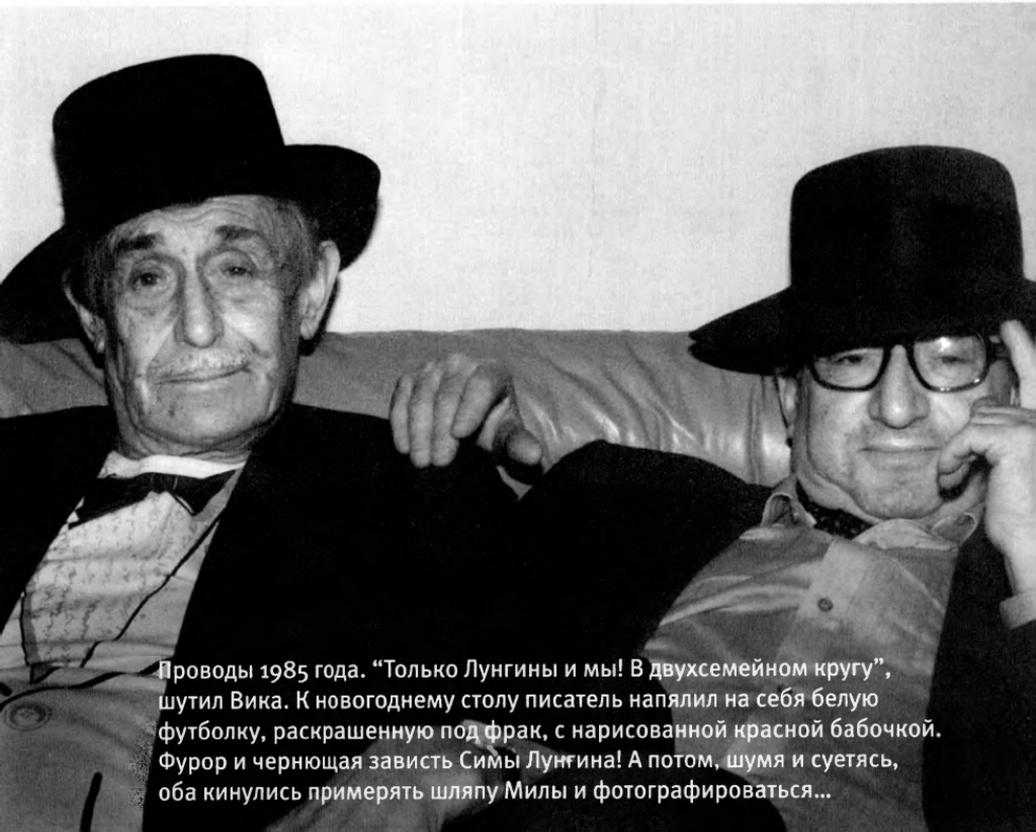


Наталья Столярова, бывший секретарь Ильи Эренбурга. Отсидевшая в лагерях какой-то сумасшедший срок, всегда неунывающая, она стала одним из наиболее ценимых друзей Вики. Ванв, 1982





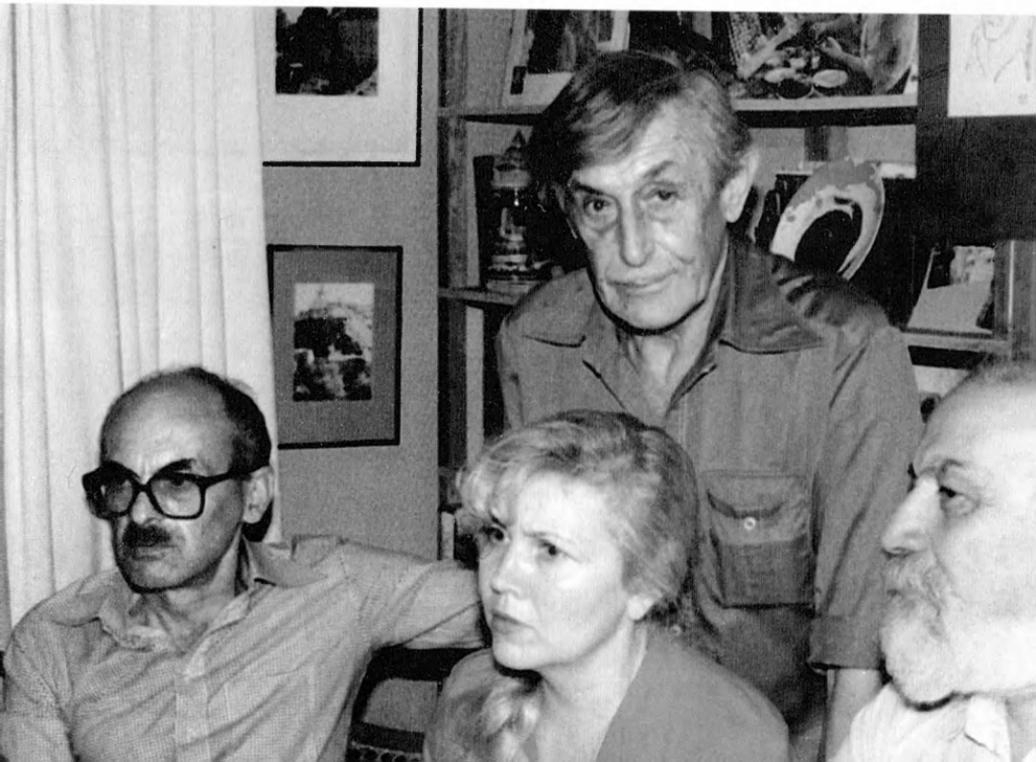
Осенью 1982 года в Париж приехали Лунгины. Вика расцвёл от счастья! Он носился с ними, водил везде, кормил французскими разносолами. В кафе “Эскуриал”: Виктор Некрасов, Семён Лунгин, Анатолий Гершман, Лилианна Лунгина



Проводы 1985 года. “Только Лунгины и мы! В двухсемейном кругу”, шутил Вика. К новогоднему столу писатель напялил на себя белую футболку, раскрашенную под фрак, с нарисованной красной бабочкой. Фурор и чернушная зависть Симы Лунгина! А потом, шума и суеты, оба кинулись примерять шляпу Милы и фотографироваться...



Вверху: Александр Галич, В.П., Ангелина Галич, Мила Кондырева. Париж, 1976.  
Внизу: Булат и Ольга Окуджава, Виктор Некрасов, Лев Копелев. Ванв, 1984





ВН  
78

Дружеские шаржи на великих бардов



Булат  
и Михаил  
1981



Юрий Трифонов и Виктор Некрасов. Париж, конец 1970-х



Виктор Платонович, никогда не имевший своей семьи, на старости лет радовался, что у него теперь есть дети и внук. Любил говорить о них — то похвально, то с иронией



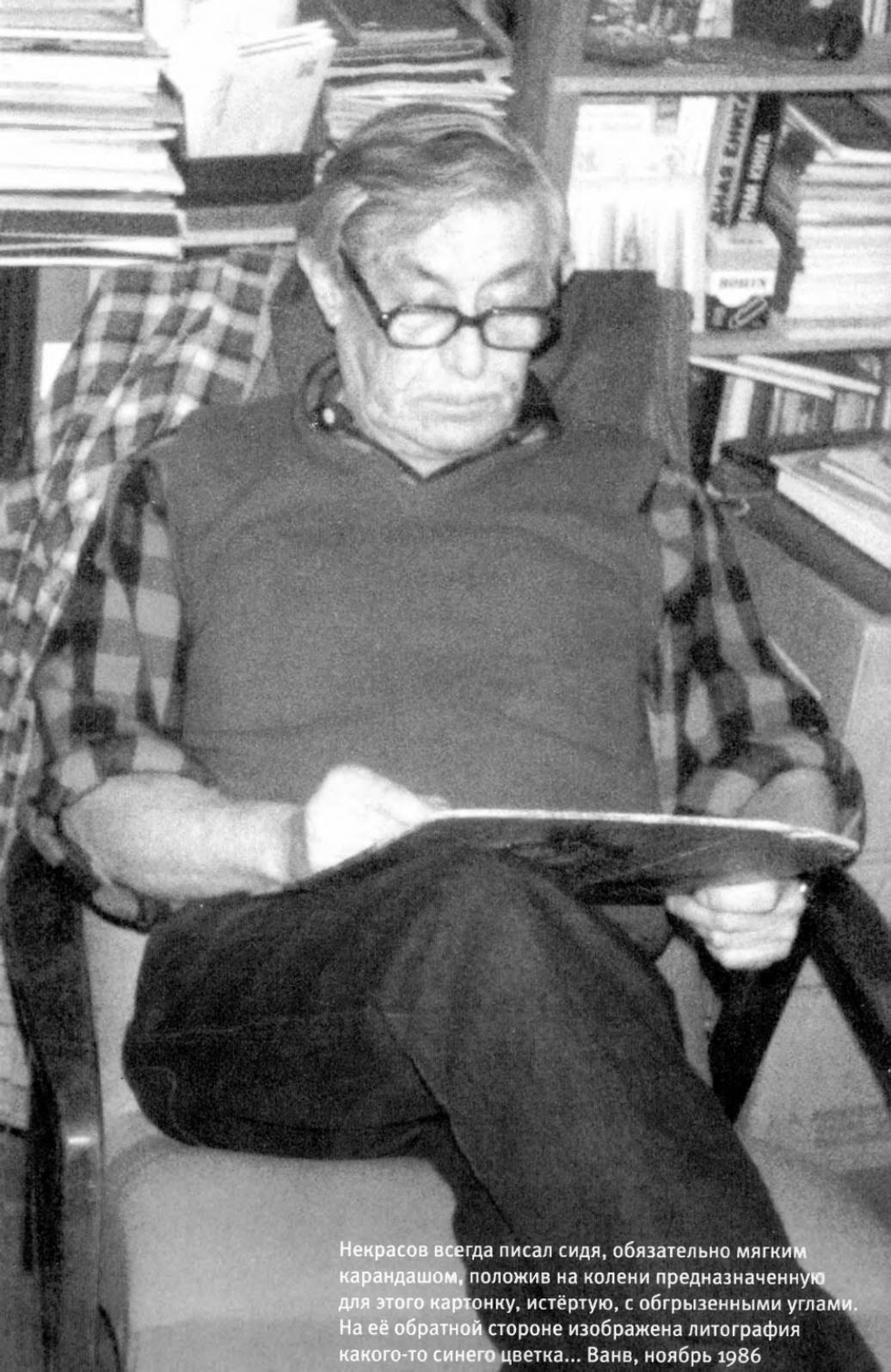
Шарж В.П. на Виктора Кондырева

Автопортрет В.П., стилизованный под Юрия Анненкова, с трогательной подписью автору этой книги

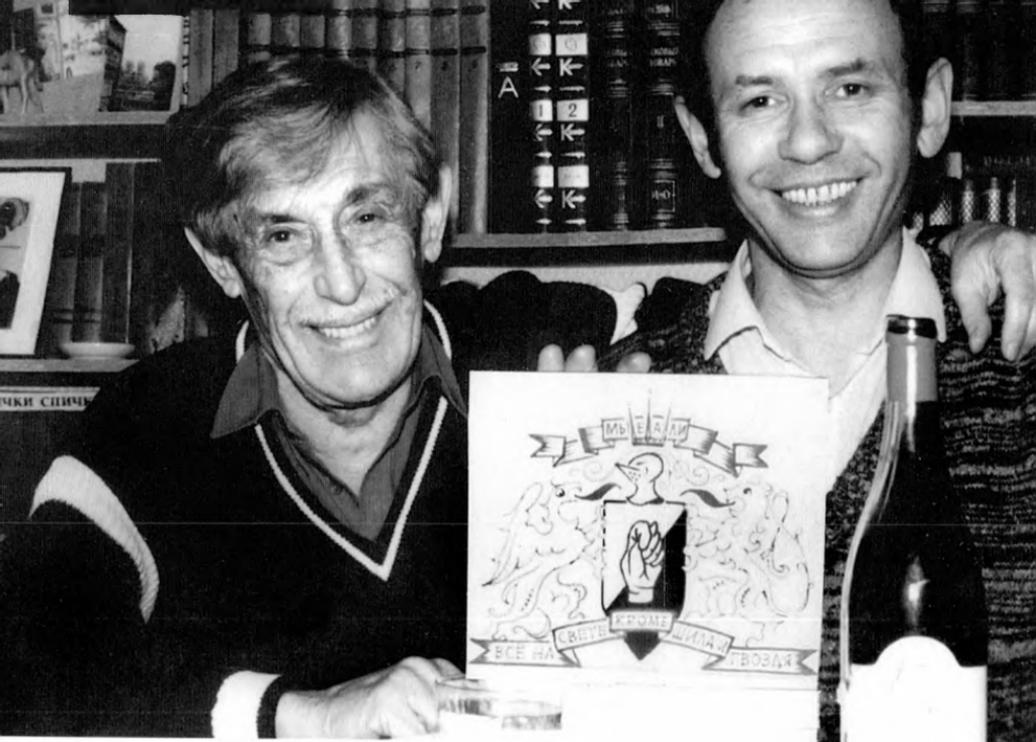


Дорогому  
Вите-мудак Вика  
25/II 82

Ю.А.  
1981



Некрасов всегда писал сидя, обязательно мягким карандашом, положив на колени предназначенную для этого картонку, истёртую, с обгрызенными углами. На её обратной стороне изображена литография какого-то синего цветка... Ванв, ноябрь 1986



Так Вика придумал название этой книжки



и пылко пьющая поэтесса с пшеничными усиками а-ля Лермонтов. Кроме того, Олег сел рядышком с двумя приветливо открытыми бутылками водки.

Через некоторое время Тоне Целковой стало ясно, что раздолье это надо обуздать — Олег уже крепко принял и даже пытался чуть вздремнуть. Отвлекающим манёвром недопитая бутылка водки возле живописца была заменена такой же, но с водой из-под крана, чуток покрашенной для запаха спиртом.

Пришедший с опозданием художник, адепт нефигуративного искусства, пролез по телам сидящих за столом и уселся рядом с Олегом, потирая руки и примериваясь к стакану.

Здорово, друг, экспрессивно вскричал подрёмывавший до этого Целков, ты вовремя пришёл, давно пора выпить, давай посуду! Тронутый радушием, нефигуративист подставил стакан, тут же наполненный спиртопахнущей водой. Поехали, зашумел ещё громче Олег, чего ждём! Хватил залпом стакан и крикнул, эх, мол, пошла соколом!

Вслед за ним сосед тоже опрокинул стопку.

И замер, поражённо глядя на Целкова, суетливо закусывающего винегретом. С глубокой опаской понюхал бутылку, снова налил и отпил для пробы. Молча полез по коленям гостей вдоль стола, ища, где приткнуться, так и не поняв что к чему.

Потянувшегося к другой бутылке Олега в спешном порядке извлекли из-за стола и увели домой. Благо они жили рядом.

## Книги для старшего возраста

Сколько раз парижские записки Некрасова сравнивались с путеводителем! Дескать, они мало чем отличаются от Бедекера. Пеняли и Синявские, и Максимов. И Ефим Эткинд намекал, вроде бы в шутку.

Не понимают они, говорил мне Вика, что это моя давнишняя мечта! Бедекер по Парижу! Вот возьму и напишу! Да такой, что все закачаются!

Некрасов так и не написал отдельной книги о Париже. Но я не поленился, собрал буквально все его парижские отрывки, абзацы, фразы — упоминания о Париже за все времена, начиная с «Месяца во Франции» в начале шестидесятых, и состряпал из этого месива достаточно плавное повествование.

Альбом с текстом был разукрашен гербами Парижа. Сколько времени я профукал, исколесив все туристические места и обегав все парижские ларьки с сувенирами, ища разные гербы! То в виде наклеек, то как открытки, то в форме тканых блях и нашлёпок. Получилось пухло и аляповато.

Труд был преподнесён Виктору Платоновичу на очередной день рождения. Озабоченный лёгким похмельем, В.П. поблагодарил без лишних слов и положил альбом куда-то на верхнюю полку, в загон. Я слегка обиделся.

И только после смерти В.П. понял, что у меня осталась своего рода книга-калейдоскоп, разрозненная, как лоскутное одеяло, но уникальная — недописанный, иногда как бы с чужого плеча, чуть бессвязный, но всё же тот самый некрасовский Бедекер!

Не надо быть таким уж проницательным, чтобы догадаться о главной парижской теме Некрасова.

Книжные магазины!

С книгами была прямо-таки казнь египетская! Периодически, раз в месяц, Некрасов шёл в книжный магазин и терял голову: «Остановись, безумец! Стой! Не надо!!! А сам бреду к кассе...»

Особую слабость питал к энциклопедическим словарям «Лярусс». Там в двух словах разъяснялись любые вопросы. Но главной бедой были книги по искусству. Вот где Вика

действительно не останавливался перед расходами! Роскошные, неподъёмные, малотиражные издания.

Зная за собой эту пагубную привычку, он придумывал хитрые маршруты, чтобы избежать книжных магазинов, как пьющий картёжник старается обходить стороной казино с бесплатным баром.

— Господи! — причитал в магазине Вика. — Жить не хочется, какие красоты, какие чудеса полиграфии! А Париж, посмотри, Витька, Париж-то!..

Париж вчера и сегодня, и старый, и таинственный, и уходящий, и подземный, и закатный, и с мостами, и с птичьего полёта... Впрочем, с альбомами о Париже он успокоился довольно быстро, успев, однако, уставить ими целую полку...

— Ну как было не взять этого Босха, глянь на это чудо! — плаксиво оправдывался В.П.

И как не прикупить неподражаемых фотографов — Дуано, Гамильтона, Уазо, Картье-Брессона, Brassая или Роберта Капа?! Да и Джина Лолобриджида — блеск!

— Куда столько закупать, Виктор Платонович? — почти раздражённо спрашиваю я.

Мама смотрит иронично и печально. Мила отказывается понимать! В.П. настроен примирительно.

— Нічого, нічого, меньше пропьё! — отвечает он мне словами киевской домработницы Гани. — Да и тебе в наследство останется...

До книг было кино. Пока интерес к западным кинофильмам как-то не рассосался.

Некрасов нередко и как бы с удивлением заводил об этом разговор.

Это раньше, мечтательно вспоминал он, в Киеве или в Москве все рвались на французские, итальянские, амери-

канские фильмы, по контрамаркам, на закрытые просмотры. Посмотреть, полюбоваться, окунуться, пометчать... Незнакомая жизнь, удивительные города, нездешняя любовь... Запотевшие бокалы, меткие пули, дым сигары, полыхающий камин... Даже их бедность была для нас пышной и живописной. А теперь это соблазнительное житьё на всех углах и во всех кинотеатрах и журналах — иди, смотри, наслаждайся! Или скучай — всё под боком!

В начале эмиграции в кино нам ходилось охотно. Покупал билеты, естественно, Некрасов, он же и выискивал, что и где идёт.

Первым делом просмотрели всего обожаемого им Феллини, благо многое помнили по Союзу. Кстати, «Ночи Кабирии» он смотрел в Киеве чуть ли не десять раз, как он уверял, а глаза Джульетты Мазины вошли в его жизнь, так прямо и говорил! Да ещё неустанно пересматривались все фильмы с беззаветно почитаемым и обожаемым Жаном Габеном.

Они с Милой продолжали ещё тройку лет усердно посещать кинотеатры, у меня не стало времени, да и сильно уставал на работе.

И вот негаданно подкралась такая обидная напасть — западное кино приелось!

Некрасов, слывший среди домочадцев знатоком французского языка, с каждым походом в кино всё более убеждался, что он просто без толку коротает время в мягком кресле. Его французского не хватало, он почти не понимал, что происходит на экране, не успевал одновременно следить и за действием, и за диалогом. Да и монологи были неясны.

Феллини и Хичкок поднадоели. А потом западные кинофильмы откровенно стали раздражать — Пазолини, Годар, Кубрик, Куросава... То чересчур глубокие для тебя стра-

сти, то мало трогают драмы героев, а то и просто всё ускользает — и смысл, и подтекст, и сюжет.

Если же на беду попадаешь на новую комедию, то потом не можешь отделаться от щемящей мечты стать серийным убийцей. Порешить бы всех соучастников съёмки, горько шутил Некрасов, начиная со сценариста и режиссёра!.. Оставались лишь вестерны да боевики, погони и лихие драки, скупая на слова любовь, ловкий драчун Брюс Ли, трюки Жан-Поля Бельмондо и вечный Чарли Чаплин.

Советские фильмы шли раз в неделю в кинотеатре «Космос» на Рю де Ренн. Некрасов смеялся после сеанса — какая удача, всё понятно! Он и Мила исправно мчались на каждый фильм, не пропускали ни одного. Не обошли вниманием ни «Мать», ни «Землю», ни «Путёвку в жизнь».

Модны были фестивали Панфилова и Инны Чуриковой — Некрасов обожал эту актрису. Фестиваль фильмов Тарковского. Некрасов радостно сообщил мне, что очередь за билетами такая же длинная, как в Киеве за апельсинами. Фестиваль Дзиги Вертова, и Шукшина, и Хуциева...

В парижские театры Виктор Платонович и раньше ходил без особого трепета. Увидев же «Три сестры» в постановке признанного гения Питера Брука, забежал ко мне вечером после спектакля, чтобы слегка поскандалить, отвести душу. Представляешь, Солёный и Тузенбах пьют коньяк прямо из горла! Какое варварство так измываться над Чеховым! Больше ни ногой! Чаша была переполнена, и Некрасов вроде бы совсем махнул рукой на французскую Мельпомену.

Но не тут-то было. По долгу службы, чтобы рассказать об этом по радио, Некрасов пошёл-таки на «Вишнёвый сад», поставленный всё тем же неугомным Бруком.

Через пару дней, чтоб поддержать разговор за чаем, я от нечего делать поинтересовался, мол, как спектакль? Вика

поднял плечи, поджал губы, закатил глаза и так и застыл на несколько секунд, соображая ответ.

— Как говорил Никита Сергеевич, — начал В.П. задумчиво, — это не для стенограммы! Но охарактеризовать, на мой взгляд, постановку в двух словах можно — полная фуйня!

И давай возмущаться! Весь спектакль актёры ложатся на пол и долго лежат, а лакей Яша даже вроде совершает адамов грех на полу же с Дуняшей... Да ещё три часа надо просидеть на каких-то подушках, потом невозможно подняться! Вместо сада, белого-белого, обычная облезлая стена. Но главное, главное — актёры общаются не с партнёрами, а напыщенно сообщают в зрительный зал выученный текст! Слегка успокоился, что поделаешь, дескать, такому, как он, рутинёру и ворчуну, нужны и цветущие вишни, и чайка на занавесе, и вообще ему настоящего Чехова хочется...

А тут друг ситный Вася Аксёнов пригласил на свою пьесу «Цапля»! Спектакль давали в известнейшем театре «Одеон» — кто из авторов не мечтает об этом!

Как почти везде в парижских театрах, зал небольшой, и мы сели в третьем ряду, за супругами Аксёновыми. Где-то в стороне сидели Максимовы. Пьеса была и написана, и поставлена в современной манере, с новациями, то есть на сцене происходит всего понемножку и вразнобой. Произносятся монологи и диалоги, действующие лица самые разнообразные, в том числе и героиня — птица цапля. В чёрном, с крыльями.

Запомнилось, что по ходу сюжета она совокупляется на сцене с одним из персонажей, чуть в стороне, как бы неназойливо, но тем не менее со скрытым смыслом.

Затихнув вначале, Вика явственно вдохнул и посмотрел на меня, мол, что за фуё-муё, прости господи! После финальных аплодисментов Вика сообщил повернувшему-

ся к нему автору, что лично он, будучи ретроградом, всё же предпочитает систему милого старика Станиславского. А такие вот изыски не по нему! И похлопал Аксёнова по плечу, как бы ободряя друга в беде. Тот обиделся маленько, но, будучи добродушным, об этом никогда не вспоминал. И продолжал дружить с Некрасовым...

Ни балета, кроме, помню, Кировского, ни оперы Некрасов и раньше не жаловал, ни в своём отечестве, ни в изгнании. Исключение было сделано только ради старинного приятеля Андрея Вознесенского.

В конце 1983 года тот привёз в Париж свою рок-оперу «Юнона и Авось». Ставили в театре Пьера Кардена, поклонника поэзии Вознесенского.

Перед премьерой Андрей обзвонил всех знакомых парижан, пригласил на спектакль, оставил в кассе контрамарки. Некрасов его любил, они прониклись приятелью ещё во время их первого путешествия во Францию. И в Киеве, и в Париже в кабинете Некрасова висела классная фотография, где они вдвоём, очень крупным планом, в обнимку, подвыпившие, хохочут. Андрей звонил каждый раз, когда приезжал в Париж. Приходил на чай, болтал с мамой о театре, дарил книжки с приятными надписями, присылал билеты на свои выступления. И вообще, не забывал наших стариков.

В театр мы пошли с опаской, кто его знает, чем все эти рок-н-роллы обернутся. Уселись на почётных местах. Раскланялись с многочисленными отщепенцами, хотя присутствовала и первая эмиграция. Половина зала была отдана советскому посольству. Хлопотала московская кинохроника. Музыка, мелодичные арии, спектакль пошёл. После первого акта В.П. конфузливо сообщил, что он абсолютно не скучает, и актеры хороши, и стихи, и всё остальное... После занавеса, когда все захлопали, киношники навели на В.П.

в упор камеру, долго снимали. Потом поменяли ракурс съёмки и попросили ещё похлопать. Вика исправно рукоплескал. Я учинил для кино одобрительную гримасу. Посольские с тактичным недоумением оборачивались: что это там за персона...

Некрасов похвалил Андрея в своей передаче на «Свободе», мне тоже всё понравилось, что неудивительно — Вознесенский был моим давнишним кумиром. Поэтому мы с Мишей страшно засуетились, когда Некрасов торжествующе объявил по телефону, что они с Вознесенским едут к нам в гости. И свита его, пошутил, сопровождает.

В свиту поэта входили приятнейшие люди — Мишель Окутюрье, Жорж Нива, Юра Филиппенко, Катя Фёдоровна Эткинд, ещё кто-то, не припомню. Гости привезли печенье и пожелали ограничиться чаем.

Выпив чая, Вика пристал к Андрею: прочти стихи, порадууй!

— Что прочесть? Я все свои стихи помню! — поэт оглядел компанию.

Все потупились, никто не знал названий. Я, как говорится, зардевшись, попросил «Пожар в архитектурном институте». Виктор Платонович шумно загордился, каков, мол, пасынок, всё знает, а?!

Андрей читал стихотворение по-своему монотонно, а Некрасов смотрел на него не отрываясь и улыбался...

Когда кинофильмы и театры поднадоели, начал наш дорогой писатель возвращаться потихоньку к вечным ценностям — копанию в бумагах, росписи тарелочек, возне с альбомами, чтению нетленных классиков, писанию писем и вечерним чаепитиям.

Телевизор включал редко, в основном хронику о войне. Иногда — новости, репортажи из России и Польши. За компанию с Окуджавой даже смотрел чемпионат мира по

футболу. Смотрел прилежно, мало чего понимая, следя за реакцией Булата. В нужном месте охал или азартно покрякивал. Мы над ним издевались...

Главной же отрадой Некрасова оставались книги. И чтение, чтение, чтение...

В то время русский книжный магазин «Глоб» был возле метро «Одеон». Продавались в нём исключительно советские издания. Да и содержался он на советские дотации.

Две большие комнаты, прилавки, шкафы с книгами.

Какие книги! Редкостные, которые невозможно было купить в Союзе. Булгаков, Шукшин, Ахматова, Ремарк, Распутин, Окуджав, Дюма, Фицджеральд, даже Хармс. Да что там говорить!

Здесь они лежали корешками вверх на столах — бери и покупай. И мы покупали, забыв о режиме строгой эмигрантской экономии, теряя голову при виде такого богатства. Заходили туда и советские туристы, охали и постанывали, смотрели с ужасом на цены.

Директор магазина Ольга Михайловна Некрасову благоволила, бесплатно давала ему домой читать газеты, «Новый мир», «Юность», «Дружбу народов». Усадив его возле себя у кассы, всегда обстоятельно выспрашивала мнение о писателях и книгах. Меня уважительно называла «мсьё», делала солидные скидки и иногда позволяла себе легонько осуждать политику.

Не счастье денег, оставленных Некрасовым в «Глобе»! Как всегда, после каждого разорительного посещения он скорбно глядел на меня и давал обет книжного воздержания. Но через недельку звонила Ольга Михайловна, мол, у нас новый завоз, не желаете ли ознакомиться, ждём! И его, как пьяного в пивную, ноги сами туда несли.

Смех смехом, но что возразить Виктору Платоновичу, когда он пишет: «Я думаю, что книги, возможность их чи-

тать, не озираясь, не прячась, не за одну ночь, — это главное счастье для человека...»

Недалеко от «Глоба» была ещё книжная лавка Каплана. Скорее это было некое книжное кладбище или колумбарий, но никак не букинистический магазин. Просто от пола до потолка горой во всех углах пылились и жухли тысячи книг, изданных в Союзе десятилетия назад, но так и не проданных. Неудивительно, что и покупателей было кот наплакал.

Но сам старичок Каплан нравился Вике, и каждый раз они обязательно шли в соседнее кафе и часок толковали о довоенной жизни.

Лавка на это время запиралась...

## Вермонтский педагог

Из Америки Вика вернулся в раскрепрасном расположении духа и прямо в аэропорту Шарль де Голль потянул, по добром обычаю, меня к бару — душа горела выпить, не было мочи! Начал показывать сувениры. Хвастался фотографиями и выкладывал впечатления. Почти месяц проработал он преподавателем в русской школе в Вермонте.

Приглашение сварганил Василий Аксёнов. Осенью 1982 года пришло от него письмо: «Я говорил с руководством, они очень заинтересованы тебя заполучить для взаимных наслаждений... Главное же, это настоящая дача, “воздух свеж, как поцелуй ребёнка” (М. Лермонтов), и русское общество. В любой момент с бутылкой можно завалиться к Сане С... (А.И. Солженицын. — В.К.). Мы туда тоже планируем приехать на две-три недели. Было бы чудесно вместе там побродить».

В Вермонте за это лето с Некрасовым увиделись чуть ли не все знакомые американцы.

Вместе со старинной приятельницей по «Ленфильму» Светланой Гельман катались по штату, заезжали к Солженицыну.

Некрасов усмехнулся:

— В студенческие годы у нас в Киеве шутили: «Пойдём в ресторан! Посидим у швейцара». Так и мы с визитом к Саше — подъехали к воротам, посмотрели на замки и решётку и поехали дальше...

Но зато в Луна-парке прокатились на старинном паровозе. Там же, поддав для задора с Мишей Моргулисом, дурачились и фотографировались на стволе громадного танка «Шерман». Повидался в школе и с Аксёновым, Коржавиным, Андреем Седых. Бережно вынес и привёз в Париж очень благоприятное впечатление от прощальной студенческой попойки.

Сейчас Вика вручает мне новую книгу Аксёнова «Право на остров» — «Дорогому другу Вике Н., покачиваясь на зелёных холмах Вермонта. Твой Вася. 8.2.83».

— Покачиваясь как бы на волнах безбедной жизни в русском университете, так, что ли? — подшучиваю я.

— Ты совсем оторвался от реалий! — хмыкает Вика. — Какая безбедная жизнь! Крепко загатили с ребятами, вот и покачиваемся.

А непьющий Вася, мол, от зависти намекает на это оскорбительным образом.

— Но утром на занятия! Никаких вольностей натошак! — говорит Вика и поглядывает на меня, верю ли я?

Мне верится в это мало, но не оспариваю.

Из письма ко мне от 25 июня 1983 года из Норфилда, штат Вермонт:

«Дорогие мои ванвяне!

Как жизнь? Моя — прекрасно! Сегодня проводил моих ленинградцев из Рочестера — Гельманов, Светлану и Ев-

сея. Неделю погостили. Были первыми, кто встретил меня, ожидая уже на веранде. Жили в гостинице, но общались круглосуточно. Катались на их дырявом, ржавом старье по всему штату. Даже солженицынский забор-сетку видали и сфотографировали ворота с какими-то фотофиксирующими установками. Вокруг красота, зелёные холмы, а он окопался в каких-то дремучих зарослях, ни ветерка, ни дуновения.

Живу в маленьком, симпатичном домике, в двух шагах от нашего Norwich University. Это оказывается древнее военное училище (1819), на лето сдающее свои роскошные помещения. Маленький городок с медными пушками. Соседей у меня двое... Живём мирно. Вечером пьём чай. Недалеко от меня Эмка Коржавин. Не закрывает рта, тем не менее влюбил в себя моих ленинградцев. Лекций у меня — 3 в неделю, по 50 минут — для аспирантов. А я называюсь профессором. Записалось ко мне 7 человек, но ходят ещё и вольнослушатели. Толку от этого, по-моему, никакого — я заливаюсь соловьём, а они не понимают. По вторникам вечером должен делать ещё и доклады — это уже для всех, в основном русских, насколько я понял... Погода. Была дикая жара. Сейчас недикая прохлада... Вот так-то. За сим обнимаю. В.».

Будучи чудесным рассказчиком, Виктор Платонович педагогом был никаким. Не мог чётко представить себе, что интересует студентов. Был уверен, что они только и мечтают услышать окололитературные истории, анекдотики и забавные случаи, происшедшие во время творческих вакханалий. Либо оценить его язвительные выпады или жалящие иронией пассажи в адрес официальных, то есть неизвестных за границей, советских писателей.

Иногда он раскрывал «Правду» и принимался язвить:

— Статья «Героические будни»! Какой образец яркой ахиней! Каждый героический или символический акт дол-

жен происходить изолированно. Поэтому выражение «героические будни» такая же глупость, как и «зримые горизонты коммунизма»!

С удовольствием цитировал Эйнштейна: «Теория — это когда ничего не работает, и все знают почему. Практика — это когда всё работает, и никто не знает почему. В данном случае теория и практика шагают в ногу — ничего не работает, и никто не знает почему».

— Как у нас в Советском Союзе! — восклицал Некрасов. Студенты недоверчиво помалкивали...

Вермонтские контакты налаживались после лекций, при этом Некрасов достигал труднодоступных высот, в том числе и педагогических...

Сейчас, в баре аэропорта, Вика с хитрым видом запускал руку в сумку и выуживал сувениры.

Разглядывая все эти ерундовины, я корчился от зависти. Ведь я тоже был «вещистом», как любил говорить о себе В.П., и всеми фибрами души разделял с ним эту страсть. Тягу к малонужным, не используемым в повседневной жизни предметам, которые раньше называли безделушками.

Фигурки, паровозики, гномики и тролли, самолётики, солдаттики, медальки, бирюльки, фиговинки и сувенирчики — по-некрасовски штучки-мучки. Всё это повергалось быстротечному любованию и устанавливалось на книжную полку, этажерку или складывалось в бесчисленные картонные коробки.

Рассказывал Вика о своей страсти и устно, и в письмах, и в книгах, искренне считая, что всем это интересно так же, как и ему самому...

Некрасовский «Сапёрлипопет» вышел в 1983 году с подзаголовком: «Если бы да кабы, то во рту росли грибы...»

Подзаголовок был понятен всем в отличие от заглавия. Что за «Сапёрлипопет»? А означает это вышедшее из употребления «Чёрт возьми!».

Некрасов писал «Сапёрлипопет» в Женеве, у Наташи и Нино Тенце.

Написав размашисто «Конец!», решил несколько дней попить всяких вкусных напитков, на радостях и вообще, чтоб навык не потерять.

Так как вкуснее водки трудно что-либо вообразить, выпивка слегка затянулась...

Что ищет пьющий человек у своего окружения? Соучастия, сочувствия, понимания и тихого уважения. В Женеве ему всегда удавалось получить от хозяев всё, кроме соучастия. Правда, и с пониманием иногда возникала загвоздка. И тогда вызывали из Парижа меня...

«Сапёрлипопет» начинается с иносказания, «что было бы», с описания Союза глазами мнимого иностранца, а Парижа — глазами выдуманного парижанина. Всё это — чистейшей воды ностальгия, грусть по утраченному, по дому.

«Хочется сравнивать и говорить. О той дурацкой и забываемой жизни, которая тебе так знакома. И так дорогá. О жизни в Союзе».

Кому вы это всё рассказываете, Виктор Платонович?

На этот вопрос Достоевский отвечал: «Я пишу для себя».

Определённо думаю, что и вы выговариваете душу! Пишете обо всём — обмане, лжи, хамстве, о красоте Крещатика, о водке и пьяных разговорах. Все впечатления, вывезенные десять лет назад, и все мысли, обдуманые за это время здесь, приписывались странному гибриднему герою «Сапёрлипопета», некоему русскому, как бы выросшему во Франции.

Автор прикидывает различные варианты.

Реальные факты биографии, сценарии кошмарных снов. Вполне возможные, иногда выдуманные, а может и нет, ситуации. Всё время мы настороже — где тут правда, где выдумка, где их хитросплетения? А это было или нет? А это кто? О чём это он? Некрасов добился своего, замотал перемнами и перестановками.

Излюбленные выкрутасы фантастов — возврат из настоящего в прошлое и перескакивание в будущее — он применил к своей жизни, нарушив известный нам заранее ход событий, крутя и так и этак свою биографию.

Ребячество? Не скажите! Плотный, с затейливыми подробностями рассказ, как обычно у Некрасова. О чём? Так я же сказал, о своей жизни. О людях, в основном о других писателях. О смысле жизни. Его, конечно, жизни. И опять же — о порядочности. О чести и долге. О дружбе.

Читатель обязан с полуслова понимать что к чему. «С острым глазом и чутким ухом» — это не автор, а его читатель должен быть таким.

В «Сапёрлипопете» Вика признался, что писал под Гамсуна и Хемингуэя. А я добавлю, что ещё и под Ремарка, и под Писемского. И под Виктора Некрасова, то есть себя. Компания приличная, что и говорить...

Вечный вопрос впервые попавших во Францию — почему лимонад в кафе дороже вина?

А стакан кипятка с долькой лимона и пакетиком чая за столиком на тротуаре не уступает по цене бутылке водки в супермаркете? Почему морковка дороже апельсинов? А бананы дешевле картошки?

— Это необъяснимо, как происхождение жизни на Земле! — смеялся Виктор Платонович.

Первое время мы тоже не переставали удивляться.

Скажем, в дорогом ресторане, бестактно заглянув в поданный пригласившему нас французу, захватывающий дух счёт, Вика, потрясённый, возопил:

— И за что так дерут?

— Как за что? — ответил француз. — Вы ведь платите не за продукты. А за мгновение жизни, за миг удовольствия. И это стоит очень дорого!

Некрасов поутих и вежливо покивал — якобы ощутил что-то необыкновенное, в виде мига...

Кстати, об удовольствии.

Однажды мадам Мартини пригласила Некрасова в принадлежавший ей ресторан «Распутин», удивлявший своими ценами даже нефтяных шейхов. Увязались и мы с Милой. Чего там неудобно, растолковывали мы несколько сконфуженному В.П., скажите, мол, детей дома не с кем оставить. Еле уговорили...

Мадам Мартини встретила писателя с вежливой радостью, похвалила за сообразительность, дескать, правильно сделали, что пришли все вместе. Она хорошо говорила по-русски, просила называть её Элен, пригласила в отдельную ложу. Немедленно на стол поставили шампанское, которое мы также в мгновение ока выпили. Сразу же появилась вторая бутылка. Так продолжалось весь вечер, пока в зале шла большая программа.

Мы с Милой пилились на публику, посматривали на русских танцоров и певцов, на цыган всех национальностей и поглядывали исподтишка на легендарную Элен.

Она оказалась полькой, пила только чай в подстаканнике и весь вечер проговорила с Викой. О войне, которую она помнила подростком, о Варшаве, о концлагерях, о немцах, евреях и русских. Распрощались они, насколько мне удалось запомнить после шампанского, хорошими приятелями.

...Нам прожужжали уши: кавказский ресторан, дёшево, обильно и вкусно, хозяин понимает по-русски, обязательно загляните! Называется, иначе нельзя, «Золотое руно».

Договорились с Юрой и Наташей Филиппенко, позвали Эдика и Таню Зелениных и заказали столик на субботу.

Мама была в Медоне, и Вика один-одинёшенек вялоковырялся в бумагах в кабинете. Оживлённо согласился на моё приглашение поужинать. На водку пообещал не зариться, а кавказского вина он давно не пил, да и сейчас не тянет...

Я иногда раздражался, видя, как Вика забывал о возрасте. Ничего страшного, если он неутомонно бегал с молодёжью по городу, но дело принимало серьёзный оборот, когда он с энтузиазмом включался в питьё крепких напитков. Вместе с молодыми парнями или их подругами, особенно охочими к балдению в парижских кафе.

— Не надо вам за ними гнаться! — грубил я и тянул его домой.

Виктор Платонович иной раз как-то печально соглашался, но бывало, отмахивался и не менее грубо посылал меня. Это означало, что наш писатель уже славно выпил и прекращать праздник души не собирается. Я не обижался, хотя раздражался уже гораздо внятнее, а Викины молодые собутыльники начинали тревожно поглядывать...

Мы с Таней Зелениной решили осуществить давно продуманный вариант. Водка в ресторане непомерно дорогая, много не выпьешь, а воду подают в графинах. Манёвр напрашивался сам собой — принести с собой бутылку и перелить в графин.

Профессор университета, вдобавок французский интеллектual, Юра Филиппенко пришёл в ужас: мол, это не разрешается, какой будет срам, если официант разоблачит

и ославит! Его засмеяли: ничего, от такого стыда ещё никто не умирал, и мы переживём.

Некрасов наблюдал за нашими происками с живейшим интересом, Эдик посмеивался, Мила с Наташей всё-таки немного волновались. Заказали для писателя кавказское вино, алчно выпили всю воду, и я, не дрогнув рукой и душой, перелил под столом водку в графин. Попробовали по первой рюмке. Всё шло на редкость гладко, выпили ещё и ещё. Начали шуметь.

Официант, видя, что воды в графине осталось совсем немного, потянулся, чтобы принести свежей. И отскочил в страхе от дружного вопля: «Нет! Не трогать!» Дико посмотрел на этих странных русских, отошёл, оглядываясь. С Юрой стало плохо. Вика обрадовался до хохота, а мы принялись за кавказские вина. Вечер удался как никогда! Юра ещё долгие годы холодел при напоминании об этом вечере, отказывался понимать, что тут смешного.

Француз, ему простительно!

## Владимир Максимов

По-французски наших эмигрантов печатали на волне моды, иногда из-за искреннего интереса к диссидентам, но чаще все-таки благодаря французским книжечкам, которых привлекали известные по газетам русские имена на обложках.

На французский язык массовыми тиражами издавались единицы — Аксёнов, Зиновьев, Солженицын... Переводчики были виртуозные! Переводили и Некрасова. Очень хорошо переводили, несмотря на чудовищные трудности с толкованием его бесконечных намёков и недомолвок.

Но как можно добротнo перевести на иностранный язык восхитительную Тэффи, того же Хармса, пленительно-

го Дон Аминадо или сублильного Венечку Ерофеева?! Как вызвать интерес иностранца к Замятину, восторг от Довлатова? Как увлечь его Шукшиным? Как заставить улыбаться юмору Аверченко?

Об этом Вика пространно толковал за чаем с Ефимом Эткиндром и не соглашался с его, знатока французской литературы, доводами.

— «Мастера и Маргариту» перевели дважды? Прекрасно! — громко восклицал В.П. — Переведут и в третий раз, и в четвёртый! И всё равно не достигнут блеска Булгакова!

— Уже достигли! — горячился Эткинд. — А ты мне напоминаешь советского пьяницу-патриота, уверяющего, что только русские умеют по-настоящему пить!

— А что, скажешь, не умеют? — обижался за Россию Некрасов.

— Скопытиться через час не означает умения пить! — примирительно возражал Фима.

Некрасов с жалостью смотрел на профана-профессора, забыв о причине высокого спора...

На своё пятидесятилетие Владимир Максимов был восхитительно трезв.

Пришедший позже всех Некрасов, применив борцовский захват, сжал в объятиях обалдевшую от такой фамильярности Наталью Михайловну Ниссен, дружески хватил по спине ладонью поэтессу Наташу Горбаневскую и перевернул блюдо с пирожками. Классик-изгнанник был в крепком подпитии.

— Водички газированной не хотите, Виктор Платонович, или, может, птифур возьмёте? — наигранно залепетала Мила, стараясь отвести В.П. от уставленного водкой и вином стола.

— На фуй птифур! — пытался улизнуть В.П. — Где Володя? Володя, ты где?!

Подошедшего Максимова Вика жарко обнял, одарив смачным поцелуем в ухо, громко объявил, что припас для новорождённого некий подарок. И достал из кармана «Красную Звезду», свой сталинградский орден.

— Вот! Награждаю за заслуги перед Россией! — шумел Вика, пытаясь прикрепить награду к пиджаку Максимова.

Тот страшно застеснялся, отводил руку с орденом — да что ты, Вика, зачем мне твой орден, да пошёл ты!.. Некрасов всё-таки запихнул орден в карман юбиляру и двинулся к столу с выпивкой, братаясь с незнакомыми дамами...

На следующее утро в конторе «Интернационала Сопротивления» Максимов протянул мне орден, попросил вернуть его, пожалуйста, Виктору.

— Когда придёт в себя, конечно. Ведь орден-то боевой, а не какая-нибудь медалька к ленинскому юбилею...

Зачем говорить об этом? Зачем афишировать? Чем хвастаться? — злится и дёргается моя жена Мила, отвергающая, по изъяну воспитания, мистицизм выпивки.

Не будем пока что обращать на неё внимание, поговорим по-мужски. Но если и женщины хотят послушать — пожалуйста!

Многое было в своё время высказано и изречено Виктором Платоновичем именно в момент слегка нетрезвой болтовни или же за необременительной бутылочкой. Да и совершенно тоже немало, и в самый разгар, и особенно после высокодуховного акта выпивки.

Разве вкусная выпивка не такое же почтенное и всепоглощающее увлечение, как страсть к скачкам, например? Или картам? Или к охоте на невинных зверюшек? Или уступает любовному ознобу при виде молоденькой соседки?

Читая об этом, мы же не протестуем, но покорно листаем книгу — что будет дальше?

Вот и я позволяю себе задерживаться на рассказах о водке и выпивке. В частности, о её роли в жизни Виктора Платоновича Некрасова.

Но вернёмся к нашим баранам, как говорят люди начитанные...

В начале восьмидесятых годов Владимир Максимов организовал «Интернационал Сопротивления», став его председателем. В комитет поддержки были приглашены все западные и эмигрантские светила антикоммунизма. В почётную дирекцию вошли прославленные борцы с советской властью — Владимир Буковский, Эдуард Кузнецов, Арман Малумян. Цель организации была благородной, обширной и непосильной — координация борьбы с тоталитаризмом во всём мире. Потом стало ясно, что с глобальным масштабом погорячились. Поэтому было решено сузить фронт до противоборства коммунизму в двух-трёх горячих точках планеты. Естественно, предусматривалось политическое объединение эмиграции.

Насчёт объединения надежды рухнули сразу. Но в остальном «Интернационал» в течение нескольких лет проявлял похвальную активность и завоевал солидную известность.

Всё держалось на Максимове. Он неукротимо увлекал всех, будоражил прессу, придумывал акции, выискивал средства, убеждал и подбадривал часто капризных соратников.

Главная контора престижно размещалась в трехкомнатной квартире на Елисейских Полях. Внизу было какое-то турецкое агентство, поэтому в те чреватые терроризмом времена у подъезда дежурил полицейский с автоматом. Что ещё более добавляло весу «Интернационалу».

Я был приглашён Максимовым в скудный штат. На полставки и на полдня. Справлял должность администратора.

Это включало обязанности завхоза, переводчика, ключника, шофёра, подсобника и архивариуса. Пособлял Максимова доверительными побегушками. Случалось, был его конфидентом. Дважды в год моими стараниями выпускался в свет увесистый обзор прессы об «Интернационале».

Мой стол стоял прямо в кабинете председателя, слева от входа, за невысокой этажеркой. Сам Максимов сидел лицом к двери в роскошном кожаном кресле, но за безрадостным канцелярским столом из листового железа. Принимая посетителей, всегда выходил навстречу. Если это был свой человек, здоровался мрачновато, прочим с натугой улыбался.

Несколько лет организация процветала, но потом перестройка свела на нет и сам коммунизм, и борьбу с ним. Причём о будущем светопредставлении нас чуть ли не за год предупредил почитаемый болгарский диссидент Ценко Барев. Молодо выглядевший, словоохотливый и ироничный, всегда отутуженный и благоухающий, он садился напротив Максимова и начинал разговор с шуток. Максимов к нему благоволил.

Вот и тогда, перейдя на полушёпот, Барев известил:

— Намечаются крупные пертурбации, господа! Уверен! Вот увидите. Через годик всё это и начнётся!

Максимов покивал скептически головой, мол, вашими устами да мёд бы пить. Барев повторил, повернувшись ко мне, копошившемуся за этажеркой:

— Точно, Виктор, так и будет!

Максимов снисходительно похмыкивал, и Барев не стал его переубеждать, прекратил геополитические прогнозы, перешёл на парижскую ерунду. А потом-таки через год или даже раньше вдруг венгерская компартия распустила сама себя! И понеслось!

Некрасов проявлял немеркнущий интерес к моим нечестным и монотонным рассказам об акциях «Интернациона-

ла». Помню, как горделиво сообщил он Льву Копелеву, что его Витька работает с Максимовым. Тогда Копелев, кстати, куртуазно порадовался такому головокружительному везению. Ведь Максимов, мягко выражаясь, активно недолюбливал Копелева и называл его в своих публикациях иносказательно и обидно — переводчик с немецкого. А Некрасов, напротив, очень хвалил Копелева как писателя и обожал как друга...

Уважаемые в левых кругах друзья-приятели Вики — Синявский, Копелев, Орлова, тот же Эткинд — считали Максимова малоспособным писателем, типичным советским журналистом. Антисоветчиком, сохранившим все советские привычки и повадки.

Максимов раньше работал в Москве в редакции журнала «Октябрь», а главным редактором был Кочетов, пользовавшийся славой литературного прохвоста. Кочетовский, как считалось, стиль максимовской публицистики, зачастую окаймлённый советскими оборотами речи, доводил наших эмигрантских снобов и блюстителей духа до иступления. Дескать, обратите внимание на этот газетный язык, на нехитрые штампы и гневные отповеди, достойные «Блокнота агитатора»! Хотя та же Мария Синявская не искала оригинальности, когда обливала грязью несогласных, обвиняла в бесталанности, тюкала и улюлюкала. Максимов тоже не оставался в долгу, оттягивал всю эту братию по-советски, как говорится, и фамилии не спрашивая, в континентском «В колонке редактора».

После выхода очередного «Континента» в некрасовской квартире начинались телефонные звонки.

— Ты уже прочёл твоего Максимова? — саркастически вопрошал Фима Эткинд. — Ни в какие ворота!

Иногда звонил Сима Маркиш, бурно проявлял чувства. Бывало, язвил Сергей Довлатов или подтрунивал Миша Гел-

лер. Некоторые из друзей Некрасова на «Радио Свобода» тоже отнюдь не питали приятных чувств к Максиму и с удовольствием поминали его недобрым словом.

Рана разногласий зияюще открылась, когда Максимов написал знаменитый памфлет «Сага о носорогах». Хлёсткий, безжалостный, во многом справедливый и пристрастный. Утверждая, что выпускают в Париж погулять и отовариться лишь тех, кто заслужил это своим поведением в Москве, Максимов назвал их носорогами...

Некрасов вернулся со встречи с Максимовым, принёс пару свежих номеров журнала, прошёл со скучным лицом в кабинет, но дверь не закрыл — значит, можно войти, поговорить.

— Ну как заседание в «Континенте»? — завязываю разговор. — Что Максимов?

— Максимов как Максимов! — вздыхает безысходно В.П. — Кипит Володя в монологе, ходит туда-сюда по редакции. И наливается гневом, твердит — мразь, какая мразь! Теперь вот ему покоя нет с его носорогами! А я, — разводит руками, — сидел и слушал...

Вот тебе и «Сага»! Максимов прямо в лоб написал, что чуть ли не весь литературный люд, приезжающий из Москвы в Париж, как бы засылается органами. В качестве агентов влияния. А здесь с ними носятся, наперебой приглашают в гости, а они, мол, не скрываясь, встречаются с нами, эмигрантским отребьем. Вынюхивают, доносят, поливают нас грязью. И роняют тут и там обидные слова об эмиграции...

Имён нет, но все мы, конечно, узнавали, о ком идёт речь.

Вика смотрит на меня, поднимает плечи и протягивает ко мне ладони: ну, скажи, скажи, разве похож Булат на носорога?! Это что же, Белла Ахмадулина — тоже носорог?!

И Елена Ржевская?! И Наташа Столярова?! И все хотят нас растоптать?

— Нет, что ни говори, Володя перебарщивает, нельзя же так! — Вика не находит слов, а я помалкиваю, чтоб не поджуживать.

Каким бы там ни был Максимов, но очень-очень многие его совковые хаятели и до, и после перестройки сладко мечтали напечататься именно в «Континенте». Меня не раз просили передать ему рукопись, не единожды доверительно подкатывались, чтоб я походатайствовал перед ним.

Борение идей и нороров происходило не только на верхнем ярусе — между «Континентом» и «Синтаксисом», но и на гораздо более мелком, скажем, полуподвальном уровне. С участием малоизвестных критиков, перебивающихся с хлеба на квас журналистов, никому не знакомых публицистов и выпускников литературных курсов. Все они в Союзе охотно относили себя к творческой интеллигенции.

К началу восьмидесятых годов стало вполне ясным, что неутомимая и едкая полемичность Максимова с критиками «Континента» и его жёлчная нетерпимость к вечным и случайным недоброжелателям журнала напроць не совпадали с некрасовским всепрощенческим подходом к людям. И даже просто-напросто претили Некрасову.

Их всё дальше относил друг от друга. Пререкаясь, они как бы глохли к доводам, взирали гневно или сурово сопели и не старались прервать спор. И оба вздохнули с горьким облегчением, когда произошёл разрыв. Но ненависти друг к другу не питали, я уверен.

Они всегда были антиподами. Ёж и уж, заяц и карп, лебедь и рак, лёд и пламя... И по рождению, и по воспитанию, и по прошлому, и по подходу к людям, интересам, по взглядам на мир, по отношению к недругам и политике.

А главное, несовместимы по складу характера! Они были настолько разными людьми, что просто удивительно, как не поссорились и не разошлись уже в первые месяцы их знакомства.

Несходство начиналось с одежды — Максимов всегда одевался в хорошие костюмы с галстуком, носил пальто и, когда прохладно, меховую шапку. Некрасов обычно был в джинсах и кожаной куртке, рубашку никогда не застёгивал на две-три последние пуговицы и голову не покрывал.

Максимов — резкий в оценках, кипучий и непримиримый. С наслаждением окунался в политическую борьбу. Работал как вол. Выделялся деловой жилкой, а если надо — хваткой. Некрасов — терпимый к противникам и ждущий терпимости от других. Какой бы то ни было борьбы избегал как чёрт ладана. Не гнушался ничегонеделанием. Бог оделил его не только деловитостью, но и простейшей практичностью.

Некрасов был склонен прощать мелкие пакости и не-крупные обиды, особенно хорошим знакомым, хотя настоящие подлости не прощал вовек. Максимов надолго свирепел от нападок, отвечал немедленно и очень резко, стараясь стереть в порошок обидчика или противника.

Некрасов любил матюгнуться, сплошь и рядом посылал по-братски собеседника на фуй, у Максимова же любимым ругательством было «Мразь!». Матерные слова он употреблял чрезвычайно редко, даже в экстремальных ситуациях и состояниях. Разве что в телефонном споре с Владимиром Буковским, бывало, разразится матом, чтоб лучше довести до собеседника суть общего дела. Но произносилось это укромно, что называется, среди своих...

Но было между ними и много общего.

Оба, Некрасов и Максимов, были широкими, бескорыстными и порядочными людьми. Максимов обожал свою се-

мью, по-своему, чтоб никто об этом не догадывался. Некрасов очень любил нас, тоже своеобразно, но не делал из этого особой тайны.

Оба беззаветно любили выпить. Да не на скорую руку, а обстоятельно и самоотверженно, до полной и многодневной нирваны.

Оба с готовностью помогали страждущим, алчущим и жаждущим...

Приехав как-то в Париж ранним метро, мы с Викой захотели пройтись. Дело было к зиме. Перед роскошной пивной на авеню Клебер стоял клошар с сиреневым лицом и дрожал с похмелья. Молча протягивал руку, но добрых людей в такое время было не густо. Потрясённый горькой людской долей, В.П. резко тормознул перед страдальцем. Сунул ему, как бы таясь, чтоб не ранить унижением, две десятифранковые монеты. Огорошенный таким даром небес, — сумма для подаяния была неслыханной, — похмельный человек назвал В.П. «господином директором», смахнул с его куртки пылинку и попытался пожать руку почему-то мне.

— Горит человек, хоть похмелиться теперь сможет, — сказал В.П., боясь, что его осудят за мотовство.

Но я его не осудил, хотя протянутую длань несчастного отверг...

От дома до конторы «Интернационала» было рукой подать, и Максимов всегда ходил на службу пешком. На скамейке возле метро «Георг Пятый», на углу Елисейских Полей, небольшая компания клошаров каждое утро лакомилась красным винишком из общей бутылки.

Приближаясь к честной компании, Максимов доставал приготовленную заранее мелочь и подавал её дежурному делегату. Благодарный делегат совершал церемонный поклон и произносил здравницу в честь щедрости его высокопревосходительства. Компания сердечно улыбалась.

— Добрый день, господа! Как дела? — стеснительно бормотал по-французски Максимов и торопливо удалялся под звучные одобрительные клики клошаров.

Однажды он вошёл в кабинет и взволнованно сообщил, что чудовищно попал впросак. Забыл дома кошелёк и оскандалился перед клошарами! Как бы не подумали, что он жмотничает! Одолжил у меня небольшую купюру и вернулся на угол.

— Неудобно подводить людей, они ждали меня, — решил потом оправдаться Максимов.

Я не одобрил подобного баловства, но и порицать не посмел...

Так вот, напряжение накапливалось уже давно, но открытую стычку я увидел впервые, когда в «Континенте» было напечатано письмо читателя из Союза.

Зачем Некрасов постоянно нам описывает мясные лавки, витрины и прилавки? Мы зубами щёлкаем, писал советский читатель, а он неуёмно нахваливает вкусноты и деликатесы! Напечатав письмо без ведома Некрасова, Максимов как бы намекал, что надо бы писать более серьёзные вещи.

Некрасов обиделся. При мне позвонил Максиму. Испугал меня своей грубоватостью. Долго выговаривался. Собеседник был не менее резок.

— В «Континент» я, видимо, больше ни ногой, — печально сказал мне Некрасов.

На этот раз, к счастью, пронесло, вскоре они встретились в редакции и решили отношения наладить.

В принципе они должны были разойтись давно. Но Максимов считал, что такой писатель, как Некрасов, непременно должен оставаться в редколлегии «Континента».

Некрасов же всегда утверждал, что «Континент» — очень хороший журнал, не превознося напрямую его главного редактора. Журнал и правда был как бы факелом

русской культуры среди многих других хотя и заметных, но, чего скрывать, гораздо менее ярких и лучистых эмигрантских изданий. Но на Максимова нет-нет да и обижался, раздражался всё чаще, причём чем дальше, тем раздражение становилось более видимым, не так скрываемым, что ли.

— Вот, блядь, не по мне это! — зашёл он как-то к нам поплакаться. — Эта борьба, гнев, выведение на чистую воду! А Володя требует, чтобы я участвовал в этой склоке. А я не люблю это! И лень мне! Как ты думаешь, Витька, может, стоит послать «Континент»?

Но когда так долго ожидаемая беда свалилась на голову, это показалось неожиданным.

Как обычно, позвонил Максимов, попросил зайти в редакцию, Некрасов сказался занятым, и разговор закончился перебранкой. Не помню точно, из-за чего они переругались, но Некрасов страшно расстроился, спустился к нам уже выпившим и, с опаской смотря на меня, сообщил:

— С «Континентом» покончено! Володя сказал по телефону, что мы порываем отношения!

Я был убит...

На второй день было получено письмо на бланке «Континента».

«Уважаемый господин Некрасов!

Ваше дальнейшее сотрудничество с журналом “Континент” в любой форме мы, то есть редакция, считаем невозможным. От имени редакции, В. Максимов».

Некрасов решил запить первым. Но перед этим отправился в подпитии на «Свободу» и показал письмо Гладилину. Тот возмутился и посочувствовал. Доброхоты тоже Некрасова успокаивали, мол, это всё к лучшему, поверь. Кем-то была снята копия с письма, что потом особенно взвинтило Максимова. Он очень волновался, непрерывно повторял,

как можно было показывать всем моё письмо! И где — на радио, в этом змеином гнезде! И кому — главным злопыхателям! Он поднялся из кресла в кабинете и говорил, глядя мимо меня, нервничал, сто раз перекладывал стопку бумаг. Попросил проводить его до дома, пригласил в кафе. Начал с пива. Долго рассказывал о неладах с Некрасовым, будто пытался мне всё растолковать. Я уже видел, что разрыв окончательный, и безутешно сожалел об этом...

Максимов после этого примерно ещё год выплачивал прежнюю зарплату Некрасову, пока на «Континент» не навалились ощутимые финансовые затруднения.

С самого начала эмиграции, ещё в первых письмах ко мне, Некрасов воображал «Континент» неким парижским вариантом «Нового мира». Где либеральные и талантливые авторы публиковали бы свои элегантные бесцензурные произведения. Колко посмеиваясь над советскими глупостями, тонко иронизируя по поводу геронтократии и живописуя западную свободу. За Максимова всегда заступались Иосиф Бродский, Эрнст Неизвестный и особенно Василий Аксёнов.

Некрасов и потом не перестал уважительно относиться к «Континенту», несмотря на растущую радикальность редактора журнала. Даже когда отношения с Максимовым стали скверными.

Я всегда всеми силами успокаивал Вику, упрашивал быть снисходительным к категоричности Максимова, смягчал, как мог, неприятный осадок от их перепалок в редакции. Убеждал: нельзя идти на разрыв, проливать такой бальзам на душу недругам и интриганам. Хотя я прекрасно понимал, что Виктор Платонович сдерживается из последнего.

Максимов видел в «Континенте» единственный и высший смысл своей жизни. И я знал, насколько искренне стра-

дает и переживает он при малейшем осуждении своего журнала. Не говоря уже о злобных, ехидных, несправедливых наскоках, совершаемых часто на хорошем журналистском уровне...

У Максимова в Париже, насколько я знаю, было совсем немного близких друзей.

С Андреем Тарковским они дружили, при встречах водили долгие разговоры. Да и по телефону не отказывались поболтать, часто при мне. И когда у того обнаружили рак, Максимов извёлся тревогой и жалостью к другу. Подробно мне рассказывал о последних встречах с Андреем, что тот сказал, как выглядит. Уткнувшись взглядом в стол и вертя карандаш, отгоняя страшную мысль, говорил тихо, что умирающему Тарковскому обещали улучшение, врачам можно верить...

Утром Максимов помолчал минуту, а потом так печально сказал:

— Вы слышали уже, Виктор? Тарковский вчера вечером умер.

— Ну, вот, Бог смилостивился, — ответил я. — Отмучился!

— Это-то да. Но какая беда! — ответил Максимов. — Просто плакать хочется!

Настоящим — вернейшим и любимым — другом Владимира Емельяновича была его супруга.

— Таня Максимова — это идеальная писательская жена! — любил повторять В.П.

Кстати, Таня не считала это особым комплиментом, улыбалась тихонько, говорила, неизвестно, радоваться мне при этом или огорчаться. Красивая, стройная и ироничная молодая женщина, она не повышала голоса и, казалось, никогда не раздражалась. Таню уважали все, а многие просто любили, считая за честь чем-нибудь помочь. Миротлюбивый

её характер вызывал часто как бы недоумение. Было удивительно, как она могла сохранять спокойствие, будучи рядом с перманентно бурлящим, требовательным и нетерпеливым Максимовым. А сам он на людях сдержанно относился к жене, наверняка очень её любя, но не позволяя замечать это другим.

Но наиболее ценная сторона характера, из-за чего Некрасов возвёл Таню в ранг воплощённого идеала женщины, заключалась в том невероятном и редчайшем факте, что она была абсолютно лишена гонора и показушности писательской жены общепринятого первообраза.

Образованнейшая женщина, всего насмотревшаяся и наслушавшаяся, Таня Максимова в основном помалкивала. А если говорила, то впопад, необидно шутила, смеялась по причине и умела слушать с таким доброжелательным видом, что собеседник воодушевлялся и заходил в красноречии. К тому же она была безотказным и неоценимым помощником мужу в редакционной работе.

Максимов пригласил в редколлегию «Континента» знаменитостей, влиятельных людей, повелителей бунтующих умов. Но работать никто из этого ареопага не стремился, а многие и просто не умели это делать.

Сказать, что штат редакции знаменитого журнала третьей эмиграции «Континента» был малочисленным, значит сильно преувеличить. Журнал держался, конечно же, на подвижничестве Максимова, главного редактора. Но приводился «Континент» в движение и воплощался в реальность двумя невообразимыми трудягами — Таней Максимовой и поэтессой Наташей Горбаневской.

Как представишь себе, сколько они работали, правили, копались в картотеках, прочитывали, считывали, переписывались с графоманами и отвечали авторам, печатали, дописывали и рецензировали, и как расскажешь всё это кому-ни-

будь, то нечего удивляться, если тебя примут за полного фантазёра. Помогали и изредка приходившие сочувствующие безработные дамы и барышни или начинающие авторы, но это время от времени и по пустякам. А по-настоящему тянули всё Таня с Наташей.

Но не будь Владимира Емельяновича Максимова, тyani не тyani, журнал заглох бы к третьему номеру.

## Зинаида Николаевна

Жёны усложняют жизнь, считал Некрасов.

И недоумевал, почему столько мировых парней, его друзей, добровольно ограничивают свою свободу или, хуже того, обращают внимание на мнения жён.

Жёны просто мешают мужской дружбе! Но с другой стороны, некоторых из этих жён он терпел или даже любил по-своему, чувствуя, что от них во многом зависит возможность общения со вселюбезными приятелями. Правда, от жён зависели также вкусные обеды и выстиранные рубашки.

Молчаливые хозяйки дома воспринимались Некрасовым как умные собеседники. Или, во всяком случае, заслуживающие одобрения.

Так что же, Некрасов был женоненавистник? Отнюдь! Очень ценил компанию, желательно не слишком многочисленную, красивых женщин. Он с удовольствием встречался и с любознательными молодайками, и с энергичными сверстницами, готовыми бегать с ним по достопримечательным местам.

Так что Некрасов абсолютно не был женоненавистником. Он был жёноненавистником. Он тихо и без нажима недолюбливал всех жён, забирающих у него друзей. Огра-

ничивающих общение, лишивших их возможности выйти с ним после выпивки, чтобы добавить где-нибудь. Жён, превращавших его друзей, славных ребят, в подкаблучников, похеривших мужское общение.

Дамам он ручки не целовал, под локоток брал редко, но был явно не против, когда его брали под руку или шутивно тормозили молодые женщины, обычно весьма разбитные и симпатичные особы. А хороший петербургский друг Некрасова Нина Аль утверждает, что Вика вообще всегда был окружён женщинами. Многие этому удивляются, непонятно почему.

Произведения Некрасова отличает крупное достоинство — в них отсутствует секс! Даже намёка нет на разнополую любовь! А уж однополый и подавно нет.

Сплошь и рядом читаешь у Некрасова: «Он влюбился в него» или «они сразу же влюбились друг в друга» — но это абсолютно не значит, что собеседники плотски возжелали один другого. Это любимое выражение — «влюбить» — означает, что автор был покорён, скажем, чьим-то остроумием, умением пить не пьянея или изящно издеваться над глупостью советской власти.

Грубо говоря, у Некрасова мужик лучше, чем баба. «Хорошая баба!» не значит, что женщина обязательно красива и стройна. Она просто во многом не уступает мужику — в энергии, юморе, любознательности, готовности мчаться с ним куда-нибудь в неурочное время. Правда, я говорю о творчестве последних двадцати лет.

Между нами, Виктор Платонович и раньше не увлекался описанием делишек любовных треугольников, кругов или многогранников. Вершина эротичности — я ехидничаю! — когда пару раз говорится о сдержанных свиданиях с оттенком половой привязанности. В лучшем случае в вещах Некрасова допускались мягко улыбающиеся жёны, всё

понимающие, молча накрывающие на стол и ни в коем случае не вмешивающиеся в застольный разговор.

С моей мамой, Галиной Викторовной, Некрасов познакомился в Ростовском окружном театре Красной Армии, перед войной.

Кроме участия в массовых сценах актёр Некрасов успел сыграть две заметные роли — офицера в водевиле «Своя семья, или Замужняя невеста» Шаховского и графа Кутайсова в спектакле «Полководец Суворов» Бахтерева и Разумовского.

А режиссёром в этом театре был мой отец, Леонид Алексеевич Кондырев.

До этого, во Владивостоке и Вятке, Вика попробовал подрабатывать на поприще театрального художника. Поприще это, судя по всему, отплатило ему чёрной неблагодарностью.

Как и меня подвело драматическое дарование. В отрочестве я сыграл в театре множество молчаливых персонажей. В основном на гастроях, на выездных спектаклях.

Моей первой и последней разговорной ролью был некий дворецкий. Пьесы не помню. Я был высокорослым отроком. Появившись из-за кулисы, в ливрее и пудренном парике, я должен был громко объявить:

— Их сиятельство играют наверху в бильярд!

И поклониться.

Я вышел, стукнул жезлом, произнес вызубренную реплику, но от волнения дал петуха. Последующую паузу я помню до сих пор. Она была бесконечной. Актёры на сцене молча хохотали, стиснув зубы и задержав воздух. Я удалился, забыв о поклоне, покрытый позором. Потом я играл ещё в десятках спектаклей, но бессловесно. Кого только я не воплощал в массовках — и второго невольника, и третьего зайца, и четвёртого раненого. Бунтовал на авансцене в негус-

той толпе, бегал туда-сюда по сцене со знаменем, падал со стоном, заколотый шпагой заговорщика. Получал я за выход десять дореформенных рублей.

Обожал гастрольные переезды из города в город. Ради экономии, предварительно получив, конечно, проездные, я путешествовал с сукнами и реквизитом. Наслаждаясь в кузове грузовика, уютно устроившись среди тюков и ящиков...

Достигнув юношества, я театр невзлюбил. Но к актёрам до сих пор отношусь сердечно.

Итак, вступив в труппу ростовского драмтеатра в сентябре 1940 года, Виктор Платонович сразу же начал приударять за моей мамой. Мама, по дошедшим рассказам, абсолютно не была этим оскорблена. До начала войны оставалось совсем немного. Мне, значит, был годик.

Мама вспоминала, а В.П. не опровергал, как она провожала его на фронт. На ростовском вокзале. В чём я не сомневаюсь. А вот то, что она держала на руках меня, — довольно маловероятно, это уже ближе к семейной легенде. Хотя к тому времени она уже не жила с Леонидом Кондыревым.

В июне 1941 года, будучи ещё актёром театра Красной Армии и имея броню, В.П. выступал в госпиталях, читал патриотические отрывки и стихи Николая Асеева, Иосифа Уткина и Виктора Гусева. Сгорая при этом от стыда — мужчины должны воевать, считал он. Через сорок лет он вспомнит об этом в «Сапёрлипопете»: «Всё же лучше, чем читать с эстрады Асеева».

Не цепляясь за броню, как тогда называли отмазку, пошёл в военкомат, и был призван в армию, и ушёл на фронт 24 августа 1941 года.

Была ли у них с мамой любовь на старости лет? Не думаю. Были некие отголоски довоенной близкой привязанности, отзвуки давней-давней нежности... Но во вре-

мя войны Вика помнил о маме, разыскивал её, писал в Киев и спрашивал, нет ли вестей от Галины Базий? Вестей не было...

Так вот, Виктор Платонович поначалу стеснялся своего брака перед приятелями и друзьями. И чтобы сгладить своё малодушие, Вика утрированно и даже раздражённо подчёркивал первое время свою независимость. Не упускал случая сравнить характеры своей матери, Зинаиды Николаевны, и Галки, моей мамы. Сравнение оказывалось не в пользу Галки.

Зинаида Николаевна дожила до глубокой старости, и В.П. запомнил свою мать спокойной, ироничной, всё прощающей и разрешающей, готовой на всё ради Викочки. Я бы сказал, что после смерти Зинаиды Николаевны он был явно склонен её обожествлять. «Маму я любил и люблю больше всех на свете, её мне больше всего не хватает — её ясности, весёлости, доброжелательности во всём».

Галка же была любовью далёкой молодости. А сейчас хотя и стала верным другом, но имела характер и привычки, не всегда присущие светлому образу любимой женщины. К тому же моя мама не любила сквозняков. Как и я, кстати.

Из-за пронзительных, но очень любимых Зинаидой Николаевной сквозняков в квартире зимой никогда не было по-настоящему тепло. Шутили, что на Крещатике сегодня комнатная температура квартиры Некрасова, то есть собачий холод.

— Главное, не навязывать другим своё мнение! — сто раз всем говорил В.П. — И не поучать!

И любил повторять слова своей мамы:

— Пусть Викочка делает, как хочет!

В новелле «Мама» В.П. писал:

«Сужу по себе: похвалят — стараюсь сделать ещё лучше. Поругают — не исправляюсь, задираюсь, настаиваю на сво-

ей правоте. Уверен, что в какой-то степени именно это сыграло определённую роль в моих отношениях с тёткой, домашним диктатором, и советской властью. Оба делали упор на мои недостатки, строптивость».

Склонность к поучениям была в глазах Виктора Платоновича тяжким недостатком, а отсутствие тяги к этому занятию заслуживало особой похвалы: мол, достойный человек, не любит поучать.

Хотя много ли наберётся людей, могущих отказать себе в столь сладостном занятии? Кроме Некрасова, я никого не припомню...

О своей маме, о её лучезарном характере, о любви к ней Некрасов писал неустанно. Но никогда не говорил об этом вслух. Ограничивался воспоминаниями о приветливости к людям. С нежностью вспоминал о её простодушии.

— Вичочка так намотался за день, что заснул прямо за столом! — извинялась она за ужином, видя сыночка, уронившего голову на руки, не устоявшего перед пьяными объятиями Морфея.

Вспоминал и о милых безалаберных проделках. Обожал ставить в пример материнский запрет наставлять и принуждать людей. Особенно попадало Миле, когда В.П. присутствовал при очередном эпизоде воспитания малолетнего Вадика.

Я-то давно понял, что прививать сыну хорошие манеры в присутствии Вики ни в коем случае нельзя — тот начинал не на шутку сердиться, когда я что-нибудь по-мужски внушал сыну.

— Прекрати издеваться над ребёнком, он сейчас разрешётся! — паниковал В.П.

Видя такой благоприятный поворот судьбы, Вадик немедленно делал вид, что глотает рыдания от неслыханного горя.

Но Мила часто забывала о Викином омерзении к детской педагогике. И нарывалась на скандалец.

— Мать моя никогда не позволяла, чтобы я делал что-то через силу! — патетически повышая голос, начинал волноваться Виктор Платонович. — И никогда не наказывала меня!

— Охотно верю! — злилась Мила. — Результат налицо!

— Я прошу при мне никого не поучать! Находите для вашего идиотского воспитания другое место!

Я дёргал Милу за подол — перестань, и строил Вадику страшные глаза, мол, кончай эту комедию со слезами. Вика на некоторое время обижался...

Всех гостей Зинаида Николаевна встречала с изысканным радушием.

Пришедшего со мной приятеля, молодого бугая, она спросила: «Вы никогда не совершали пешую прогулку вдоль Женевского озера? Это так интересно!»

При первом нашем знакомстве Зинаида Николаевна, добрейше улыбаясь, полюбопытствовала: «Приходилось ли вам бывать в Лозанне? Нет? Если случится оказия, обязательно поезжайте!» Я обещал не преминуть. Через некоторое время она поинтересовалась, люблю ли я играть в серсо? Чтобы подлизаться, я признал, что питаю слабость к этой захватывающей игре.

Увидев впервые Милу, Зинаида Николаевна милейшим образом осведомилась, была ли та знакома с Тотошкой Луначарским. Озадаченная Мила с сожалением отрицала знакомство.

Зинаида Николаевна относилась одинаково приветливо и к хорошим друзьям, и к знатным гостям. Да и к людям незнакомым, иногда явно с несвежей репутацией, скажем, утренним собутыльникам, с которыми её Викочка вступал в дружбу внизу у пивной бочки.

— Пойдём сейчас ко мне, я познакомлю тебя с мамой! — скажет, бывало, расчувствовавшийся Вика новому приятелю. — Она у меня то, что надо!

И мимо оцепеневшей от брезгливого ужаса домработницы Гани вместе с гомонящим хозяином в квартиру проникал, источая сивушное амбре, оробевший пьянчужка, учтиво вытирающий ноги о паркет в коридоре.

Мама улыбалась, интересовалась, не встречался ли гость с Бонч-Бруевичем или Платтенном и не удручён ли он не по сезону прохладным утром. Сияющий улыбкой В.П. целовал маму в щёку.

Кстати, он крайне редко чмокал кого-то, но маме дарил поцелуи ежедневно, уходя и приходя домой, даже будучи ни в одном глазу, целовал и обнимал её с утра.

К старости Зинаида Николаевна хотя иногда и путала эпохи и могла не сразу припомнить лица, но до самого конца сохраняла свою легендарную воспитанность.

Всю жизнь была равна и справедлива, держала слово, любила компанию, не лгала и не лицемерила.

Много читала, не только Пушкина, Писарева, Герцена, Лескова, но и многотомники советских писателей — Федин, Шишкова и, я ещё удивлялся, Горького. Ничего странного, говорил Виктор Платонович, Алексей Пешков был в своё время известным ниспровергателем авторитетов, а мать таких уважает.

Любила она променады, море, пляжи, да и в лесу получала удовольствие.

Виктор Платонович расставался с матерью довольно редко. В писательские дома отдыха они всегда ездили вместе. Ему было спокойнее, когда мама рядом, хотя он с как бы облегчением покидал её на несколько часов, отлучался или уединялся с друзьями, если с ней оставалась одна из их знакомых. Походы в кино, выходы в театр или на концерт тоже частенько совершались вместе.

Зинаида Николаевна никогда не навязывала своего мнения, частенько повторял В.П. Да и кому было навязыв-

вать? С ней никто не спорил, все её желания предугадывались и выполнялись. В первую очередь самим Викой. День ангела Зинаиды Николаевны, 24 октября, если не праздновался, то отмечался. Вика не раз повторял, что это его любимый праздник. После Дня Победы, конечно.

Я познакомился с Зинаидой Николаевной в её старости, но В.П. воспринимал её всё такой же, какой знал в начале войны — уже тогда пожилой, но бодрой, ироничной, решительной и самоотверженной. Вы знаете, что она сказала, позвонив по телефону из почти окружённого Киева в Ростов своему единственному и безумно любимому сыну?

— Я рада, что тебя призвали в армию. Не время сейчас в театре на броню сидеть!

Представляете?!

Хотя он и не сказал тогда, что это не столько его призвали, сколько он сам вызвался идти на фронт...

— Пиши, не забывай! — сказала тогда она, и вскоре Киев был оккупирован.

И он не забывал, помнил о своих оставшихся при немцах женщинах — маме, бабушке Алине Антоновне и тётке Соне. А молитвы этих неверующих женщин хранили, я уверен, Виктора Платоновича всю войну...

За пару лет до смерти Зинаида Николаевна уже никого, кроме своего Викочки, не узнавала и оставалась равнодушной к разговорам гостей. В.П. тем не менее поднимал её, бессильную и крошечную, из её кровати у себя в кабинете и усаживал за стол. Перед ней ставился прибор, расстилалась салфетка, и кто-то из пришедших в гости женщин кормил её с ложечки, время от времени подавая стакан с водой, запивать. Она непрерывно промокала рот салфеткой и что-то пыталась сказать. Когда после падения она уже не смогла оправиться, ослабнув и физически, и умственно, В.П. зво-

нил и переписывался со светилами киевского института геронтологии. И печально прочёл мне однажды все их ответы, мол, надежды никакой, на улучшение не надейтесь, всё будет только ухудшаться...

Лишь в последние несколько месяцев он решился не сажать её за общий стол. Она лежала тихонько в своей кровати, а В.П., отлучаясь из дома или просто выходя из кабинета к столу, всегда наклонялся к ней и объяснял, куда идёт и когда будет. Она иногда улыбалась в ответ или чуть шевелила рукой, и тогда В.П. радостно объявлял, что он поговорил с мамой, его слова она понимает...

В день смерти Зинаиды Николаевны он поставил в узкий бокал красную розу, которая не увядала несколько недель, а увядши, не осыпалась чуть ли не полгода, выглядела как живая. Поражённый этим знамением, В.П. приглашал в кабинет всех вновь приходящих и показывал розу, вот, мол, налицо некий сверхъестественный факт. Ему поддакивали: да-да, наверняка это связано с маминым духом, не иначе. И Вике становилось легче...

## Красная Армия и остров Сикоку

Как всегда, Крещатик располагал к прогулке. Мы только что посмотрели фильм Юрия Озерова «Освобождение». Мне было интересно, да и Виктор Платонович, видимо, заново переживал войну.

Прогуливаясь, я почему-то решил высказаться оригинально, по моему тогдашнему разумению.

— Что это мы со своим Сталинградом носимся! Эпизод войны, как другие! — начал я. — Война-то была мировая, и англичане, например, хвастаются сражением при Эль-Аламейне. У них это то же самое, что и Сталинград!

Вика взъярился:

— Ты какую-то херню несёшь! Как можно это сравнивать! Сталинград эту войну спас! Сколько мы там людей положили, а ты тут с Эль-Аламейном! Ничего общего!

И замолчал, вроде бы как надулся на меня.

Но через десяток минут пошёл на мировую:

— А фильм, в общем, враньё! А тебе как?

Я что-то уклончиво промычал, хотя и удивился, почему такой хороший военный фильм не понравился В.П.

Громадный бронзовый лев на площади Данфер-Рошро установлен в память об обороне эльзасского города Бельфора от пруссаков. Прогуливаясь как-то со своим близким другом Львом Копелевым, фронтовиком и бывшим зэком, В.П. ядовито хмыкал и пожимал плечами — тоже мне, оборона, держались три недели. Ни в какое сравнение со Сталинградом!

Лев Копелев соглашается, но у него другой конёк — Кёнигсберг. В частности, страшные сцены мародёрства, жестокости и насилия, проявленного победоносными воинами Красной Армии. О которых он написал в только что вышедших воспоминаниях «Хранить вечно».

Некрасов очень хвалил эту книгу.

— Сегодня же начни Копелева! — говорил мне Вика. — Что мы творили в Пруссии! Да и то сказать, мог ли он знать обо всём, будучи штабным офицером? Может, чуток выдумывает? — искал В.П. оправдание своей драгоценной Красной армии.

Сидя в скверике возле Бельфорского льва, они с Копелевым снова заговорили о войне.

— Иногда вспоминаешь о войне — не верится, что это было. А рассказывать об этом трудно, думаешь, зачем болтать лишний раз, — говорил В.П.

С одной стороны, ложь хуже воровства, а с другой — если тебя не спрашивают, то чего ты лезешь со своей прав-

дой. В основном многое уже рассказали, как всё это было на самом деле. Что им, бывшим фронтовикам, сейчас делать? Говорить, что они были не хуже немцев?

— Нет, я и сейчас скажу — мы были лучше их! — воскликнул Некрасов.

Это немцы были захватчиками, немцы были оккупантами, как мы сейчас в Афганистане, говорил он. Это они принесли кровь, мерзость, ужасы несметные в нашу страну! Ну а мы им возвращали их же монетой!

Как для всех людей, побывавших на войне и испытывавших чудовищное душевное потрясение, фронтовая дружба стала с годами и для Некрасова светом в окошке, радостным лучиком в жизни и темой умильных воспоминаний. Всё было в этой дружбе безоблачно — и люди были восхитительными, и окопная взаимопомощь всё преодолевала, и сладкими были разделённые с товарищами страдания.

— Хватит писать о войне! Хватит! — восклицал он. — Я уже и сам захлабываюсь, и другим это надоело!

И всё же садился и писал, говорил, вспоминал, обсуждал. Покупал летописи, энциклопедии и карты, всё о войне. Смагивая слезу перед телевизором, оцепенев, не отрывался от кадров военной кинохроники.

Ветераны, что с них возьмёшь! Я не знал ни одного, кто сумел забыть о войне. Самые жаркие Викины воспоминания были о победоносном рыцарском ордене — боготворимой им Красной Армии.

Кто бы ему что ни толковал, как бы ни убеждал или вежливо подтрунивал, В.П. потихоньку ото всех веровал, что его Красная Армия, победительница фашизма, щит величественный, и сейчас оставалась храмом боевого духа, осиянным победными салютами. А о стены этого недоступного пороку святилища магически разбивались волны всех наших те-

перешних мерзостей, всеобщего воровства, лицемерия и трусливости.

И вдруг в декабре 1979 года Некрасова постигло второе после разлуки с Киевом горе — вторжение советских войск в Афганистан.

Сообщение о нападении привело его в абсолютную растерянность, он просто не знал, что говорить и думать.

Но было всё же и некое тайное утешение, какой-то пионерский патриотизм. Мы оба не сомневались, что война будет короткой и победоносной. К мнению моему Вика прислушивался, так как я недавно отслужил в армии, и хотя не питал к ней ни малейшего благоговения, но считал, что силы для победы найдутся. Ведь и противник хлипенький, это вам не Вьетнам!

А время шло, и стали доходить уже не слухи, а точные известия и фильмы — об убитых мирных афганцах и русских солдатах, о взаимной нечеловеческой жестокости, о каком-то кровавом остервенении, с которым армия карала сопротивление.

Потрясение Некрасова было бесконечным, и я думаю, он так и не свыкся с образом советского воина-агрессора. Но самой войной он непомерно возмущался и даже вместе с Гладилиным написал статью в «Монд», призывая в знак протеста бойкотировать Олимпийские игры в Москве.

А тут, прямо-таки в насмешку над боевыми русскими знамёнами, вышла книжечка «Малая земля» генсека КПСС Леонида Брежнева, ничтожное печатное хлёбово, раздутое партийной пропагандой как сокровищница мысли, литературный шедевр и венец военного подвига.

Публично и приватно, по радио и в газетах Некрасов издевался над литературными способностями и полководческим гением, как тогда говорили, «дорогого Леонида Ильича». В ответ Некрасова густо обтявкали в совет-

ских публикациях, мол, дошёл, отщепенец, до точки, посягает на святое!

В Киеве по этому поводу пошучивали: пока одни не щадили жизни на «Малой земле», другие отсиживались «в окопах Сталинграда»!

...Некрасов пил кофе с гренками и болтал с Наташей Тенце в шикарнейшей гостинице «Хокусай». За окном простирался и струился ландшафт японского острова Сикоку. Умиротворяющую тишину нарушил возглас мужа Наташи.

— Вика! — окликнул Нино. — Здесь о тебе пишут, посмотри!

И протянул английскую газету.

Так в 1979 году в далёкой Японии за утренним кофе В.П. узнал о лишении писателя Некрасова советского гражданства. Узнал с облегчением и лёгкой горечью. Но, думаю, всё же обрадовался в душе: он стал настоящим апатридом и нечего больше сидеть на двух стульях!

Советская власть признала официально, что он антисоветчик и его жизненная деятельность «несовместима со званием советского гражданина».

— Ну и фуй с ними! — резюмировал он, позвонив мне и сообщив новость.

Я уже знал об этом из «Монда», но виду не подал, подвыл удивлённо в трубку.

Виктор Платонович вдруг начал долго говорить. Что он плевал на эти указы, что он останется русским до конца жизни, что его волнует не наличие этой вшивой бумажки, советского паспорта, а то, что происходит в России сейчас и что её ожидает в будущем.

Мне его красноречие показалось подозрительным, и я поинтересовался, чем это он разгорячил свою патриотичность, не водкой ли?

— Ничего, кроме sake, я здесь в рот не беру, запомни это, пашенок!.. Ну, скажи мне, Витька, — продолжал В.П. по японскому телефону, — как мы могли жить в этой стране и принимать всё это всерьёз?!

Да ещё как всерьёз! Всё это кажется сейчас пустяшным. Но тогда всё было пропитано ужасом, незабытым ещё советской творческой интеллигенцией с конца сороковых годов. Страхом невыдуманым, грозящим снятием с очереди на квартиру, лишением премии, увольнением с уютной работы. Не говоря о вполне реальной возможности угодить под суд, получить срок.

Прошло всего лишь тридцать лет, и вот сравнительно молодые люди слушают рассказываемые с придыханием и волнением наши истории, вежливо делают большие глаза и встревоженное лицо, поддакивают нам, ай-ай-ай, какое безобразие, что только большевики не вытворяли!

«Всю жизнь я мечтал жить в Париже. Почему? А чёрт его знает, почему. Нравится мне этот город. Хочу в нём жить! Ей-богу, советская власть сделала мне неоценимый подарок, предоставив эту возможность».

Кто спорит, прав Виктор Платонович!

## Киев — Париж

Где же ещё, в каком городе мог поселиться Некрасов? В Риме, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Берлине, Лондоне, Женеве?

Нет, только в Париже! Только там!

Праздник, который всегда и со мной, говорил Вика, перефразируя Хемингуэя.

При этом Некрасов праздновал Париж непрерывно, да же спеша на работу. Любил водить гостей и показывать па-

рижские места, уголки, дома, мелочи всякие незаметные на первый взгляд, но страшно занятные при ближайшем рассмотрении. В.П. с великим удовольствием делился лишь ему известными детальками, выуженными в бесчисленных проштудированных бедкерах.

Считается, зловеще понижал голос Некрасов, что Париж перенаселён призраками, фантомами и приведениями. Учитывая его кровавую историю! Знающие люди утверждают, что собор Парижской Богоматери заполнен тайными алхимическими знаками и образами, унаследованными от его зодчих-алхимиков Пьера де Корбея и Гийома Парижского. Алхимики защищали себя. Преследуемые церковью как еретики, они как бы оставили книгу духовных иероглифов и даже спрятали там растёртый в порошок философский камень. В одной из колонн собора. Истончённые и боязливые сердца замирали в тревожном предчувствии...

Романтически настроенным он показывал часовни и особняки мушкетёрских времён, мосты, видевшие кардинала Ришельё. Башню, где в ожидании казни томилась королева Мария-Антуанетта, дух которой, по слухам, и сейчас отказывается покидать версальский Трианон. Восхищался и выдержкой последнего короля Франции Людовика XVI, который, вступая на эшафот на площади Согласия, поинтересовался у распорядителя казни: «Есть ли новости от Лаперуза?»

В общем, большая часть рассказанного — выдумка, но это не значит, что остальное — правда, как любил закончить повествование Некрасов.

Любителей архитектуры он водил смотреть футуристические эспланады и небоскрёбы. Хвастался прозрачной Луврской пирамидой. По парижским легендам, эта пирамида посередине внутреннего двора Лувра сложена из 666 стеклянных панелей — число дьявола. Люди говорят —

по специальной просьбе президента Миттерана! Конечно, все опровержения мало убеждают проникательных знатоков магии...

Людам, склонным пошляться, демонстрировались укромные уголки в парках, с замшелым бюстом какого-нибудь, скажем, покорителя Тимбукту.

Не чуждых модернизму он в первую очередь тащил в выставочный центр «Бобур», прославленный своей экстравагантной архитектурой. Правда, во вторую очередь он приводил туда и романтиков, и скептических реалистов, и столичных жителей, и простодушных приезжих — всех! И демонически ухал, видя их очумелый вид.

Вначале он просто терзался из-за этого «Бобура», что означает примерно «красивый городок». С одной стороны — современно, функционально, нигде в мире такого нет, а с другой — испохабили святое место, чрево Парижа! Понастроили чёрт-те что, какой-то газовый завод, гигантские трубы, шарниры, консоли, и всё по фасаду, без облицовки! Осквернили современным уродством старые улочки, плакался сначала В.П. Но потом всё-таки решил для себя — это здорово! Ведь и самому хочется бродить вокруг.

Облазил и здание, сфотографировал всё, что возможно, выбирал точки съёмки вокруг громадного фонтана. Просто сами просились — сними нас, сними! — полтора десятка «мобилей», придуманных миленькой аристократкой Ники де Сан-Фалль. Такие занятные, псевдонаивные скульптуры посреди фонтана, ярчайше раскрашенные, совершающие сложные движения...

Некрасов мечтал, что Париж станет его новым родным городом. Не получилось, как ни старался! В его душе единственно родным оставался Киев. Потом он решил, что Париж — самый любимый. Ну, ладно, ладно, Париж так Париж, но как забыть первую любовь — Киев?! Тогда он со-

гласился, что у него два любимых города — Киев там и Париж здесь. Два города, которые Вика обожал и как бы поклонялся.

И теперь он со спокойной душой описывал парижские улочки, памятники и скверики с такой же сердечной улыбкой, как раньше писал о Киеве.

— Ну, как он тебе? Твой Париж? — начинает приезжий разговор.

И как приятно и сладостно Виктору Платоновичу открыто отвечать:

— Мне нравится. Прижился!

«Он стал СВОИМ городом. Я возвращаюсь в него, как домой».

Как когда-то, возвращаясь в свой Киев, ты и сейчас, торопясь от метро домой, подмечаешь мелкие новшества — свежеекрашенный фонарь, новую клумбу с Ледой и лебедем посередине, подновлённую вывеску или бордюр тротуара. И радуешься этому, как радовался в Киеве. И утешаешь себя — Париж мне стал Киевом! Со временем сравнение Киева и Парижа заполонило творчество Некрасова, наполняя его меланхолической радостью; он любовался ими обоими. У нас, дескать, так же хорошо, как и там...

— Ну а как Киев? — задают участливо вопрос, боясь бестактности.

— Не знаю, — отвечает В.П. — Стена!

Ни одного голоса не доносится из-за этой стены, как из царства мёртвых... Доходят какие-то обрывки. Ещё один памятник Ленину, теперь уже размером с мощную силосную башню... Новая линия метро... Установили наконец памятник и в Бабьем Яру, слава богу! Какой-никакой, помпезный там или с оптимистическими нотками, но памятник — ста тысячам погибшим.

— Вот и всё, что я знаю о городе Киеве, — растерянно говорит В.П. — Уплыл мой Киев, как ладья в тумане, и больше не вернётся...

Опять же в «Записках зеваки»:

«Нет, не скучаю я по Киеву... Я разлюбил его. Разлюбил потому, что он разлюбил меня». Это написано по горячим следам обиды.

«Записки зеваки» вначале назывались «Городские прогулки» и задуманы были как книга о его Киеве. Он знал свой Город, как собственный карман, и, сдержанно рисуясь, гордился этим. И вдруг — громом среди ясного неба: «Я разлюбил его!»

...Парижские каштаны уступают киевским разве что в возрасте. Их не меньше, чем на Крещатике.

И сейчас мы шагаем потихоньку по парижским пригородам, лениво посматривая на эти импозантные цветущие деревья. Мы отрадно озабочены. Выпить ли нам немедленно или пройти до следующего кафе?

Решили растянуть блаженное предвкушение, довольные прогулкой и редким случаем — выпивкой с глазу на глаз, увенчанной трёпом.

Кого он больше любил? Легко перечисляет: маму любил, друзей ненаглядных — Лёню Волинского, Симу Лунгина, Яню Богорада... Да мало ли ещё кого... Своего ординарца Валегу любил, полкового разведчика Ваньку Фищенко, Васю Шукшина, Булата... Киев вот тоже любил...

— А Родину? — остроумничал я.

— И Родину тоже, — серьёзно отвечал Некрасов. — В Сталинграде особенно.

Разговаривая, прошли пару кварталов. Если откровенно, как-то буднично рассуждал Виктор Платонович, изгнание или ссылка с незапамятных времён считались очень тяжёлым наказанием. И особенно тяжело уходить в изгнание по-

жилым, разрушая навеки свой образ жизни, оставаясь без языка и без дома. Совсем не то что в молодости, когда сам рвёшься уехать за приключениями, весёлой жизнью, на поиски возлюбленной...

А тут тебя изгнали, выкинули или, как они говорят, выдворили. И хотя тебе глубоко плевать на их пренебрежение, но возвратиться в свою страну ты уже не можешь.

— Тебя обесчестили! Но мы едали всё на свете, кроме шила и гвоздя! — воодушевлённо воскликнул В.П.

Эта тирада была закончена уже на пороге какого-то простенького и радушного арабского кафе. Огорчение от потери родины было скрашено кальвадосом и пивом.

У Некрасова после начальной эйфории — «Вот она, свобода! Я счастлив! Вырвался!» — бывало, начиналась хандра. Обволакивала его грусть, нашёптывая жалость к себе, эмигранту и апатриду, к неприкаянному изгнаннику.

По своему складу души беззаботный и вольнолюбивый, Вика грустил. Не безудержно, не до потери сна, не до раздражения эмигрантской рубашки, но слегка подтосковывал. При том что жил он в сказочной стране, да ещё и в Париже, городе его мечты!

Отлично понимал, что он обязан ответить на оскорбление, нанесённое ему хамской системой. Потребовать сатисфакции! Каким образом? Очень просто!

Не поддаётся течению, не поплыть по воле волн, не опуститься на дно спившимся, сломленным вконец человеком! Но начать жить и писать, да так привольно и размеренно, как он никогда бы не жил и не писал, оставшись дома!

Его ялтинский друг, писатель Станислав Славич, сказал: «Правильно сделал, что уехал. Иначе не было бы тех вещей, что написаны в последние годы».

Ностальгия, вы говорите? Или просто участвовавшие с возрастом мысли о друзьях, о войне, о юности, о праздни-

как Победы? Но вот снова вспоминалось о молодости, о Городе с его концертами, трамваями, шатанием по Крещатику и купанием в Днепре. Обиды скоро забылись, а безответная любовь к Киеву стала терзать его всё чаще и чаще...

Он сразу же пристроил у себя в кабинете две большие, почти в полметра длиной, фотографии — днепровских круч с Лаврой и не замытого ещё Бабьего Яра. На отдельной полке теснилось множество книг и альбомов о Киеве, как привезённых с собой, так и подкупаемых в Париже. Ставить давно уже некуда, но в дом непрерывно приволакивались всё новые альбомы о киевских красотах.

Ещё в Киеве я как-то вовремя сообразил — не пожалел целого рубля! — и купил на развале книгу скульптора Вучетича «Художник и жизнь». И преподнёс её Некрасову. Наш писатель не замедлил погрузиться в сладострастие.

Через неделю мне написал:

«Какое счастье ты мне доставил, если бы ты знал! Читаю, не отрываюсь! Надеюсь, ты хоть сам-то прочёл эту сокровищницу глубинных чувств легендарного пронеры и жополиза, великого скульптора Вучетича?»

Я не очень понимал тогда, чем вызвана эта брезгливая неприязнь Некрасова к увенчанному великими лаврами скульптору. Вроде всё у него торжественно и мускулисто. Женщины с разящими мечами, солдаты с детьми на руках, гордые головы красавцев генералов, томящихся думой. Дзержинский на Лубянке, одиноко маячащий вождь товарищ Сталин на главном шлюзе канала Волго-Дон...

Да ты пойми, горячился В.П., это же лживое и безмозглое искусство! Ни грамма воображения, всё пережёванное, украденное и нагромождённое. Но партийным кретинам именно такое и нравится! Что он, Вучетич, сотворил с Мамаевым курганом в Сталинграде! Эта чудовищных размеров Родина-мать с мечом, мутант какой-то! Но зато выше

статуи Свободы! Я ему этот мемориал никогда не прощу! Верх безвкусия и эпигонства! Да и как человек он — парень говнистый. Нахрапистый и вороватый скряга. Сам миллионщик, а натурщикам платит копейки, а подручные у него голодают!

Но разве мог представить себе мой дорогой Виктор Платонович, что уготовил его любимому Киеву орденоносный скульптор Вучетич! Парижским вечером мне позвонил В.П. и сухо приказал: поднимись ко мне! Я слегка струхнул, увидев его обвисшее от горечи лицо, — что случилось?

— Посмотри, вот ОНО!

И указал на свежую газету, по-моему, «Радянську Украпну». На большой фотографии днепровских круч возвышался циклопических размеров монумент Родине-матери. Вика чуть не плакал от злости: какие идиоты, какие подхалимы! Кто мог разрешить так испохабить перспективу с Софийским собором! И ты видишь, Витька, метался он по квартире, видишь — это же плагиат! Вот глянь этот альбом, «Искусство эпохи Муссолини». Посмотри на эту даму с мечом и венком — вот откуда передрал этот гад! Искусство Муссолини! На киевских кручах! На фоне украинского неба и колоколен! Нет, там сидят в кабинетах настоящие дегенераты с воображением курицы!..

Вика чуть успокоился, взял папиросу и набрал номер Миши Геллера — отвести душу с умным человеком.

С годами Некрасов как-то смирился с этим украинским мемориальным уникамом и порой, чуть прихвастывая, демонстрировал его простодушным гостям...

Так вот, почитайте Некрасова, и вы заметите, что тот постоянно возвращается в свою молодость и под этим предлогом снова и снова вспоминает свой Киев.

Кстати, Виктор Платонович всю жизнь разговаривал с южным акцентом. Москвичи и ленинградцы из вежливос-

ти называли его «мягким» или «певучим», но за глаза передразнивали и посмеивались. Слава богу, что ещё не «хакал»! Хотя были и такие, кому его говор нравился. Он был похож на одесский, а иногда — на слегка утрированный еврейский акцент. Но Вике и акцент прощался — его воспитание и культура были выше подозрений...

В Норвегии, в охотничьем домике на берегу приполярного озера, в гостях у своего славного приятеля-украинца, врача Мыколы Родейко, Некрасов благоденствовал в прекрасном одиночестве. Навещая его, Мыкола тихо радовался, слыша украинскую мову Некрасова. А гость жил припеваючи, жарил себе яичницу, варил свои любимые сосиски, лакомился селёдкой, прогуливался и любовался небом. И писал.

В домике были украинские книги, старые трогательные издания. Виктор Платонович там начитался раннего Тычины и проникся к нему симпатией. Даже привёз с собой томик стихов. Вдруг понравился и поэт Мыкола Бажан, тоже, правда, ранний. В общем, вернулся наш путешественник в Париж очень довольный жизнью, благоухая солёной рыбой и слегка пропитанный украинской поэзией и горилкой с перцем.

Разве сравнить с поездкой в Канаду!

Чёрт меня туда понёс, пенял судьбе Некрасов, попал в сущий гадюшник!

Вначале в Канаде было всё лучше некуда, радушия в украинских домах хоть отбавляй, люди наперебой проявляли учтивость, всем хотелось побалакать с киевлянином. Потом пригласили на встречу с соотечественниками. Покинувшие неньку Украину, те жаждали услышать новости о своей любимой родине. Любимой страстно, иногда даже болезненно. Чтобы не дразнить аудиторию, «стариков и не очень стариков», Некрасов с места в карьер успокоил,

что он за независимость Украины. Потом сожалел: зачем покривил душой?..

Допуская вполне, что люди имеют право выбирать, как им жить, Некрасов счёл нужным высказать, как он считал, свою правду.

Не понимаю, говорил, зачем украинцам отшатываться от России! Коммунисты, конечно, страшно навредили украинскому народу, так же как и всем остальным народам. А сейчас на Украине есть всё — и газеты, и школы, и книги, и вывески на украинском языке. Но Некрасов подзабыл, что вопрос о языке и был самым жгучим — именно с ним возникают повсеместные и непреходящие проблемы. Не уловил, что люди могут обижаться, когда их родной язык считается туземным, мол, для большого плаванья по жизни он непригоден.

Сейчас, рассказывал по-украински Некрасов напряжённым от волнения слушателям, на Украине живут более или менее хорошо, все привыкли и притёрлись к советской власти, кто выпивает, кто подворовывает, кто подрабатывает — как везде. У всех почти всё есть — телевизор, велосипед, кабанчик, мотоцикл, а то и машина.

И бросает вдруг кощунственный тезис: на Украине жить можно!

Конечно, всё это по-ребячески наивно, упрощено до уровня застольных разговоров на киевских кухнях в русских домах, но вызвано было любовью к Украине и Киеву!

Ну а что потом началось! Агент КГБ, шовинист, советский прихвостень, лакей, пигмей и, конечно, москаль!

Некрасов был искренен и не злонамерен, но не все, оказалось, сокровенные его мысли следует оглашать! Не всё, что с убеждением им сказано, обязательно верно и непреложно!

Когда он понял это, то безмерно огорчился...

## Парижские кафе

Но не пора ли развеяться, поговорить о вещах, умасливающих взор и бальзамом обволакивающих истерзанную эмигрантскую душу?

О парижских кафе.

«Я сижу в парижском кафе, блаженствую, и мне больше всего хочется рассказать об этом блаженстве. И рассказать во всех деталях...»

Не успели мы приехать, как Виктор Платонович потащил в кафе. В самые-самые и разные-разные.

Роскошнейшее и снобистское кафе «Липп». Вика нарочно нас с Милой привёл именно сюда, в это дорогое и прославленное питейно-кофейное заведение, — показать парижскую жизнь! На втором этаже был ресторан, туда не так просто попадёшь даже с деньгами, а нам тем более не по Сеньке шапка. Поглазели на парижскую публику, расплатились.

Вика встаёт:

— Пошли!

Суёт в карман крошечную пепельницу, на память! Я содрогаюсь, но всё сходит с рук.

Первый год мы с В.П. увлекались тем, что старались стянуть в модных кафе маленькие фирменные пепельницы или блюдечки. Видя неодобрение читателя, спешу сообщить, что делали это чуть ли не все посетители, причём наиболее совестливые стыдливо совали при этом официанту несколько франков. Мы такой щепетильностью не отличались и коммуниздили безвозмездно...

Перенесёмся лет на десять вперёд.

Викин молодой приятель, невероятный брюнет и девичий любимец Юлик Милкис, играет на кларнете на площади Сен-Жермен-де-Пре. Парижская публика, сидящая за

столиками на тротуаре, внимает приветливо. Его друг, высокий красавец Серёжа Мажаров, многозначительно улыбаясь дамам и совершая менуэтные поклоны, ходит между столиками, собирает в тарелочку деньги.

Вика прыгает и приседает чуть в сторонке, фотографирует для альбома — такие кадры поискать надо! Потом все мы садимся здесь же пить пиво. Ребята смеются, острят, В.П. блаженствует, очень всё это ему нравится...

Будучи человеком широким, Некрасов с удовольствием водил москвичей по Парижу и всегда увенчивал променада заходом в кафе, раньше называемыми «бистро». Хотя это было весьма дороговато по тогдашним нашим деньгам. А приезжие ещё и говорят: давай сядем за столик, чего мы будем стоять у стойки! Не понимая, что это чуть ли не вдвое дороже.

За столиком на тротуаре в ожидании заказанного Вика наслаждался любопытством и удивлением гостей. Гости вертелись на стульях, задирали голову, глазели на парижскую жизнь. Деловитые прохожие или уличные музыканты, зеваки или гуляки, влюблённые, никуда, казалось, не торопящиеся люди... Парижане!

— А? Ну? Каково? — не выдерживал В.П. — Что скажете? Смотрите, смотрите, как они грациозны и раскованны.

И возмутительно трезвы! Но всё равно, как не любоваться ими! Свободные люди!

Гости вздыхали и чуть печально кивали.

Вика интригуяще поднимал брови, наклонялся над столиком, щурил глаз — знаете, какая главная особенность Парижа? В нём легко дышится, понимаете? Ты мгновенно растворяешься в нём! Ты сразу свой в этом городе! Он источает ощущение свободы! Ты чувствуешь эту прелестную свободу, и тебе приятно, как будто идёшь по Киеву в лёгкий морозец на встречу с друзьями, забыв о заботах...

Последнее прибежище Вики — кафе «Монпарнас».

Лестница с ковровыми дорожками, в виде змеиного языка — кверху раздваивается. На втором этаже — цветные плафоны. Несколько столов поставлены торцом к окнам. Вид — панорамный: площадь как на ладони, напротив громадные рекламные панно, внизу всегда несметная толпа. За столиком, чуть налево от лестницы, всегда сидел Вика. Надо сказать, он был прав — здесь уютно и несуетливо.

Официанты сразу распознавали в нём завсегдатая. Он окликал их по-старинному: «Гарсон!», то есть «мальчик», причём довольно громко.

За соседними столиками оборачивались, чтобы мельком взглянуть на такого ветхозаветного посетителя. Сами официанты не обижались на него, но вот приятели французы шипели, в ужасе от такой бестактности:

— Так сейчас не говорят, Вика! Обслуживающий персонал — тоже люди, а такое обращение их унижает. Надо позвать: «Мсьё!»

Виктор Платонович отмахивался: что вы выдумываете, какой там «господин», он испокон веков говорит «гарсон», и никто до сих пор не оскорблялся!..

Когда наш Вадик подросток, они часто усаживались в одном из двух наших ванвовских кафе — в чопорном «Централь» или в общедоступном «Всё к лучшему». Дедушка заказывал пару пива. Внук, к огорчению деда, пиво не жаловал, но, чтобы убажить старика, отпивал пару глотков.

Я думаю, что Виктор Платонович, никогда не имевший семьи, на старости лет с некоторой даже радостью воспринимал, что у него есть дети и внук. С довольным видом не упускал возможности рассказать о нас, часто похвально, иногда с лёгкой насмешкой или с немалой иронией.

Милу он без тени смущения называл самой красивой женщиной эмиграции.

Ещё у него появилась работа. Настоящая работа! Регулярная и серьёзная, требовавшая некоей дисциплины, не поощрявшая наплевательства. Своего рода цель существования. Он ведь страстно, я сказал бы, даже яростно хотел доказать, что доконать его никому не удалось! Он не спился — на что многие уповали, не сник морально и не сгнил от болезни.

Этих трёх важных вещей — семьи, работы и твёрдой цели — в Союзе у него не было. Они появились только здесь, в Париже, и впервые в жизни!

Там было, конечно, незаменимое и редчайшее — мама, друзья, читатели, лестная известность, Киев, Москва и Коктебель. Оставалась память о войне.

Написанный за год до смерти очерк «Спасибо Партии и Правительству!» был ответом и друзьям, и врагам, ответом на упрёки и восторги, но главное — ответом самому себе, на свои сомнения, обиды, на грусть-тоску.

Писатель потерял своих читателей, но обрёл свободу. Как и в своё время Бунин и Куприн, Мережковский и Гиппиус, Тэффи, Аверченко, Зайцев, Алданов...

«Подумать только, — писал В.П., — вдруг, волею судеб, оказаться в положении самого Бунина! Есть у нас всё — и тоска по дому, и воспоминания о прошлом, особенно в нашем возрасте. Правда, ненависть у нас какая-то однобокая, что ли. Ведь когда ты здесь, в Париже, думаешь о покинутой навсегда родине, испытываешь не так ненависть, но некую гордость. Гордость за множество тех людей — писателей, поэтов, драматургов, композиторов, оставшихся там и продолжающих писать или, как говорят, творить...

И я радуюсь их успехам и восторгаюсь талантом, зная, что кроме этого ещё там нужны смелость и честность...

Ну а мы, русские писатели, живущие в Европе, Америке, Израиле? Мы, которые можем писать всё, что придёт в голову, а успех наш зависит только от читателей, что мы, как мы?..

Спасибо партии и правительству, как принято у нас говорить по поводу всего, хорошего или дурного, — подарили мне Париж. А он, как известно, стоит обедни...»

На грандиозное похмелье Виктор Платонович предложил нам с Милой прогуляться. Бери, сказал, машину, прокатимся, отдохну после питья!

Направились в парк Монсури. С продуманным пейзажем, с лестницами начала века, скульптурами и беседками. С громадным прудом с лебедями. И уточками!

В этом пруду когда-то четырехлетний Вика пускал кораблики, смотрел на этих уточек и любовался солдатами-отпускниками, пулюю в синих шароварах. Первый лепет по-французски, первые парижские картинки и сценки, леденцы на палочке и сладкая вата...

Как во всех парижских парках, дорожки песчаные, а не асфальтированные. Причудливые перила, как бы сделанные из стволов и ветвей деревьев, а на самом деле бетонные. Толстенные деревья. Павильончики, статуи, руины стародавней усадьбы...

В углу парка примостилась будочка кукольного театра, с Петрушкой, по-французски — Гиньолем. Чтоб не обидеть Вику, согласились посмотреть представление. Махонький зал был набит битком — кроме нас было ещё трое малышей с мамами. Гиньоль-Петрушка бил палкой жандарма и верещал. Дети умирали со смеху.

Наверняка всё это было и семьдесят лет назад, когда Некрасовы жили рядом, на улице Роли. Пойдём, поищем?

В Париже Виктор Платонович везде искал намёки, следы и места, связанные с его детством.

Сам он помнил, вероятно, немного. Но ещё в Киеве наслушался захватывающих детское воображение рассказов мамы и бабушки и запомнил их на всю жизнь. Теперь ходил

по Парижу, выискивал, вспоминал или, копаясь в памяти, придумывал и додумывал сам.

Угловой дом № 11 на улице Роли, в котором Зинаида Николаевна с трехлетним Викой жили до переезда в Киев. Здание начала века, бывший доходный дом, на бывшей окраине Париже, значит, недорогой.

Здесь и осели тогдашние русские эмигранты, отсюда не так и далеко до Монпарнаса, до кафе «Клозери де Лиля» и «Куполь». Тогда это были богемные и недорогие кафе, где большевики и меньшевики, распри позабыв, просаживали партийные денежки.

Подумать только, нашли и улицу, и дом! Вика заметно оживился — рассказывает почти не умолкая, как будто всё помнит, но я-то понимаю, что старается он воссоздать картину детских лет и говорит вслух, чтобы запомнить.

Мы не скучаем, когда В.П. живописует свои прогулки с мамой по парку, своих приятелей — Тотошку Луначарского, некоего Бобоса и безымянную дочку консьержки.

А в комнате вон с тем балконом старший брат Коля безжалостно пугал его фотографией угнетенного алкоголика из раздела «Запой» в медицинском словаре: мол, вот что тебя ждёт, маленький негодяй! А кудрявый крошка Вика плакал от жути, ни за что не хотелось ему походить на этого злого дяденьку, он мечтал быть пожарным и звонить в колокол...

## «Радио Свобода»

В первые свои годы третья эмиграция чрезвычайно опасалась попасть в тенета американской разведки. Со временем эти пугливые надежды рассосались, но замаячило некое колеблющееся, как огонёк лучины, искушение — устроиться на «Радио Свобода»!

Люди опасливо переглядывались — негоже как-то за американские деньги разделять под орех хотя и коммунистическую, но как-никак родину. Но ведь тебе предлагали говорить, что думаешь, в чём искренне убежден, а заодно и платили деньги за обличение пороков и преступлений коммунистического строя. То есть платили за правду!

Некрасов же утверждал, что раз всё в Союзе построено на лжи, то бороться с этим можно только правдой. Нельзя, говорил он, опускаться до вранья. Даже если речь идёт о таком вселенском зле, как коммунизм. Я поражался такой наивности. Многие из нас, и я в том числе, были настроены радикально. С советской властью церемониться не следует!

Некрасов не стремился и не призывал к свержению существующего строя. К этому, впрочем, призывали лишь абсолютные сорвиголовы, так это было смертельно опасно. Он не был подвержен мании реформаторства. Но просто не мог понять, почему нельзя иронизировать над глупыми порядками, почему запрещено читать книги или давать их знакомым, смотреть кино по своему выбору, почему не выпускают людей за границу. Чтобы всего лишь пройтись по музеям, повидать парочку знакомых, посмотреть мир, набраться впечатлений, пощёлкать фотоаппаратом и подкупить сувениров.

По своему характеру Некрасов не был махровым, как говорят, антисоветчиком. В жизни у него был один настоящий враг — Адольф Гитлер, да ещё любой фашист, засевший напротив в своём окопе. В Сталинграде, например. Этого врага надо было уничтожить, что и делал Некрасов, не щадя живота своего.

Вообще-то говоря, вначале наша эмигрантская интеллигенция о «Радио Свобода» рассуждала как-то застенчиво, как будто речь шла о ломбарде, куда от хорошей жизни не пойдёшь. Ведь деньги на радиостанцию выделялись кон-

грессом США! Считалось, — то есть это усиленно внушалось советской пропагандой, — что на радиостанции гнездились бывшие полицаи, психопаты-антикоммунисты, отбросы общества потребления, а также нищие духом, умом и талантом.

Наши просвещённые творческие инакомыслящие, в особенности почему-то москвичи, вроде бы понимали, что это враньё, но свои походы на станцию особо не афишировали, как визиты, скажем, к венерологу. Старались юркнуть понезаметнее в высокий подъезд дома на авеню Рапп.

Но через пару лет сотрудничать со «Свободой» стало делом престижным, хлебным, желанным и даже модным.

— Радио — вернейший способ донести до Союза новости, комментарии, наши мысли, — плавно говорил Галич за вечерним чаем у Некрасова.

И ему абсолютно безразличны стенания всех этих якобы высоких духом чистоплюев и дамочек высшего полёта, что не следовало, дескать, Галичу идти на службу к американским империалистам, продавать талант.

— Если талант не продавать, — смеялся Вика, — то что с ним делать? Раздавать бесплатно?

Тогда, за чаем на улице Лабрюйер, я запомнил этот слегка взволнованный разговор Некрасова и Галича.

Если ты честный человек, говорили они, ты просто обязан воспользоваться такой несказанной возможностью — нести правду людям, отрезанным от неё стеной и страхом. Просто обязан! В газетах, по радио, на конгрессах, в книгах надо говорить эту правду, кричать о ней, твердить и повторяться... И плевать с высокой колокольни, что советские газетчики назовут тебя лакеем, служкой или блюдолизом американского империализма!

— Кстати, совсем неплохо быть лакеем у правды, — согласился Галич и улыбнулся.

— Даже её прихлебателем! — поддержал Некрасов.

Поначалу, в первые парижские годы после приезда, он вёл жизнь беззаботную, безбедную и безалаберную.

За книги были получены весомые гонорары. Деньги, славящиеся, как известно, качествами жидкости, если и не текли рекой, то активно испарялись. Постепенно выяснилось, что необходим какой-то постоянный заработок, на статьях в эмигрантских газетах и на спорадических лекциях особо не разгонишься.

И когда он начал выступать с передачами по «Радио Свобода», то довольно скоро вырисовалась заманчивая ситуация — чем меньше ты увливаешь от работы, тем больше зарабатываешь денег. Виктором Платоновичем этот поступок был принят за очень занятное откровение, и он начал постепенно наращивать живость пера.

И вошёл во вкус, и начал много работать, сам себе поражаясь. Особенно в последний год пахал на ниве журналистики не покладая рук. И был очень доволен, что на радио скрупулёзно практиковали незабвенный, осмеянный в русском народном эпосе принцип — от каждого по способностям, каждому по труду.

Первые передачи по культуре представляли собой раскованную трепотню у общего микрофона. Не надо ничего готовить, выкладывай, что в голову придёт. Действо это называлось «круглый стол». Платили — как за работу. Участники передач купались в блаженстве.

В течение часа происходило безалаберное толковище, когда собеседники или гомонят одновременно у микрофона, или благопристойно молчат, давая выговориться ведущему передачи. Так было устроено при Александре Галиче, который тогда заведовал культурным отделом парижского корпункта «Радио Свобода». Считалось, что непринуждённость и спонтанность должны выгодно отличать париж-

ские трансляции от постылых и шаблонных советских радиопередач.

Иногда всё было действительно так. Подворачивалась благодарная тема, участники не перебивали друг друга, Галич под гитару исполнял свои последние песни. Но чаще культурные передачи носили обидную печать любительства, балаболства и бестолковости.

Правда, потом, с приходом Анатолия Гладилина самостоятельность решили прекратить. Партизанщину прищучили, предписали непременно готовиться к передачам письменно и заранее, а авторский текст оставлять редактору. В общем, культурные передачи сделались профессиональными.

Владимир Корнилов напечатал после смерти Виктора Платоновича посвящённое ему стихотворение:

Голос твой в заглушку встраюсь,  
Лезет из тартарары.  
Вика, Вика, честь и совесть  
Послелагерной поры.

Известный эмигрантский певец Алёша Ершов просто затрепетал, когда прочёл эти стихи:

Забулдыга и усатик,  
На закате дня  
Ты не выйдешь на Крещатик  
Повстречать меня.

И побежал домой, сочинять музыку. Пропел мне по телефону. Получилось печально и без выкрутасов. Я, случается, до сих пор бормочу эту песенку.

Директор парижского отделения Семён Мирский тоже оценил исполнение Алёши и решил увенчать передачу

о Некрасове этой песенкой. Правда, эстет Толя Шагинян, звукооператор и друг В.П., скорчил мину, мол, не пошлова-то ли для Вики, может, не надо? Совсем нет, убеждали мы его хором и, конечно, не убедили, но он вынужден был послушаться своего босса, Сёму Мирского.

Некрасову очень нравилось выражение из газеты «Правда»: «продажные провокаторы грубо и лживо клеветуют».

Завтра иду клеветать, объявлял он, постараюсь сделать это не грубо и лживо, а повежливее и поправдивее. Кстати, вначале насмешливое «иду клеветать» потом стушеввалось до нейтрального, а впоследствии вообще стало заезженным и вышло из употребления...

Чего только о Некрасове не писали, причём даже незнакомые мне люди!

Один отметил в мемуарах, например, что В.П. — одинокий пьяница. Что тут скажешь? Вариант беспроигрышный. Начнёшь опровергать — только привлечёшь внимание к плохонькому мемуаристу.

Другой написал, что будто бы при нём В.П. вставал из-за водочного стола и говорил:

— Мне пора! Пойду поклевету.

Брехливая выдумка!

На радио В.П. ходил по утрам, никогда в это время ни с кем за столом не сидел, ни в коем случае не являлся на передачи выпивши. При крайней нужде звонил Толе Гладилину и просил перенести запись. Толя ворчал, строго как бы выговаривал и устанавливал жёсткие сроки — сегодня-завтра можешь погудеть, но в пятницу явись, хоть тресни! Я отвечаю за передачу, и будь любезен меня не подводи. Вика не подводил, старался.

Гладилина он любил и уважительно отзывался как о хорошем начальнике. Дескать, не даёт спуску подчинённым, но если надо — всегда заступается.

Анатолий Гладилин заведовал тогда литературными передачами на «Свободе», был редактором и, главное, раздавал время, как говорил В.П. Каждая передача длилась примерно десять минут. Оплачивали хорошо. Время на «культуру», естественно, ограничивалось, и поэтому Толя играл роль рачительного кормильца. Играл искусно и весело.

Поначалу всё было прекрасно. Некрасов довольно бойко писал по две статьи в неделю. Три-четыре страницы на машинке на каждый сюжет. Лафа и малина!

Но пробовали ли вы написать подряд сотню разных статей? А потом и второй год, и третий, четвёртый? Кажется, ерунда, но после первой сотни вы начинаете мучительно придумывать, о чём же вам сегодня писать. Помня, что всё должно иметь хотя бы отдалённое отношение к культуре, а не к политике, индустрии, спорту, исчезновению ленинцев в лесах Амазонки или половой эмансипации подростков.

Среди написанных им статей было немало даже скучноватых, без души. Но в большинстве своем это были маленькие новеллы или рассказы. Ироничные, патетические, чуток поучительные или просто занятные.

И все были благозвучными, так как читались они самим автором, с нужными интонациями, паузами и придыханием. В.П. умел передать по радио даже пожатие плеч, не говоря уже о язвительной усмешке. Получалось здорово — хороший рассказ и блестящее чтение. После удавшихся передач возвращался Вика домой в приподнятом настроении, поглядывал орлом, я это сразу замечал...

Года через два темы начали исчерпываться, испаряться и рассасываться, что очень удручало и Вику, и меня.

Давно рассказаны все случаи из жизни, обсуждены мировые культурные проблемы и отмечены мало-мальски памятные даты. В ход пошли мимолётные встречи, прочитан-

ные на днях журналы и книги, увиденные фильмы, спектакли, выставки и уличные представления.

С распротёртыми объятиями приветствовались все культурные мероприятия парижского муниципалитета и решения московского съезда писателей. Самый завалющий литературный юбилей превращается в именины сердца. Методически штудируются отрывные календари, опрашиваются все знакомые, в отчаянии перелистываются энциклопедии и просматриваются гороскопы мельчайших гениев современной культуры.

С ликованием встречена идея о чтении по отрывкам всей книги «В окопах Сталинграда» в честь сорокалетия Сталинградской битвы.

И всё равно вы постоянно напряжены и донимаете окружающих, нет ли у них чего на примете.

Никогда не признававший строгих обязанностей, писатель вынужден втискивать свой характер независимого сиамского кота в рамки безжалостной дисциплины. Ведь каждую неделю хоть лопни и тресни, но бери карандаш и пиши!

Тыркался до субботы, потом писал одним духом и наигранно вялым голосом звонил мне, зайди, мол, надо на понедельник. И пускался в безмятежное и беззаботное пиршество жизни, а через пару дней муки поиска подкрадывались вновь...

Однажды я нашёл сюжет для Некрасова и собственно-ручно написал текст. В.П. вернулся домой довольный и с улыбкой сообщил, что Гладилин похвалил передачу, мол, сегодня как никогда получилась удачной! Это укрепило меня в уверенности, что Толя действительно разбирается в своём деле...

— Ты знаешь, Витька, всё-таки Толя — мировой парень! Вот устроил мне сдвоенные передачи, даёт заработать, — говорил мне В.П. — И редактор он что надо!

Некрасов звонил Гладилину, чтобы записать сразу пяток передач и уехать на две недели в Америку. Просил, чтобы «круглый стол» устроил после обеда — утром надо в поликлинику... Да мало ли чем тебе может помочь хороший начальник!

Каждую неделю, в понедельник, к десяти утра, Некрасов являлся с папочкой на станцию и около часа записывал две десятиминутные передачи. Звукооператор Анатолий Шагинян был придирчив и неподкупен: никаких поблажек, речь вещавшего должна быть плавной, дикция чёткой, шумный подсос или сглатывание избытка слюней язвительно порицались и в эфир не допускались. В перерывах Толя становился блистательным и неудержимым говоруном. Кроме того, он был натурой артистической.

После записи начиналось самое приятное — благодущный трёп с друзьями и приятелями. Чаепитие в студии у Толи Шагиняна переходило во вкушание кофиа в кабинете у Толи Гладилина, а завершалось рабочее утро сигаретой в компании примы-журналистки Фатимы Салказановой. Бывало, что и сам шеф Семён Мирский, услышав галдёж в коридоре, высовывался из двери и приглашал заглянуть и к нему.

Обязательно в эти часы на станцию забредал какой-нибудь добрый парижский знакомый или старый приятель, отщепенец из Америки или Германии. Тогда дискуссия естественным образом переносилась в кафе на улице Святого Доминика и заканчивалась не скоро...

## «Спутник алкофила»

Я вдруг сообразил и вздрогнул! На следующее лето будет семидесятилетие Виктора Платоновича! Юбилей!

И отметить его надо особенным подарком, это уж точно. Я почувствовал, что идея зависла в воздухе, подобно колибри над амазонским цветком. Попорхав, идея обрела зримый образ, и явственно представилось, как будет выглядеть подарок.

Юбилейный альбом! И тут же придумал название: «Свои сто грамм».

Выражение было военным. В своё время на фронте выдавали «наркомовские» сто грамм для поднятия боевого духа. Позже стали давать водки чуть ли не от пуза перед атакой. Молодые солдаты на радостях злоупотребляли и гибли тучами от пьяного бахвальства и ухарства...

После войны эта связка слов стала незаменимой для Виктора Платоновича.

— Пойдём выпьем свои сто грамм!

— Налейте ему его сто грамм!

— Я с утра уже пропустил свои сто грамм. — Ну и так до бесконечности...

Тема альбома тоже не кочевряжилась и пришла сама собой: «Тематика алкания и винно-водочные мотивы в творчестве В.П. Некрасова». Шутливая имитация учёной диссертации. С использованием цитат из Некрасова, связанных с выпивкой.

Ну и оформить страницы альбома надо было соответственно, например орнаментом, вырезанным из винных этикеток.

Полгода я ежедневно рылся в больших домовых мусорных баках, приносил домой бутылки, отмачивал красивые этикетки и вырезал маникюрными ножничками завитушки, гербы, вензеля, виньетки и монограммы.

Кроме того, я сочинил большую шутливую панегирическую статью «Штрихи к феномоказусу юбиляра». Всё, что Некрасов натворил хорошего в литературе, утверждал

составитель альбома, удалось только благодаря регулярному употреблению спиртного и неиссякаемой страсти к захламлению.

Вторая часть трактата называлась «Спутник алкофила».

С придуманным календарём биоритмов писателя Некрасова, предвещающим заветный миг, когда запоя не миновать до конца двадцатого века! С номограммой для определения требуемого количества водки с учетом климатических поясов и погодных условий. С таблицей водочного эквивалента, указывающей, чем можно, в случае острой нужды или по бедности, заменить сто грамм водки. С законом падающей бутылки, научно описывающим периоды взлёта и спада запоя.

С двадцатью НЕ-канонами «Запюю — non-stop!» Некоторые из них и сейчас не потеряли своей актуальности:

Не пей лёжа!  
Не пей назло!  
Не пей всякую дрянь!  
Не пей, не почистив зубы!  
Не якшайся!  
Не выступай!  
Не гони!  
Не казись!  
Не ленись сам бегать за водкой!  
Не показывай, как надо пить!  
Не добавляй в темноте!  
Не теряй счёт дням!..

Ну и тому подобное...

И главная гордость, прославившая меня впоследствии в компетентных кругах, — «Диаграмма состояний горящей души». Описание эволюции процесса писательского опья-

нения — от изящного приёма первой рюмки водки до заглаживания последнего стакана в уже клинически бесчувственном состоянии...

Юбилей не заставил себя долго ждать. Празднество наметили выправить в два этапа.

Так как Владимир Максимов и Ефим Эткинд взаимной приязни никоим образом не питали, их нельзя было собирать вместе. Но и обойтись без них было ни в какую.

Поэтому решили, что Эткиндов и Гладилиных надо пригласить вечером, накануне званого обеда с Максимовым и всеми остальными гостями.

Но эта остроумная диспозиция грозила пойти на смарку...

Канун своего семидесятилетия Виктор Платонович самостоятельно ознаменовал добротной утренней выпивкой. Подремав, он добавил днём, а к вечеру уже ходил в томлении по квартире, потягивал потихоньку. Всё шло к тому, что запой начнётся именно завтра. И юбилейное торжество будет испоганено.

Я решился на крайний шаг — подошёл к В.П. и кротко изложил свои опасения: так, мол, и так, приходят гости, а юбиляр, видать по всему, накушается до отключки. Что делать, ума не приложу. Всё будет в лучшем виде, уверенно успокоил наш писатель, волнение неуместно, он себя знает...

Насчёт лучшего вида я был настроен очень скептически, знание самого себя тоже ничего хорошего не предвещало, но в двери уже звонили.

Гладилин приволок огромный пук гладиолусов, держа их, как статуя колхозницы со снопом пшеницы, обеими руками.

— Семьдесят штук, как семьдесят лет! — горделиво истолковал тайный смысл подарка.

Да куда же это всё ставить, засуетились все, но Вика сообразил, принёс из кабинета металлическую корзину для бумаг, установили в неё гладиолусы, поставили на столик возле телефона.

Маша Гладилина простодушно держала в руках бутылки — водку и шампанское, олицетворявшие мужественное и романтическое начала.

Тут же пришли и Эткинды — Ефим Григорьевич с Катей Фёдоровной.

Мила им сразу шепнула, что писатель сейчас слаб нервами и нетвёрд духом, пить при нём нельзя, может окончательно сорваться, а потом, как говорится, рога в землю! Поэтому, извините, будет лёгкое чаепитие.

Но на таком празднике мужчины настроены были выпить, да я и сам припас бутылку. Посему пока Вика, якобы за носовым платком, отлучился в кабинет добавить пару глотков из припрятанной флакушки, обговорили само собой очевидную уловку — водку подкрашивать заваркой и пить из чашек.

Выпили по чашке, попросили ещё чайку.

Закуски особой не было, печенье да варенье, сыр и прочая мелочь. Плавный и корявый вначале разговор оживился настолько, что стал напоминать птичий базар в период гнездовья. В.П. пару раз выскальзывал из-за стола, наведывался к загашнику, но держался на удивление молодцом.

Подливал себе настоящего чаю и пялился на гостей. Что за чёрт, удивлялся, пьяным им вроде быть не от чего... Катя Фёдоровна и Маша веселились и пили шампанское, я тоже не скучал, мама с Милой дёргались.

Профессор Эткинды вдруг громче всех захохотал и объявил, что он намерен выкинуть некий фокус и просит внимания.

— Да наш Фима забалдел, господа! — с радостью изумился В.П.

Ловко схватил чашку Эткинда и понюхал.

— Ха-ха-ха! — с ехидцей произнёс, чрезвычайно довольный своей прозорливостью.

Водку допили уже не скрываясь...

В табельный день, 17 июня 1981 года, я помаячил пару минут в коридоре возле Викиного кабинета, не смея приступить к деликатной миссии, с которой, собственно, и был послан Милой с юбилейного утра пораньше.

Вика читал на тахте в кабинете.

— Книга вместо водки! — неискренне засмеялся я, ища, с чего начать. — Запою дана достойная отповедь?

Юбиляр благосклонно оторвался от газеты.

— Говорят, что могучим средством от алкоголизма является шаровая молния — после её удара выживший чувствует к водке отвращение. Неплохо было бы проверить! — улыбнулся Вика. — Нет ли у тебя знакомых алкоголиков?

Мне было поручено убедительно напомнить писателю, что к обеду нагрянет вторая волна гостей и хорошо бы, чтоб хозяин смог посидеть с ними часок-другой, а не вырубиться с утра.

Но всё было как раз несравненно сложнее. При упоминании о благоразумии наш писатель мог заартачиться и сделать именно наоборот.

И я повёл дело исподволь и лицемерно. Нет ли чего выпить, начал я как можно смущённое, дескать, в такое утро совершенно не грех принять по капле.

Виктор Платонович крайне растрогался, поспешно вытащил из закутка бутылочку и любовно налил водки. Нет, нет, много не надо, успеем, мол, потом, когда придут гости! А то могут обидеться наши милые друзья, если мы с утра накушаем, кривил душой я.

Мы редко пили вот так, наедине. Я всегда опасался, что Вика вполне может расчувствоваться, вспомнив о прекрасном старом времени, и потом, уже один, бесконечно добавлять и добавлять. Но сейчас, потрясённый широтой моей души, Вика твёрдо пообещал быть на высоте...

Подношение подарка прошло скомканно.

— А это я для вас сделал, на память! — Я чмокнул юбиляра в голову и протянул большой квадратный альбом. — Поздравляю!

Тот вежливо перелистал и отложил на стол — пусть полежит, потом посмотрю, спасибо...

Так в день юбилея произошло крайне обыденное и с виду мизерное событие, как дарение рукодельного альбома. Но потянувшее за собой череду довольно приятных последствий. Особенно для автора-составителя...

Пока же я кинулся помогать женщинам накрывать на стол.

Тут пришли Максимовы, Ниссены, Тенце, Филиппенко, Зеленины, почти все на выпивку не слишком жадные.

Еле управившись с зажиганием семидесяти свечек, я торжественно протянул юбиляру пылающий и коптящий торт. Свечи были успешно задуты. Гости захлопали и зашумели, выпили вина и тихо приступили к пиршеству. Разошлись рано, а мы с Викой поднялись в кабинет — подвести итоги прожитого дня. То есть ещё выпить и поболтать.

К старости организм нашего Виктора Платоновича стал гораздо менее взрывоопасным при соприкосновении с алкоголем. Раньше опасность таилась даже в легчайшем пригублении, в любом виде и концентрации. Теперь же многое зависело от типа вкушаемого спиртного.

Пиво алкоголем не считалось и пилось без угрызений совести везде, где принято что-то выпивать. Вино вообще претило взыскательному вкусу писателя, он лишь иногда вя-

ло отпивал из бокала в безнадежно неблагоприятных ситуациях, когда даже пива на столе не было. Так что сосание пива или дегустация вина никоим образом не тянули за собой нить роковых последствий.

Но вот даже шаловливый и робкий помысел приложиться к волшебной водочной влаге являлся самым что ни на есть тревожным предзнаменованием.

Внесу оптимистическую нотку — французские запои хотя и приключались, но стали как бы редкостью. Никакого сравнения с Союзом! И по продолжительности, и по интенсивности, и по самоотдаче.

Да и что это за запои, когда они умяются периодической работой?!

В Киеве запойные хлопоты выпадали в основном маме. В Париже занимался этим я. Требуя при этом, безжалостно и хамовато, — о чём, вспоминая сейчас, сожалею, — чтобы за выпивкой в нижний магазин он ходил сам, а пия, распределял силы, на меня не рассчитывал. Чтобы не тарабанил мне ночью по телефону, мол, нет ли у тебя чего-нибудь припрятанного.

В период водкопития по вечерам он терзался мнительностью — опасался, что ночью или к раннему утру не хватит выпивки. Наличие бутылки его успокаивало, кстати, как любого нормального человека. Это называлось «иметь перспективу».

— А как перспектива? — беспокоился он перед моим уходом, приоткрыв глаза. — Обнадёживающая?

Я успокаивал, мол, всё, что надо, я поставил в ванной. В.П. умиротворялся и, отвернувшись к стене, давал понять, что аудиенция закончена.

Но вот если он просил пива — я бежал за ним поспешно и в любой час, это был признак близкого конца «гулянья».

Чем меньше матерился, тем ближе было окончание запоя.

Трезвым Виктор Платонович ругался матом иносказательно и окольно, разве что скажет «баный рот», или «японский городской», или «твою мать!». Обожал солженицынские «смефуёчки».

Выпив, Некрасов матерился гораздо охотнее и считал себя мастером в этом вопросе. Однако, рискуя огорчить взыскательного читателя, скажу, что Некрасов ругаться матом вообще как следует не умел. Хотя у него и было несколько остроумных выражений, относящихся к различным советским периодам — начиная с военных лет до сегодняшних времён. В том числе сакраментальное: «Мы едали всё на свете, кроме шила и гвоздя!»

Для вечности будет нелишне, думаю я, сохранить любимейшую шараду Виктора Платоновича: «Мой первый слог — тара, второй — душа общества, третий — приказание рыбе. А в целом — кушанье». Что это? Ответ гласит: тара — это «куль», душа общества — «ебака», приказание рыбе — «сри, сом!». В целом — «кулебяка с рисом».

Чуть выше я упомянул о приятных последствиях, связанных с юбилейным альбомом.

Так вот, через пару дней, как говорят на Украине, прочхнувшись, Вика позвонил и протрубил дифирамбы. Да так искренне, так цветисто, что я не только обрадовался, но и возомнил. Ещё бы!

— Ну, ты и уважил меня, какую работу сделал! Я вот только сейчас рассмотрел, — нахваливал меня В.П. — А как ты изящно меня обосрал, прямо прелесть! А гистограмма запоя в форме падающей бутылки! Втоптал отчима в грязь, да как элегантно! А цветочные состояния! Молодец, пашеннок! — растроганно повторял В.П.

Да чего юлить, приведу-ка я здесь отрывки из «Состояния горячей души». Вспоминая и чуть улыбаясь...

Недавно стало известно — тибетская медицина различает несколько состояний опьянения, обозначив каждое названием цветка. Мы актуализировали это древнее учение.

Задача была сформулирована так: «С какой скоростью в течение **ОДНОГО ЧАСА** надо пить рюмкой обыкновенную водку, чтобы достичь того или иного состояния?»

Зачем это?

Ну, как же, приятно всё-таки не просто пригласить гостей, а предупредив, что выпьем, мол, до состояния «Фиалки». Чтоб знали, что их ждёт.

*Состояние «Ромашки»*

*(1 рюмка каждые 20 минут в течение часа)*

Душа рвётся в полёт. Явственно ощущаешь вкус жизни. Закуску берёшь вилкой. Вокруг тебя — славные и интеллигентные люди. Милый трёп и искренний смех. Ставишь Вивальди и с нетерпением ждёшь следующей рюмки, отлучаясь в ванную добавлять из загашника.

*Состояние «Ландыша»*

*(1 рюмка каждые 12 минут)*

Связно поведываешь новости, иронизируешь над советской политикой, доказываешь гениальность «Москвы—Петушков». Каждые 12 минут останавливаешься — «Ну, выпьем!». Зачитываешь мающимся слушателям обширные отрывки из своих произведений. Позывы к телефонным разговорам. Запиваешь водку чаем, поражая притихшее застолье всасывающими звуками.

*Состояние «Колокольчика»*

*(1 рюмка каждые 7 минут)*

Обнаруживаешь вокруг себя каких-то унылых и тусклых личностей: твои блещущие юмором и непотребст-

вом реплики встречаются кислыми улыбками. Твёрдо обещаешь себе никогда больше не разделять радость пиятия с этими филистерами и занудами. Сила воли покидает тебя — хватаешь записную книжку, закуливаешь сигарету и набираешь номер Москвы.

*Состояние «Фиалки»*

*(6 минут рюмка)*

Угрожаешь «встать и уйти, если не выпьешь!» Хочется, чтобы все говорили «за жизнь», т.е. о водке, но ты вынужден выслушивать какую-то ерунду о вещах неинтересных и меркантильных. Если есть французы — уличаешь их в неумении пить, если поблизости малолетки — хлопчешь, чтобы и им налили. Ты видишь, этим людям чуждо исконное русское веселье, они расчётливы, несентиментальны и, очевидно, злобны... Одинок выпивая внеочередную рюмку, с горечью резюмируешь: «Все мудакки, Витя!»

*Состояние «Гвоздики»*

*(1 рюмка в 4 минуты)*

Наливаешь только себе. Люди глупеют на глазах. Матюкливо изображаешь в лицах людей и зверей. Ненатурально жестикулируешь, стряхивая пепел в соседские тарелки. Иногда пугаешь гостей порывами «пойти прогуляться».

*Состояние «Тюльпана»*

*(1 рюмка через 3 минуты 20 секунд)*

Не до разговоров, надо не упустить темп. Имитируешь еврейский акцент. Смысл половины твоих намёков и сопоставлений ускользает от собеседников, сам же понимаешь треть того, о чём они говорят. Но и этого достаточно, чтоб окончательно убедиться в мелкоте духовных запросов этих людей, называющих себя твоими друзьями. О-хо-хо... Но время от времени, рас-

трогавшись, порывисто притягиваешь к себе голову соседа и покрываешь поцелуями его темечко или ухо.

*Состояние «Василька»*

*(пьешь практически без перерыва)*

Нутром чувствуешь: гости ждут не дождутся, когда ты уснёшь. Фиксируешь мутно-пытливый взгляд на сидящем напротив и горько усмехаешься. Что взять с этих мудаков и мудачек, не понимающих нюансов изысканной души российского пьющего интеллектуала? Очень жалко себя, до слёз. Временами внятно вскрикиваешь: «Почему не пьём?»

*Зона убожества...*

Нет, на этом я и остановлюсь. Зачем уж так прямо и ставить все точки над *i*. Оставлю некую недосказанность...

В своём фотоальбоме за 1981 год В.П. уделил моему труду несколько листов. Этикеточный орнамент, графики и рисунки были оценены и запечатлены, всё крупно озаглавлено «Триумф сатирика» и сопровождается специально сделанной фотографией нас двоих в обнимку...

Нахваливал меня и на людях, и тет-а-тет:

— Подумать, на вид простой криворожский алкаш, а на тебе, меня переплюнул!

Вконец расчувствовавшись, Виктор Платонович надписал мне только что изданную книжку с полным «Сталинградом»: «Пасынку — отчим, победителю — побеждённый. 24.12.81. Париж». К моей фотографии на полке в кабинете была сделана приписка — «Триумфатор-сатирик».

Я принимал ванны лучистой славы. С достоинством сдерживал себя, чтобы не исполнять монгольский танец орла, танец победителя. Мой юбилейный альбом выдавался на руки наиболее почитаемым гостям, отводилось время на его

просмотр, при этом даже чай откладывался. Все были вынуждены хвалить, чаще всего от души. Либо не желая огорчить хозяина, видя, с каким предвкушением восторга Вика раскрывал альбом.

А из Америки Светлана Гельман нежданно прислала мне магнитофонную плёнку, где Некрасов выразительно зачитывал внушительные отрывки из альбома, копию которого он, конечно же, поволок с собой в Штаты. Я преисполнился гордостью, когда до меня доносился смех слушателей.

Один из любимых некрасовских американских приятелей, Михаил Моргулис, в молодости сам авторитетный ценитель булькающих утех, стал, повзрослев, редактором «Литературного курьера». И напечатал обширные выдержки из моего альбома, посвящённые писателю-юбиляру и его милым грешкам.

Уже потом, спустя годы, перебирая всё это в памяти, умозаключил я, что и отношение ко мне Виктора Платоновича с момента того алкогольного альбома как-то изменилось. Он стал принимать меня за взрослого, скажем так.

До этого он невольно помнил меня молодым, резвым криворожским выпивохой, честным, конечно, малым, трудягой при необходимости, который не выдаст, которому можно доверить секреты и поручить большинство дел. Но вот это вроде пустячное дело — альбомчик с хохмами и шутивыми выкрутасами, написанный в фамильярном тоне, — навёл его на мысль, что набрался я неизвестно где умишка и что подтянулся я на пару шажков ближе к его высочайшему уровню...

Юбилейный 1981-й. Год оказался суматошным и незабываемым. Поездками и встречами. В Женеве у Наташи Тенце, где Тоша Вугман впервые спел под гитару посвящённую Ви-

ке полушутливую песню, под Галича: «А Некрасов шёл по Иудее...»

Две недели в Германии у Льва и Раисы Копелевых. Встреча с Генрихом Бёллем особого впечатления не произвела. Бёлль говорил о немецкой литературе, Копелев переводил, Некрасов вдумчиво кивал головой и рассматривал немецкую знаменитость. Человек он приятный, расскажет потом Вика, но очень уж умно и обстоятельно говорил, о литературе, о войне, о своей жизни. И всё по-немецки! Начинаешь про себя подрёмывать, отвлекаться, задумываться о посторонних вещах, вскидываешься, когда вступает с переводом Лев Копелев, незаметно озираешься, стараешься придать себе заинтересованный вид, смотреть осмысленно...

В мае полетел в Израиль, к своему неизменному киевскому дружку Люсику Гольденфельду. Застолья трэфные и кошерные, с до смешного скромными выпивками. Не потому, что евреи, которые, по недобрым слухам, мало пьют, а просто все получили строжайший наказ — водку на стол не выставлять! Ежевечерние гости и ежедневные поездки. Неизбежная могила Бен-Гуриона, Хайфа, святой город Иерусалим, сходящий от Бога с неба, как написано в Библии. Некрасов привёз и подарил мне шикарное английское издание Библии с иллюстрациями Дорэ. А себе оставил маленький изящный талмуд, в переплёте из чеканного серебра. Обзвонил всех парижан, хвастаясь, что целую неделю абсолютно ничего не делал, но делал это на совесть!

И снова Некрасов в Германии, Швейцарии, Италии, Америке... Лос-Анджелес, Нью-Йорк, встречи с Наумом Коржавиным, Юрой Дулерайном, Владимиром Войновичем, Юзом Алешковским, Виктором Перельманом, Сергеем Довлатовым, Василием Аксёновым, с десятками других

мне неизвестных или мною забытых. В Париже это был период частых встреч с Кривошеиным. Стройный и строгий, пожилой и молчаливый, Игорь Александрович приходил раза три на чай, то вместе с Копелевыми, то с Булатом Окуджавой, вёл себя незаметно, за столом не болтал. Но наедине с Некрасовым очень подробно и занятно рассказывал о масонах, особенно о своей любимой ложе Друзей целомудрия. Я сидел в сторонке, чуть с опаской косясь на Кривошеина, масона я видел впервые и смутно ожидал подвоха... О войне, немецких концлагерях, о возвращении в Советский Союз Игорь Александрович рассказывал подробно и несколько монотонно, на прекрасном русском языке. Кривошеин был награждён чрезвычайно престижной медалью Сопротивления, о чём Некрасов мне сообщил с довольно важным видом, мол, видишь, с кем я знаюсь...

## Поползновение профессора

Профессор, многократный магистр и доктор бесчисленных университетов Ефим Эткинд возомнил меня переплюнуть.

Самолично, но для верности кликнув друзей, решил произнести коллективную славу Некрасову. Воспел и рукомерно воплотил всё это в красивый альбом в честь Викиного семидесятипяtilетия. Лёгкой шпилькой и в дополнение к альбому о лауреатской алкофилии, сооружённому мною пять лет назад, к семидесятилетию.

Я остался доволен — профессору было до меня далеко! Но альбом получился занятный, а сейчас превратился просто в уникальную вещичку.

Авторами были сам Эткинд, Лев и Раиса Копелевы, Витторио и Клара Страда, Давид и Симон Маркиши, Жорж

Нива, Наум Коржавин и ещё несколько человек. Каждый написал небольшую статейку и шутивно, но чаще серьёзно, а то и с налётом патетики воспел талант и добродетель Виктора Платоновича.

Ирония иронией, но написали это люди неоспоримого ума и интеллигентности. Друзья Некрасова!

Приведу несколько небольших отрывков — через двадцать пять лет!

Итак — Ефим Эткинд, самый красноречивый.

«Дорогой Вика, грешным делом, я думал, что меня уже никто ничему научить не может — разве что в науках, но не в жизни. Ты опроверг мою самонадеянность. Ты научил меня, что интересное находится не там, где его ищут. Лет десять назад я тебя уговаривал писать сюжетную повесть с завязкой и растущим напряжением; ты насмешливо ответил, что это не по тебе и что ты будешь писать от себя, вроде дневниковых или путевых записок. “Можно ли несколько раз использовать один и тот же сюжет?” — спросил я тогда. Я боялся повторений, однообразия, стандарта. И ошибся, потому что не понимал главного: читателю интересно, если интересно рассказчику.

Ты ни к чему не привык, ни к чему не пригляделся... Люди бегут мимо, не замечая, как высокопарно называется реторан или какая над магазином смешная вывеска. Ты смотришь и видишь, видишь и удивляешься. Когда ты потом рассказываешь об этом, всё оживает: никакие диковинные фигуры речи, редкостные метафоры или блестящие сравнения не нужны; нужна твоя интонация — живая, естественная, как дыхание, фамильярная или доверительная, или озорная, или сердечно-дружеская. Интонация — твоё главное писательское свойство, редчайшее и драгоценное (в плохом и даже среднем переводе оно пропадает...). Интонация каждого задевает за живое и заставляет читать до кон-

ца. А после разговора с Зевакой остаётся многое — и прежде всего обаяние его непосредственности и неподдельной, простой и открытой Физиономии.

В эпоху громогласия, газетного красноречия и крикливых лозунгов ты заговорил чуть иронично и с мужской намеренной грубоватостью, скрывавшей нежность... Твоя насмешливая сдержанность покорила всех — тогда, в 1946 году, ты открыл твоим “Сталинградом” новую эпоху в литературе: звук правды, которая рождается на краю жизни. Было ещё далеко до “оттепелей”, до статьи Померанца, даже до стихов Слуцкого, а уже правда мужской солидарности окопных будней и солдатской дружбы слышалась в интонациях твоей книги.

Ты отучил нас, твоих читателей, говорить патетично, и я сейчас, когда это пишу, нарушаю твой урок. Но ещё одно хочу сказать — и тебе самому, и тем, кто, может быть, прочтёт эти строки. Сколько я видел людей, которые воевали храбро, а потом жили при советской власти поджавши хвост: военное и гражданское мужество совпадают так редко, что их расхождение стало казаться чуть ли не законом. Твой пример редчайший. Когда я в 1974 году услышал по радио твой протест против обыска, озаглавленный без ненавистной тебе патетики “Кому это нужно?”, я узнал голос капитана Керженцева: спокойно-непреклонный, незлобный, насмешливый, но непримиримый.

Так вот: за цельность и сдержанную силу духа».

Писатель Давид Маркиш и его брат Сима Маркиш, профессор литературы Женевского университета:

«Завидуем твоему здоровью и молодости. ...А ты просто не замечаешь хвороб и болячек, не считаешь лет... И вот ты — самый юный и самый здоровенный из всей твоей бражки по обе стороны стены...»

(Вика умер через год, растерянно замечу я...)

«...Завидуем твоей великой естественности. Любой и всякий, хоть когда-нибудь, хоть в чём-нибудь, а вынужден притворяться, что-то вымучивать, выделывать. А ты — всегда ты, всегда равен самому себе. И талант твой такой же (не бойся мы громких словес, сказали бы — абсолютно естественный)...

...Завидуем твоей лёгкости духа и, тут не побоимся, божественной лёгкости. Она не имеет ничего общего с легкомыслием... Она из самых редких и самых драгоценных даров свыше...

Ты артист — и в написанном, и в прожитом».

Известнейший швейцарский славист профессор Жорж Нива:

«...Писатель-антипрофессионал, писатель-“зевака” — мы любим его прежде всего за удивительное совпадение его самого и его творчества. Он образец чистого “любительства” в искусстве, т.е. такой искренности, что, право же, не отличишь пишущего от написанного!..

...Из всех моих встреч с ним самая незабываемая была в Лозанне, у “дяди Коли”, его дяди-гляциолога. Жизнь в эмиграции начиналась, маленькая печальная музыка уже звучала в ушах, но как бодро и молодежavo выглядел Вика под градом упреков дяди, идеалиста-прогрессиста! И тут я понял: а ведь нечего жалеть, что я не видел его ни в Киеве, ни под Сталинградом, ни в день вручения Сталинской премии. Он не изменился! Не изменился его голос. Мальчик Вика, юноша Вика, Вика — начинающий писатель стоит сейчас на синем фоне швейцарского озера».

Литератор Раиса Орлова, жена Льва Копелева:

«...Некрасовская атмосфера — это неизменное присутствие друзей в твоей жизни. С этим богатством многим эмигрантам пришлось расстаться.

...В осеннем смешении красок (отсутствие чёрно-белого), в мягкости и размытости тонов — особенность и пре-

лесть некрасовской прозы, наследие Чехова, наследие импрессионистов...

...Прихоть — тоже часть внутренней свободы.

...Постаревший мушкетёр остался верен чести и дружбе. Верен тому, что было заложено в душе, что было воспитано бабушкой, матерью, тёткой, друзьями, книгами, улицами Киева, окопами Сталинграда.

Из верности этому Некрасов эмигрировал.

Из верности этому остался самим собой и на чужбине».

*Глава четвёртая*

Глухая мудра  
и гусиный  
вздоч



## Невинные и винные встречи

**В** Киеве и Москве Виктора Некрасова знали десятилетиями, он был любимцем, исполненным беспредельного шарма. Даже его склонность к умеренной выпивке не вызывала озлобления. Чуть раздражала разве что.

И приехав во Францию, он не собирался менять свои привычки. Мол, я вот такой, как есть, я вам дарю свою привязанность, и вы тоже любите и понимаете, то есть прощайте меня.

Но в Париже, Мюнхене или Нью-Йорке твой собеседник совсем не такой, как в России. Он редко добросердечный друг и совсем уж не часто простодушный единомышленник. Каждое слово твоё истолковывается, вздох учитывается, прищур замечается, а твой пьяный трёп интерпретируется так же глубоко, как дипломатическая нота. Лишь немногие из новых знакомых были благорасположены принимать его как вечного, чуть капризного юношу, увенчанного молвой и осиянного удачей...

Среди этих немногих был бывший ленинградец Владимир Загреба. Врач-анестезиолог, он через малое время уст-

роился на работу в хирургическую больницу сначала в Эльзасе, а потом и в Париже. Они подружились и продолжали потихоньку дружить до самой смерти Вики.

У Володи был отталкивающий недостаток — он не пил. Поэтому, когда у В.П. случались запои, Володя по наивности беспокоился сверх меры и требовал ложиться в больницу для спасения от алкогольной интоксикации!

Подобное роковое и столь пугающее бесхитростные души отравление обычно рассасывалось само собой, но пару раз всё-таки пришлось воспользоваться рекомендациями доктора. Это скорее была дань западной медицинской щепетильности, мол, надо что-то предпринимать, когда у человека несчастье! Так думал непьющий Загреба, и что удивительно, Некрасов ему не перечил. Они садились в машину и уезжали на недельку в Володину клинику, где заодно В.П. с ног до головы обследовали. Благо, что всё оплачивалось соцстрахом...

Вскоре после знакомства Вика стал называть его Вовочкой. За некую наивность, часто слегка наигранную, как мне казалось.

Вовочку и Некрасова связывали долгие прогулки по Парижу. Они, видимо, находили, о чём говорить. Вернее, Вовочка находил говорить, а Виктор Платонович — терпение слушать его.

— Что делали? Где были? — спрашивал я.

— С Вовочкой общался!

Вовочка производил впечатление восторженного человека, что, конечно, не является недостатком, но в повседневной жизни требует соблюдения определённой меры. Частенько случалось, что начинал он проникновенно рассказывать или изъяснять дикий восторг по поводу самому что ни на есть ординарному, на ваш взгляд. Чтобы как-то сгладить неловкость от этой неуместной патетичности, мы начинали

подшучивать над ним, и он обижался. Но к Вике, надо полагать, он чувствовал привязанность, да и В.П. относился к нему очень благосклонно. Полюбливал, но в гомеопатических дозах, шутил он.

Мать Вовочки, Фаина Израилевна, женщина возвышенная и деликатная, писала искренние и трогательные стихи. А тут взяла и изложила что-то в прозе. Вручила церемонно Виктору Платоновичу, мол, прочтите и оцените.

Он прочёл, сколько успел, в метро, а у себя положил рукопись в уголок и забыл о ней. Однажды позвонил нам: приходите вечерком, придут Вовочка с Фаиной. Попьём чайку, потреплемся.

Фаина Израилевна, милая и чуточку жеманная, была одета в этот раз в чёрное длинное платье с маленьким белым воротничком. Красиво причесалась, в общем, выглядела нарядно.

— Малый театр! — рассмотрев гостью поближе, вскричал В.П. — Сущая Мария Ермолова! Становитесь сюда, Фаина, сейчас я вас отщёлкаю!

Её заставили сцелить пальцы, откинуть голову, изобразить обаятельную улыбку. Вика крутил натурщицу и так и этак, делал снимки. Рукопись он с облегчением вернул, пообещал написать о ней после, якобы ему надо собраться с мыслями. Позже был дан совет продолжать писать стихи, не расплываться на пустяки, на прозу и всё такое...

Если Вовочку Загребу наш писатель любил, то Анатолия Вугмана — обожал.

Живущий в Женеве Тоша в душе и в жизни был поэтом. Писал чудные стихи, слагал песни и пел их под гитару. Предварительно выпив, что придавало исполнению проникновенность, а голосу — бархатистость.

Лира не помешала ему стать в эмиграции потрясающим компьютерщиком. До женитьбы любимец бесчисленных

женщин, после свадьбы — как отрезало. По его словам. Прирождённый острослов, чрезвычайно чуткий и компанейский человек, любимый и почитаемый друзьями, Тоша Вугман до сих пор остаётся таким же каламбуристом, всеобщей женской симпатией, хлебосолом и разлюбезным нашим другом.

Кажется, в восьмидесятом году, приехав однажды из Женевы, Вика впервые расписал и расхвалил нового знакомого по имени Тошка. Позже тот прикатывал в Париж множество раз, и всегда В.П. радовался встрече, внимая его неугомонному остроумию.

В один из его приездов, хлопнув по стопке на некрасовской кухне, мы с Тошей уселись в гостиной в ожидании хозяина. Тот вернулся с прогулки вместе с Вовочкой Загребой.

То была пора, когда Вовочка утверждал, что не любит, когда ругаются матом. Что для нас с Тошей, людей бессердечных и brutальных, было абсолютно непонятно. Подозревали, что он, по укромным причинам, прикидывается недотрогой. Зачем — неизвестно, ломали голову мы.

Девичья скромность приятеля веселила и Вику. Вполне естественно, что мы с Тошей, не успев поздороваться со скромнягой, перешли чуть ли не на сплошной мат, смягчаемый солдатскими шутками. Вика слегка жалел Вовочку, а тот как бы конфузился и пожимал плечами, дескать, ему это безразлично. А уж мы изгалялись, как могли. Дураки, что с нас взять!..

Кто поверил бы тогда, что смущающийся Вовочка, смахивающий своими невинно хлопающими глазами на оленёнка Бэмби, через десяток лет сочинит, смастерит и опубликует на свой кошт славный сборничек матюкливых четверостиший, малопристойных сентенций и нескладух? Вика не поверил бы точно, да и мы с Тошей были удивлены таки-

ми взбрыками. Но главное — Вовочка будет как бы разоблачать Виктора Платоновича, открывать глаза на некие одному ему известные, как бы потайные нюансы... Вот тебе и эмигрантские душевные изломы, вмятины и трещины, вздыхаем мы с Тошей...

Под Новый год, как всегда, мы с Милой зашли к нашим на седьмой этаж, поздравить. Парадно наряженные, естественно.

— Ну, ты сегодня вылитый портрет Дориана Грея! — заулыбался В.П.

— Почему вылитый? — польщённо отшучивался я. — Выпитый! Мы ничего не выливаем!

— Ох, остряк, остряк! — посмеивался В.П. — Куда направляетесь?

Мы направлялись к Зелениным вместе с Тошей Вугманом и скрипачом-виртуозом Александром Баранчиком.

Некрасов пару раз заезжал в гости к Саше в Амстердам. Любил его за компанейский характер, чудесную улыбку и талант. Сашина жена Оля, тоже скрипачка, подпадала под радующую душу Некрасову категорию «мировых баб».

Баранчик сразу вошёл в наше сердце, когда ответил Некрасову, что сегодня, мол, идти на его концерт не стоит, сплошная глухая муда. А вот завтра будет совсем наоборот...

На жаргоне лабухов «глухая муда» — это когда все скрипки оркестра долго и старательно выпиливают плавную музыку. Ну а если вдруг музыканты начинают суетливо елозить смычками по струнам, вроде захлёбываются, заходятся в высоких нотах, — это называется «гусиный вздроч».

Некрасов, и мы вместе с ним, выражение это — «глухая муда и гусиный вздроч» — употреблял часто и с чувством во многих жизненных ситуациях, особенно описывая бурлящую и булькающую парижскую эмигрантскую жизнь. Либо когда делился впечатлениями о встрече или зрелище. Мол,

посидели ничего, но гости слишком уж галдели, явный гусиный вздроч! Ну а выставка — глухая муда, двух мнений быть не может...

Ни с того ни с сего Вика позвал на вернисаж. Туманно добавил, что одобрение снискает тот, кто подмешивает полезное к сладостному. Я насторожился — при чём тут сладостное, уж не задумал ли писатель какого-либо алкогольного подвоха? Но В.П. успокоил: ему просто надо написать передачу для радио, это и есть полезное зерно культурной акции. А о сладостном, мол, он сказал из врождённой утончённости, как-никак предстоит окунуться в искусство.

Искусство, на беду, оказалось абстрактным. Вернисажились три эмигрантских художника. На осмотр всех картин ушло примерно секунд сорок. Все без исключения приглашённые на картины более или менее плевали и ждали, собственно, кульминации праздника изящного искусства, то есть бесплатной выпивки.

На эмигрантском вернисаже присутствовал и копошился всякий богемный и безымянный люд — художники, певцы, артисты и просто персонажи без особого таланта, обычно называвшие себя стилистами. Обязательно отирался и бесхитростный питерский литератор, убеждавший знакомых, что он эксперт по живописи. Простодушный Виктор Платонович готов был этому поверить.

Некрасова всюю обхаживала организаторша вернисажа — обеспокоенная неизвестно чем женщина во взъерошенной одежде, напоминавшая изнасилованного подростка.

Случайный посетитель, не испорченный современной культурой эмигрант, искал общения. Наткнулся на питерца, который только что закончил осмысление полотна невнятного цвета, разлинованного в косую линейку.

— А вы какого сословия будете? — учтиво вступил разговор эмигрант.

Питерец осторожно, как со стаканом на голове, повернулся к нему и чуть обиделся:

— Я писатель. Разве не видно?

— Не видно, — извинился простоватый собеседник.

Питерский писатель надменно направился к двум товарищам по сословию, со знанием дела заглатывающим дармовое красное вино. Третий — поэт, неизвестно зачем бросивший пить, — стоял без дела и чувствовал себя идиотом. Его опасались, как залеченного сифилитика. А он, мятежный, приставал со стихами:

Не забуду твой тающий рот  
И глаза твои синие-синие!  
Ты же вспомнишь лишь баночку шпрот  
И моё половое бессилие.

— Ну, как? — спрашивал сочинитель. — Пробирает? Я вообще-то мистик, но иногда грешу городской эротикой...

Художественная критикесса из «Русской мысли», хипповатая, в мурмолке из парчи дамочка ростом чуть выше урны и с бескрайним седалищем, неприкаянно мыкалась по залу. Наткнувшись на Некрасова, скорбно пожаловалась, что получила прилюдный поджопник от одного шаромыжника, живописца в изгнании. Тот вознегодовал, что его творчество замалчивается газетой. Некрасов, как мог, посочувствовал даме, посетовал на падение нравов.

Критикесса налила себе бокал вина, влупила его одним духом, пристроилась в уголке, приняв вид страстотерпицы. Её обидчик, крепко балданутый, прохаживался фертом, мол, знайте, люди, святым искусством не поступлюсь и себя не позволю топтать! Телосложения живописец был невзрачного, обильно волосат, умывался нерегулярно. Прихвастывал, что родом из печенегов. Ему охотно верили...

## Медон

Мама уже давно тишком-ладком подготавливала почву, мол, надо тебе, Вика, непременно приехать к нам в Медон, в Русский культурный центр.

Ежегодно в летние месяцы там организовывались курсы русского языка, где мама с Наташей и Львом Круглыми вели занятия, читали лекции и ставили спектакли. Вообще-то эти курсы были созданы католической церковью, вернее, её униатской ветвью. А управляли ими монахи-иезуиты, все как один русофилы, увенчанные изысканными званиями, степенями и дипломами.

Отец Алексей, отец Андрей и отец Рене были главными заводилами. Все они были немислимыми спецами в русской грамматике и славились как поборники строгой педагогической дисциплины. Они-то и подыскивали преподавателей по бесхитростному принципу естественного отбора: на курсах оставались постоянно работать самые преданные, интеллигентные и общительные наставники, до дрожи в голосе переживающие за успех своих студентов.

Раньше на учёбу записывались взрослые внуки первой и второй эмиграций — освежить полузабытый, слышанный от бабушек русский язык. Теперь же это были студенты-слависты, приезжавшие отовсюду, вплоть до Кореи и Сингапура. Иногда присылались на стажировку и кабинетные разведчики.

Место, конечно, было роскошным. В парижском буржуазном пригороде Медоне красовался большущий двухэтажный помещичий дом с необозримой подстриженной лужайкой в окружении небольшого парка. Масса жилых пристроек для студентов и преподавателей, маленькая православная церковь, в которой по очереди служили отцы-заводилы. Занятия происходили либо в доме, либо за столами под деревьями, или прямо на газоне.

Каждый месяц имел торжественное место выпускной вечер, своего рода театрализованное ристалище, на котором состязались студенты, суфлируемые наставниками, взволнованными до полуобморока. Разыгрывались пьески, притчи, скетчи, басни, сказки или отрывки из классиков. В жюри сидели принаряженные, благочинные, улыбающиеся, но замечавшие все промахи и отсебятины отцы-иезуиты. Зрители всей душой сопереживали, а отыгравшие щедро аплодировали.

Гримировать и костюмировать актеров преподаватели начинали чуть ли не сразу после завтрака. В сторонке натаскивался конферансье — во избежание чудовищного прошлогоднего ляпа. Тогда ведущая вечера, итальянка с прекрасным русским языком, выйдя на сцену, в волнении громко объявила:

— Сказка Ершова «Конец-Горбунец»!

С отцом Андреем приключился столбняк, русские зрители дружелюбно похохатывали, а милая эта оплошность вошла в медонские хроники...

Некрасов не раз бывал в Медоне, и хотя он с трудом туда выбирался, но возвращался домой всегда довольным. Время там проводилось отдохновенно, а собеседники отличались живостью мысли. То это был, помнится, спектакль «Кроткая» по Достоевскому, классно сыгранный Лёвой и Наташей Круглыми. То ежегодная встреча бывших курсистов с богослужением, русскими песнями, хором, блинами и лотереей. Причем Вику обхаживали и угощали прямо на травке, что оставило приятнейшее впечатление. А теперь решили устроить ужин в честь маститого писателя, надеясь, что маэстро выступит и поделится мыслями, может быть, даже интересными... В начале эмиграции возможность поговорить о литературе манила, он охотно рассказывал и байки, и поучительные истории, но потом тяга к таким выступлениям постепенно иссякла.

Мы с В.П. приехали в Медон, когда в гостиной происходило брожение страстей: кто-то из студентов сказал «салат из помидор».

— Вы так будете говорить на одесском привозе! А по-русски говорят «салат из помидоров»! — отец Андрей грозно указал перстом на виновного.

Все побежали в библиотеку смотреть в словаре. Вернулись с побитым видом, а отец Андрей в распрекрасном настроении начал ходить гоголем, заложив руки за спину.

В таком состоянии он долго беседовал с Некрасовым, пока его не оттеснил отец Алексей, наш всеобщий любимец, умница и кладезь знаний.

— Глуповатая мечта Прометея покорить природу была подхвачена коммунистической идеологией. Но зачем её покорять, а не жить в добрососедстве? — рассуждал отец Алексей, попивая вино из бумажного стаканчика.

Как уважаемый гость, Виктор Платонович пил вино из настоящего фужера и вежливо соглашался.

Литературный вечер прошёл на заоблачной высоте, даже о литературе слегка поговорили. Правда, Некрасов не грешил рассуждениями о творческих секретах, но наверстал краткость доклада потом, в застольном общении.

— Молодцы какие ваши иезуиты! — подытожил В.П., возвращаясь домой. — Какое счастье для всех нас, что мать в них души не чаёт!

Мама отдавала Медону всё время, буквально жила ожиданием преподавательского сезона. И обожала при этом всех — студентов, отцов, своих дражайших Круглых, которые тоже носились с ней и очень любили. И эмигрантская жизнь не казалась суровой, но напротив, даже распрекрасной.

О семейных раздорах и перепалках в мучительные первые годы эмиграции родители теперь и не вспоминали... Но тут возник камень преткновения.

...Белая с рыжими пятнами, симпатичная длинноногая и узкомордая собачонка смотрела на меня с несусветным ужасом, прячась за маму. Одно собачье ухо торчало кверху, другое болталось.

— Ты чё, псица? — удивился я и присел перед ней на корточки.

С собакой случился конфуз — она упёрлась и буквально завибрировала от страха.

— Она душевно травмированная! — извиняясь, сказала мама. — Ну что с тобой, собака, разве ты не видишь — это Витя!

Собачонка тотчас закатилась в истошном лае. Через пару минут он перешёл в истерическое, с рыданиями гавканье.

Из кабинета вышел Вика.

— Вот наградили мать этой идиоткой! — позлорадствовал он. — Теперь вместо нашей милой покойной Джульки мы имеем это сокровище!

Они невзлюбили друг друга с первого взгляда.

Собака отличалась неправдоподобной вертлявостью. По породе называлась «папийон», то есть «бабочка», а по характеру была круглая дура и неврастеничка. Мама оправдывала это трудным собачьим детством и жизненными драмами — её привезли нам из собачьего приюта. В присутствии хозяйки собака коротала время, беспорядочно и неумоимо облаивая всех в квартире. Но если мамы не было дома, собака лежала под кроватью в коматозном от звериного страха состоянии.

Лично хозяйина дома собака ни в какой грош не ставила.

При вселении папийона Некрасов был в отъезде, а когда вернулся, собака твёрдо решила, что в дом вторгся чужой. Как я уже упомянул, умом она не блистала, поэтому переубедить её никому не удалось.

Как всегда, придумывать имя пришлось мне.

— Такая трусиха должна быть Трусей или, может, Тусей! Подойдёт?

— Галка, имя Туся тебе подходит? Витька придумал! — крикнул Вика и подмигнул мне.

— Да что с тобой, Туся? — слышалось из комнаты мамы.

— Да-а-а! Мы ещё с ней хлебнём! — протянул Вика и пошёл к себе.

Туся тогда утихомирилась. В доме наступил шаткий покой. До следующего нервического собачьего припадка.

Нет, сказал как-то В.П., вздохнув свободно, как бы решив сбросить стесняющие писательский торс вериги, когда-нибудь я напишу о ней всё, что думаю! Мир ахнет, узнав!

Он выполнил свою угрозу, написав трогательный рассказ «Собачья жизнь»...

## Надпись синим карандашом

Утречком ранней осенью 1983 года Некрасов в прекрасном настроении нёс под мышкой свежий багет. В подъезде столкнулся со мною.

— Ты знаешь, что такое по-французски «сапёрлипопет»? — с лёгкой ехидцей спросил В.П.

Так назывался соседний магазинчик женского белья. Что значит это слово, я не знал и чуть сконфузился. Оказалось, что так в старину говорили «чёрт возьми!». И Некрасова внезапно этим утром озарило назвать этим словом свою новую книжку.

Печатаая на машинке «Сапёрлипопет», я дошёл до ночной выпивки и разговора Вики со Сталиным и поражённо насторожился. Даже не утерпел, перестал печатать и прочёл всю рукопись до конца. Обилие прямой речи и некоторые

уже где-то слышанные мною фразы говорили о том, что Вика художественно фантазирует. Да и почему надо было столько времени тянуть с рассказом об этой встрече?! Никогда он об этом не заикался! Но в то же время смутно и тревожно забрезжила мыслишка: а вдруг в этом есть толика правды? И вечером я спросил его об этом. Писатель чуть ли не зарозовел от удовольствия, так ему понравилось, что даже я как бы ему поверил.

— Было или не было, Виктор Платонович? Пили со Сталиным? — спрашиваю я, кладя на диван напечатанные листы. В.П. вытирает губкой клеёнку после чая.

— А ты как считаешь? — уклоняется от ответа В.П.

На мой взгляд, рассуждаю, всё рассказывается слишком подробно, а ведь пили много. Такие длинные разговоры по пьяни если и ведутся, то не запоминаются. Да и зачем было молчать сорок лет? Значит, выдумка? А может, кое-что и вправду было? Сапёрлипопет! Хрен с ней, с прямой речью! Но сам факт-то выпивки со Сталиным? Это было?

— Откуда я знаю! Вроде да... — интригует меня В.П.

И как всегда, когда подшучивает, так чуть по-детски или как бы играя на фаготе, складывает губы и так иронично, запытыми, поднимает брови и улыбается:

— Если скажу было, ты поверишь?

— Нет! — брякнул я сдуру и спугнул откровенность.

— Ну и правильно, не верь! — вроде бы облегчённо сказал В.П. и пошёл отжимать губку.

Выйдя из кухни через минуту, он поглядывает с хитрецой и говорит, что всё он придумал, хотя детали некоторые взяты из жизни. Что за ерунда, пожимаю я плечами, так было это или не было, чего темнить? Не было, не было, иронично и почему-то с еврейским акцентом говорит В.П. Это называется псевдология, знаешь, мол, что это такое? Я не знал, да и сейчас толком не знаю.

Если уж мы заговорили о Сталине, при жизни обоже- ствлённом всеми нами исчадия ада и аспида, остановлюсь-ка я на удивительной истории присуждения Некрасову Ста- линской премии. Эту, скажем скромно, почти семейную ле- генду рассказывал мне ещё в Киеве сам Виктор Платонович. Мы сидели с ним на веранде второго этажа киевского ресто- рана «Метро». Через кроны каштанов просматривался ве- черний Крещатик. Выпили мы до этого немного. В.П. пере- шёл на пиво, а я, по неизвестной причине, на сухое вино. Каким-то образом вспомнил он, как они на войне верили Сталину, как содрогались в ликовании в День Победы, как решил он написать книгу о Сталинграде, как повёз рукопись в Москву... Представляешь, пока писал, в рот не брал! До сих пор уважаю себя за железную волю, иронизировал Виктор Платонович.

Повесть напечатали, и вот тогда-то всё и началось! И та- кого поворота в судьбе этой книги никто не ожидал...

В ночь на 7 июля генеральный секретарь Союза писате- лей СССР Александр Фадеев протянул Сталину папку с двумя страничками, озаглавленными «Лауреаты Сталин- ской премии по литературе за 1947». Мол, на ваше утверж- дение, товарищ Сталин, почтительно и спокойно сказал он. Всё было уже утрясено и согласовано. Сталин обстоя- тельно прочёл, взял синий карандаш и приписал в конце списка — «В окопах Сталинграда», Виктор Некрасов. Вто- рая степень». И пододвинул листки слегка ошеломлённому Фадееву.

Удивление Фадеева было вполне оправданно. Виктор Некрасов был писателем начинающим, случайными судьба- ми сумевший напечатать свою повесть в московском журна- ле «Знамя» в 1946 году. Киевлянин, капитан-сапёр, с переби- тым немецким снайпером предплечьем, он был демобилизо- ван по инвалидности к концу сорок четвёртого года. До

этого он лишь самую чуточку прихрамывал из-за неизвлечённого осколка в бедре. Очень милый, поговаривали об авторе в московских кругах, интеллигентный, пьющий в меру, окончил архитектурный институт...

За год до этого его первая вещь вышла отдельной книгой в «Московском рабочем» под названием «Сталинград». Критика встретила её кисловато — с таким названием надо эпопею, литературный монумент, художественное полотно, а не повесть писать. Нам ещё доморощенного Ремарка не хватало, поборника окопной правды, дальше бруствера не видящего! И во втором издании повесть вышла уже под названием «В окопах Сталинграда». Как бы извиняясь, редактор снабдил книгу предисловием «От издательства»: «В. Некрасов не ставил перед собой цели развернуть всю грандиозность Сталинградской операции в целом... Его задача была гораздо более узкой: показать глазами защитника Сталинграда один из участков этой великой битвы... Картины боя также даны глазами непосредственного участника, в некоторой “частности”, без подведения необходимых обобщающих итогов... Книга В. Некрасова имеет, безусловно, большое документальное значение и художественную ценность»... То есть хотя писатель и не лишён некоего дарования, но всего лишь «показал и дал глазами», не более...

И зловещим критикам, и благосклонным читателям сразу же бросилось в глаза, что автор ни во что не ставит руководящую роль коммунистической партии. Можно сказать, намеренно замалчивает её! Есть всё: и отступление, и ночные атаки, и солдаты с офицерами, и убитые, наши и немцы, и водка, и дружба. А вот о коммунистах — как-то сквозь зубы и через губу. И не странно ли это, что имя товарища Сталина, обеспечившего гениальное политическое и военностратегическое руководство Сталинградской битвой, заметьте, упоминается один лишь раз?..

А тут Сталинская премия. Не знаешь, что думать...

Но после премии все заговорили о гражданском мужестве писателя, сумевшего без прикрас превосходно описать атмосферу героизма и самопожертвования. Почему бы и нет!

Хотя всё, на наш взгляд, проще. Виктор Платонович Некрасов был человеком честным. И писать обычную правду о том, что полковой инженер капитан Некрасов увидел и почувствовал на войне, было для него не актом гражданского мужества, а абсолютно очевидной необходимостью. Как же о войне говорить иначе, чем правдиво?!

«Именно в это — что Красная Армия принесла миру мир и свободу! — верил я, когда полупарализованными пальцами выводил на склонах Красного стадиона в Киеве в школьной тетрадке первую фразу. “Приказ об отступлении приходит неожиданно...”»

Виктор Некрасов напишет эти строки через сорок лет, в эмиграции.

А до этого ему потребуется-таки проявить мужество во времена реального социализма. Когда, как любили говорить, партийная и советская общественность законно негодовала — как же так, обласканный властями лауреат, а позволяет себе не соглашаться с мнением самого генсека! Упорствует в ошибках, подписывает сомнительные письма, сочиняет неприкрытую антисоветчину и делает не санкционированные заявления для западной печати. Ведёт себя вызывающе. Как можно докатиться до того, ужасались в ЦК Украины, чтобы на киевской партконференции, в присутствии действительно вышестоящих товарищей, в ответ на нелюбезную критику заявить с высокой трибуны совещания по идеологии в 1962 году: «Я писал и буду писать правду, ту правду, которую мы защищали в окопах на Волге!»

Исключили из партии. Изъяли его книги из библиотек. И началось! В течение нескольких лет целые батальоны пышущих здоровьем тыловиков-соотечественников, получавших зарплату за обеспечение безопасности могущественной державы, самозабвенно тратили рабочее время на аресты друзей, запугивание знакомых, на обыски, слежки, прослушки, допросы бывшего фронтовика, пожилого уже человека, писателя Виктора Платоновича Некрасова.

В послесловии к последнему прижизненному и самому полному изданию «В окопах Сталинграда», напечатанному как бы по иронии судьбы в Германии, Некрасов растолковывал эмигрантским блюстителям канонов, теперь уже антисоветских: «Полжизни до книги, полжизни после... Три года в армии. Полюбил я её и победами её горжусь... И хотелось, чтоб все любили мою Красную Армию, армию-освободительницу. Она заслужила этого — своею кровью, потом, ранами, могилами... Вы воевали за Сталина. Вы шли в атаку, надрывая глотку: “За Родину! За Сталина!” (признаюсь, со мной это тоже случалось), вы защищали самую страшную в мире систему, может, пострашнее гитлеровской, и видите, во что это вылилось? Так говорят мне многие здесь, на Западе. Вижу, отвечаю я, — но воевали мы тогда не столько “за”, сколько “против”. В нашу страну вторгся враг, и мы должны были его прогнать, уничтожить... А во что это выльется, мы этого не знали. Никто тогда не знал».

«Победителей не судят! Увы!» — скажет он там же...

В книжку «Сталинград» 1946 года Некрасовым был вложен пожухлый листок. Карандашный, тщательно вычерченный эскиз. Чуть помпезное, с колоннами и фронтоном, но нехитрое сооружение. Наверное, оно понравилось однополчанам. С трудом разбирается надпись рукой архитектора: «Памятник на могиле командиров 1047 сп 284 сд, павших в боях за Мамаев курган IX.1942 — II.1943». Подпись:

«ПИ 1047 ст. л-т В. Некрасов». Полковой инженер, старший лейтенант — значит, нарисовал он это ещё в Сталинграде, но после официально объявленной даты разгрома немцев — 2 февраля 1943 года. Наверное, ходил по начальству, убеждал, надо, мол, увековечить память однополчан. Конечно, надо, соглашались командиры, но сейчас не до этого. Потом, после Победы...

А после Победы Виктор Платонович напишет «В окопах Сталинграда»...

## Перформанс и конструктивизм

Не успел Жорж Помпиду стать президентом Франции, как его чёрт дернул!

На закладке первого камня сверхмодернового парижского выставочного центра «Бобур» в 1971 году он прилюдно выдал, что искусство, мол, должно быть подрывным! Ну а раз должно — чего уж тут! Оно и будет таким!

В эту президентскую брешь ломанулись тучи, косяки и стаи пройдох и торбохватов, единственной и высшей целью которых являлось провоцирование почтенной публики, офонаревшей от такой нахрапистости и пугающего минимализма. Объединившись в хваткий синдикат, все эти креаторы, критики и галерейщики называли всех сомневающихся реакционерами или фашиствующими невеждами от искусства, падкими на буржуазную банальность и мещанские сентименты. Мучимые сомнениями простаки суетливо уверяли всех, что они никоим образом не враги прогресса, но напротив, с младых ногтей исподволь тянутся душой к именно такой вот штуке, современному искусству!

Среди таких простаков совершенно неожиданно оказался и Некрасов.

До этого, в Киеве и Москве, Виктор Платонович слыл, да и был понимающим толк поклонником и импрессионистов с кубистами, и русского авангарда, и сюрреалистов, поп-арта, даже некоторым образом классического абстракционизма. Хотя с неизъяснимой нежностью более всего обожал он Серова, Куинджи, Билибина, Кустодиева, Сомова.

А тут...

...Мы с Викой, крадучись и оглядываясь, как на утиной охоте, шли по залам ФИАКа, ежегодной выставки современного искусства. Притомившись от впечатлений, остановились возле поставленной на попа необработанной железной плиты площадью около двух соток.

Экспонат, видимо, породил некий ажиотаж. Вдумчиво покуривая, его с достоинством обсуждали трое парижских знатоков — как бы накрахмаленный красавчик зрелых лет, ангелочек женского пола с поросычьей мордашкой в штанишках-буфах на бретельках и златогривый нюня в пыльнике из кожи рептилии. Мимо проехала задом наперёд на большом трехколёсном велосипеде аппетитно декольтированная горбунья с плетёной корзинкой. Радушно улыбаясь, она раздавала всем желающим крохотные фунтики с подсушенными какашками — это был перформанс, обличавший общество потребления. Все брали их с охотой, думая, что это муляж. И ошибались...

Вика одобрительно крикает — вот так-так! — я же трачу все силы на сокрытие моей неотёсанности...

Натянутый шпагат на кольшках перед входом на газоне. На полу лежит несколько галек, а рядом дежурит автор, чтобы предотвратить худшее — гибель произведения по недосмотру прохожих.

Невозмутимо шагая впереди, В.П. лишь иногда останавливается, поджидает и молча смотрит на меня. Молчу и я, не нам судить, мол, не с нашим свиным рылом лимоны

нюхать... Но как-то неловко, как будто ты свидетель карманной кражи, а тебе делают знак не подавать виду. Эх, вздыхает Вика, дураки мы с тобой неумные, темнота мы, Витька, неумытая...

Зал живописи — сотни квадратных саженей полотен с точками, штришками и запятыми, вёрстами монотонных линий, тьмой фигур и силуэтов под трафарет. Все обязательно на белом фоне. В тот сезон укрепилось просвещённое мнение, что искусство надо начинать с нуля, то есть с белого цвета. И главное, чтобы оно, искусство, было беспристрастным.

Глядя на забрызганные белым белые же полотна, или на волнистые линии, или на огромный, положенный горизонтально холст, бесхитростно покрашенный голубым колером, В.П. вдруг начинает вроде бы ворчать: неужели никто не знает, что всё это было, было давно и не раз...

Ты знаешь, Витька, мирно рассказывает он, уже бесцельно прогуливаясь под остеклённым куполом Гран-пале, всё повторяется, правильно говорят. Даже знаменитый Джексон Поллак, пританцовывавший вокруг картин, набрызгивая при этом краску на холсты, позаимствовал эту технику у Макса Эрнста. Не говоря уже о сонмище беспардонных подражателей Василию Кандинскому, нашему первооткрывателю абстракционизма...

Как бы то ни было, но все такие ярмарки им исправно посещались, а потом писались передачи для радио. И только на третьем или четвёртом году Вика нашёл приемлемое, на его взгляд, объяснение современным творческим актам.

Кто навёл Некрасова на эту мысль — не знаю. Может, сам додумался или прочёл где-то. Но мысль нам обоим понравилась своим рационализмом и непомерно облегчила жизнь при посещении ярмарок, салонов, выставок и фестивалей современного искусства. И в присутствии обомлев-

ших от парижских финтифантов москвичей Вика учинял прямо-таки театр одного актёра — рассказывал, растолковывал и вкладывал душу.

Представим искусство, скажем, живописи, говорил он, как громадное ветвистое дерево, на котором постоянно возникают и прорастают ростки новых веяний, направлений и потуг. Одни гибнут сразу же, едва проклюнувшись, другие былинки чахнут, чуточку пожив. Какие-то стебельки засыхают попозже, а те превращаются в сучочки, ну а некоторые принимаются, хотя и остаются крошечными веточками. А одна-другая, смотришь, разрастается в раскидистую ветвь... Но вся эта древесная возня даром не пропадает, а учитывается природой как некий вклад в эволюцию феномена, которого мы условились называть искусством.

— Только никому не болтать об этом! — посмеивался В.П. — А то местные ревнители прекрасного обругают меня приматом. А я хочу остаться в их глазах ценителем изящного и приверженцем современных и новаторских тенденций!

Теперь нам стало значительно легче глазеть на какую-нибудь феноменальную по наивности дребедень, и мы иной раз самодовольно переглядывались: мол, былинка эволюции, что тут возьмёшь!..

Как бы там ни было с пониманием этого самого современного искусства, но Некрасов им наживейше интересовался. Причём к современному, малопонятному для него искусству относилось лишь западное его течение второй половины века. Довоенный модернизм вызывал у В.П. жаркую симпатию и умилённый интерес. Ведь всё это возвращало его к святому и безмятежному периоду его молодости. А архитектурный конструктивизм он любил беззаветно. Как и французского архитектора Шарля Ле Корбюзье, кумира юности.

При первой же возможности Некрасов тянул меня осматривать творения Корбюзье. Дважды мы побывали в капелле Нотр-Дам-дю-О в Роншане. Несколько жилых домов в Марселе и Париже тоже не ускользнули от некрасовских восторгов.

Узнав об открытии для публики корбюзьевской виллы «Савой», недалеко от Парижа, в Пуасси, Некрасов возбуждённо заметался. Едем! Немедленно двинули туда всей семьёй. Частично плоский, частично с двумя этажами просторный дом если чем и отличался от обычных двухэтажных домов, то неприметностью. По крайней мере, для меня, профана в конструктивизме. Вика же впал в некую эйфорию, зачарованно брёл из комнаты в комнату, перебегал вниз и вверх по пандусам и надолго останавливался, глядя в знаменитые ленточные окна. Шедевр, повторил он несколько раз, какая простота, мол, полюбуйся, Витька! А как мы в молодости поклонялись этой простоте!..

Голые, бесцветные стены виллы, винтовые лестницы и невыразительные помещения — дом как дом. Опасаясь обидеть, я как бы похвалил. Мол, хорошо-то как, походили десять минут, и всё понятно! Мила помалкивала. Жить здесь, конечно, он бы не смог, сообщил решительно Вика. Где тут развесить картинки или дедушкину фотографию, это немислимо в таком интерьере...

За год примерно до этого Некрасову в первый раз удалось заманить нас с Милой в городишко Роншан, полюбоваться другим шедевром Корбюзье, капеллой Нотр-Дам-дю-О. А заодно и самому посыпать себе голову пеплом, покаяться в страшной ошибке — в первую его поездку во Францию, в шестидесятых годах, капелла ему решительно не понравилась.

— Зря я её так отругал. Ничего тогда не понимал. А рассмотрел — очень хорошо, все так продуманно, — говорил

потом В.П., медленно бродя вокруг белого здания с выпуклой крышей, похожей на не до конца надутый дирижабль.

Снаружи капелла была неказиста, но и не уродлива. Но внутри — благодать! Ничто тебя не отвлекает от молитвы, а разбросанные по толстой стене небольшие окна с витражами — просто замечательная находка.

В первые парижские годы Некрасов сладостно млеет от современной архитектуры. Не успели мы приехать, как он повёз полюбоваться зданием ЮНЕСКО, построенным лет пятнадцать до этого. Некрасов считал его верхом послевоенного модернизма. Для него это был пронзительный и приятнейший крик архитектурной моды, отчётливый отголосок конструктивизма.

А сколько раз мы с В.П. любовались горделивым рядом прекрасных небоскрёбов и стеклянных башен нового района Гренель, напротив громадной баранки Дома радио. Вика с наслаждением растолковывал принципы современного урбанизма, не забывая нахваливать своего Корбюзье. Тогда я был согласен — красота, модерн, лёгкость, простор, чего ещё надо...

Но это опять же было тридцать лет назад, а сейчас этот небоскрёбный хуторок огорчает своей серостью. Красоты практически никакой, какой-то гостиничный массив, дома скорее потёртые и ставшие вроде бы коренастыми, бывает и много лучше...

Потом, лет через пять, архитектурные пристрастия Некрасова явно изменились. Верх одержал традиционализм.

Однажды, прогуливаясь по двухэтажному мосту Бир-Хакейм под шум тарабанивших над ним поездов метро, В.П. затеял вслух разговор сам с собой.

Да, Виктор Платонович, проникновенно молвил он, глядя в сторону Сены, стареем мы и коснеем! Как раньше преклонялся перед властителем их киевских архитектурных

помыслов Корбюзье! А сейчас со смущением признаёшься себе, что тебе всё это более или менее надоело!

Эти шикарные и сияющие небоскрёбы — бетон, алюминий, стекло! — с плывущими по фасадам облаками... Хотя, может, это и рационально, и впечатляет, и трогающим сердце конструктивизмом попахивает, но не лежит сейчас у тебя душа ко всему этому. Совсем в консерватора превратился, в рутинёра застойного — шутейно скорбит Виктор Платонович...

— Хочется ампира у входа в особняк, черепичных крыш, тенистых аллей и ажурных беседок! — Вика взглянул на меня. — А, Витька, что скажешь?

И сталинский Крещатик, говорил В.П., тебе уже не кажется таким уж помпезным, а, наоборот, задушевным, певучим, что ли...

Пока есть время, вернёмся чуток к художникам.

Некрасов обожал французскую живопись конца девятнадцатого века, импрессионистов, пуантилистов, символистов... Ни одной выставки не пропускал, поражая своей прытью и меня, и Милу. Хотя мы не осуждали его за это, отнюдь...

Простояв в длиннейшей очереди, протискиваемся на выставку Анри Руссо. Некрасов трепещет от ощущения приятности. Обойдя все картины, пошёл по второму кругу.

— Отрадная живопись!

В 1983 году занесло нас всех в Германию.

Пригласил туда Эдуард Зеленин, на выставку русских художников в каком-то немецком городке, где жил его друг, говорящий по-русски. Человек этот и организовал выставку, и оплатил расходы, благо занимал солидную должность в местном банке.

Из Парижа позвал на вернисаж пяток художников — самого Эдика, Олега Шелковского, с его аккуратными компо-

зициями из окрашенных чурочек, художника Воробьёва и ещё пару других.

Выставка, помню, производила вялое впечатление. Экспонатов привезли немного, хотя картины Эдика понравились именитым горожанам. После вернисажа вся русская компания была доставлена на виллу друга-банкира, куда постепенно собрались и наиболее достойные, то есть денежные, посетители выставки.

Выпив, закусив и ещё раз выпив, художники устроили распродажу своих картин.

Мы с Некрасовым ходили от столика к столику, мычанием, знаками уговаривали немцев купить картины. Те осторожножничали.

И нежданно-негаданно Виктор Платонович познакомился с немцем-сталинградцем!

Седовласый человек представился бывшим лётчиком-рекогносцировщиком, воевавшим в Сталинграде.

Что тут произошло! Вот так встреча! Объятия, клики, брудершафт!

Друг Эдика безотказно переводил бесконечные воспоминания обоих ветеранов, которые чуть ли не после каждой фразы пожимали друг другу руки, а в промежутках обнимались, хотя пили маловато для такой встречи.

Поездка совершена недаром! На обратном пути только и было разговору о немецком лётчике.

— С каким удовольствием я вчера братался с немцем! — радовался В.П. — Представляете, сталинградцем! А то вон в Австралии я вынужден был любезничать с власовцами!

На Западе Некрасов всё время пытался понять власовцев. Говорил об их ненависти к советской власти, искал им оправдания, чтобы проникнуться сочувствием. Но, как бывший фронтовик, он не мог побороть к ним презрения.

Особенно много бывших власовцев повидал Виктор Платонович в Австралии.

Они приходили на выступления Некрасова, тихонько слушали доклад, хлопали негромко и пытались потом протиснуться к В.П., чтобы поговорить. Старались доказать, что воевали они за идею, веря в Россию, против Сталина, а не за Гитлера. Вика спор не затевал, про себя пожимал плечами. Может, и за идею сражался генерал-перебежчик Власов, осторожно возражал он, но против нас, русских. Ему горячо втолковывали, что главные враги были большевики, что они, власовцы, были русскими патриотами! Наливали ещё, хлопали по плечу и шутливо грозились дать прикурить, столкнись они с ним на поле брани.

Некрасов снисходительно улыбался, мол, как же, такие теперь все Аники-воины.

— Но и власовцы воевали, говорят, отлично, этого не отнимешь! И Прагу они освобождали! — сказал однажды В.П., не помню, по какому поводу. — А в армии генерала Власова, как ни крути, было сто двадцать тысяч человек!

Очередной раз выпивая в день Советской Армии, В.П. снова затеял об этом разговор.

— Ты говоришь «власовец»? Предателем, говоришь, тот был? А маршал Кулик, сдавший Керчь и Ростов, был патриотом? И это лучше или это хуже? А, что скажешь, Витька?

Я ничего не говорил, пошевеливал бровями, конечно, вы правы, Виктор Платонович...

И вправду, чтобы вы сказали на моём месте?

Многое на войне было, продолжал Некрасов. И пленных, разоружённых, с поднятыми руками, кололи штыками. И бросали гранатную связку в блиндаж, забитый тяжелоранеными немцами. И пристреливали с прибаутками, чтобы снять серебряный медальончик с фотографией. Чего только не было на войне, Витька!

Ты вон в армии два года пробыл, говорил он мне, в сытости и неге, можно сказать. И в мирное время к тому же. И как это тебя поразило, книгу об этом написал! А ты можешь себе представить, что чувствуют воевавшие люди, прошедшие войну, тем более что они на всю свою жизнь отмечены памятью о ней?! Просто как клеймённые...

## Перипетии в прозе и поэзии

Наверное, я излишне болезненно воспринимаю критику творчества Некрасова. Допуская, однако, что вообще-то критиковать его ох как есть за что! Но местами и изредка!

Ну а рассуждать о художественных достоинствах или недостатках его книги «В окопах Сталинграда» позволено, на мой взгляд, лишь людям с филигранной компетенцией и безукоризненной непредвзятостью. Не говоря о вкусе!

Мы не раз говорили с Виктором Платоновичем о советской критике. Об эмигрантской — тоже, но гораздо реже.

В нарушение законов статистики Некрасову на критиков в основном везло, но иногда, как говорят картёжники, он крупно попадал. И на него набрасывался дурак или дура, а то и невежда.

Вика как-то пошутил, что наглый критик — как подвыпивший сосед в электричке. Проникшись к тебе интересом и желая добра, рассказывает он тебе какую-то поучительную, на его взгляд, историю. Или толкует, как надо жить. Все пассажиры сидят в полном безразличии, ты одуреваешь, а попутчик, напротив, злорадно закатывает глазки и пожимает губы. И говорит, и высказывает своё мнение. А ты не знаешь, что делать.

И выяснилось, что даже через двадцать лет после смерти у Некрасова могут быть литературные хулители. Один

из них возник внезапным пузырьём на с виду невинной глади омута московского журнала с престижным названием. Пузырь являл собой плод трудов некоей московской критикессы. Тётяшка прочла одностомник Виктора Некрасова, граждански разгневалась и решила многостранично обручать его.

Дескать, что в нём нашли, в Некрасове-то?! Ничего особенного, определённое дарование просматривается, но всё написанное им — ерунда. «В окопах Сталинграда»? Средненько! Были книги о войне и получше, и пооткровеннее.

Наверное, были, поверим нашей даме, знатоку, надо полагать, военной литературы. Только «Окопы» написаны в 46-м году, а всё остальное — уже после шестидесятого...

«Кира Георгиевна»? Скукотища! Рассказы, повести, статьи? Ничего примечательного! Укладываются в русло пропаганды «Радио Свобода». Особенно она оскорбилась нападками Некрасова на КПСС: как это так, сказать, что двадцать миллионов членов партии не верили в коммунизм! Инсинуация! Её дедушка, например, верил. И ничего, дожил до старости, не убили соратники по правому делу! Травили евреев в 47-м? Клевета! Опять же, дедушка говорил, что ни одного уволенного на его кафедре не было.

А сам-то Некрасов не брезговал общением со всякими украинскими националистами, барахтался, мол, в дурном окружении! И в Бабий Яр понесла его нелёгкая, сидел бы лучше дома и помалкивал! Вон сколько русских там погибло, а он о них ни слова, всё о своих евреях!

Буду откровенен. Совершенно не важно, что думает о Некрасове критикесса, широко известная в Марьиной Роще, как сказано у классиков. Гораздо интереснее, что он подумал бы о ней. Но его нет, он давно умер...

Старый друг Некрасова писатель Леонид Волинский спросил как-то, ни к кому специально не обращаясь:

— Кто мне скажет, почему это все роддомы в Москве названы именами никогда не рожавших старых большевичек? Клары Цеткин, Розы Люксембург, Марии Ульяновой, Надежды Крупской, а то и вовсе кровожадной твари — Землячки?

С тех пор у нас в семье «никогда не рожавшая большевичка» непременно вспоминалась, когда кто-то совался в разговор со своим мнением об абсолютно ему малопонятных вещах.

Вот и сейчас — прорезалась ещё одна никогда не рожавшая старая большевичка!

Но вернёмся к Виктору Платоновичу.

Я был очевидцем редкого момента. Вика вслух читал стихотворение. За исключением стихов Сосо Джугашвили, такое случалось, прямо скажем, нечасто.

Чудесное, грустное, написанное Наумом Коржавиным в Бостоне и помещённое в эткиндском альбоме, стихотворение со старанием и выражением читалось за вечерним чаем:

Куда летишь ты, птица-тройка?  
К едрёной матери лечу!

Дальше уже обычным голосом:

А мы сидим. И зависть прячем  
К усталым сверстникам своим.  
Летят! Пускай к чертям собачьим!  
А мы и к чёрту не летим.  
И, давней нежностью пылая  
К столь давней юности твоей,  
Я одного тебе желаю  
В твой заграничный юбилей.  
Лишь одного, коль ты позволишь,

Не громкой славы новый круг,  
Не денег даже, а того лишь,  
Чтоб оказалось как-то вдруг,  
Что с тройкой всё не так уж скверно,  
Что в жизни всё наоборот,  
Что я с отчаянья неверно  
Отобразил её полет.

Вика посмотрел на меня и покачал головой, мол, ничего себе, как Эмка разрюмился! Когда он читал эти стихи в Бостоне, они с ним чуть не всплакнули! Выпив предварительно, как же иначе...

Любил ли Некрасов стихи? Довольно часто слушал. Бывало, и с удовольствием.

Но я не припомню, чтобы он в Париже собственноручно купил книжку стихов. Кроме, естественно, Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Ещё Мандельштама, Твардовского и Бродского. Поэтических томиков стояло на его полках немало, но все подаренные авторами. Вспоминал он о стихах украинских поэтов Мыколы Бажана, Максима Рыльского и особенно молодого Павла Тычины — очень хвалил. Цитировал строки Фета, Бальмонта, Маяковского, Курочкина. Упоминал стихи Ахматовой, Волошина...

Это кого я вспомнил.

Чтоб сделать приятное, ему читали свои стихи Булат Окуджава, Юлий Ким, Геннадий Шпаликов, Белла Ахмадулина, Давид Самойлов, Александр Межиров, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Александр Галич...

Читали в моём присутствии, на счастье!

Вознесенский, Межиров, Ахмадулина, ну и, конечно, Окуджава, отложив дела и выкроив вечерок, всегда встречались с Некрасовым, когда были в Париже. Всегда! И вдобавок звонили по несколько раз, просто пару минут поболтать.

Московский приятель Некрасова, поэт Евгений Евтушенко, сто раз приезжая в Париж, никогда не звонил и никакой тяги к контактам не проявлял. Для меня это необъяснимо. Что между ними произошло? Мне тогда казалось, что Евтушенко всерьёз опасался встречи с Викой.

А Некрасов, скажут мне, почему он не проявлял инициативы?

Ну, его-то, думаю, понять можно! Он вначале сдерживался, пугливо оглядывался даже, боясь навредить приезжим своей компанией. Позже осмелел, сам названивал приезжавшим, бежал общаться. Но не с Евтушенко! Загадочная для меня стена между ними постоянно как бы росла и упрочнялась...

Многие эмигранты, а ещё больше москвичи в те времена злословили, что властитель душевных порывов моей молодости, потрясавший талантом наше воображение поэт Евгений Евтушенко был у советской власти вроде дежурного витринного вольнолюбца.

Причём не в раннем своем периоде, когда заботятся о карьере и пробиваются в люди, а в расцвете славы, достигнув лавров и получив от властей все мыслимые советские пироги и пышки. Будучи ярко талантливым, как, не скрываясь, утверждал Некрасов. Утверждал, рискуя быть обвинённым в дурном вкусе!

Кстати, а как писал сам Некрасов в эпоху социалистического реализма?

Во-первых, перечтя все его написанные в Союзе произведения, — их не так много, — я нигде не наткнулся ни на восхваление советской власти, ни на барабанное подхалимство под видом комсомольского эпоса, ни на мужественное сюсюканье о великих стройках, ни на сахариную фуйню, называемую революционной романтикой. Везде Виктор Платонович старался быть сдержанным — происхождение обязывает, как говорят французы.

А у Евтушенко один стоящий стих окантовывался десятками сладостных поцелуев в задницу власти — опять же по словам Некрасова.

За десять лет эмиграции Некрасов ни разу не написал о Евгении Евтушенко. В Америке он пошел на выступление поэта, как без иронии говорили, на *концерт* Евтушенко. Некрасов как-то рассказывал, что он в юности слушал выступление Маяковского. Его покорила громоподобный голос, но покорила развязность поэта. Увидев Евтушенко в Америке, Вика не скрываясь расстроился. Ему очень не понравилось!

Я многое запомнил из некрасовского рассказа об этом концерте.

Считается, говорил тогда Виктор Платонович, что Женя ломается на эстраде. Но это транс, как у дервиша. Этот ритуал ему необходим, он уверен, что делает так, как нужно. Он хороший актёр. Он способный чтец-декламатор. И он знаменитый поэт. На сцене он шаманил, увлекал и соблазнял. Но это было раньше.

А сейчас, в зрелом возрасте, достигнув поэтического величия, он на сцене пережимал, утрировал, и у него не нашлось никого, кто бы его предостерег. И этот вопиющий наигрыш бесповоротно убедил Некрасова в неискренности не только поэта, но и его стихов.

И в 1985 году Некрасов прочёл по радио рецензию на книгу Евтушенко «Почти напоследок», а потом напечатал её в нью-йоркском «Новом русском слове».

Мечта Евтушенко — прослыть вторым Маяковским, писал В.П.

«Не хочется сравнивать... Но у Маяковского даже в стихах, где он поливал грязью Америку, искренность была истинной, а у второго, увы, приём, ширма...»

Я перепечатал статью и поднялся на седьмой этаж, к Вике. И встревоженно спросил, почему он решил так резко на-

писать? Виктор Платонович вроде недоумённо посмотрел на меня и заговорил.

Почему поэт всё время возвращается к обличению язв капитализма, к непрерывным клятвам в верности власти и партии, неужели он правда так думает? Он же умный парень! Большой талант! Но он перещеголял всех стихоплётов баснословной советской эпохи! Вот уж воистину говорят, что лошади и поэты должны быть сыты, но не закармлиены. А Женю закармили. Может, он вынужден так поступать, чтобы иметь возможность потом писать о самом сокровенном? Или пишет, как Маяковский, оправдывая своё неприкрытое блядство социальным заказом? Всего понемногу... Но в одном я уверен, сказал Виктор Платонович, что Женюка прекрасно понимает, что нравится левакам на Западе. И со знанием дела дует в их дуду! Особенно в дуду коммунистов!

«Многие считают, что Евтушенко при всём при том смел... Всё это так, но не так всё просто...» — пишет Некрасов.

Таки смел! Ведь говорил же он на последнем съезде писателей о всём наболевшем, даже постыдном... Ведь никто, кроме него, об этом даже не заикался, закончил тогда разговор В.П.

И так я и не узнаю, что же произошло между ними, Виктором Некрасовым и Евгением Евтушенко. Откуда вдруг эта насыщенная неприязнь? Не знаю. Подозреваю, догадываюсь, но точно не знаю...

На секунду обратимся к вещам успокаивающим.

Художника Валентина Серова Некрасов чтит, как никого.

Ещё в Киеве у него было два альбома этого живописца, причём лежали они в кабинете, под рукой, а не были обречены на вечный покой в книжном отделе шкафа. А особо Вика гордился обладанием репродукции серовского портре-

та Николая II в тужурке. Хранил её в отдельной папочке. Помню, как я был поражён совершенно чудовищной суммой, которую он заплатил в Париже за толстенную, в картонном конверте, изумительно изданную в Союзе монографию о Серове. И поставил на почётнейшем месте, в большой комнате...

Часто повторял, что картины становятся членами семьи, неудивительно, что и выбираются они придирчиво.

## Один из добрых друзей

Одному в Париже скучно. Конечно, если живёшь там постоянно.

Не спору, в одиночестве хорошо посещать музеи и выставки, прогуливаться вдоль Сены или заглянуть в Нотр-Дам на Рождество. Для будничной жизни надо обязательно занять кого-то, с кем можно поговорить, поболтать по телефону, где-нибудь походить или посидеть. А то и посплетничать, побегать по распродажам, пошататься по книжным магазинам, сходить в ресторанчик или в кино. В общем, обзавестись своей компанией.

У Некрасова в Париже сразу же появилось пять-шесть действительно добрых друзей. С которыми он с непременным удовольствием общался.

Одним из таких людей был Михаил Яковлевич Геллер, профессор истории, литератор и политолог. Негромкий человек, поразительно глубоко образованный. Перезванивались они с В.П. очень часто, да и встречались нередко, в кафе или на «Радио Свобода».

Примерно раз в год Миша Геллер приходил пить чай. Тихо улыбаясь, рассказывал множество занятных вещей и отвечал на накопившиеся за год вопросы.

Помню, однажды он рассказывал о Ханне Арендт, беспроектной левачке и модном философе. О её знаменитой теории банальности зла. Теории с виду простой — когда все виноваты, никто не виноват.

— У нас в стране мы все виноваты! — сказал тогда непривычно строго В.П. — Персонально и без всякой философии...

Геллер готовил к изданию свою «Утопию у власти», поэтому заговорили о литературном творчестве.

— Писатель должен сам писать хорошие книги. Потому что от того, что другие напишут плохо, твоя книга лучше не станет, — спокойно говорил Миша...

С Мишей Геллером они постоянно беседовали и о войне в Афганистане, ужасались, сколько наших ребят там гибнет. Война-то, может, и преступная, а ребята при чём, сокрушался Некрасов.

— Вот и Женька Лунгин чуть было не угодил в армию, — с улыбочкой продолжал В.П. — Пришлось ему срочно спастись в Париж!

Всё чайное застолье ехидно заулыбалось...

Недавно приехавший в Париж Женя ходил по гостям и, жалея себя, аргументировал свой срочный выезд во Францию по обманному браку. Дескать, благодаря этому он избежал верной смерти в Афгане...

Миша Геллер иронизировал:

— Ты не волнуйся, Вика! Насколько мне известно, ещё не один московский театровед в Афганистане не погиб! И вряд ли погибнет...

— Как вы здесь скучно живёте! — вздохнул как-то Женя, когда я отвозил его домой после будничной выпивки.

Он думал, святая московская простота, что мы здесь каждый вечер ласкаем в лимузинах обнажённых дев, а на полдник клинком рубим горлышки бутылок с шампанским.

— Ну, не каждый вечер! — ответил он без улыбки. — Но хотя бы раз в месяц...

Некрасов много помогал Жене, можно сказать, носился с ним и панькался. А тот с достоинством кланчил дорожные модные одёжки и томно принимал карманные денежки.

В Париже молодой и словоохотливый Женька Лунгин быстро стал известен тем, что ни о ком не отзывался хорошо, чем слегка всех озадачивал.

Женя был лишён дара дурачиться, что огорчало Виктора Платоновича. Некрасов утверждал, что старший, Паша, был характером похож на отца, Симу Лунгина, а Женя — на Лилю. Часто вспоминал, что Сима всегда говорил, что его Пашка — умница и талантлив.

— Ну, знаете! — возражал я. — Редкий папа будет уверять всех, что сынишка у него — грандиозный дурак!

Нет, нет, настаивал Некрасов, Сима говорил объективно. Он с ним, кстати, совершенно согласен.

Миша Геллер коллекционировал смешные газетные объявления. С невозмутимым видом зачитывал нам вырезки из эмигрантских газет.

«Ищу серьёзного знакомства с нестарым господином, не картёжником и не из Харбина».

Застолье оживлялось:

— Судя по всему, эта дама абсолютно не против пьющего господина! Это для тебя, Вика! — смеялся Фима Эткинд.

— А, Виктор Платонович? — подхватывал я. — Как она посмотрит на твои сто грамм? Но зато никаких карт!

— Действительно, заманчиво! — соглашался В.П.

Миша выуживал следующие непритязательные строки:

«Пенсионер, 76 лет, одинок, ищет молодую женщину для ухода за домом. Интим не предлагать!»

Когда Миша Геллер рассказал ему о «синдроме Ван Гога», Некрасов восхитился — это именно то, что он думает!

Расплачиваясь за косность буржуазии конца девятнадцатого века, неспособной понять гений этого художника, мы теперь обязаны всегда и везде возносить артистов, плюющих на наши привычки. Одна беда, эта якобы революционность со временем выродилась в мрачную и путаную манеру общаться со зрителем. Такое было в моде лет пятьдесят назад. А мы и сейчас никак не можем отбрыкаться от этой провинциальной рутины, осточертевшей своей наглостью и непролазной скукой.

Некрасов не мог нарадоваться эрудиции своего друга, надо же, говорил он, Миша, как всегда, умеет всё растолковать, даже мне!..

## Робкая похвала воспоминаниям

На закате непродолжительных в последнее время запоев В.П. обычно «переходил на пиво», как с надеждой говорили мы.

Естественно, что за несколько дней беспорядок в кабинете достигал апогея. Вика лежал у себя на тахте и читал чуть ли не до раннего утра — ему не спалось.

— Ты можешь немного прибрать здесь, если хочешь, — говорит он мне деловым тоном, мол, со старым покончено, пора браться за ум. — Нет, горячего молока я не хочу, завари мне чай.

Потом, как бы желая порадовать меня милым сюрпризом:

— Пошарь-ка у меня под тахтой! Посмотри там!

Веником я выгребаю десятка два-три маленьких бутылочек из-под пива. Кряхчу, заглядываю под тахту, а Вика доволен, мол, что скажешь?! Ай да Пушкин, ай да сукин сын, а?! Однажды он не вытерпел, схватил свой аппарат и запечатлел

навек кучу пустых бутылок. Как пропустить такой кадр, бормотал вкусивший недавней трезвости В.П., выбирая маршрут, стоя на четвереньках.

Запой безусловно препятствовали нормальному творчеству. Но, однако, бесспорно и то, что они примиряли писателя с действительностью,нося, в психологическом смысле, некий адаптивный характер, говоря по-учёному.

Сейчас запойчик был не такой интенсивный, но какой-то затяжной. Вика, видимо, даже приморился. Устал настолько, что особенно не впечатлил его и звонок актёра Михаила Козакова, доброго его московского приятеля. Тот сообщил, что приехал в Вену, пробудет пару недель, жалко, что не прорвётся в Париж.

А я ни с того ни с сего возьми да и ляпни — давайте съездим в Вену! На пару деньков. Увидитесь с Мишей, отдохнёте.

Некрасов безумно обрадовался: ну да, завтра же и двинем! Решили взять и Милу, благо в её лице были школьные каникулы.

Миша Козаков стоял на тротуаре в городе Вене, высматривал нас. Увидев нашу машину, он заметался, заорал и широко замахал руками, подобно Робинзону Крузо, заметившему на горизонте трехмачтовый бриг. Две случившиеся рядом австрийки прытко прижали к груди сумочки...

Миша жил у своих приятелей, а во дворе их неприметного дома был маленький газончик. На газончике наши две приезжие знаменитости и провели практически все эти три дня, то валяясь на травке, то покуривая в шезлонге, то прохаживаясь туда-сюда.

Первым, конечно, делом Миша объявил, что он год как не пьёт, поэтому, мол, на него не рассчитывайте.

Ну и слава богу, подыгрывал ему Вика, сам он тоже давным-давно не предаётся этому постыдному пороку...

Миша поразился совпадению и начал безумолчно рассказывать о московских событиях за последнее десятилетие, выдавая их за свежие новости. В.П. улыбался счастливо, мы повизгивали от восторга, а Миша периодически впадал в актёрский экстаз, встретив таких благодарных слушателей.

Время пролетело великолепно.

Вечером пришли местные русские, был накрыт стол, все бесились, хохотали и слушали стихи. Миша блистал и очаровывал, Вика острил, мы наперебой шутили. Гости, чтобы не соблазнять непьющих, отходили выпивать в сторонку, да и пили всего-то белое винцо. Потом Миша разошёлся и разыгрался, приударял шутливо за Милой. Та хохотала, а знаменитый актёр падал перед ней на колени и декламировал крошечные монологи неизвестно откуда...

Прогулялись и по Вене, поглазели на собор Святого Стефана, поскучали на затрапезном, по нашим парижским понятиям, Ринге, местном Бродвее.

Под альбомной фотографией роскошного надгробия под каменным балдахином В.П. написал: «Хочу такую». Это тоже было в Вене, я его даже сфотографировал рядом с этим могильным великолепием...

Раз уж мы заговорили о могилах, заглянем вновь на Сен-Женевьев-де-Буа. Четыре могилы — и все из чёрного гранита.

Могила нашего барда Галича слегка претенциозна — вазоны в головах, цитата из Евангелия. Могила Максимова, утешаемая ковриком из цветов, держится строго, чуть на отшибе. Но всё же можно сказать, она по соседству с могилой Некрасовых, с незатейливым уютом, с ползучей ёлочкой в ногах. Утончённый Андрей Тарковский покоится под помпезной серо-чёрной глыбой с пафосной надписью.

А вообще могилы на русском кладбище — как толпа прихожан перед церковью, чисто одетых — кто победнее,

кто побогаче. Многие в тёмном. И среди них, как царь Салтан, — могила Нуриева. Говорят, он сам нарисовал эскиз. Мозаика, смальта, золотые кисти ярчайшего ковра, брошенного на гроб вечного кочевника-артиста. А на ковре среди орнамента — масонский знак, что для христианского кладбища, злословили мы, не слишком подходит. Но это лёгкое фанфаронство великому балеруну быстро простили. Думаю, что нуриевская фантазия страшно понравилась бы Некрасову...

— Кладбище в Сен-Женевьев, — говорил Вика, как бы вещая высшую истину, — самое красивое в мире!

Таки да...

Берёзки, кресты, голубая луковка церкви. Мечущиеся между могил сороки. Пара влюблённых ворон на ветке. Ни гласа, ни воздыхания, тишина! Сколько всего вспоминаешь, когда ходишь по кладбищенским аллеям или сидишь, куришь на лавочке у входа. Так говорил всегда Вика, так и я сейчас повторяю...

Воспоминания мои — довольно безалаберная компания. Нельзя сказать, что они повсюду преследуют или, упаси бог, помогают меня. Но никогда не знаешь, чего от них ждать, где встретишься с ними.

Иногда они мне машут рукой издалека, с балкона правой башни собора Парижской Богоматери, иногда подмигивают хитро из вагона метро на станции «Трокадеро». Бывает, я сталкиваюсь с ними нос к носу в громадном книжном магазине на авеню Ренн либо замечаю их краем глаза у пруда с уточками в парке Монсури. А то неожиданно ощущаю какой-то шорох, видя падающий лист каштана на площади Вогезов.

А сколько раз они шумно зазывали меня в парижские кафе, «Монпарнас» или «Эскуриал»! То возникают внезапно и мимолетно в чудеснейшем сиянии золотого купола Дома

инвалидов, то иной раз что-то шушукуют мне на эскалаторе в Бобуре...

На Лионском вокзале непременно вспоминаю, как в ожидании поезда из Женевы мы с В.П. прогуливались по перрону. Людей почти не было, поезд опаздывал. Виктор Платонович присел на багажную тележку.

— Прокатить? — пошутил я, а он неожиданно со смехом согласился.

Я покатил тележку, почти бегом, сидящий писатель задирает ноги и весело вопил:

— Разойдись! Осторожно! Везут на свалку истории!

Но во всей своей красе воспоминания предстают предо мною именно на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Как радуются они, увидев меня, как танцуют хороводом меж берёз, подобно матиссовским девам. А потом сидят, пригрюнившись, у могилы Вики и мамы, на манер васнецовской Алёнушки. И, погрузив, приглашают: отойдём на пару шагов, посмотрим на вон ту могилу...

Что за макабрический образ — танец воспоминаний на кладбище, спросят меня. Ничего в этом мрачного нет!

Разве я прихожу сюда для того, чтобы освежить в памяти бледное лицо смертельно больного Виктора Платоновича или вспомнить надгробные слова на его похоронах?

Нет, я вижу его живого и здорового, радостно болтающего о приятных вещах, вижу нас вместе, пешёчком прогуливающих вечерком по Владимирской горке или совершающих променад по утренним Елисейским Полям. Да мало ли о чём приятном вспоминаешь на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа!

Время скорби давно прошло, настала пора умиротворения, пора отдохновенных для души воспоминаний. Правда, иногда там и взгрустнётся тебе, просто так, не

зная толком почему... В общем, хлопот с воспоминаниями не оберёшься.

Но я не жалуясь.

## «Монпарнас» и дадаисты

Машины медленно, как бурлаки на Волге, продвигаются вдоль Сены, по её правому берегу.

Этот путь в шестидесятых годах прошлого века важно назвали скоростной дорогой. Сейчас это звучит издевательски — какая там скоростная, не каждый день удаётся обогнать дамские велосипеды. Едешь и чувствуешь, как тает опущенный тебе срок жизни.

Нудно тащимся мимо Эйфелевой башни. Впереди замаячил обычно красивый, как царская карета, но сейчас постылый мост Александра III. Импозантное здание музея д'Орсе. Рукой подать до Консьержери, где в карцере центральной башни томилась перед казнью умница Мария-Антуанетта, последняя королева Франции. Вдали Нотр-Дам, тенистый остров Сен-Луи, и арки старых мостов, и неизбежный художник с мольбертом под громадным, со спасательный круг, ржавым причальным кольцом...

Бубнит автордио. Позёвываем, стараемся не злиться друг на друга. Тоска, как на двухсерийной порнухе.

И тут Мила ни с того ни с сего благостно молвит:

— Глянь вон туда, какая красота! В пролёте моста, под аркой, контражуром! Вики нет, полюбовался бы...

— Да-да, и не говори, — я тоже чуть улыбаюсь. — Помнишь, как он всегда радовался Парижу, кто ещё так умеет...

Первые годы в Париже он обожал ошарашивать приезжих, приглашая во «Флёр» или «Дё маго» — дорогушие кафе на Сен-Жермен-де-Пре, увековеченные Хэмингуэем.

«Дё маго» испокон веков посещалось известными парижскими интеллектуалами, модными знаменитостями, талантливыми снобами или отъявленными вертопрахами. Столики на тротуаре перед кафе расползались до проезжей части бульвара. Знаменитейшее это место было всегда запружено туристами, гуляками и зеваками. А у кафе робко топтались просвещённые туристы и провинциалы, ожидавшие свободного местечка. Внутрь святилища допускались лишь имеющие столики звёзды парижских салонов, гонкуровские лауреаты, богемистые парвеню, бывшие министры или знатные завсегдатаи вроде Жан-Поля Сартра, Симоны де Бовуар, Жака Превера или скульптора Джакометти. Киноартисты почему-то избегали этих мест.

Некрасов быстро раскусил, что здесь ему делать нечего, но продолжал упорствовать, посещал эти разорительные заведения, несмотря на тяжёлые перебои с деньгами.

В конечном счёте он передислоцировался в менее роскошное кафе «Эскуриал», на углу бульваров Распай и Сен-Жермен. Рядом с метро, двадцать минут от дверей нашего дома в Ванве. Бойкое место, удобное для назначения свиданий. Тоже шикарное, но не слишком модное, поэтому полупустынное, кафе как нельзя лучше подходило для приятельских разговоров.

Лакированные стойки, сияющие латунные поручни, живые пальмы, красные скатерти, официанты в белых кителях с позументом. И здесь с дырявым карманом делать было нечего — чашка кофе со сливками стоила как полбака бензина.

Но не прошло и пары лет, как В.П. вдруг охладел к этой роскоши. Думаю, не только из-за дороговизны, но и из-за светской чопорности, нравившейся поначалу, но потом приевшейся. Теперь потребовалось уже окончательно, до конца жизни, выбрать любимое кафе.

Конкурс проводился тщательно и придирчиво, как при выборе, скажем, места заложения храма, свадебного платья или рождественского гуся.

Жребий выпал на очень симпатичное двухэтажное кафе «Монпарнас» в классическом стиле парижских бистро. Чистенькое и просторное, с чуть аляповатым интерьером под арт-нуво и в меру дорогое. Разливное пиво божественной свежести и хороший кофе. В общем, не стыдно пригласить людей.

И побывали там все, кто встречался с Некрасовым в последние его годы.

Потом Булат Окуджава мило вспомнил о своём добром друге:

Париж для меня, чтоб забыв хоть на час  
Борения крови и классов,  
Зайти мимоходом в кафе «Монпарнас»,  
Где ждёт меня Вика Некрасов.

Но удивительное дело. Встречаясь в Париже со старинными московскими друзьями, сидя ли за столиком кафе, шляясь по Парижу, предаваясь ли чаепитию в гостях или ужиная в ресторанчиках, ни разу не услышал Некрасов вопроса: «Ну, как тебе здесь? Терпимо? Как с деньгами? Не бедствуешь?»

Вспоминали молодость, знакомых, беззаботные дни на крымских пляжах и балтийском взморье. Бесконечно говорили о московской жизни, о сценариях и переводчиках, о «Карлсоне, который живёт на крыше», кознях цензуры и обнадёживающих беседах в парткоме. Восхитительно рассказывались хохмы и анекдоты. Планировались поездки по Франции, перечислялись нужные встречи и составлялись реестры предстоящих покупок. Но никто из них не поинтересовался: как ты здесь живёшь, Вика?

Это поразительно, говорил В.П. Никто и никогда не спросил! Они даже боятся спрашивать об этом, подумать только! Что ты на это скажешь?

Я сочувственно тряс головой, вроде тоже терялся в догадках.

Не мог же я расстроить Виктора Платоновича, что друзья опасаются услышать: «Да знаешь, туговато с деньгами. Особо не развернёшься». И тогда неловко будет спокойно выжидать, пока их друг Вика, писатель в эмиграции, полезет в карман и заплатит за всех в ресторане или купит им билеты на поезд.

А может, всё Некрасов понимал, но не признавался, отгонял сомнения.

Вроде оправдываясь, говорил с гордостью, как приятно доставлять людям счастье. Как мало, дескать, для этого нужно. Приятно, конечно, посмеивался я, на дармовуху кто не будет счастлив! В.П. улыбался, но иронию мою не поддерживал...

Хотя ведь первое время он выискивал, чем бы и меня самого потешить в Париже.

Потащил нас смотреть, как по канату, натянутому между двумя башнями собора Парижской Богоматери, ходил канатоходец. Потом тот окончательно прославился, пройдя по канату же над Сенной, от театра Шайо на Трокадеро до Эйфелевой башни, и тоже на наших восхищённых глазах.

Тогда же, в первые годы, мы пару раз ходили вместе в Лувр и разок в музей Клюни.

Он восторгался ранним Пикассо. Но почти все по-настоящему замечательные картины этого художника оказались в частных коллекциях. Поэтому экспозиция в парижском музее тихо раздражала Некрасова — слишком много второстепенного, хотя и сотворённого неоспоримым гением. Пикассо военного периода Некрасову открыто не нра-

вился. Художник не выдержал траурного влияния эпохи, считал В.П. И от этого периода упадка в парижских музеях осталась череда унылых портретов в профиль...

Обожавший авангард первой трети двадцатого века, Некрасов в парижских разговорах часто шокировал знатоков живописи, насмешливо и неуважительно отзываясь об ультрасовременных живописцах и ваятелях.

В начале восьмидесятых годов мы впервые попали на большую выставку дадаистов, основоположников всего современного искусства, как уверенно объявил мне Виктор Платонович.

— Да-а-а, Витька, усратья можно!

Теперь понятно, рассуждал под впечатлением увиденного Некрасов, почему так изгаляются нынешние творцы! Они, бедолаги неутомимые, мучаются думами и бессонницей — чтобы такое придумать, чего ещё не бывало. Чем удивить, как эпатировать? Только редкие из них познают известность... Остальные хиреют и исчезают в хлюпающей бездне, называемой современным искусством.

Всё, оказывается, уже было! Всё это уже придумали, испробовали, описали, обыграли и инсталлировали великие жевенские, парижские и берлинские дадаисты в начале двадцатого века — основатели модернизма и абстракционизма, конструктивизма и поп-арта, экспрессионизма и сюрреализма. Не говоря уже об авангарде и по-прежнему непонятном для нас андеграунде...

Некрасов заходится в восторге от фантазии и таланта Дюшана и Арпа, Пикабиа и Шаршуна, искромётного насмешника Тристана Тцары, Эля Лисицкого, Мэна Рэя и Андре Бретона — не перечислишь всех... Выдумщики, хохмачи и снобы. Безумно талантливые, самоуверенные, самонадеянные, саркастические и нетерпимые. Невиданные дотолё фантазёры!

— Ты представляешь, Витька! — не мог успокоиться В.П. — Четырнадцатый год, мировая война, ура-патриоты, а тут какие-то хлюсты организуют нечто наглосое и непонятное — «Дада».

В знак протеста, говорили!

Марсель Дюшан, задав вроде бы бестолковый вопрос — «Как создать произведение, которое не было бы искусством?», — ответил на него потрясающе просто. Он взял «обыкновенный предмет», фарфоровый писсуар, положил его на бок и переименовал в «Фонтэн». Представил на выставке, ошарашил публику своей наглостью и спокойненько вошел в историю! А через пару лет вновь потряс благочестивый мир искусства, пририсовав Моне Лизе щегольские усики и эспаньолку...

Даже сейчас, восторженно растолковывал Некрасов, нам удивительно и восхитительно видеть всё созданное дадаистами. И это после того, как видано-перевидано всяких фокусов-мокусов, ослиных хвостов, приклеенных к холсту голых тёток и размазанного говна, всякого мусора, чурочек, зёрнышек и мотузочков, да мало ли ещё чего...

Дадаизм был увенчан страдальческим венцом дегенеративного искусства и достиг бесповоротного апогея к тридцатым годам. Именно тогда и двадцатилетний Вика Некрасов начал рисовать авангардистские картинки и коллажи и поклоняться чарующему новаторству Корбюзье.

Уже в Париже В.П. расстроился, узнав, что кумир его молодости, архитектор баснословного «Лучезарного города» в Марселе, очень симпатизировал и Муссолини, и особенно Гитлеру. А в начале Второй мировой войны не удержался и написал, что, мол, Гитлер может увенчать свою жизнь грандиозным творением — обустройством Европы.

Вика дал мне прочесть эту статью, и я ему посочувствовал. От этих кумиров только и жди всяких сюрпризов...

## Вячеслав Кондратьев

Почему ты никак не прочтёшь «Сашку», нельзя же быть таким нелюбопытным, выговаривал Вика, пихая мне в руки «Новый мир». Этот Вячеслав Кондратьев настоящий писатель, без дураков! Вика восторгался безмерно, радостно обзванивал знакомых, прочтите, мол, обязательно! И печально говорил мне, что не будут они читать о войне, никому сейчас это неинтересно.

И вдруг осенью 1983 года выясняется, что Вячеслав Кондратьев в Париже, что можно с ним встретиться, обнять его и расцеловать, если позволит, радостно шутит Вика по телефону.

Конечно, в Париже они начали с кафе, то есть с пива. И с бесконечных разговоров о войне, военной литературе, военных писателях. Вечером, подвыпив, Некрасов горячился: хоть ты мне скажи, Слава, ну почему немцы не взяли Москву? Ведь никакого фронта перед ними не было, протяни руку, сделай шаг, и нам конец, говорил он, тряся собеседника за локоть. А может, ты мне растолкуешь, Слава, почему они упёрлись именно в Сталинград?! В эти развалины, почему бы им не ударить чуть севернее? Или не форсировать Волгу южнее? И как мы там удержались, абсолютно непонятно!

Кондратьев сочувственно выпивал, вздыхал: да, это всё выше понимания, все эти загадки войны...

На второй день, захватив с собой и Милу, чтобы, как говорил Некрасов, облагородить компанию, я повёз их на кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. Вика упоённо рассказывает о знаменитых кладбищенских постояльцах, тянет Кондратьева между могил.

Наши фронтовики уже не мечутся, гуляют неторопливо, иногда Кондратьев обнимает Некрасова за плечи.

Вика вспоминает о Мамаевом кургане после войны, когда он туда приехал в сорок седьмом. С редкими, раскисшими фанерными пирамидками со звёздами, дощечками с неразличимыми уже именами, с размытыми мелкими могилами. Со множеством валяющихся по склону человеческих костей и черепов. С торчащими из-под тонкого слоя земли рваными сапогами, с отгнившими подмётками, с пучками сена внутри, для тепла...

Вояки наши перебивают друг друга, вспоминают. Я томлюсь: Господи, опять о войне...

Пригожая, трогательно расписанная под Билибина церквушка у входа на кладбище. Последний раз они позируют на память на фоне храма, берёзок, неба. Некрасов страшно доволен, что угодил гостю...

— Я на Байковом кладбище чувствую себя как дома! — пошучивал В.П. — Здесь мои женщины, моя братская могила.

Три могилы в Киеве. Нечто вроде высокого пюпитра, с раскрытой книгой на нём — это могила бабушки, Алины Антоновны. Рядом лежат тётя Соня и мама, Зинаида Николаевна. Могилы не слишком ухожены, хотя Некрасов иногда и заскакивал на кладбище. Слегка подвыпив перед посещением, поэтому до уборки руки не доходили. Ограничивался недолгой медитацией и возложением цветов.

За неделю до отъезда, купив возле кладбищенских ворот огромный пук цветов и три банки, Вика расставил цветы и смахнул мелкий мусор с могил. Я наспех прополол руками сорняки.

— Иди, — сказал мне В.П., — погуляй, а я посижу...

Сидел с полчаса, курил.

В воротах он обернулся и пару секунд смотрел на кладбище.

— Вот так вот, Витька! Где бы сейчас я ни был в Киеве, останавливаюсь и смотрю, смотрю, выпитываю... Ведь больше никогда я этого не увижу...

В самом начале гласности Кондратьев первый напишет в московской газете, пора, мол, вспомнить о Некрасове и об «Окопах», хватит замалчивать!

«Изгнали из отечества большого писателя, — напишет Кондратьев, — подлинно русского интеллигента, теперь можно сказать, что и русского дворянина, всеми корнями связанного с русской землёй».

И рядом будет фотография — они с Некрасовым на фоне сенженевьевской церквушки.

— А кто фотограф-то?! Кто, знаете? — донимал я знакомых парижан.

Я и сейчас горд: ведь это был первый после его эмиграции снимок Некрасова в советской прессе.

В 1989 году мы с Милой пригласили Кондратьева в гости, уже постаревшего, явно уставшего, без удовольствия и одиноко выпивающего.

Приехал он, как нарочно, 9 мая, в День Победы. Попросил сразу же отвести его на могилу к Некрасову. Извинился, мол, вёз из Москвы бутылку водки, да не довёз. Что-что, а это у нас во Франции не проблема, утешил его я, сейчас купим, выпьем на могилке, и Вику помянем, и победу отметим...

За день до его отъезда домой мы поехали с Кондратьевым покупать дробовой пистолет, он обязательно хотел себе копию вальтера — на фронте у него был такой. Вальтера мы не нашли, купили что-то другое, внушительных размеров и немалой убойной силы.

— Не беспокойся, Витя! — обнимал он меня за плечи. — Я это элементарно провезу! А в Москве пугач мне очень пригодится, швали всякой у нас развелось, проходу не дают...

Вы, наверное, знаете, что в 1993 году писатель-фронтвик Вячеслав Кондратьев покончил жизнь самоубийством.

## Дни Победы

Девятого мая я поднялся на седьмой этаж поздравить нашего победителя. Вика встретил меня в прекрасном расположении духа, то есть в легчайшем подпитии.

Сразу же поинтересовался, хочу ли я выпить, и невероятно оживился, услышав, что да, конечно, кто же, мол, устоит в такой день.

Играла красивая музыка, а сам писатель щеголял по квартире в камуфляжных шароварах, подаренных ему ротным разведчиком Иваном Фищенко после войны. В.П. не раз фотографировался в них и в Киеве. Я храню их, как священный раритет, где-то в подвале, кажется...

Когда В.П. заводил разговоры о войне, он обращался ко мне с некоторым даже уважением.

Я любил военную историю, и в этом мы с Виктором Платоновичем были почти на равных. Так считал он. Я же ценил себя побольше и поглядывал на него даже несколько свысока.

И как только покупалась очередная книга или альбом о войне, Виктор Платонович непременно вызывал меня, и мы прилежно рассматривали фотографии, карты, таблицы. Простудировали с восторгом и тщанием «Дневники» Франца Гальдера, начальника генерального штаба вермахта, и теперь беспрестанно щеголяли друг перед другом эрудицией...

До войны Некрасов, вероятно, не слишком задумывался о патриотизме. Тогда все в обязательном порядке должны были беззаветно любить советскую родину. У Некрасова же киевский патриотизм заслонял всё остальное.

Так вот, патриот или нет, но на фронт он отправился защищать Советский Союз, Россию, Украину, Киев. Своих старушек и меня, полуторагодовалого, защищать других детей и другие города. Защищать Родину, короче говоря.

«Я был, — писал он, — тридцатилетним мальчиком. Наивным и увлекающимся».

И только на войне Некрасов начал понимать и надеяться, как и несметное множество других людей, что возврата к старому не будет.

В Сталинграде Некрасов и подал заявление в партию, потрясённый радостью подвига, под грохот взрывов, веря, как и все, что именно партия организовала все эти победы. Люди умирали патриотами, не произнося, конечно, всяких выпрєнных слов. И кто выжил, тоже вернулись патриотами. Искренними, пылкими и отрезвевшими.

Да что там фронтовики! Если даже мы, малые дети военной поры, со сладким сердечным смятением вспоминаем, хотя и обрывочно, славные дни Победы.

Мы жили тогда в моём родном городе — Ростове-на-Дону. Сквозь сон я услышал, как загалдели вдруг в доме, только не придал этому значения и снова заснул. Но меня разбудили, и дедушка, тормоша и обцеловывая меня, радостно кричал: ты понимаешь, Витюша, победа, победа! Мы победили! Победа! Наверняка радовались и бабушка, и мама, и соседи, но я помню только сияющего, держащего меня на руках деда.

Засыпая на руках дедушки, я в полусне слышал разговоры за столом, что Конев и Жуков взяли Берлин, завтра подпишут капитуляцию, в Москве скоро будет Парад Победы, а Гитлера разбил паралич.

На следующее утро в детском саду ликующие, с карминовыми губами воспитательницы раздали нам бумажные фунтики с конфетами-подушечками и выпроводили всех домой. Праздник был таким огромным, что мама пообещала взять меня на вечерний спектакль, после какого-то торжественного заседания.

А потом мы с дедушкой будем смотреть салют!

Во временном зале, неподалеку от громадного, разрушенного театра Красной Армии давали в честь торжества «Надежду Дурову». На деле же это было восхитительное полупарадное действо, сияющий радостью концерт, этакий патриотический капустник.

То есть поголовно все актрисы, независимо от возраста и амплуа, были наряжены гусарами, красовались на авансцене в лосинах и ментиках. А мужская массовка — в военную форму всех эпох, народов и родов войск. Все были вооружены бутафорскими саблями, шашками, палашами, ятаганами, шпагами, кавказскими кинжалами.

Первые любовники, молодые героини, инженерю, благородные отцы, гранд-коклет и травести несли отсебятину, веселились на сцене до упаду, а вся остальная компания пела, напевала, пританцовывала, потрясала оружием и дурачилась.

Я много раз, с трехлетнего возраста, видел этот спектакль и сейчас, сидя в литерном ряду, в страхе оглядывался на зрителей. Не будет ли, как меня иногда пугали дома, грандиозного скандала из-за такого артистического баловства. Но публика смеялась, подпевала, хлопала и без умолку выкрикивала шуточки.

Осмелев, я начал вертеться, просил всех посмотреть на гусара в синем кивере, возле правого софита — это, мол, моя мама. Сидящие сзади смеялись, совали шоколадку, трепали меня по голове, шутили по-взрослому, думая, что я не понимаю их шуток. А потом я потел от нетерпения в гримуборной: ну, давай, мама, быстрее, ведь в фойе идет банкет! Уйма людей толпилась между заставленными всякой всячиной столами, без передышки кричались тосты, духовой оркестр играл марши, вальсы, тустепы и плясовые, и я просто обалдел от такого великолепия.

Мама, необыкновенной красоты, была в зеленом платье из креп-жоржета, с крупными янтарными бусами и в синих

туфлях на танкетке. Волочила меня за руку сквозь ряды радостных, оборачивающихся ей вслед людей, отвечала на шутки и заливалась смехом. У крайнего стола, на котором из пирожных были сооружены пирамидки, она положила на тарелку сразу два куска умопомрачительного бисквитного торта с зелёно-алыми розами. Набив мне кармашек конфетами, потребовала, чтобы я всё съел как можно быстрее, ведь дедушка ждёт на улице...

И вправду, дед с двумя приятелями встретил меня у выхода, и мы пошли наискосок через Будённовский проспект, с редкими фонарями, с выщербленными фасадами разрушенных зданий, запружённый шумными, кричащими «ура», орущими от счастья людьми.

Погода была ясной и теплой.

Под огромным, недавно установленным фанерным щитом с малопонятной мне надписью «Трудовая копейка рубль бережёт» приятели деда продрались к хилому ларьку с красивой вывеской «Рюмочная в розлив и на вынос». И с утренним удовольствием, как я теперь понимаю, добавили там по одной на розлив. У деда была грудная жаба, поэтому временами он доставал флакончик и посасывал из него нитроглицерин.

Музыка редела на перекрестках, люди танцевали вприсядку, водили хоровод, редкие пары вальсировали. Забухали салютные пушки, с неба посыпались искры, ухнули вниз огненные струи, в темноте распустились сказочные орхидеи. Как красиво, вздыхали вокруг женщины, вот и дожили мы до победы...

Десяток инвалидов, взявшись за руки, перегородили тротуар проспекта, образовав как бы запруду, и требовали у прохожих денег. Я был поражён до немоты, и дед, по-видимому, сразу им что-то дал, так как нас без помех пропустили. Но — час от часу не легче — мы тут же наткнулись на

бившегося в истерике офицера, срывавшего с себя золотые погоны и проклинавшего урезонивавших его людей...

Пора домой, сказал дедушка. Добравшись до кровати, уже засыпая, я предложил:

— Давай, деда, завтра будем играть. Ты будешь Гитлер, а я — паралич. И я тебя разобью!

Дед засмеялся и поцеловал меня на сон грядущий. Он меня так любил, что я запомнил его любовь на всю жизнь. Дед мой умер через год, в пятьдесят шесть лет, успев подарить мне букварь, но не увидев меня первоклашкой. Сейчас, глядя на фотографию дедушки, все поражаются, как же я теперешним лицом похож на него, просто копия! И мне приятно...

В самом начале семидесятых годов прогулка по прекрасному праздничному Крещатику в День Победы была занятием долгожданным и сладостным. Музыка, весенняя зелень, народу, как на Бородинской битве в кино. Хотелось со всеми целоваться.

В обнимку с Некрасовым, в сопровождении какого-то соседского приятеля, которому была доверена только что купленная бутылка водки, продвигаемся через площадь Ленина.

Люди увешаны пудами орденов, а многие старики даже в допотопной форме, некоторые в белых перчатках.

Нас остановил сияющий тощий человек в чесучовом пиджаке, перекосившемся от десятка наград на левом лацкане. Как выяснилось, знакомый Некрасова с довоенных лет. Нам не терпелось выпить, но человек жал всем руки и что-то радостно говорил с сильным еврейским акцентом.

Вике удалось наконец оторваться от ветерана.

— Горе с этими вояками! — сказал Некрасов, поспешая за нами в скверик для принятия желанной влаги. — Проходу не дают.

— Зачем таскать на себе эти ордена, они же только пить мешают, — состроумничал я.

Некрасов не согласился. У него медалей больше, чем у маршала, сказал. И ранение в Берлине, за неделю до салюта Победы. Человек заслужил награды, гордится, что воевал, понять его можно. Да, ехидно откликнулся соседский приятель, такие Срули Мойшевичи много тебе навоевали, но в основном на Первом Ташкентском фронте, а на передовой их что-то не видно было!

Некрасов дёрнулся, взбеленился, мол, разбираться надо, говнюк, — это боевые награды! Пусть он валит отсюда, отвернувшись от него, мрачно приказал В.П., пить он с нами не будет, пошли, Витька! Приятель что-то вякал, мне было до боли жалко оставлять нашу водку, но Вика прынул в толпу, и я поспешил за ним.

До магазина он молчал, а когда покупали новую бутылку, поинтересовался, где это я нашёл такого ублюдка.

— Это лично ваш сосед! — оскорбился я.

Совершив частичное распитие возле автомата с газводой, мы успокоились и продолжили прогулку, вкушая лёгкое праздничное опьянение и любуясь нарядным Киевом...

Порядочный человек не может быть антисемитом, много раз повторял Некрасов. Будь он умным, образованным, с утончёнными манерами, но если он антисемит — в душе отшатываюсь от него! Не могу заставить себя общаться с ним как ни в чём не бывало. Так воспитали Вику мама, бабушка и тётя Соня, русские интеллигентки и дворянки, убеждённые, что лишь лабазник или прохвост может быть антисемитом.

Некрасов везде твердил: в народе массового антисемитизма нет! Хотя хамов и негодяев, шипящих о жидовском засилье, конечно, хватает и среди простолюдинов. Но в основном в стране процветает антисемитизм чиновни-

чий, партийный, тоталитарный. Некрасова пытались переубедить, но он настаивал, что еврейские анекдоты и даже ругань в адрес евреев не главное. Мурло самого утробного антисемитизма чётко прорисовывается лишь на уровне государственном. С квотами в институтах, издевательством на работе, чертой оседлости, депортацией и погромами, борьбой с космополитизмом, искоренением еврейской культуры.

Добродушный по природе человек, обожавший подшучивать над своими друзьями евреями, Некрасов решительно свирепел, наткнувшись на антисемита. И заводился, когда обвиняли евреев, что они сделали революцию.

Ни в коем случае нельзя это просто-напросто отрицать, говорил он. Это только распаляет антисемитов!

Да, было такое, к несчастью, в те проклятые сатанинские годы! Самим евреям надо говорить об этом в открытую: да, было, к нашему горю, было! Еврейский народ опозорен этими кровавыми лиходеями, безжалостными карьеристами или восторженными юношами. По сговору с безбожниками и помойной рванью, сгубившими тьму людей, оправдываясь счастьем человечества. Как и мы сами, русские и украинцы, должны отвечать за собственноручное убийство великого множества своих соотечественников. Ведь кроме отдававших приказы были их исполнители! Кстати, в Гражданской войне участвовал чуть ли не миллион китайцев. Причём они зверствовали так, что озадачивали даже будённовцев, далеко не мальчиков из церковного хора. Но почему-то об этом напрочь не вспоминают! Русский с китайцем — братья навек, все иронизируют. Но никто не сплёвывает при этом с ненавистью, как антисемиты...

Некрасов много раз повторил, что каждый должен бороться с антисемитизмом своими, пусть малыми силами, не ожидая всеобщей поддержки.

Как делал это он сам — Бабий Яр, статьи, открытые письма, участие в демонстрациях. И главное, говорил он, не общаться с юдофобами, как не общаешься с подонками, растлителями детей или скотами-стукачами.

К слову, я никогда не слышал от Виктора Платоновича ничего обидного ни в адрес негров, ни арабов, ни цыган...

## Вопиющее кумовство

Выход в свет моей книги «Сапоги — лицо офицера» было решено отметить запоминающейся попойкой.

Виктор Платонович пил мало, и к тому же одно красное вино, поэтому веселил компанию артистически излагаемыми случаями из парижской жизни нашей семьи. Всё чаще и чаще рассказ писателя прерывался, и публика хором и без лишнего слов выпивала.

Но Вика не успокаивался, болтал и болтал, и после очередной истории гости даже захлопали от удовольствия. А прелестная наша подружка Лидуся Дер Мегредитчан, потянувшись чокаться, сказала:

— Виктор Платонович, почему вы не пишете обо всем этом?! Обязательно напишите!

— Это он напишет! — Вика ткнул в мою сторону вилок. — Он теперь у нас писатель!

Сказал серьезно, и Лида это запомнила.

Её муж Ги, широкоплечий красавец и крупный математик, весьма любил поговорить с Некрасовым о злосчастии России. Сразу после войны Ги был вывезен родителями в Советский Союз и прожил там пару десятков лет, пока не добился возвращения во Францию. За это время он успел всей душой возненавидеть советскую власть. Они с Викой садились обычно в сторонке и, склонившись друг к другу, начинали

гневаться и возмущаться. Головоотяпством, бестолковостью, безнаказанностью. Особенно войной в Афганистане.

Тогда была модна эмигрантская страшилка: советские танки грохочут гусеницами по площади Согласия в Париже.

— Ну и пусть! Очень буду рад! — бывало, хорохорился В.П. — Я первый залезу на броню и выпью с танкистами!

Именно разговоры о танках на площади Согласия и навели меня на мысль написать для Виктора Платоновича нечто вроде руководства-путеводителя по сегодняшней советской армии. Какая там романтика, какая взаимопомощь, какие фронтовики! Опишу ему свою службу, два года лейтенантом после института. Что помню, как понимаю; где был, что видел и слышал. Будет что-то вроде альбома.

Я решил безжалостно открыть Виктору Платоновичу глаза.

Мысль эта посетила меня в конце восемьдесят первого года, и настолько мне понравилась, что я не оставил её беспризорной, но обласкал и уделил внимание... Через три месяца первый вариант был готов.

Каюсь, начав писать, я тоже чуть-чуть впал в некий ремаркизм, пару раз хлюпнул носом, вспоминал друзей и товарищей. Хотел всех расчихвостить, а получалось, что все мы одинаковые. С обычными грехами, с недостатками, усугублёнными своеобразием совкового воспитания. И я в том числе, чего там прикидываться, рыльце-то у самого в пушку! Да ещё в каком!

Служба моя проходила в Амурской области, станция Ледяная — нарочно не придумаешь, прости господи!

Потрясённый, видимо, разлукой со всем этим, пришибленный несколькими годами эмигрантского стресса, я теперь размякал душой. Разговаривал сам с собой, иронизировал, сводил счёты и обличал. И вспоминал, вспоминал, вспоминал...

Напечатал на «Эрике», с двойным интервалом. И испугался. Опус оказался толщиной с батон докторской колбасы! Внушительно... Сообразил переплёт, наклеил всякие картинки, начертал крупно «Сапоги — лицо офицера». И преподнёс, гордясь и надеясь, этот увраж Вике 17 июня 1982 года, в день его рождения.

Выше я упомянул о своём испуге. Реакция Некрасова была несколько иной — он ужаснулся. Шарахнулся, как если б из подворотни на нас, мирно прогуливающихся, вдруг с лаем бросается грозная псина.

— Что это? — спросил он, отстраняясь от ценного подарка. — Я что, должен ЭТО прочитать?

Автор мгновенно понял неуместность и даже непристойность своего презента. Ведь он совершенно упустил из виду, что Некрасов не терпел читать рукописи! Ну а если и читал их — по крайней необходимости, — то ни в коем случае не более пары десятков страниц.

Но Виктор Платонович уже пришёл в себя, заулыбался, полистал это писчебумажное сооружение и поблагодарил. Пусть пока полежит здесь, потом почитаю, — и положил аккуратно, чтоб вконец меня не обидеть, на видное место, на полку.

Прошло два года.

Как всегда в начале лета, напротив нас в городском парке расцвела шикарная магнолия.

Вышел я на балкон и неизвестно почему решил раскрыть парижскую газету «Русская мысль». Читаю что-то вроде: «Комиссия по премиям им. Владимира Даля объявляет прием конкурсных произведений». Присуждались эти премии авторам, которые «никогда не состояли членами Союза писателей». Читаю дальше: «Состав комиссии: Ирина Иловайская-Альберти (главный редактор «Русской мысли»), Никита Струве (профессор славистики Парижского университета),

Михаил Геллер (профессор истории и литератор), Жорж Нива (профессор славистики Женевского университета) и Виктор Некрасов (писатель, председатель)».

Ну-ка, ну-ка! Трепетная мыслишка возникла и запорхала мотыльком... Почему не попробовать?!

Между делом подсел к Некрасову. Слушайте, мол, Виктор Платонович, а что, если я представлю эти самые «Сапоги»? Вы всё же в комиссии, посодействуете, чтоб хотя бы на конкурс приняли. Вика замахал руками: какой на фуй конкурс, он там только номинально! Неудобно будет, да и кто такую толстенную рукопись прочтёт! А то ещё nepотизмом с кумовством тыкать будут! В общем, изо всей мочи отбояривался.

И пошёл я восвосяи несолоно хлебавши...

Через недельку к нам зашёл Вика:

— Знаешь, я говорил с Мишей. Он берётся почитать рукопись, отвези ему.

Миша Геллер позвонил мне через несколько дней. Назвал рукопись «книгой», сказал, что она ему понравилась. Добавил, что в эмигрантской послевоенной литературе о советской армии ещё никто не писал так — поглядев на нее глазами офицера.

Велел разбить текст на главки, по эпизодам, дать названия. И сократить — то есть выбросить целые куски выстраданного и написанного кровью, потом и скупой мужской слезой! Так что, говоря попроще, ауспиции были благоприятны.

Наконец произошло заседание комиссии — в ресторанчике в Латинском квартале.

Салонные дебаты после десерта осложнялись тем, что главный премиальный зачинщик — профессор Никита Струве — уже давно решил, что премию надо поделить между московским поэтом и религиозным писателем. Оба счи-

тались преследуемыми и олицетворяли духовность. Но Миша Геллер был настойчив, и комиссия, потолковав, решила сделать меня третьим лауреатом. Кроме денежной суммы это автоматически давало право быть опубликованным в лондонском издательстве Overseas.

Вот так «Сапоги — лицо офицера» увидели свет.

Кропая «Сапоги...», я испытывал душевные борения и колебания — что делать с матом? Как бы не прослыть похабником! Ведь в то время никто и слыхом не слыхивал о ненормативной лексике. Я и сам считаю, что мат приятно воспринимается на слух, но выглядит отталкивающе в письменном изложении. Но постепенно я убедил себя, что ежели мои офицеры будут говорить на языке дворянского собрания — это будет явная натяжка.

Однако, читая гранки, смалодушничал и заменил, где мог, все грубоватые, но мужественные «фуи» на более утончённые и бесполое «херы»...

Из критических отзывов мне особенно дорого мнение, высказанное Народно-трудовым союзом, знаменитой антисоветской организацией из Франкфурта.

В НТС Советскую Армию курировали двое — малознакомый мне функционер и мой бывший парижский приятель, журналист из «Русской мысли». Он тоже служил, сержантом, артиллеристом, на китайской границе в 67-м году, а приехав во Францию, написал книгу о своей службе. После этого его позвали в НТС, где он стал специалистом по Советской Армии. В чем заключалась такая специализация на практике — неизвестно.

НТС обозвал меня советским агентом влияния, пляшущим под дудку, а «Сапоги» назвал явной фальшивкой, написанной по заказу КГБ. Типичной, как говорили тогда, дезой.

Мол, написана книга, чтоб ввести в заблуждение западное общественное мнение. Чтобы здесь подумали, что Советская

Армия так низко боеспособна, так морально расхлябанна, что бояться её нечего и кричать о военной угрозе со стороны СССР не стоит. А Советы, пользуясь благодушием капиталистов, будут безнаказанно наращивать свою мощь! Но Народно-трудовой союз меня раскусил, его не проведёшь!

Я настроил им письмецо, сопроводив общепринятой в армии и народе краткой формулой послания, уже не прибегая к эвфемизму «хер»...

Отклика не последовало.

Вика воспринял публикацию моей книжки как персональный литературный успех. Не мог нарадоваться и нахвалиться. Вежливые приятели и воспитанные знакомые не перечили. Иные поддакивали, многие помалкивали. Автор же, как водится, пыхал радостью.

Только обложка «Сапог» Некрасову не понравилась — блёкая, без выдумки.

— Слушай, Витька! — сказал как-то В.П. — Подари-ка ты мне свою книжку с какой-нибудь смешной надписью.

А то, мол, одна у него есть, но авторская надпись, того, не блещет оригинальностью. Я думал-думал, ерундово и несмешно сострил. Некрасов же для своего экземпляра собственноручно соорудил и наклеил коллаж на обложке, переиначил на свой лад.

Теперь на этот раритет всем наплевать, даже обидно немного...

## Плач по друзьям и вообще...

Жизнь плоха ещё и тем, что вокруг умирают друзья, грустновато пошучивал Некрасов.

Когда-то в Киеве умер дражайший друг Леонид Воынский. Умер милейший Исаак Пятигорский.

Не успел Некрасов уехать в Париж, как в России покончил с собой Геннадий Шпаликов. Гена потряс его до слёз, когда безнадежно просил перед отъездом: «Вика, возьми меня с собой!» Он обезумело пил и прозябал в глубокой депрессии, но в Союзе не знали о такой болезни, а отчаявшихся до крайней степени людей принято было не жалеть, а презирать. Когда Гена погиб, моя мама пыталась скрыть это от Некрасова, боясь запойного всплеска с горя. Конечно, ему сообщили об этом другие, но он решил скорбеть по другу трезво, грустно пообещав по телефону дожидаться нашего приезда, чтобы помянуть друга. Так что наша первая выпивка с Виктором Платоновичем в Париже закончилась у него в кабинете под шпаликовские песни, которые я когда-то написал на киевской кухне.

Потом умер Василий Шукшин. Какой мировой парень, отзывался о нём Вика, какой человек, какой писатель! В последнюю встречу в Москве Шукшин поразил его своим поникшим видом, бесцветным голосом и бессчётными чашечками выпитого кофе. Это был очень больной и погасший человек, рассказывал потом В.П., но зачем было умирать так быстро...

Через пару лет в Киеве скончался верный друг Сева Ведин. Щедрый, весёлый и на короткой ноге со всем Крещатиком, он заведовал киевским корпунктом агентства печати «Новости». Сева был одним из немногих близких друзей, оставшихся рядом до самого отъезда Некрасова. Он болел сердцем, ему абсолютно запретили пить, но он чуть пренебрёг запретом — кто думает о смерти в новогоднюю ночь!.. Какая сволочь налила ему водки, ругался Вика, ведь знали, что нельзя! Почему-то В.П. думал, что сам он налить себе не мог...

А смерть Наташи Столяровой была просто уму непостижимой. Бывшая зэчка, образованнейшая женщина, про-

ведшая всю юность в Париже. Такая энергичная, изящно-остроумная собеседница и безотказная спутница, умерла совершенно неожиданно, и мы узнали об этом, открыв «Русскую мысль». Вика обескураженно смотрел на меня. Как же так, ты же помнишь, как мы с ней совсем недавно бегали по Нотр-Даму?!

Но в эмиграции окончательно выяснилось, что жизнь таки имеет и отрадную сторону. Встречи с друзьями были главной радостью Некрасова.

Мама устраивала страшную сумятицу, когда объявлялось о приходе гостей: дескать, чем кормить людей?! Это состояние Вика называл хлопаньем крыльями и вежливо при этом раздражался. Поэтому он многих приглашал просто в кафе — это избавляло его от маминой суматохи. Да к тому же такое угощение и его самого ни к чему не обязывало: можно обойтись чашкой кофе или пивом, посидеть, сколько пожелаешь, и уйти — когда надоест.

Но когда нужно было собраться вместе с несколькими друзьями или особо отметить праздник встречи с приезжим гостем, тогда вся компания торжественно принималась дома. Собиралась, как у нас говорилось, «псюрня». Мила с мамой готовили обильную закуску ручной работы, а в большой комнате накрывался стол.

Так сложилось, что все без исключения приезжие участники ужинов или чаёв обладали высокой культурой трёпа, были мастерами толчения воды в ступе и виртуозами переливания из пустого в порожнее.

Некрасова сильнее удивляло, что вырвавшиеся в Париж москвичи, — не все, но многие, — начинали с того, что без умолку рассказывали о своих служебных горестях и склоках. Иногда это продолжалось весь вечер. Только обнимемся при встрече, удивлённо сетовал В.П., все вдруг начинают подробнейшим образом рассказывать о себе. Как кто-то по-

шёл в местком, как его вызвали в партком, как он добился встречи с инструктором ЦК, как смерил глазами заместителя директора...

— Я лично не вызываю ни у кого никакого интереса! — улыбался В.П. — Чудеса!

Особенно свирепствовал в этом жанре Юрий Любимов. Тонкий и обходительный человек в жизни, знаменитый режиссер театра на Таганке обожал говорить о себе. Вечером у Некрасова он часа два кряду держал всю компанию в напряжении, рассказывая о перипетиях борьбы с цеховскими идеологическими боссами за свои спектакли. Временами было интересно, временами длинновато. Но главная беда заключалась в том, что три дня назад он так же подробно рассказывал то же самое у художника Целкова. Через недельку мы с Некрасовым опять попали впросак, то есть на ужин с Любимовым. Послушав с полчаса знакомое повествование, Некрасов не выдержал и дал дёру на кухню. Вышел за ним и я.

— Чудовищно разговорчивый! — закатив глаза, попытался превратить всё в шутку В.П. — Хочется убить и расчленить!

К началу восьмидесятых годов наезды москвичей участились, но киевлян, неизвестно почему, было всё так же с воробьиный нос. Из Москвы же стали приезжать люди гораздо более осмелевшие, чем пять-десять лет назад. Без колебаний звонили Виктору Платоновичу, не скрываясь, договаривались о встречах и не опасались появляться на людях. Вообще-то общению с эмигрантами они придавали большое значение. В Москве всегда считалось светским шиком упомянуть как бы походя о встречах с Некрасовым, Гладилиным, Синявским. А то и с самим Максимовым, неумолимим редактором «Континента». Тут уже Некрасов стал осторожничать, старался не бравировать встречами

в людных местах и чаще приглашал приезжих к нам домой, поговорить о московских новостях. О киевских он узнавал, к сожалению, из уст израильтян и новых американцев.

«Скучаешь ли ты по дому, по прошлому?» — спрашивает себя Виктор Платонович.

И что же, уклониться от ответа, мужественно вздёрнув подбородок?

«Да, скучаю. И очень», — невесело отвечает Некрасов. И ему становится на время легче... А вообще-то говоря, кто в эмиграции не писал о грусти?

И Некрасов тоже написал.

Изящную «Маленькую печальную повесть». Написал за две недели. Выговорился наконец и чуток всплакнул о потерянных друзьях...

На мой взгляд, «Маленькая печальная повесть» является продолжением «Сапёрлипопета» — только в ней гораздо явственней прослушивается плач и горечь по друзьям... Очень уважаемая Некрасовым Анна Берзер, редактор «Нового мира», назвала эту повесть «кодексом чести». Нельзя бросать мать, писал Некрасов, продаваться власти и лгать самому себе. Негоже забывать и обманывать друзей. Нельзя терять честь и жалко губить свой талант.

Для меня «Маленькая печальная повесть» усеяна деталями, фактами, именами, названиями улиц и кафе, которые мне прекрасно известны, понятны, ловятся на лету. Эта повесть — изящный шедевр, я вас уверяю! Правда, на мой невзыскательный вкус, она чуть перегружена сведениями о театре, кино, балете. Хотя чего удивляться — беседуют-то просвещённые люди...

И ещё. В «Маленькой печальной повести» Некрасов вдруг пустился во все тяжкие — решился на малонормативную лексику, чего раньше за ним не замечалось. А тут —

полный набор. В числе прочих ещё киевское словечко — «поц!», которым он часто злоупотреблял в жизни, в значении «дурачок». Он почему-то считал, что это ругательство очень распространено в народе — по-еврейски это значит, простите, «фуй», — и удивлялся, как можно такое не знать? На самом деле это бранное слово понимали только в Киеве, да в бывшей черте оседлости, да ещё некоторые из московских знатоков еврейского быта.

## Сергей Довлатов

Вика включил телефонный громкоговоритель, чтоб и я принял участие в разговоре. Его собеседник говорил тихо и вяловато. Угадав голос Сергея Довлатова, я, приложив руку к сердцу и тыча пальцем в телефон, попросил знаками: мол, привет от меня передайте, от его почитателя.

Вика радостно закричал в трубку, что вот сын пришёл, прочёл вчера твой «Чемодан», говорит, смеялся, очень ему понравилось!

— Мне такое он не говорит! — слишком уж бодро шутил В.П.

— Молодёжь нынче пошла непочтительная и, не побоюсь этого слова, развязная! — грустновато ответил на шутку Довлатов, обманутый, видимо, словом «сын» и посчитав, что к Вике забежал этакий пострелёнок.

Закончив разговор, Виктор Платонович сообщил уже безрадостно:

— Вчера, говорит Серёжа, закончился у него загульчик. Обещает, что сейчас закрутился окончательно.

Будучи год назад в Нью-Йорке, Вика зашёл к Довлатову домой, когда Сергей только что выскользнул из недельного запоя.

— Сидит на кровати, а вокруг пустых бутылок столько, что я охренел. Полсотни бутылок виски! Другого, говорит, не пьёт. И это за неделю! Даже я слегка испугался!

— Да какие ж это деньги нужны! — пожалел и я Довлатова.

— Что деньги! — вздохнул В.П. — Такими темпами он себя быстро угробит!

Потом в письме от 14 марта 1980 года Довлатов напишет:

«Спасибо Вам за письмо и одобрение. А Вашему сыну — тем более. Даже Тургенев заискивал перед молодыми людьми, чёрствыми и несентиментальными. А я — и по-давно».

Через неделю пришёл черёд Некрасова вкусить запойные тяготы. Выпив с утра, писатель проспал весь день. Ночью звонить можно было только в Америку. В том числе и Серёже Довлатову.

«Спасибо, что позвонили, — написал потом Довлатов. — Алкогольный звонок — исключительно близкая мне когда-то форма общения. Сейчас я, увы, не пью. Но люблю саму идею по-прежнему».

Перезванивались они в то время интенсивно. А будучи трезвыми — так же активно переписывались. Переписка эта бурлила, причём Довлатов не гнушался писать внушительные письма с прекрасными деталями и штришками. Прислал тогда же свою книжку «Наши»: «Дорогому Виктору Платоновичу, основному Некрасову русской литературы».

Некрасов радовался такому общению. Ведь в Париже настоящих юмористов не было.

Возьмите Израиль — княжество изумительных остряков. Или Америку, где царил Довлатов, которого, кстати, Максимов первое время не принимал всерьёз, считал беста-

ланнным зубоскалом. А у нас, в парижской эмиграции, у писателей в основном было всё как-то надрывно, сумрачно, мудаковато. Слишком многим хотелось, наверное, чтоб считали их серьёзными писателями...

Три имени, три эмигрантских корифея иронии и юмора почитались Некрасовым — великая Тэффи, несравненный Дон Аминадо и потрясающий Сергей Довлатов.

Это сейчас Довлатова чтят, а память о нём холят.

Тогда же в Нью-Йорке шла борьба, которую Некрасов, посмеиваясь, называл нью-йоркской батрахомиомахией, войной мышей и лягушек.

Сергей Довлатов перманентно находился в состоянии неравной, многотрудной и страстной борьбы с Яковом Моисеевичем Цвибаком, главным редактором нью-йоркского «Нового русского слова». Который, как мы знаем, для удобства стал именоваться Андреем Седых.

Вначале Довлатов обвинял Седых в желании умертвить его нежно-любимое дитя «Новый американец», подозревая, что Седых не будет особо огорчён и исчезновением лично его, Довлатова, как минимум с газетного горизонта. Не зря, я думаю, обвинял и подозревал. Рыльце у милейшего Якова Моисеевича было-таки в нежном пушку...

В 1982 году Довлатов решил окончательно обличить злокозненного Андрея Седых. Пульнул очередной булыжник в болото, то есть в «Новое русское слово», «в единственный серьёзный источник зла в эмиграции, учреждение гораздо более отталкивающее и вредоносное, чем КГБ и советская цензура вместе взятые» — в письме Некрасову в октябре 1981 года.

Перед этим Некрасов отписал ему большое послание в защиту обиженного «НРС» и своего сердечного приятеля. И вот в длинном письме к Некрасову Довлатов отводит душу:

«...Почему считается нормальным из года в год разоблачать в эмигрантской публицистике какого-нибудь покойного злодея, но про живого, успешного и сравнительно молодежавого прохвоста Андрея Седых — следует молчать? Почему?..

...Мне известно, что Вы, в ситуациях, более ясных для Вас, вступались за людей не только в Союзе, но и во Франции, и даже теряли работу, вступившись, например, за Гладиллина. Просто здешняя, американская обстановка Вам плохо известна, и потому кажется, что “злобствующий неудачник Довлатов” (так меня поименовал в “НРС” Александр Глезер) терзает обаятельного и невинного старика Андрея Седых. Между тем Ваш любимец Седых — не более и не менее, как главарь бандитской шайки, просто грабит он в данном случае не Вас, а неизвестных Вам людей. Мне эти люди хорошо известны.

Я от всего сердца желаю Андрею Седых прожить до 120 лет, чтобы у него было время осознать все глубины своей низости и покаяться хотя бы на уровне Раисы Орловой, на которую в “НРС” опрокинули три ведра помоев не потому, что она была дурой и советской патриоткой, а потому, что осмелилась об этом написать.

Вам же я желаю прожить до 120 лет по другим причинам, а именно — потому, что Вы добрый, прекрасный человек и замечательный легкомысленный писатель.

Крепко Вас обнимаю. Будьте здоровы. С. Довлатов».

— Да-да, обстановочка в Америке та ещё! — вздыхал В.П. — Даёт дрозда Серёжа! Теперь их с Седых примирит только сырая земля...

Некрасов ошибся, к счастью.

В трудный момент, когда редактора «Нового американца» оставили с носом мерзавцы-компаньоны, Седых великодушно помог Довлатову, и тот, не откладывая, известил об этом Некрасова.

Письмо от 27 декабря 1981 года:

«...Мы ушли и оказались на улице, буквально — в кафе. Народ уполномочил меня звонить Якову Моисеевичу, просить содействия. Самолюбивый горец, я, втянув голову в плечи, пошёл в “НРС”, был принят великодушным образом, именовался “голубчиком”, Седых проявил благородство...»

«...И последнее. 21 декабря (в день рождения товарища Сталина) моя жена родила ребёнка мужского пола по имени Николай. Седых прислал смешную открытку, заканчивающуюся словами: “Надеюсь, он не вырастет журналистом — со следующим поколением Довлатовых воевать я уже не в состоянии”».

Некрасов просиял и уселся звонить в Америку. Поздравить, а заодно и посплетничать. О самом сокровенном — иными словами, о выпивке.

## Слабость писателя, она же гордость

Как комета Галлея периодически возвращается по орбите в наши края, так и В.П. снова и снова в своих вещах затевал разговор о водке. И не мог остановиться. С удовольствием вспоминая об этой комете, Некрасов всегда к месту рассказывал, как в 1910 году все уличные торговцы Парижа предлагали противокOMETные пилюли от вредоносного действия токсичных эманаций кометы Галлея, пролетавшей в то время недалеко от Земли. Многократно повествуя об этом разнообразным москвичам, Вика удручённо разводил руками — почему пилюли? Лучше водки с пивом ничего нет! И заказывал ещё пива...

Из книги в книгу, как от застолья к застолью, он выкраивал момент и начинал изливать душу. Хотя писал он о волшебном напитке всегда кристально трезвый.

О пьющих людях он говорил с пиететом, о водке — с трепетом и ироничным восторгом, а вот об алкоголизме в Советском Союзе часто сокрушался. Писал не раз, что народ спаивают, хотя буквально на следующей странице начинал восторгаться благом опьянения.

Как всякому русскому эмигранту, приходилось и ему отвечать на дурацкий по наивности вопрос аборигенов — а почему в России так пьют? Принято так, заведено веками, обычно отвечал В.П. Или подробнее: пьют с горя, чтобы почувствовать свободу, да и вообще, «без водки просто нельзя, только она даёт возможность поговорить по душам».

Фотография! Ещё одна слабость Некрасова. И его гордость...

После войны появился фотоаппарат «Экзакта» — шикарный по тем временам, купленный в послевоенной Германии, стоивший немалых денег, но покупку которого мог себе позволить тогдашний лауреат и депутат Некрасов.

Где-то в те же времена завелись и первые альбомы — монументальные, тяжелые как скрижали, высококачественные картонажные изделия с тиснёными переплётными эпохи сталинских архитектурных излишеств.

Десяток таких альбомов был привезён в Париж, остальные, не поддающиеся точному счёту, были оставлены в Киеве. Все были заполнены групповыми и штучными портретами, видами Киева и пейзажами вокруг писательских домов творчества. Это была самая настоящая летопись некрасовской жизни — друзья, знакомые, события и компании.

Все фотографии тщательно клеивались, продумывалась композиция, иногда рисовались рамочки. Кое-где указывалась дата, изредка делались надписи: Комарово, Коктебель, Ворзель. Тогда же, видимо, и пошла лъстивая молва о фотографическом мастерстве Некрасова. Хотя качество частень-

ко оставляло желать лучшего, но главной бедой этих альбомов было другое. Все люди на фотографиях были безымянными!

Не писать же, говорил он себе, что это мама, что это Сима, это Евуся, а это Яня Богорад! Чтобы что? Чтобы не забыть их?! Полный идиотизм! И когда после смерти Виктора Платоновича у меня на руках остались эти пудовые мастодонты, я буквально мычал с досады. Заполненные физиономиями неведомых мне людей в военном или гражданском, портретами каких-то инкогнито в бобриковых пальто хрущёвских времён или группами неизвестных типов в шведках и бобочках пятидесятых годов, эти альбомы были, как писали раньше, немым укором Викиной беззаботности.

Просто катастрофа, сколько фотографий неподписанных, сколько среди них неопознанных, как трупы в морге! И прежде чем с облегчением раздать и пристроить альбомы — то ли в Национальную библиотеку в Петербург, то ли в Киев Григорию Кипнису, — я пытался вспомнить лица, спрашивал маму, просил близкого Викиного друга Нину Аль надписать имена знакомых ей людей...

Как мне не упомянуть Григория Кипниса, столько сделавшего для сохранения памяти о Викторе Платоновиче! Собственный корреспондент «Литературной газеты» по Украине, его корпункт был совсем недалеко от дома Некрасова. Их бесчисленные встречи и несчётные выпивки описаны и Викою, и самим Гришей. Он был одним из близких киевских друзей В.П. и сразу после начала перестройки, созволившись со мной, приехал в Париж. Потом ещё и ещё. Я передал ему довольно много Викиных вещей, которые он напечатал в Киеве. Гриша и сам писал о Некрасове. Пробивной газетчик, общительнейший и деликатный человек, он организовывал и фонд Некрасова в Киевском архиве, и заботил-

ся о могиле матери, Зинаиды Николаевны, и, где мог, вспоминал Вику, с любовью и умом говорил о нём...

Ну а моя альбомная эпопея далеко не закончилась — в наследство мне достались ещё и парижские альбомы-ежегодники.

В них масса уже цветных фотографий — люди, виды, памятники, уголки и просторы. Собственноручно сделанные Викой, любовно оформленные, иногда с вклейками или чёрно-белыми экскурсами в прошлую жизнь, эти альбомы носят отпечаток неизгладимого порока — лени автора. Только несколько имён, ещё меньше фамилий, совсем мало дат. Но здесь всё проще, большинство персонажей мне знакомы. И я восстанавливал, где возможно, допущенные Викой лакуны, надписывал и датировал, как мог...

В фотографии Вика был склонен к романтизму, любил пейзажи в утренней дымке, контражуры, уютные интерьеры, миленькие кафе, трогательные улочки, памятники — знаменитые и простенькие. Я же такой подход отвергал — зачем щёлкать то, что уже прекрасно изображено на открытках? И гордился своим прагматизмом, отдавая предпочтение застольям, выраженным группам в нарочитых позах или портретам в фотогеничной обстановке, скажем, на фоне живописных полотен либо в окружении пышных кувертов, бутылок, тортов и самоваров...

Это вызывало ехидные ухмылки Вики — м-да, явил он, вяло перелистывая мой альбом, прямо скажем, не Картье-Брессон, спонтанностью не отличаешься, да и композиция носит печать убогости... Отчасти именно поэтому у меня мало хороших фотографий Виктора Платоновича: он нарочно, чтоб насолить, не вовремя ёрзал, корчил рожи и обидно отзывался о креативных способностях фотографа.

Приехав в Париж, Некрасов немедля купил абсолютно бездарный аппаратик размером с два спичечных коробка.

— Представляешь, ничего не надо делать, ни резкость, ни диафрагму, только снимай! — радостно сообщил мне В.П.

Некоторое неудобство заключалось в том, что снимки получались неясными по краям или размытыми посередине, похожими на картины Тёрнера, а цвет не всегда совпадал с натурой. Случалось, даже силуэт различался с трудом.

Фотографии получались терпимыми лишь в статическом положении, но именно этого Вика избегал — бойко перемещался, выискивая ракурс, и, не предупреждая, щёлкал, щёлкал и щёлкал. Половина из проявленных снимков никуда не годилась.

Не выдержав моих насмешек, он через пару лет всё же купил себе новый аппарат, «Минольта-1100», сильно усовершенствованный, хотя тоже не без греха.

Говоря откровенно, к некоторым Викиным фотографиям всё-таки следует относиться с повышенным почтением.

Весьма хороши виды Германии, Италии, Америки, Австрии, Норвегии, Австралии, Франции. Но особенно часто и с воодушевлением, упиваясь, причмокивая, он делал очень и очень милые и прекрасно безыскусные фотографии Парижа. Вообще говоря, в подобных альбомах понимали толк только мы с Викой. По крайней мере, у нас, в Париже.

Я точно знал, что лишь он один мог оценить по достоинству мои альбомные хохмочки, а он горделиво показывал свои альбомы мне, как знатоку. Наши труды понимали ещё и женевцы — поэт Тоша Вугман и Наташа Тенце.

Венец же фотографического творчества Виктора Платоновича назывался «Авто-био-фото-изо-эссе». С фотографиями всего жизненного пути нашего писателя, вперемежку с юношескими рисунками Некрасова и прочими вклейками, с щедрыми надписями-сентенциями. Альбом считался авто-

ром, по-моему, вполне серьёзно, чуть ли не шедевром. Одно время В.П. реально подумывал его издать, давал даже на просмотр в какое-то издательство, но там вежливо отклонили такую честь.

— Вот когда разбогатею, то опубликую альбом обязательно! За свои деньги, тиражом в полсотни экземпляров! — говаривал Виктор Платонович.

Только, мол, для друзей. Но обязательно в роскошном издании! А если богатство не подоспеет, то это сделаешь ты, Витька, или Вадик! Без шуток!

Альбом этот пока не увидел свет, да и скорее всего не увидит.

## Аи и Нормандия

Ехали на могилу Шарля де Голля.

Через милую нашу Францию — по невысоким холмам, мимо нескончаемых пшеничных полей с редкими купами кустарников. Одинокий комбайн вдалеке. Солнце и ветерок. Редкие встречные машины.

Вика вдруг оживлённо завертелся:

— Слушай, Витька, что за чёрт! Почему на полях ничего нет? Где битва за урожай?! Меня это волнует!

Я заулыбался — действительно странно советскому человеку, как такую бездну пшеницы можно собирать без суеты и аврала...

Поездки по Франции возвышали наши зачерствевшие души изгнанников. Этому, конечно, способствовали частые остановки в придорожных кабачках, ресторанчиках и трактирчиках. Пилось при этом не шибко, по стаканчику или по кружечке, поэтому оставалось время и желание любоваться красотами. Говорили не только о приятном, то есть

о предстоящей вечерней выпивке, но и о полезном — истории, литературе, географии.

Иногда останавливались переночевать в крохотных гостиницах. Причём Виктор Платонович первым долгом принимался фотографировать вид из окна. Вторым долгом внимание уделялось обычно бесхитроственному бару...

Почему бы, Витька, не съездить нам в Верден, на пару дней, предложил В.П. Хочется, мол, ещё раз посмотреть на места тех страшных боёв! Ему надо сейчас описать свою первую поездку туда, но многое подзабыл, впечатления стёрлись, хитрил он, не давая мне отвертеться. Я был свободен, и мы тронулись в путь.

Под Реймсом свернули в сторону, проехать по Шампани. К полудню подъехали к очередному городишку. И удивились названию.

— Аи! — вскричал Некрасов — Ну конечно! Аи!  
И мелко поводя ладонью, продекламировал:

Я сидел у окна в переполненном зале,  
Где-то пели смычки о любви.  
Я послал тебе чёрную розу в бокале  
Золотого, как небо, Аи.

— Остановимся, что ли?

Выйдя из машины, мы осмотрелись — место оказалось безликим поселком городского типа. Безлюдным и безрадостным. Но с множеством винных лавчонок по обе стороны главной и, по всему, единственной улицы. Почему-то все они были закрыты.

— Чёрт-те что! — разволновался В.П. — Вот тебе и золотое, как небо! Полдень, перерыв на обед!

Но счастье улыбнулось нам, поклонилось и, учтиво отворив дверь, пропустило в магазинчик. И с любезной

улыбкой назвалось хозяином этой торговой точки. Внутри была организована свадебная атмосфера — благодаря блестящим гирляндам, сотням бутылок шампанского шпалерами вдоль стен и пирамиде из шикарных, с глубокою тарелку, бокалов на низком столике. Маленький прилавок напоминал трибуну во дворце бракосочетаний. Мы пожелали лучшего шампанского. Хозяин предложил дегустацию «Лорэна».

Шампанское оказалось прямо-таки на редкость божественным, и мы без усилий выпили и вторую бутылку. Я прочёл нашему милейшему виночерпию стихотворение Блока и как мог перевёл. Хозяин кивал, якобы тронутый поэзией, улыбался, как гейша, и смотрел с вежливой тоской — наверное, мучился голодом. Расставались с ним сердечно, обнадёжили, что непременно наведаемся через время.

Купив для Парижа ещё одну бутылку «Лорэна», мы двинули как бы воздушными зигзагами в сторону Вердена.

Всякому понятно, что шампанское мы в Париж не довели. До Вердена, впрочем, тоже...

Наутро в Вердене начались потрясения. Кладбища, кресты, форты, мемориалы... Главное кладбище, некрополь Фобур-Павэ, где похоронены пять с половиной тысяч французских солдат и четырнадцать — русских. Ездили от форта к форту, напряжённо разглядывали орудия и казематы. Вика требовал остановок чуть ли не на каждом километре. Фотографировал беспрерывно и рассказывал, не глядя на меня, что в битве под Верденом полегло почти триста пятьдесят тысяч человек, почти столько же, сколько было потеряно нашими при взятии Берлина! А в оссуарии форта Дуомон собраны кости ста тридцати тысяч неопознанных солдат. Как у нас в Сталинграде, печалился В.П., горы безымянных трупов! Ведь тогда никаких нательных медальонов в Красной Армии и в помине не было, а солдатские книжки не успева-

ли заполнять. Так и шли в атаку десятки тысяч беспаспортных солдатиков, умирали безвестно...

Как и все туристы, мы закончили нашу поездку в мемориале с сохранённой в натуре «Траншеей штыков», где во время бешеного арталёта в июне 1916 года были заживо похоронены несколько десятков солдат 137-го полка. Они так и остались — засыпанные землей, скрючившиеся, прислонившиеся спиной к стенке траншеи, с вертикально торчащими винтовками с примкнутыми штыками...

Осенью 1982 года в Париж приехали Лунгины. Вика расцвёл от счастья, носился с ними, водил везде, кормил французскими разносолами и обхаживал. Потом они вместе поехали на юг Франции, в Ниццу, Сен-Максим, Марсель, вернулись снова в Париж.

Здесь к компании присоединилась Зина Минор, располагающая к себе, энергичная женщина, школьная подруга Лили Лунгиной. Со всеми своими парижскими подругами юности Лиля восстановила приятельские отношения, со всеми поужинала, у всех побывала в загородных домах. Приходя к Вике, она садилась у телефона и, положив на колени записную книжку, начинала обзванивать своих приятельниц. Вика с ехидцей подмигивал мне, мол, куда делись Лилькины опасения и испуги! Многие из её школьных подружек занимали к тому времени очень приличное положение, а некоторые стали жёнами просто-таки важных, без меры влиятельных персон...

После чая Вика решил прокатиться, как говорится, по ночному Парижу, проводить Лунгиных на машине. Поколесив по городу, попали почему-то на Пигаль, зашли в пустое ночное кафе. Вика угостил всех, потом снова и снова.

Через дорогу над входом в не бог знает какой кафешантан сверкало и мигало что-то похожее на силуэт Шахереза-

ды, делавшей ручкой, мол, заходите к нам, господа и господини! Никогда не был в таких местах, вот бы полюбоваться падшими нравами, размечтался Сима. Но у Вики денег с собой не было. И тут в моей душе проклюнулся гусар. Пойдёмте, сказал гусар моим голосом, чего уж тут, у меня с собой кредитная карточка, угощаю компанию! Публики было гораздо меньше, чем официантов, вышибал и девочек, музыка наяривала, бухал барабан, по стенам стегал лучом прожектор, а под потолком вращался зеркальный шар. Ночное шоу уже началось — метание ножей, стриптиз, факир, половой акт понарошку, гуттаперчевая девочка. Творчески-интеллигентные москвичи и писатель-изгнанник встречали исполнителей доброжелательно и провожали похвалами, а когда программа окончилась и зажгли свечи для танцев, а между столиков появились ласковые девочки, все суетливо засобирались домой.

Года два понадобилось, чтобы отдышаться от ужаса Вердена. А в конце лета 1984 года нами была предпринята экспедиция в Нормандию.

Затеял всё, конечно, Виктор Платонович. Давайте, дескать, съездим на выходные в Нормандию, посмотрим монастырь Мон-Сен-Мишель, можно сказать, одно из чудес современного света! Заодно и в океане искупаемся!

— А меня, меня! Почему меня не берёте?! — прямо-таки возопила Фрида Брауде, близкая подруга Милы. Вика её любил за доброту, чудесный характер и редкую безалаберность. Абсолютно не возражал против её компании. Прихватив Фриду, двинулись в сторону Нормандии.

Некрасов приехал туда впервые, и громадный монастырь на острове-скале в окружении безбрежных отмелей, естественно, весьма его впечатлил. А своей фотогеничностью до крайности взволновал.

Мы покорно позировали, поворачивались в профиль, в три четверти, становились на фоне чего-то, садились на ступени, камни и лафеты, а также ложились в позу патрициев и одалисок на парапеты и уступы. Видимо, в этот день боги были благосклонны к В.П., и фотографии потом получились на славу, да и альбом удался.

За ужином выяснилось, что Виктор Платонович иезуитски вынашивал и другой, тайный план — поехать на знаменитые нормандские пляжи, место высадки союзников в срок четвёртом году. Мне хотелось уже домой, я попытался капризничать, и В.П. даже цыкнул на меня, поедем, мол, без всяких разговоров! Поражённый такой строгостью, я умолк, допил вино и пошёл отсыпаться...

На кручах над пляжем Омаха-бич, наполовину засосанные дюнами, были как бы уложены громадные бетонные параллелепипеды. Мы с Некрасовым вошли в первый бункер и присвистнули, поражённые. Толщиной в мой рост железобетонные стены, двери, как в банковском сейфе, пулёмётные бронеколпаки из литой стали...

Из амбразур пляж как на ладони. Под нами, внизу, простреливаемый вдоль и поперёк...

Немцев было несравнимо меньше американцев, но на обстрелянных немецких мужиков ураганная артподготовка с линкоров и крейсеров не произвела ожидаемого впечатления, они просто поплотнее задраились в бункерах.

А когда началась высадка, они пошли косить людей из пулёмётов и топить баржи из пушек. В упор и без пощады, в упоении боя, только потом, видно, сообразив, что им самим-то тоже придётся несладко, в плен никто после этого брать не будет...

Давно уже окружённые, немцы держались чуть ли не неделю, а когда американские сапёры забирались на крышу бункеров, пытаясь снаружи просунуть в амбразуры взрыв-

чатку на шестах, немцы вызывали на себя огонь орудий из соседних бункеров, размётывая в клочья штурмовые группы.

Но главное, главное, непрерывно восклицал Некрасов, вообразите тысячи молодых парней, прыгающих в воду под смертоносным огнём и сразу же погибающих! Когда даже легкораненные гибли наверняка, тонули с полной выкладкой!

Вообразите!.. Поставьте себя на место этих солдат, умирающих за освобождение какой-то Франции, о которой большинство из них полгода назад просто слыхом не слыхали у себя в аризонах и техасах...

Виктор Платонович смотрел на нас, тоже взволнованных, и всё донимал вопросами. Что им было тут делать, на страшных, заклятых пляжах, этим юным американским, английским, канадским поселянам и крестьянам?! Зачем им было гибнуть, захлёбываясь в океане, или умирать от потери крови на мокром песку? Быть убитыми наповал или смертельно искалеченными, пробежав несколько шагов по европейской земле?! Из тридцати четырёх приданных для поддержки пехоты танков-амфибий тридцать один сразу же пошли ко дну, захлестнутые крупной волной! А парни сигали в воду, тонули под пулями, а выкарабкавшиеся на берег, подрывались на минах и умирали под очередями крупнокалиберных пулемётов...

— Они шли на смерть за свободу! Так и мы в Сталинграде умирали за Родину! — чуть не кричал Некрасов.

— Как представляю себе эту картину, задыхаюсь от горести! — задумчиво произнёс В.П., слегка поостыв.

И мы с повлажневшими глазами слушали его, оглядывая пляжи и откосы. Уходящие вдаль ряды десятков тысяч белых крестов, сотни гектаров коврового газона на военном кладбище в Сен-Лорене. Печальное отражение кучевых облаков в водоёме с кувшинками и весело полощущиеся на ветру флаги союзников...

Мы вспоминали всё это ещё и ещё раз по пути домой, скрашивая скуку трёхчасовой езды по скоростной авто-трассе.

— Вот странно получается, Витька, — говорил тогда В.П. — Как объяснить, что не любят у нас во Франции американцев? Своих освободителей, защитников свободы?!

Уже сколько лет прошло после войны, а в Париже чуть ли не на всех стенах — «Гоу хоум!» И никто не осмеливается напомнить этим балбесам-граффитистам, что это именно американцы лезли на пулемёты на пляжах в Нормандии, прыгали с парашютом ночью вслепую, гибли тысячами, как мы под Москвой, Курском или Сталинградом! Чтобы спасти людей от рабства!

Как объяснить, почему к этим людям — приветливым, симпатичным, даже смешным американцам — французы относятся с такой неприязнью? Да и не французы даже, а леваки, засаленные коммунисты, парижские обуржуенные и лицемерные интеллектуалы. А сами обезьянничают у Америки буквально всё!

— Ты думаешь, что это комплекс неполноценности? Наверное, и это. Завидуют, злятся, пыжатася наши французики. Ведь без Америки они пустое место!

А меня американцы просто умиляют, говорил Некрасов. Когда сталкиваешься с их доброжелательностью, детской простотой, участливостью... Говорят, мол, тупы и некультурны. Такое придумали именно европейские посредственности! Все эти самодовольные парижские павлины и архары! Для своего успокоения! Ведь Нью-Йорк по культуре заткнёт одним пальцем Париж за пояс! И такого интереса к России, как в Америке, он нигде не видел, разве что в Австралии. Как запели три американские девушки песенку Булата об Арбате, как они душевно затянули — не пове-ришь, он чуть слезу не уронил...

Нет, вздыхал Виктор Платонович, настоящим антиамериканским французом я никогда не стану!

## Беззаботность среди прочих добродетелей

Декрет о натурализации Некрасова и моей мамы был опубликован в № 223 «Журнал оффисьель» 25 сентября 1983 года.

«Я — француз! Что же испытываю? Признаюсь — радость! Я гражданин свободной страны. Пусть в ней много недостатков... но я могу о них говорить, писать, кричать во всё горло, и никто меня за это не осудит, не упечёт чёрт-те куда. Вот об этом я мечтал всю жизнь. О свободе! Даже о свободе умереть под мостом, как говорил кто-то из вождей. Но ведь ты и так — говорят мне — девять лет уже прожил в этой свободной стране. Да, прожил! Но — таков уж у меня характер — я считал, что мне, беженцу, изгнаннику, которого приютила Франция, негоже как-то за что-то её осуждать, критиковать. А теперь я француз и как всякий француз — а они большие критики, ворчуны, и то не так, и это не так, — я могу сесть и написать письмо самому Президенту: “Господин Президент, так, мол, и так, уберите коммунистов из своего правительства, они всем уже очень надоели...” Вряд ли он послушается меня, и всё же...»

Приехав во Францию и заполняя анкету, Некрасов потешался, когда спрашивалась дата первого брака мамы или девичьи фамилии бабушек. Источая злорадство, говорил: нет, советской бюрократии не сравниться с французской!

Очень вначале удивлялся, а потом даже обиделся на французов. Почему так тянут с гражданством, обещали через полтора года, а прошло уже шесть лет, и ни гу-гу.

Некрасов не сомневался, что его натурализацию оттягивали из-за бюрократии. Хотя на самом деле французы не спешили, опасаясь его возможных, как говорили тогда, антисоветских выпадов, которые придётся им расхлёбывать. Не хотели раздражать Советский Союз. Статус апатрида сулил меньше неприятностей — мало ли что там сказал или выкинул человек без родины и гражданства.

Некрасова всё-таки задела эта тянучка. Французы прямо ничего не говорили, но бумаги перекладывали из стопки в стопку, мусолили и томили как могли, годами не отвечали! Давали понять, что Французская республика особой срочности в этом деле не видит.

По прошествии аж семи лет В.П. начал шевелиться. Обивать пороги, то есть звонить старым французским приятелям, и писать учтивые письма с напоминаниями.

Сдвинул дело Стефан Эссель, муж Вити Эссель, бывший крупный дипломат, посол для особых поручений. Нажал куда надо, шепнул или подтолкнул, не знаю, но через два месяца родители получили долгожданное подданство. Теперь на границе таможенники если и смотрели на Некрасова, французского подданного, то рассеянно, без малейшего интереса. Совсем не так, как на политического беженца...

В разгар летнего дня Некрасов лежал на тахте и читал «Войну и мир».

Я слегка удивился, чего это вдруг?

— Самая великая вещь! — сказал В.П. — Ну и пишет!

— На то он и граф! — Я как бы сострил.

Вика улыбнулся:

— Темнота сиволапая! Не понимаешь ты меня, остришь... Сходил бы лучше в магазин, купил чего поесть. Пустой холодильник. Деньги в правом кармане.

А он почитает.

Через пару лет я вторично застиг его за этим чтением.

— Поразительно! Невозможно оторваться! Вот так Толстой! — В.П. как бы извинялся за неуместное занятие.

— Сравниваете с «Окопами»? — подтруниваю.

Вика отложил книгу и согласился поболтать.

— Скажи-ка, Витька, на кого я больше всего смахиваю из толстовских героев?

Откуда мне знать, пожимаю плечами, кто этот роман после школы открывал! Да и в школе читали только о подвиге батареи Тушина, на эту тему сочинение писали.

Некрасов настаивает: подумай, ну, разве не ясно? Он походит на старика Волконского! Действительно, ты посмотри, такой же ворчун и раздражительный, да и твоя мать горит, что к тому же деспот!

И неожиданно начинает подсчитывать, сколько лет было Волконскому, и оказывается, что и он, и Кутузов не дожили и до семидесяти. В.П. оживился: они-то моложе его были, понимаешь, Витька! Улыбается: вот, мол, пожалуйста, считал он себя всю жизнь мальчишкой, а оказывается — преклонного возраста господин! Иными словами — старик!

Я не нахожу, как состричь, и он вновь принимается за книгу.

А действительно, на кого был похож и кем бы хотел быть Некрасов в ранней молодости? Чем заниматься?

Как Хемингуэй — ходить по кафе, по-мужски дружить, спорить о корридах и тореадорах? Быть скаутом? Выслеживать неприятеля, прослыть знаменитым следопытом, сидеть в секрете? Или мушкетёром? Один за всех, все за одного? Пить бургундское, глядя в печальные глаза Атоса? Может, актёром в театре, у любимого в молодости режиссера Чужого? А почему бы не лихим разведчиком, приволакивающим «языка» или как пантера прыгающим с финкой на немецкого часового? Зевакой и книгочеем? Валандаться по Латин-

скому кварталу, прохладиться лежебокой на киевском пляже или возлечь на кушетке в Ванве, с книгой, скажем, Шукшина или Гамсуна?

В молодости да и в зрелости он мечтал, вероятно, обо всём этом понемножку, улыбаясь в душе...

Кстати, сам Некрасов, как и любимый им Кнут Гамсун, был ярким индивидуалистом, основываясь в своём творчестве почти исключительно на событийных впечатлениях и личных переживаниях. И во все времена действовал он по совести — в дни войны он был патриотом, в дни мира не запятнал себя карьеризмом, а в смутное время не пожелал увильнуть рукоборства с советской властью.

— Мои недостатки — это следствие моих достоинств! — полушутливо как-то сказал В.П. — Хочешь верь, хочешь нет.

Перефразируя его любимого Хэма, скажем, что Некрасов обладал ценнейшим качеством — беззаботностью. Беззаботностью, обрамлённой порядочностью и подчёркнутой сдержанностью. Он строго следовал правилу английской королевской семьи — ничего не объяснять, никогда не жаловаться. Не жаловаться особенно!

Некрасов не терпел поучений, требований или, храни господь, ультиматумов. Но от него многого можно было добиться, превратив свои настояния в шутливые просьбы или иронические укоры. К чему зачастую прибегала Мила, да и я не брезговал.

В.П. совершенно не держал нос по ветру. Его не волновало, о чём можно говорить публично, о чём нельзя, и он говорил, что думал. Бывало, невпопад и грубовато.

Некрасов был весёлым и сентиментальным человеком.

Ко всему прочему — во всех смыслах добрым. То есть и щедрым, и доброжелательным, и благорасположенным, особенно к друзьям, знакомым, к нашей семье или к людям, ему симпатичным. Есть люди такие же добрые и щедрые, но

с суровым, малодоступным выражением лица. Вроде Владимира Максимова. А у Виктора Платоновича лицо часто просто светилось добротой и приветливостью. Поэтому люди к нему льнули, стремились пообщаться. Поэтому и враги его были не слишком многочисленны. Да и те больше нажимали на его, скажем так, склонность к известной нам привычке, или бедностью попрекали, или мягкотелостью. Хотя я знал нескольких, которые его просто и не скрываясь ненавидели, мне и сейчас непонятно, за что...

Конечно, у В.П. было много недостатков, причём, возможно, некоторые даже граничили с простительными пороками! Но добродетели явно преобладали.

Поэтому я сейчас не вспоминаю, как когда-то он совсем уж излишне выпил, без особой причины нагрубил матери или отмахнулся от меня пренебрежительно.

Я вспоминаю о другом.

Вспоминаю слёзы на его глазах, когда он смотрел фотографии наших проклинаемых чехами танкистов в Праге, вспоминаю его короткую речь в Бабьем Яру.

Вспоминаю, как он в бессилии матерился, когда осудили в Киеве безвинного Ивана Дзюбу.

Вспоминаю демонстрацию протеста, его окаменевшее от стыда лицо, когда люди скандировали, обзывали нас, русских, оккупантами Афганистана.

Вспоминаю его, страшно обеспокоенного, когда он узнал, что наш сын окончательно бросил школу, вспоминаю утро, когда он обнял меня за шею и сказал с таким участием, так жалея меня:

— Витька, я всё знаю о Вадике! Мне в кафе рассказали. Не скрывайте больше от меня ничего!

Вспоминаю, когда он резко оборвал меня, запретив говорить о его болезни, чтоб нам не надоедать и самому не дергаться...

Да много чего можно вспомнить!

В апреле 1984 года Виктор Платонович предложил полюбоваться альпийскими эдельвейсами. Я на всякий случай хихикнул, но В.П. был деловит. Снова в Париже Наташа Столярова, близкая приятельница и одна из самых ценимых Викой компаньенок по парижским прогулкам. Погуляем с ней денёк-другой, сказал В.П., а потом надо будет её отвезти в Швейцарию. Визы у неё и близко нет, но разработан целый план. Шикарный автомобиль со швейцарскими номерами, с импозантной дамой за рулём редко останавливали на швейцарской границе, ну а французам вообще было наплевать, кто выезжает из Франции. Импозантная дама — Наташа Тенце — взялась перевезти свою подругу в Швейцарию, а там посмотрим — так было решено... Изюминка предприятия заключалась в бесшабашности Наташи Столяровой. Она согласилась рискнуть и проникнуть в чужую капиталистическую страну без визы, с одним советским паспортом. Что скажут в советском посольстве! Но Наташа Столярова сама придумала эту авантюру и подбила на неё даже законопослушных швейцарцев.

К границе мы подъехали раньше, чем думали, и, чтобы убить время, решили подняться на перевал Сен-Бернар по старой заброшенной дороге. По которой, по рассказам Зинаиды Николаевны, она ходила в горы с друзьями-эмигрантами в начале двадцатого века.

Романтичных эдельвейсов не было и в помине. Оставив машину под развевающимися флагами на перевале, пошли прогуляться по альпийским косогорам и буеракам. Было прохладно, хотя солнце светило вовсю. И вдруг раздался отчётливый полусвист, полукрик. Потом ещё пару раз. Какая-то французская пара, радостно улыбаясь, объяснила, что это свистят сурки. Вон там, видите, на валунах, они принимают солнечные ванны!

Действительно, на большом камне распластался на животе зверёк, а рядом другой, столбиком, периодически орал по-сурочьи. Французы были возбуждены: это такой шанс, вы не представляете! По французскому поверью, утверждают знающие люди, этот сурочий свист, называемый песней сурка, приносит удачу. Но главное везение нагрянет, если на ваш возглас: «Спой, сурок!» — зверёк в ответ свистнет.

Попробуем, загорелся Вика. Спой, сурок, клянчили мы, а Наташа улыбалась — она не верила французским выдумкам.

Спой, сурок, спой! Ни звука в ответ. Огорчённые, мы пошли к машине, и тут вслед нам раздался желанный свист. Мы с Викой обрадовались: почти получилось, с задержкой, но сурок ответил нам! Теперь вот-вот и улыбнётся нам фортуна!..

А осенью Наташа Столярова внезапно умерла. Вот тебе и накликali удачу! Потрясённый Виктор Платонович написал о ней трогательный рассказ «Пон-Нёф я обхожу теперь стороной». Вот и верь этим суркам, сказал Вика, когда я принёс отпечатанный на машинке рассказ. Кто же знал, что песня сурка предназначалась ему, а не Наташе...

## Подражание Хэму

Висевший на стене в киевском кабинете фотопортрет седобородого Хемингуэя в свитере пленял меня до умопомрачения.

В шестидесятые годы каждый столичный житель, не чувравшийся сдержанного свободомыслия, должен был иметь такую фотографию в своём доме. Как чуть позже стало обязательным вешать на стене в прихожей или на кухне лапти, туески или обломки прялок. Я жил в провинции, куда передовые идеи проникали со скрипом, поэтому фотографии Хэма не имел. Но желал страстно и изнывая от нехорошей зависти. И душа моя замлела, когда перед отъездом Некра-

сов торжественно, как полковое знамя при отступлении, вручил мне этот портрет, дескать, храни и любуйся!..

Я оценил жертву.

Некрасов обожал Хемингуэя ещё с довоенных лет.

Да и чьё сердце не сжималось в томлении от прекрасных описаний всепогодных и повсеместных выпивок, крепкой дружбы, мужских разговоров, бесстрастной на людях, но на деле жгучей любви. Кто пропустил хоть одну строку о корриде, об охоте на буйвола или о ловле стариком знаменитой рыбы?

Среди моих знакомых таких не было. А у Некрасова тем более.

— Моя настольная книга? — переспросил меня однажды В.П. — Фигурально выражаясь, их две — «Белая гвардия» Булгакова и «Фиеста» Хемингуэя. А настольный фильм — «Мне двадцать лет» Марлена Хуциева!

Мне давно казалось, что Некрасов местами чуток подражал Хемингуэю в своих вещах. В кратком и ровном стиле письма, мужественно сдержанных и отрывистых диалогах, в несуетливом повествовании. Но это было ещё полбеды. Дело приняло серьёзный оборот, когда Некрасов наконец побывал на корриде. Он оказался слишком впечатлительным для такого зрелища. Без умолку рассказывал о сражении с быком и даже показывал телодвижения тореро. Потом поутих и вспомнил о быках лишь на следующий год, когда мы попали в Мадрид.

Оказалось, что предшествующий год писателя не пошёл коту под хвост, а был посвящён штудированию книг и энциклопедий о тавромахии. И сейчас он с придыханием рассказал об исторических поединках, заслуженных тореадорах, коварных и беззаветно храбрых быках. Посулил нам море удовольствия и пригласил поспешить на представление. Я был заинтригован и чуточку взволнован, а Мила от-

неслась к этому настороженно, как к предложению прыгнуть с парашютом.

Вика переживал за исход боя, опасался за жизнь тореадора и желал смерти быку. Шумел вместе с публикой и часто поглядывал на ложу арбитра. Он явно впитывал частички фактов и насыщался волшебной атмосферой. А когда на следующий день, уже в машине по дороге в Толедо, В.П. вновь завёл речь об искусстве боя быков, я безрадостно понял, что на мне отрабатывается, чтоб не забыть, пассаж о корриде в его будущих заметках.

Скорбное предчувствие воплотилось в действительность.

Тюкаю на «Эрике» большую рукопись, радуюсь, что Некрасов взялся за писание, давно пора. И конечно же, он не удержался и пустился во все тяжкие о корриде, о тореадорах и матадорах, верониках и мулетах! Я заглядываю вперед, листаю рукопись — снова о быках, о ритуалах и правилах, заковыристые термины для гладкости изложения. Подряд несколько страниц! Ведь ничего раньше не понимал в этом! Единственное знал — что быка желательно в конце концов умертвить... А тут целую главу посвятил. Не даёт ему покоя Хемингуэй, подражает ему, злорадствую я. Как хочется моему Виктору Платоновичу тоже прослыть если уж не знатком, то хотя бы просвещённым любителем боя быков!

Подражает или нет, но страницы о корриде получились интересными, нечего бога гневить. Пусть забавляется человек, успокоился я, но как ему намекнуть, чтобы он не вздумал ещё раз возвращаться к бычьей тематике...

Подражание Хемингуэю проскальзывает и в первых парижских записках, но ненадолго.

Некрасов быстро улавливает собственную манеру описания бесконечных сидений за столиком кафе, божественного вкуса разливного пива, шатания по улочкам Латинско-

го квартала или топтание у рундуков букинистов вдоль набережных Сены. Так что перед Хемингуэем краснеть нам не приходится. Американский певец Парижа был не скажу, что посрамлён, но местами переплюнут. И перепит.

В журнале «Стрелец» за пару лет до смерти Некрасова был опубликован большой его рассказ. И тут дрогнуло сердце и перо писателя, отдал-таки дань почтения прекрасной хемингуэевской книжке о Париже, назвал свой рассказ «Праздник, который всегда и со мной». Кумир Хэм, наверное, довольно ухмыльнулся на небесах, а его почитатель Некрасов при встрече с ним, я думаю, почтительно развёл руками. Мол, что поделаешь, Париж, как ни верти, а праздник. Лучше, мол, не скажешь...

«Что его ни раскрою — всё хорошо», — писал Лев Толстой о Куприне. Так можно сказать и о Викторе Некрасове.

Позволю себе заметить, дорогой мой Витька, писал мне В.П., что я не считаю себя профессиональным писателем. Конечно, я зарабатываю на жизнь своим пером. Игривым, шаловливым, лёгким, но не блудливым! Но пишу я лишь тогда, когда мне хочется. Пока такое получалось, дальше не знаю.

Но он любил, когда его называли писателем. И сам так отрекомендовывался.

— Вы чем занимаетесь в жизни?

— Пишу! — сухо отвечал В.П. незнакомым людям.

И люди умолкали, часто с почтением.

— А что вы пишете? — настаивали очень уж общительные.

— Разное! Это зависит от расположения духа!

Действовало безотказно, даже самые неугомонные отпадали с вопросами...

*Глава пятая*

**Мальчики остаются  
мальчиками**



## Застольные гости

**М**ама на всё лето уезжала преподавать в Русский культурный центр в Медоне. Виктор Платонович с наслаждением вкушал, — а иногда и всасывал, — радости холостяцкой жизни.

На телефонные вопросы мамы, чем, мол, питаешься, отвечал словами известного до войны парижского журналиста и остролова Дон Аминадо. Который, недоедая на скудные гонорары, дал объявление в «Русской мысли»: «Хожу на обеды. Расстояниями не стесняюсь!»

— Что вы хотите, Виктор Платонович, на ужин? — затевала обычный разговор Мила.

— Супчик!!!

— А котлетки хотите?

— Хочу и котлетки, но сейчас — супчик!

В нашей семье при слове «суп» все понимающе ухмылялись. Как-то Мила налила холостякующему Вике тарелку приготовленного пару дней назад супа и пошла хлопотать на кухню.

Чтобы поддержать приличия, я сидел за столом, присутствовал при трапезе.

Выхлебав суп, он невнятно поблагодарил.

— Ну, как суп? — спросила Мила.

— Прокис! — не вдаваясь в подробности, объявил В.П. и закурил.

— Как прокис? Почему же вы съели прокисший суп?! — запричитала Мила.

— Другого нет, а прокисший был тоже неплох, — спокойно ответил В.П.

С тех пор вопрос «Как суп?» вошел в анналы.

Вкусы Некрасова отличались лёгким извращением. Чёрную икру, устриц, крабов и гусиную печёнку — в рот не брал. Обожал оладьи, манную кашу, котлеты, супы и борщи, вареники с вишнями, чай с лимоном и булку с докторской колбасой.

К изыскам относился скептически. Вернувшись из гостей, где подавали маринованные куриные крылышки, с горестью сообщил:

— Накормили какими-то подмышками!

Из Норвегии Вика привёз пуд роскошной рыбы — солёной и копчёной. Мы с Милой поедали её, начиная с утреннего кофе. В.П. наслаждался нашим аппетитом, а с меня просто не сводил глаз.

— Что, плутовку сыр пленил?! — радовался В.П.

Я уписывал за обе щеки. А чтобы порадовать нашего рыбного благодетеля, ещё и разыгрывал акулий инстинкт, которым, по слухам, страдал дедушка Крылов.

Паясничая, я напомнил с укором Вике тот прекрасный день, когда он вёз красную рыбу с Камчатки и наивно надеялся довести её до Киева. Но в Москве у Лунгиных рыбу перехватили и, позвав близких друзей и соседей, умяли её за считанные минуты.

— Точно так ели, как ты сейчас, Витька! — с тоской по родине промолвил В.П. и побежал за фотоаппаратом, увековечить...

Первое время писатель щеголял по квартире в махровом банном халате поверх домашней одежды, на манер английского эсквайра, выкроившего время отдохнуть в курительной комнате. Бывало, что и гостей в нём принимал. Приводя в негодование Милу, утверждавшую, что до приезда советских диссидентов такого позорища Парижу и не снилось.

Наконец ею был куплен в подарок Виктору Платоновичу халат явно поприличней, ставший излюбленным атрибутом домашнего уюта.

Вторым признаком уюта было чтение вслух. Читались любимые рассказы Тэффи.

Вика усаживался с книжкой и, оглядев стол, начинал красиво читать. Первым всегда шел «Городок» — о парижских русских после революции.

«Общественной жизнью интересовались мало. Собирались больше под лозунгом русского борща, но небольшими группами, потому что все так ненавидели друг друга, что нельзя было соединить двадцать человек, из которых десять не были бы врагами десяти остальных. А если не были, то немедленно делались».

— Ах, как это знакомо! — радостно злопыхали гости.

«Жители городка любили, когда кто-нибудь из их племени оказывался вором, жуликом или предателем. Ещё любили они творог и долгие разговоры по телефону. Они никогда не смеялись и были очень злы».

Некрасов замолкал и со сладкой улыбкой взирал на нас — ну, какое чудо!

Рассказчиком он был из ряда вон! Он мог долго, очень занятно, с подробностями говорить о своих встречах, путешествиях, визитах. О книгах, фильмах, замках, пляжах, аэропортах и вокзалах. Я слышал от пары-тройки критиков, что Некрасов не был таким уж эрудитом. Смотря кто об

этом судит! Я знаю одно — все искали его общества, для беседы или просто узнать мнение. Знатоки литературы с удовольствием обсуждали с ним книги. Почитаемые мастера кино говорили как с равным о фильмах. Историки дотошно обсуждали события, а понимающие в архитектуре — рассуждали о модерне, рококо или пламенеющей готике.

Надо сказать, что повидать Виктора Платоновича приходили выдающиеся российские говоруны, краснобаи и злоусты. Актёры Зиновий Гердт, Всеволод Абдулов, Вениамин Смехов, Иннокентий Смоктуновский, Игорь Кваша, да всех я сейчас уже и не упомяну.

Кваша потрясно рассказывал всякие театральные истории, вспоминал московские встречи с В.П., ужасно смешно копировал Брежнева. Вика хохотал наравне со всеми. Игорь оставил о себе особо благоприятное впечатление, искренне похвалив меня за мой рукописный альбом «Свои сто грамм». Смехов был менее напорист, частенько с чувством засматривался на свою красивую и молодую жену, но жизнь театра на Таганке расписывал бесподобно и, выскочив из-за стола, разыгрывал сценки с участием воображаемого Юрия Любимова. Смоктуновский за чаем вёл себя незаметно, тихим голосом обстоятельно плёл рассказы, шутил с достоинством. Долго вспоминали с Некрасовым фильм «Солдаты», где Смоктуновский впервые снялся в кино, а Вика сыграл пятисекундную роль пленного итальянца!

Известный советский актер, а потом парижанин Лев Круглый первое время слегка робел и сидел по большей части молча. Был застенчив, как бутон розы. Несмотря на то что уже до эмиграции погромывал в кино и сверкал в театре.

Актриса московских театров Наташа Круглая-Энке на этих встречах транжирила свой божий дар на весьма натуральное изображение моей мамы, вечно волновавшейся по

пустякам, рассеянной и доброй, обременённой собачкой-психопаткой Тусей.

Лёва с Наташей при первой возможности приглашались к Некрасовым на ужины или чаепития. Мама их очень любила, расхваливала всем и любовалась ими. Действительно, приятнейшие люди, нежно за мамой ухаживавшие и с какой любовью помогавшие ей!

Лёва пил мало, как кошечка. Наташа же, ахнув пару-другую рюмашек, мило смеялась, чаще шутила и вела себя по-свойски. Пообвыкнув, Лёва и сам начал блистать монологами о столичной театральной жизни, чем чрезвычайно привлек к себе Вику. Мама была счастлива, что мы наконец по достоинству оценили её драгоценного Лёвушку...

Круглые недавно вернулись из Мюнхена, куда их пригласили пару лет назад на постоянную и очень денежную работу на «Радио Свобода». Что с них возьмёшь, шушукались в Париже, артисты и останутся артистами, ума большого от них не жди! Бросить такую кормушку и вернуться нищенствовать!

— Понимаете, Виктор Платонович, — пылко говорила раскрасневшаяся Наташа, — невозможно там жить после Парижа! От тоски задыхаешься!

Вика понимал прекрасно...

— Стóит сегодня к нам зайти! — настойчиво приглашал по телефону В.П. — Придет Зяма Гердт. Захватите табуретки!

Зиновий Гердт в войну тоже, как и Некрасов, был сапёром.

В начале вечера они попытались было повспоминать о боевом прошлом, но быстро умолкли, смутившись нашими недовольными физиономиями.

— Потом договорим, когда не будет этих шпаков! — сказал Некрасов.

Зяма начал острить...

Гердт лучился, рассыпался в шутках и побасенках, любо-дорого! Не ленился подниматься со стула, чтобы подчеркнуть пантомимой свои чрезвычайно смешные истории. Жена напоминала ему: расскажи то, а теперь это. А как ты ходил своей мордой торговать, выпрашивать в гастрономе дефицитную колбасу! И Зяма с радостью изображал, описывал и входил в образ перед благодарными слушателями... С Гердтами мы потом ездили под Фонтенбло.

До сих пор вспоминаю с улыбкой.

## Парижское лето

Мы быстро забыли советские праздники — и революцию, и женский день, и Первое мая. Остался в памяти только День Победы, единственный, отмечаемый Некрасовым со всей серьёзностью.

Правда, я не забывал поздравлять его и второго февраля, в день окончания Сталинградской битвы.

А в нашем Ванве особо почиталось освобождение Парижа в 1944 году.

Первые годы мы с В.П. с удовольствием разделяли радость французов. Праздничный подъём поддерживался бесхитростной утренней выпивкой в кафе «Всё к лучшему».

В этот день ветераны собирались на нашей церковной площади, тоже с утра пораньше хлопнув по стопке кальвадоса.

Формировалась колонна — десятка три мужчин, в орденах, некоторые в беретах парашютистов. Из чехлов доставались хоругви и знамёна, их почётные хранители разворачивали полотнища и замирали в сторонке. Духовой оркестр был отнюдь не кристально трезв. Некая прелесть

заклучалась в том, что бас-геликоном была дама. Потом приходил наш мэр со скромной свитой, школьный автобус привозил нарядных девочек-мажореток, выносились вперед венки, и процессия трогалась в путь, к памятнику погибшим горожанам.

В церкви ударяли в колокола, турецкий барабан бахал, девочки взмахивали жезлами, идущие с рынка граждане приостанавливались.

Мы с Виктором Платоновичем, сделав несколько раз ручкой, подобно дедушке Ленину на плакате «Верной дорогой идёте, товарищи!», возвращались в кафе.

Однажды мы, сами не ведая, попали на возложение венков на кладбище Пер-Лашез.

Само по себе зрелище было лишено нашей пригородной непосредственности и интереса не вызвало. Было слишком официально. Как всегда, Виктор Платонович потянул меня посетить любимую им могилу журналиста Виктора Нуара. Этот Нуар знаменит тем, что его убил на дуэли князь Пьер Бонапарт, племянник Наполеона. Фигура лежащего навзничь журналиста была отлита в бронзе неловким манером, поэтому в области ширинки, если присмотреться со стороны, наличествует некая выпуклость. У памятника это место отполировано до блеска, так как считается, что прикосновение к нему благоприятствует любовному пылу. Не разобравшись, Некрасов вначале думал, что речь идет о лежащем маге, исполняющем желание. Поэтому В.П. и вместе с ним все приезжие москвичи без задней мысли и охотно трогали у журналиста знаменитый протуберанец и задумывали сокровенное.

Вика уверял, что многое сбылось.

Вспомнил он эту свою оплошность через много лет, когда впервые вместе с нами увидел бронзовую скульптуру Джульетты во дворе её дома в Вероне. Правая грудь влюб-

лѐнной девушки блистала как медный таз от миллионов прикосновений туристов. Там же на табличке объяснялось, что прикосновение к груди придаст вашей эрекции долговременную непреклонность. На этот раз В.П. всё понял, но тоже прикоснулся. Зачем — неизвестно, как сообщил он нам с улыбкой...

В письме от 17 июля 1979 года Виктор Платонович приукрашивает летнюю парижскую действительность:

«Только что вернулся с концерта Святослава Рихтера. Слушал его, правда, не в зале на Елисейских Полях, в вашей квартире по телику. Поседел, потолстел, отрастил какие-то седые баки, но играет ничего, слушать можно. А днѐм ходили с Ралисом на выставку скульптора Цадкина. Тоже ничего. Потом обедали в кафе “Barlay”, рядом с твоим марочным базаром... А до всего этого были на рю Дарю, на панихиде по злодейски убиенному Государю (сегодня 61-я годовщина). Давно мечтал посмотреть на живых белогвардейцев и монархистов. Они оказались старичками крепко за 70, а тогда, вероятно, были юными кадетами и юнкерами... Как видите — развлекаюсь.

Работе это не мешает, т.к. встаю не как вы, бездельники, а в семь утра! В 8.30—9 уже в рабочем кресле, возле телефона, — туда не достигают солнечные лучи...

После двух езу в Париж — придумываю какой-нибудь предлог. Вечером, под звуки чего-нибудь прекрасного — Горовицов или испанских гитаристов, листаю “Чукоккалу”, читаю английского Овчинникова или роюсь в книгах — нашѐл массу книг, которых никогда не раскрывал... Потом вечерний чай и сон... Распорядок железный. И никакого мне юга и телефона не надо — тихо, спокойно работается, вокруг книги, Париж пуст, телефон молчит — чего ещё надо...»

...Мы были в отпуске. Только возвратились — сюрприз!

— Знаете, кто у вас жил три дня? — улыбается В.П. — Юз Алешковский! Ну а вы мне свинью подложили, падлы!

Вечером знаменитый американец позвонил из нашей квартиры, поинтересовался, где можно сейчас достать что-нибудь выпить. Нигде, заявил не менее знаменитый парижанин Некрасов, всё закрыто, ни у него, ни у детей ничего нет. Мол, сам смотрел после их отъезда.

Утром приезжий писатель вновь звякнул собрату по перу. Дескать, ночью он подумал — как это может быть на Западе, что в доме отсутствует выпивка? Это исключено! Поискал и нашёл за портьерой в углу бутылку водки.

— Извини, я её выпил! А ты говорил, ничего нету! — покаялся Алешковский.

Понятно, что водку от отчима спрятали, но он-то так оскандалился! Хорошо, Юз свой парень, вроде поверил оправданиям, а мог бы затаить...

— Так что гордитесь, вашу водку сам Алешковский выпил!

## Три мечты

Мало кто знает, что мой отчим был, мягко выражаясь, провидцем. Самым настоящим! Вот, пожалуйста, написано в 1978 году:

«А вдруг всё будет иначе? И настанут времена... Давайте же помечтаем об этих временах».

И вот Виктор Платонович художественным, можно сказать, слогом излагает три пронумерованные мечты.

Мечта № 1. «Берлин. Потсдаммерплац. Под стеклянным колпаком нечто серое с колючей проволокой.

Экскурсовод:

— Перед нами остатки того, что называлось когда-то Стеной позора. Сейчас её нет, но кусок её, как некое напоминание и предостережение, решено сохранить, законсервировать»...

Мечта № 2. «Пленум Центрального комитета КПСС. Информационное сообщение. 22 июня 198... года, в Москве... Постановили: ...Заслушав доклад Генерального секретаря ЦК КПСС о выполнении и перевыполнении всех планов, признать линию партии правильной. Учитывая сложившуюся ситуацию — выполнять больше нечего, всё выполнено, — считать существование Коммунистической партии нецелесообразным и нерентабельным, а потому распустить её»...

Мечта № 3 «вырисовывалась как всенародное ликование после опубликования Информационного сообщения, но, поскольку в этот день упились все, и автор в том числе, восстановить картину невозможно».

А, каково? А нам уши прожужжали Нострадамусом...

Все три мечты сбылись всего через десять лет, но Некрасова уже не было.

Вот бы вместе с нами радовался В.П., смотря по телевизору крушение Берлинской стены! Но, я уверен, страшно ужаснулся бы при виде чисто одетых старушек возле московских магазинов, продававших полиэтиленовые мешочки на копейку дороже. Никто ведь представить себе не мог, что страна мгновенно скатится в такую унижительную нищету...

Согласился бы Некрасов с той ценой, которую заплатила Россия за избавление от бесовской трясины? За воцарение зыбкой свободы? Не знаю... Он мечтал вместе со многими инакомыслящими о послаблениях и робких свободах, об ограничении в нашей стране насилия, лжи, хамства, несправедливости, всхоленных советской властью. Но как это сделать — не думал, настолько это казалось недостижимым

и несвоевременным. Ведь мало кто всерьёз задумывается о падении на свой дом метеорита...

Я даю голову на отсечение, что доживи Виктор Платонович до развала Союза, он не позволил бы себе иронизировать, изливать сарказм и, хватаясь за бока, кричать:

— Ну что, разве мы вам не говорили?!

Какая там ирония! Я помню, как Некрасов говорил за пару лет до смерти, что людям, живущим в Союзе, ни под каким видом нельзя прислушиваться к советам отсюда, ведь мы, эмигранты, уже ничего не понимаем, что в России творится. Абсолютно! Уже раз послушались ленинской бредятины. Пусть теперь сами там решают! Разве он мог представить, до чего там они сами нарешаются...

Вспоминается одна из любимых некрасовских баек.

Однажды, всегда с удовольствием рассказывал наш писатель, в начале пятидесятых годов пригласили его в библиотеку на встречу с читателями. На читательскую конференцию, так это тогда называлось. Вхожу, рассказывает В.П., комната набита детьми, в основном малолетками. Библиотека-то детская! Рассказываю с воодушевлением, как мы в Сталинграде воевали, о немцах, о пленении Паулюса. Даже хлопают по условному знаку. Но вижу, аудитория начинает возиться, шуршать, шушукаться. Тогда встаёт молодая библиотекарьша и громко объявляет: «Дети! Кто совершенно ничего не понимает, может идти домой!» Большинство слушателей степенно вывалили из комнаты. Женщина вежливо обратилась к писателю, мол, продолжайте, товарищ Некрасов, всем нам очень интересно.

Прекрасная по искренности фраза «Кто совершенно ничего не понимает, может идти домой!» стала одной из любимых семейных приписок...

Пылкому обличению пороков и нелепостей советской власти Некрасов посвятил несколько первых лет эмиграции.

В последние же годы главной его темой была некая благостная ностальгия, да и воспоминания возникали более примирёнными, задумчивыми, пастельными...

Франция стала моей второй родиной, горделиво говорил Некрасов в начале эмиграции. Потом постепенно выяснилось, что никакая она не родина, даже не вторая, а просто страна проживания. Наилучшая среди всех других цивилизованных стран, милая и любезная, твой дом, но не родина. «Иллюзия дома, которую я создаю себе дома», — писал В.П. А родиной оставалась Россия, да Украина, да Киев. Именно о них были его заботы, волнения и тревоги. А о Франции он уже через несколько лет начал говорить, что всё происходящее здесь его мало интересует, да многого он и не понимает. И понимать не хочу, говорил, надоело! Даже признавался, что просто не воспринимает многих вкусов, нравов и обычаев этой страны...

Но продолжал её нежно любить — не понимая и не принимая!

## Штучки-мучки

— Вы замечаете, — важно рассуждал Некрасов несколько лет спустя, — что мы полностью стали эмигрантами?

На вопрос: «Где это было?» — даём ответ: «Уже здесь!». Либо — «В Париже». Или же сухо: «Там, в Союзе». Но никогда не говорим — «на Родине». Чтoб не накликал воспоминаний. Боялись намекнуть себе, что здесь-то мы «дома», но всё же не совсем «у себя».

Для Некрасова домом стал наш Ванв...

Полки для книг покупались разборными, чтобы легче было тащить домой и собирать. Отличались они дешевиз-

ной и безобразиём. Но заставленные книгами, сувенирами и фотографиями, они выглядели очень нарядно и уютно.

Покончив с полками, В.П. начал подумывать и о прекрасном, как он сообщил мне. Накупил в какой-то экзотической лавке раковин и ракушек, обломки кораллов, засушенных морских звезд и ежей. И устроил в кабинете морской уголок.

— Человек человеку морской волк! — отшучивался он.

С Гавайев навёз чучел морских гадов. Из Австралии — пучки особых океанских водорослей, которые живописно развесил в большой комнате, вызывая недоумение гостей, мол, что это за сухие травы, как в чуме у шамана...

После этого наступила пора тихого вдохновения. Наш писатель купил стопку белых фарфоровых тарелок и принялся их разрисовывать. Каждый день показывал мне новинки — ну как тебе? Я одобрял, иногда искренне, чаще чтоб не обидеть. Помогал их развешивать. Первым был тарелочный вариант герба, потом изображения мелких аквариумных рыбок или арабская каллиграфия. Нарисовал автопортрет. Делал рисунки под Пикассо, Кандинского и Поллака, в стиле русского авангарда или просто малевал на тарелках красивые подтёки и размывы.

Сотворил он и нечто серьёзное — силуэт Бранденбургских ворот на тревожном чёрном фоне, красную звезду в небе, перечёркнутом колючкой. Потом это увёз в Киев Гриша Кипнис. Тарелок получилось гораздо больше, чем нужно для украшения квартиры и кухни, Вика вручил мне несколько. Я отнесся к подаркам с пренебрежением, рассовал по книжным полкам, чтоб не мозолили глаза.

В кабинете он всегда убирал сам. И ругался, если кто-то был уличён в уборке.

Мама в его отсутствие прохаживалась пылесосом, но пыль вытирать не решалась. Он делал это самолично, проти-

рал и книги, и всякие вещицы, и рамки — в коробке под столом хранилась тряпочка для этой цели.

— Бельё не пора менять? — спрашивала мама.

— Пора, положи мне на тахту, я всё застелю.

Иногда Мила просачивалась в кабинет и картинно приходила в ужас:

— Что же это вы пыль из углов не выметаете? Живёте в таком сраче! Давайте, я приберу!

Вика не решался перечить, вяло разрешал, мол, подмети, где надо, только ничего не двигай!..

К тому времени, к началу 80-х годов, у Некрасова вполне ощутимо оформились первые разочарования Францией.

«Сытая, богатая, привыкшая к комфорту и не желающая никаких перемен нация...» — пишет он как бы с горечью, исчерпав иллюзии...

Некрасов обнаружит, что пресса во Франции как никогда свободна, при том, однако, условии, что все журналисты должны мыслить примерно одинаково, то есть как надо! Диктат среды, как говорят. Некрасов тогда и близко не предполагал, что в его любимом Париже испокон веков существуют знаменитые, не афишируемые, но всем известные и с боязливостью упоминаемые сети влияния. Говорить-то ты можешь что вздумается и писать, что на бумагу ляжет, но другое дело, когда всё это тебе надо напечатать. Выясняется, что мало кто желает выслушивать или вычитывать твою точку зрения.

Очень скоро Некрасову дали понять, что его правда не только никому не нужна, но и почти полностью противоречит прогрессивным взглядам и реальным, то есть принятым в парижском обиходе, оценкам. Вероятнее всего, решили, что диссидентская кампания себя исчерпала, а советским эмигрантам пора сказать прости-пощай.

Вика далеко не сразу понял, что свобода слова не имеет ничего общего с правдой. А информация в газетах, как изве-

стно, редко предназначена лишь для информации. Единственно, что здесь действительно ценно, — свобода выбора. Вы сами выбираете среди множества версий наиболее, на ваш взгляд, правдивую.

Зачем было Некрасову возмущаться шакальными забастовками, иронизировать по поводу парижских властителей дум, кричать на всех перекрёстках, что у французских коммунистов проглядывают сталинские уши и не спасёт их никакой социализм с человеческим лицом?! Сталин, может быть, и плохой, считали французские левые, но Троцкий, Мао и Кастро, да и Маркс с Лениным — гении духа! Ну и так далее...

И превратили нашего Виктора Платоновича в реакционера геббельсовского толка, злокозненного обскуранта, озлобленного эмигранта.

Потому что волновал его непрестанно сакраментальный вопрос:

— Ну, как? Можно ли жить при капитализме?

Конечно, конечно, можно, успокаивает Некрасов в своих вещах, хотя у него есть свои «но». Здесь, по крайней мере, законы существуют, и обходят их злоумышленники. А за Берлинской стеной законы нарушают сами законодатели.

Он за капиталистическую систему!

«Называйте как угодно: капитализмом, империализмом, гнилой демократией, растленным миром купли и продажи, чистогана, потребления, жёлтого дьявола, и пусть ругают её и Бёльль, и Сартр, и все советские, просоветские, и прогрессивные, и левые, и не присоединившиеся ни туда, ни сюда газеты — я за неё. В ней всё-таки можно жить! Худо-бедно (скорей не бедно), но можно. И эксплуатировать тоже можно — знаю. Но и эксплуатируемый живёт... А теперь — распните меня!»

Сказал, что думал.

И здесь, на Западе, не уберётся Некрасов. Промолчал бы, а ещё лучше поддакнул, и всё было бы в лучшем виде. Пришёлся бы по душе местным тартюфам! Писал же Гейне: «Они потихоньку пьют вино, а вслух проповедуют воду»...

Но вернёмся к штучкам-мучкам, как говорил Вика.

Все эти картинки, акварели, книги, штучки-мучки, сувениры, фотографии друзей, мамы, Киева отнюдь не предназначались для любования.

Они даже не замечались, я думаю. Но создавали в доме Некрасова какой-то спасительный микроклимат, ауру таинственного успокоения и неуловимой элегии. Комфортность домашней жизни.

Она была крепко-накрепко связана с обволакивающими и поглощающими тебя воспоминаниями — о людях, событиях, вещах и временах. Поэтому Некрасов так тщательно описывает свой кабинет, гостиную, даже кухню и коридор. Им придаётся значение, не совсем понятное для недоумённых читателей. Да и скрытый смысл ускользает...

А описывается всё это так дотошно, чтобы убедить когда-то близких людей в Москве и Киеве — посмотрите, я у себя дома, как в Киеве. А за порогом — Париж! Представляете?!

На двери в ванную была приклеена большая испанская афиша корриды с тореадором, поражающим чёрного быка. С крупной надписью: «Виктор Некрасов выступает в воскресенье». В коридоре красовалась афишка, заказанная в Америке, с оплечным портретом писателя и надписью: «Разыскивается Виктор Некрасов».

Над входом была повешена нарисованная маслом на куске жести картинка в стиле примитивизма — «Посадил дед репку». Вместо глаз у мышки — два блестящих осколочка елочной игрушки. Жестянку подарил в меру умалишённый киевский художник, получив, конечно, от растроганного писателя несколько рублей на пропой души.

На столике стояла чуть помятая эмалированная кружка. С царским вензелем, с гербом Российской империи и датой «1896». Из-за таких посуды, которые начали бесплатно раздавать народу в день коронации, и произошла знаменитая давка на Ходынском поле, приведшая к гибели чуть ли не тысячи человек...

Рисунки старшего брата, Коли Некрасова, — молнии, взрывы, искажённые лица, рваные тела, яркие краски, ужас глазами чувствительного юноши... Его запероли до смерти и бросили в реку петлюровцы, приняв за иностранного шпиона: семья Некрасовых тогда недавно вернулась из Парижа, и мальчик говорил только по-французски...

В тесном кабинете писателя всё было продумано, как в кумирне.

В 1985 году Виктор Платонович позвал меня сделать фотографии интерьера. Водил по квартире, указывал — давай здесь, вот это, теперь отсюда! И это тоже! Сооружал на письменном столе и на полочках в кабинете композиции и инсталляции. Быстренько обустроивал некие натюрморты, передвигал свои штучки-мучки, чтобы они выглядели позанимательней. Теперь это мне память...

## Распрекрасный 1986-й

Как всё чудесно складывалось в этот предпоследний год его жизни — беззаботный 1986-й!

Некрасов возобновил долгие одинокие прогулки по Парижу. Несколько раз он приглашал пройтись и меня, но я отъюливал, отговаривался занятостью. Лишь однажды мы пошли прогуляться вместе.

Париж являет собой пример пресловутого советского долгостроя, говаривал Некрасов. Траншеи, свинорой, рвы

и котлованы скоропостижно возникают в самом невинном месте, преимущественно, однако, на проезжей части наиболее оживлённых улиц. Сколько помню, вот уже треть века старые здания неустанно выпотрашивают и в корне переделывают. Сохраняются только столетней давности фасады. Другие дома ожидают своей очереди покорно, как овцы на стрижку. Зато потом прекрасные эти улицы радуют глаз и душу. Такие они светозарные, благочинные, домашние...

Мы пофланировали вдоль Сены. Букинисты на набережной уже не манили, давно стало понятно, что всё это для несмышленных приезжих, ничего путного там не сыщешь. Не задерживаясь, дошли до зоологического магазина возле громадного универмага «Самаритэн». Давай купим попугайчиков, обрадовался В.П., увидев милых и весёлых птичек. Представляешь, мол, как наши женщины обрадуются. Сильно сомневаясь в этом, я напугал его бесптолковой птичьей болтовнёй, от которой, по слухам, нет спасу.

Возвращаясь на площадь Конкорд по улице Риволи, зашли в любимый английский магазин «Галиньяни». Как всегда, были куплены почтовые открытки и сухое печенье, в котором В.П. находил особый вкус. Тут уж сам бог велел взглянуть на вновь открытый Пале-Рояль — площадь в окружении зданий семнадцатого века была свежееутыкана множеством разновысоких мраморных пеньков, сине-белых, полосатых, — печально известные колонны скульптора Бурена, придуманные по заказу его приятеля, министра культуры. Туристы становились на колонные обрубки и принимали позы, надеясь на занятые фотографии. Редкие парижане смотрели осуждающе. Мы тоже взгромоздились, дурачились, стоя на одной ноге, томно складывали руки над головой, как принцесса-лебедь Одетта...

А вот архитектор Риккардо Бофил был давним знакомым Некрасова — по журнальным вырезкам, которые В.П. собирал в отдельной папочке. Придумывал Риккардо жилые дома монструозных размеров, которые нравились и Некрасову. Хотя всё это частично наводило на мысль об Альберте Шпее, о дуче Италии Муссолини и о московской гостинице «Украина».

...Как-то весенним днём Вика позвал на автомобильную прогулку. Развеемся, сказал, и ума наберёмся. Мы с Милой охотно согласились, почему не воспользоваться такой заманчивой возможностью поумнеть. Километрах в двадцати от Парижа, в Марн-ле-Валле, на отшибе возвышались как бы амфитеатром исполинские хоромы. С подъездами размером с Триумфальную арку на Елисейских Полях. Рыжеватого цвета ансамбль зданий мог вместить наверняка не одну тысячу жильцов. Внутренний, полукольцом, двор шел уступами, каменная кладка перемежалась с газончиками. Было необычно, симпатично и очень внушительно. Виктор Платонович страшно оживился, схватился за аппарат, заставил обойти вокруг весь квартал. Присели, уходявшись, на ступеньки у какого-то фонтана. Выслушали восторги нашего писателя, сообщившего, что всё это совершенно противоположно конструктивизму. Это как-то нас утешило...

Вдруг Вика вскричал:

— Да! Слышали?! Мы победили!

Утром объявили грандиозную новость — под Парижем, недалеко отсюда, будут строить Диснейленд! Вполне возможно, шутил, что доживёт он до открытия, всего-то пять лет! Вот-вот, источает иронию Мила, к тому времени впадение в детство достигнет зенита. Вика смеётся — правильно, когда он был в Америке, так там в Диснейленде одна радость и веселье. Как говорится, окунаешься в детство и всё забываешь! Разве плохо промчатся по лабиринтам?! Он уж точно

будет в числе первых посетителей, да и ты, Витька, увяжешь-ся наверняка...

Вернулись весёлые, приятно было, что какого-никакого, а ума набрались...

Снова приехали желанные его сердцу Сима и Лиля Лунгины. Они вместе шатались по гостям, гуляли и бессчётно снимались по всему Парижу. Я возил всю компанию в Фонтенбло, Вика счастливо щебетал, тащил в знаменитый парк, угощал в кафе и слушал байки, хохмы и притчи о заманчивой московской жизни.

Дома был дан приём — Мила приготовила котлеты, сделала салат, испекла торт. Мама, как всегда, волновалась: чем будем кормить людей?!

— Наплевать, чем кормить, чем вот будем поить! — дурчился Вика, закатывал глаза и заламывал руки.

После отъезда гостей в Москву В.П. состряпал особый альбомчик, завершив его фотографической аллегорией — ствол одинокого платана, с обкорнанной кроной и облезлой корой... Дескать, о жизнь, сосуд скудельный, судьба моя горемычная, оставаться мне одному...

А до этого был Новый год, проводы 1985-го. Только Лунгины и мы! В двухсемейном кругу, шутил Вика. Он давно припас праздничный сюрприз. К новогоднему столу писатель напялил на себя белую футболку, раскрашенную под фрак, с нарисованной красной бабочкой. Фурор и чернющая зависть Симы Лунгина! Футболка была тут же выпрошена в подарок. Мила не удержалась и прихвастнула новой чёрной широкополой шляпой, очень ей шедшей. Беспримерный триумф! Шумя и суетясь, Сима с Викой кинулись её примерять, рвали шляпу из рук, пялили на себя и любовались отражением в зеркале. Я схватил фотоаппарат. Сима натянул шляпу на уши и, мужественно сжав рот, уселся в обнимку с В.П. Казалось, мы выпипи-

ли море водки, хотя на самом деле ограничились легчайшим винцом. Сима раззадорил свой актерский талант и расшутился, все хохотали, потом хвалили Милин наполеон, и Лиля живо и весело рассказывала московские новостишки и слушки. Вика сиял, не сводил глаз с любимых друзей...

Склонившись над обеденным столом и посапывая от приятного ощущения, вся наша семья умильно рассматривала большой лист плотной бумаги.

### ДИПЛОМ

Министерство культуры Франции  
назначает настоящим Виктора Некрасова  
кавалером ордена «Изящных Искусств и Литературы».

*Составлено в Париже, 21 февраля 1986 года.*

— Теперь я кавалер, проще говоря, шевалье! — посмеивался Некрасов.

Все загомонили, я предложил выпить вина, на меня зашикали: достаточно, мол, отметить событие парадным чаем с печеньем.

Чай перенесли на вечер, а пока Вика удалился в ванную и занялся любимым делом — маленькой постирушкой. Дело это он никому не доверял. Поставил в раковину тазик и приступил к стирке носков и носовых платков.

— Я — енот-полоскун! — повторял привычно, потирая намыленные вещички.

И часто добавлял киевскую ещё прибаутку: «По утрам он в медной кружечке полоскал свои петрушечки».

Кроме этого похвального хобби наш писатель обладал и другими незначительными привычками. Мила называла их заскоками.

Любил сам мыть за собой посуду. Всегда имел при себе полотняный носовой платок. Кошелек никогда не было, и мелочь, и купюры клал в карман брюк. Обожал рубашки в шотландскую клетку, ковбойки. В Киеве всегда носил в заднем кармане маленькую авоську, а в Париже — аккуратно сложенный полиэтиленовый мешочек.

— Какое самое заметное изобретение цивилизации? — вопрошал, бывало, он и тут же торжествуя отвечивал: — Полиэтиленовый мешочек!

Что тут возразишь? Все уважительно помалкивали...

На следующий день — звонок из русской газеты, попросили пару строк в номер. Пожалуйста! Как относитесь к награде? Неизъяснимо положительно! Над чем вы сейчас работаете?

— Работаю? — удивился Вика.

Собственно, это трудно назвать работой. Перерисовываю на большие белые фаянсовые тарелки каллиграфической арабской вязью восточные мудрости. Это требует эмоционального порыва и непоколебимой трезвости. Какие мудрости? Скажу! «Гость нужен хозяину как воздух, но если воздух входит и не выходит, то хозяин задыхается». В.П. говорил как бы серьёзно, и журналист не знал, то ли принять всё это за шутку, то ли восхититься трудолюбием писателя... В интервью решил-таки восхититься, и Некрасов огорчился — как бы подписчики не приняли его за старого мудозвона...

Прошла неделька-другая.

— Бери аппарат и бегом ко мне! — позвонил мне с утра В.П.

Разложив на диване альбом с репродукцией картины Федотова «Свежий кавалер» и поглядывая в зеркало, Виктор Платонович чёрным фломастером пририсовывал себе бакенбарды. Затем надел банный халат, к которому пришти-

лил недавно полученный орден. Я безмолвно лицезрел, не зная, ехидничать или нет. Подобрал полу халата, наш писатель постарался смотреть горделиво, как кичливый чиновник на картине, вздёрнув подбородок. Наводя аппарат, забыв про шуточки, я режиссировал действием, добываясь жизненной правды. Портрет удался лишь приблизительно, но в альбом всё же был помещён. Сейчас я чуть улыбаюсь, вспоминая...

Хотя было раннее утро 7 июня 1986 года, но физиономия у Некрасова уже выражала некую непреклонность. Напечатая, попросил, побыстрее вот это.

«В издательство “Посев”. Потрясён дошедшим до меня известием. Вы отстранили от редактирования журнала “Грани” одного из лучших русских писателей, и не только Зарубежья, — Георгия Владимова. Нет ни одного человека из тех, которых я знаю, который не радовался бы тому, что Владимов возглавил журнал.

С его приходом журнал, который всегда привлекал внимание читателей, обрёл ярко выраженное лицо и, не будет преувеличением сказать, по праву занял если не первое, то одно из самых первых мест в ряду русских журналов, и за рубежом, и дома. Отстранив Владимова — прекрасного писателя, умелого редактора и честного, глубоко принципиального человека — от редакторства “Гранями”, вы нанесли сокрушительный удар по русской литературе.

Этим своим поступком вы безусловно отстраните многих от возможности сотрудничать с вами. Я в том числе. Виктор Некрасов».

С Георгием Владимовым они были хорошими друзьями. Год назад в «Гранях» была напечатана «Маленькая печальная повесть», и Владимов, как, кстати, и Аксёнов, искренне её хвалил. Они часто переписывались и ещё чаще перезванивались, пяток раз виделись в Париже и Мюнхене.

Увольнению Георгия Владимова предшествовала подковёрная борьба, довольно сумбурная и непонятная для постороннего. Всё это время Некрасов возмущался, что Владимова хотят сместить, проще говоря, съесть за его слишком литературный подход к журналу. Коллеги по Народно-трудовому союзу долго заклёвывали его, нашёптывая покровителям, что журнал теряет авторитет боевого органа борьбы с коммунизмом. В.П. возмущённо вздыхал и негромко бушевал за чаем. Он всегда восторгался Владимовым, его знаменитым «Верным Русланом», а как редактора — ценил. Кстати, Некрасов тогда же, в знак протеста, отменил своё интервью для журнала, данное давнему его знакомому и видному функционеру НТС, одному из вдохновителей этого редакционного переворота.

Но вот хорошая новость. Изданная в 1986 году отдельной малюсенькой книжкой «Маленькая печальная повесть» испытала, по мнению многих, заметный успех. Можно сказать, стала третьей основной вехой в творчестве Некрасова. После «В окопах Сталинграда» и «Киры Георгиевны». А в промежутках — «Первое знакомство», «Записки зеваки», «Сапёрли-попет».

## Коллюр, а потом Сан-Пауло, Сан-Франциско, Амстердам

Первооткрывателями этого райского закуточка были мы с Милой.

До того как стать дорогушим курортом, Коллюр был мельчайшим городишком на берегу Средиземного моря, у самых Пиренеев. Замечателен был своим игрушечным портом с маяком на краю мола, тьмой лавчонок, торговавших не-

вероятно солёными анчоусами, и двухкомнатной квартирой на холме, с видом на морской горизонт. Снималась она у нашей подруги Ирины Синолеки за невиданно низкую плату. Потом это место облюбовал Виктор Платонович, ловкой интригой оттеснив нас: задолго до сезона созвонился с Ирой и забрал у неё ключи, чтоб та не передумала. Они потом подружились. Ира нравилась ему насмешливостью, своим характером и умением живо поддерживать разговор, что недоброжелатель назвал бы болтливостью, а Вика с симпатией определил как говорливость и добродушие.

В первый год в Коллюре я насаждал неумолимую экономию. Мороженое покупалось раз в два дня. Прямо на пляже ели чесночную колбасу и помидоры, а домой я возвращался на два часа раньше, чтобы приготовить монастырский ужин из самых дешёвых продуктов — макарон, баклажанов и костлявых кур. Зрелищами тешились только бесплатными, в основном вечерними концертами безработных музыкантов.

На второй год за нами увязался и Вика. Захотел просто попляжиться, но решил поважничать: дескать, поеду и посмотрю, может, муза посетит, напишу чего-нибудь. Надо ли говорить, что ни о каком общении с музой не было и речи. С утра ходили на пляж, а вечерами прошвыривались по маленькой набережной и двум-трём кривеньким улочкам, кишевшим чуть подвыпившими весёлыми курортниками и рыбаками.

По обеим сторонам ютились кафешки, закусовые, распивочные и крошечные забегаловки на один столик. Все они были пусты. Отдыхающие считали копейки, поэтому посетители ценились на вес золота, если не больше. В первый же вечер В.П. вдруг загадочно продекламировал: «Везде встречались алтари сего румяна божества!» Я удивился: какого ещё божества?

— Бахуса, божества нашего всехваляного! — вскричал Вика.

Он шустро юркнул в один из алтарей, и я поспешил за ним...

Но главная напасть свалилась как-то ненароком. Некрасов обнаружил в порту шикарное кафе «Тамплиеры», с резными деревянными панелями, картинами из жизни пиратов и лордов, послевоенными афишами, фотографиями забытых знаменитостей и развешанной под потолком медной кухонной утварью. Цены были под стать роскошному интерьеру. Вика зачастил туда — просто так, чтобы посидеть утром за чашкой кофе, вечером — за пивом. Транжирит деньги, пустился во все тяжкие, огорчались мы с Милой. Завёл дружбу с официантом-черногорцем, еле-еле говорившим по-русски. Черногорец оказался не чужд литературе. Вздыхнув рассеянно, промолвил, что до сих пор, мол, не читал Пушкина.

— Это интересно, вы говорите? Хотелось бы почитать! — добавил он и побежал калякать с другими клиентами.

Некрасов, приехав в Париж, купил непомерно дорогой том Пушкина в переводе на французский Эткинда. И послал книгу официанту. Смотрел огорошенно: чего мы возмущаемся — ведь официант просил у него книгу почитать, какие тут могут быть разговоры! Как не сделать приятное человеку! И к тому же он исполнил данное обещание! Боже всеблагой, в ужасе закатывала глаза Мила, какая дремучая наивность! Встревоженный таким патологическим мотовством, я мелко тряс головой, соглашаясь, дескать, да, докатился и дошёл...

Летом 1985 года знаменитый женевский славист Жорж Нива решил провести небольшой опрос. В смысле, как вам пишется на чужбине?

Некрасов ответил быстро. Разговоры о том, что оторвался от родной почвы, что вдали от дома засохли корни и увяли почки, — чепуха. Пишется прекрасно, да ещё как! Ведь пишешь обо всём, что хочешь, не озираясь и не вздрагивая. Желательно, правда, заинтересовать издателя и понравиться читателю.

«Но одного мне здесь очень не хватает. Того, что я называю “школой эквилибристики”, без чего у нас на Родине ничего правдивого не напишешь.

Эквилибристика, жонглирование, чревовещание, хождение по канату, а иногда и по лезвию ножа — многое там надо уметь. Ты всегда на стрёме, всегда в форме, всегда начеку... И что-то между строк... И о чём-то намёком, да так, чтобы читатель понял, а цензор был обманут. Трудно, рискованно? Да! Но как это важно, как нужно... А здесь, на свободе? Ничем не рискуешь, никакой опасности нет, и мускулы твои становятся дряблыми, реакция замедленная, и никто из читателей не подойдёт к тебе и не похвалит. А такой вид похвалы очень нужен...

Так что, короче, трудно писателю в эмиграции? Отвечу — легко, потому что кругом свобода. Трудно, потому что “несвобода” закаляет».

Опять Виктор Платонович говорит как бы витиевато. А я не могу никак поверить, что он тоскует по иносказаниям, пируэтам, фокусам, ухищрениям, придуманным для обхода цензуры! Что ему так уж недостает запретов и вымарываний, обостряющих якобы перо, слух и нюх. И что писание между строк укрепляет мускулы и закаляет вдохновение!

Слишком уж напыщенно и вымученно, по моему разумению. Хотя частично правда...

Вот чего ему действительно не хватало, так это той атмосферы, среды, понимающих друзей и восхищённого взгляда

проницательных читателей. С детства привычной жизни, близких людей и недругов, сквозняков и теплыни, московских кухонь и прогулок по родному городу. Одним словом, жизни ему не хватало! Той жизни, в Союзе. Бестолковой, напряжённой, усложнённой и с неисчислимыми препонами, зато и с малюсенькими, но согревающими душу победами...

А эквилибристика — это так, для красоты слога. На мой взгляд...

Этим же летом произошли другие разнообразные события, оставившие след и в записной книжке писателя, и в эпистолярном наследии, и даже в картотеке калифорнийской клиники. С ней связана загадочная история, которая ревниво от меня скрывалась. В Сан-Франциско Некрасов попал в больницу. Его забрали прямо после встречи с читателями, чуть ли не с трибуны. Почувствовал себя плохо. Сделали операцию. На ногу, как дошли до меня слухи. Кто оплатил, не знаю, американские друзья, кто же ещё... Но как бы там ни было, через пару дней после больницы он уже был на выступлении Евгения Евтушенко.

Успел черкнуть мне письмецо:

«Сан-Франциско называют красивейшим городом в мире. Думаю, из-за милых моему сердцу трамвайчиков, какие были у нас в Киеве до войны. А Киев, спросите вы, как же Киев? Не буду вилять. Конечно, Киев — самый красивый из городов. Это ясно всем, и мне в особенности. И не спорьте со мной! Я понимаю и одесситов, и ленинградцев, и парижан, но Киев летним вечером или весенним утром, да и просто так — это таки да...»

И двинулся в Бразилию, в Сан-Пауло. Там собрался какой-то писательский конгресс, на который был приглашён и Некрасов. Предупредили: выступление не дольше десяти минут! Читать без перевода. Мы откровенно взволновались,

а Вика делал вид, что и не в такие переплёты попадал! Доклад, написанный с твёрдым намерением потрясти аудиторию, был переведён на французский одним из лучших умов парижской славистики...

Письмо ко мне от 17 июня 1985 года, Сан-Пауло:

«Привет, дорогие мои родичи! ...А вообще — блаженствую. Другого слова не нахожу. Никто не морочит бейцы. Борис Соломонович, одессит до 1922 г., внимателен и везде сопутствует. А когда он, утомившись, покидает меня, я шляюсь по центру этого не укладывающегося в голове по размерам, небоскрёбного 15-миллионного города и, в свою очередь утомившись, направляюсь в свою “Королевскую резиденцию” — Residence del Rey, где за 17 долларов имею прекрасный двойной номер не только с ванной, но и с кухней, посудой, вилками, ложечками и прочими чайниками. Даже под картиной есть сейф, которым меня долго учили пользоваться, но я понял, что закрыв его, я никогда его не открою.

А там (в Сан-Франциско. — В.К.), в ёб\*ном “Эльдорадо” за 70 долл. я имел разве что бар, из которого пользовался только кока-колой. Правда, напротив отеля был очень симпатичный (по виду из моего окна) садик. Но, когда я вечером решил посидеть в нём и подышать воздухом, выяснилось, что это сборный пункт педиков, всех возрастов и наклонностей. Подышал...

Конгресс я послал на х\*\*. Вернее, они меня. Через того же Бориса Соломоновича передали, что я “приглашён как наблюдатель” (?!), иными словами спокойно обойдутся без моего “доклада”, тем более что по-французски здесь никто ни бум-бум. Думаю, что нечто подобное произойдет и в Рио... Не огорчусь ни на минуту — за эти две недели пусть немного отдохнёт язык...

Но главное моё наслаждение — до и после прогулок — это Остап Бендер со своими антилоповцами. Упиваюсь. Чи-

тается легко и весело — лучший вид отдыха! И бог ты мой, сколько хохм вошло в наш язык из “Телёнка”, побольше, чем из “Горе от ума”...

Целую! В. Послезавтра лечу в Рио».

Судя по слегка ненормативной лексике, писатель был всё-таки огорчён просаком с докладом. А огорчившись — выпил, хотя рисуется молодцом, мол, кроме кока-колы, ни-ни!..

Раз уж мы заговорили о путешествиях, расскажу-ка я об Амстердаме. Туда пригласил нас Виталий Поповский, добрый знакомый, деловой малый и балагур, из второй эмиграции.

Въехав в Бельгию, Вика исподволь начал склонять меня к посещению Антверпена. Я возражал, боясь не доехать за светло до цели. Но В.П. твёрдо распорядился:

— Сворачивай в Антверпен. Зайдем на пару часов в Королевский музей!

Раз мы здесь, сказал он, посмотрим на соперницу Джоконды! Так многие, дескать, утверждают. «Мадонна с младенцем» Жана Фуке!

Неземного очарования портрет любовницы Карла VII, слабосильного, меланхоличного и горбоносого французского короля. Фрейлина Агнесса Сорель — обворожительная красота и бледность, выпуклый лоб, осиная талия. Дама знаменита своим обнажённым левым соском, который почему-то будирует младенец Иисус. Я впал в изумление. Вика топтался вокруг меня, несказанно довольный впечатлением. Это первая настоящая фаворитка в истории французских королей, втолковывал он мне шёпотом на ухо. До этого монархи изменяли своим жёнам с обычными бесстыдницами, опрокидывая их на королевское ложе часто прямо на глазах у всего двора. А тут король даже бастардов от Агнессы признал своими, и неудивительно, от такой красавицы! Имея подружкой

такое чудо, я бы тоже признал, подумал я. До сих пор помню её, Агнессу Сорель. И восторженный шёпот Вики...

Вечером поехали в амстердамский порт. Виталий Поповский был активистом Народно-трудового союза и занимался распространением антисоветской литературы. В основном среди моряков, сходящих на берег с советских торговых кораблей.

Виктор Платонович попросил показать, как подваливать к морячкам, завязывать разговор и знакомство. Пошли, пригласил Виталий. Сразу встретили четверых. Трое молодых пареньков и с ними старший, потом оказалось, помощник механика.

Услышав русскую речь, моряки напряжились и заняли круговую оборону, чуть ли не спина к спине. Мы, как люди капитана Кука перед туземцами, медленно приближаясь, жестами и мимикой показывали, что намерения наши самые что ни на есть мирные.

Ну, тары-бары, пригласили выпить, мол, угощаем соотечественников, да хотя бы вот здесь — неоновый силуэт обнажённой русалки опускал и поднимал кружку. Ребята переглянулись. После трёх месяцев в море... Решились, выпьем пива, и всё!

Вякобы пиратской пивнушке всё было чин-чином — деревянные балки, пустые бочки, тусклые фонари, пиво, виски, музыка и девицы. Без меры воняло табачищем. Музыка перекрывали странные крики, как клич индейцев при атаке почтового фургона. Над каждым столиком висело чучело длиннохвостого попугая. Виталий, свой здесь человек, потянул за хвост, раздался боевой индейский вопль — мы все сжались. Потом заулыбались — таким манером подзывался официант.

Принесли пива, потом виски, ещё пива. Виталий выставил водку. Морячки стеснительно выпивали, вежливо и тол-

ково отвечали на расспросы, с которыми Некрасов прямо впился. Что думают об Афганистане? Как в Союзе с водкой? Сколько стоит? Сколько они получают? Знают ли о Сахарове и Солженицыне? Слушают ли «Свободу»? Как на корабле с дисциплиной? Висит ли ещё везде лозунг «Народ и партия едины»?

На удивление, самым разговорчивым оказался их старший, под конец даже не на шутку разозлившийся на советские порядки. Стучал пальцем по столу, возмущался и призывал в свидетели товарищей. Те соглашались: да, много у нас в стране дуrolомства. Пашут они как савраски, а платят копейки... Вика даже забыл о дальнейшей выпивке, спрашивал, выслушивал, радостно смеялся незатейливым шуткам, обнимал парней за плечи. Вышли дружеской компанией.

Виталий начал доставать из сумки литературу, совал каждому карманного формата томики «Архипелага», «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Большой террор» Конквеста, книги Авторханова, Аллилуевой, брошюры «Хроники текущих событий» и просто безликую пропаганду НТС. Моряки не отказывались, брали всё, засовывали книги за пояс и за пазуху. Успокоили В.П., мол, они знают, как провести этот товар в Союз. Там за книжки приличные деньги дают, говорили они, дружелюбно прощаясь.

Мы же вернулись в город, прогуляться по Амстердаму. Вроде как бы взволнованные, мы бестолково переговаривались, радостно вспоминали, кто что сказал, что ответил. Настолько увлеклись, что даже не сразу обратили должное внимание на доступных, по рассказам, девочек, сидящих в романтических и прочих позах в подсвеченных витринах, вдоль тишайших каналов. Но и обратив внимание, продолжали разговор о морях. Как будет жалко, вдруг вздохнул В.П., если они все книги выбросят, ведь правда? Будем наде-

яться, что нет, зевнул я, чего не бывает. Виталий успокоил: многие действительно провозят всё это в Союз, а там продают прямо в порту...

## Счастливая жизнь Виктора Платоновича

Будучи свидетелем мимолётных фактов, фраз, слов, жестов или даже ужимок Некрасова, я позволяю себе писать без всяких ссылок, цитат, выдержек. Говорить голословно, не подтверждая сказанное немедленным примером или иллюстрацией.

Я считаю, что мне должны верить на слово. Кто не верит — пусть! Я подчёркиваю, что всё это мое сугубо личное мнение, что это мой подход к личности Некрасова, моё отношение к нему и к его окружению...

Подойдя вплотную к витрине, Вика, предвкушая истому, взял меня под руку.

Паровозик, поклацав по стрелкам, шуруя шатунами, промчался мимо нас, юркнул в туннель, проскочил его и остановился перед красным семафором. Свистнул и вновь пошёл по кольцу. Уже после первого круга на лице нашего писателя было начертан восторг — какая прелесть, а?

— Пошли пройдемся, повпадаем в детство! — звал иногда по субботам Вика, и я с охотой соглашался.

Магазины миниатюрных моделей паровозов, спальных вагонов, платформ, цистерн и прочих дрезин находился возле вокзала Сен-Лазар. Некрасов уже несколько раз водил меня туда. Топтались возле витрин, любовались и испускали тяжкие вздохи — модели эти были коллекционными, мало кому по карману.

— Боже! — томился В.П. — Как хочется всё это купить!

Слегка разбогатеv, Виктор Платонович всё же приобрел парочку миниатюрных паровозов и водрузил на полку в кабинете. Ну а в первый год мы, послонявшись по этим упоительной красоты торговым точкам, иной раз покупали по бедности коробки с макетами парусников и самолётов, чтобы потом их самим клеить. Начиная сборку всегда В.П., но терпение его быстро истощалось, и он звал меня: иди-ка, помоги собрать, а то, мол, нет твёрдости в дланях, дрожат... Потом собранные модели рассыпались и выбрасывались. Сохранился лишь собственноручно собранный Викою «мессершмитт», подвешенный на ниточке над письменным столом. Немецкий истребитель Me-109, наводивший ужас в небе Сталинграда...

Некоторым странно читать у Некрасова, как шестидесятипятилетний мужчина восторгается паровозиками, самолётчиками, солдатиками.

Проходя сейчас мимо таких магазинов в Париже, я оглядываюсь и вижу Вику с горящим взглядом, сияющего при виде оловянных солдатиков всех родов войск, времён и народов, в полном вооружении, с амуницией и шанцевым инструментом. Как радовался глаз ветерана всем этим игрушечным танкам, пушкам, «студебеккерам», виллисам и доджам, «спитфайерам», «якам» и «фокке-вульфам»...

*Sunt pueri pueri.* Мальчишки остаются мальчишками, как говорили римляне...

Кстати, один из постулатов психоанализа гласит, что добрый человек в любом возрасте сохраняет своё детство.

И в глубине души Некрасов оставался романтичным, непрактичным, впечатлительным и восторженным мальчиком, воспитанным мамой, бабушкой и тётёй в безоговорочной любви к Франции и Парижу. И попав на Запад, он испытал любовь и восторг повзрослевшего уже

мальчика при виде свершения его детских мечтаний и фантазий...

Иные, желая уколоть, насмешливо говорят об инфантилизме. Как в своё время ехидничала Мария Синявская. Иные трунят над его простодушием и совершенно не воинственным характером. Как я, к примеру.

Но ведь инфантилизм, как вы говорите, проявлялся на протяжении всей жизни Некрасова. И нисколько ему не мешал!

Некрасов прошёл войну и написал книгу. Честно и достойно выдержал унижительную травлю со стороны партийных чиновников, фарисеев и приживал. Выпил за свою жизнь дай бог всякому. Был уважаем, ценим и любим умнейшими и тончайшими людьми. А его шарм стал притчей во языцех, его добропорядочность вошла в поговорку.

«Вика, Вика, честь и совесть послелагерной поры», — сказал поэт. Обязательно сделаем скидку на поэтическую восторженность, гиперболу и образность, но всё-таки это сильно сказано. Вы не находите? В том смысле, что на титул «честь и совести» в советской литературе претендентов было раз-два и обчёлся.

Да, не забудем упомянуть и о его решительном отказе быть серьёзным человеком. О его ребячестве! Он был готов поддержать любую шутку, выходку, розыгрыш, а если уж сам был автором удачного кунштюка — радовался безмерно и гордился...

Мальчики остаются мальчиками!

За пару лет до смерти Некрасов писал о затянувшейся инфантильности, сентиментальности. Когда по-детски трогательное и наивное мушкетёрство — единственная отдушина в жизни. Когда ты один-одинёшенек. Писал о своём вымышленном герое в «Маленькой печальной повести». Но яснее ясного — это он сам, Вика Некрасов. Мечтательный

подросток, скаут, мушкетёр, шевалье, просвещённый зевака. И оставался таким всю жизнь, до старости! И любили его именно за это.

И если в детстве он был погружён в выдуманнный им мир, заслонившись маминой любовью и зарываясь в книги, то повзрослев и состарившись, он окружил себя отборными людьми, вернейшими друзьями. А когда они стали исчезать — умирать, разъезжаться, отворачиваться или, самое страшное, предавать, — он остался как на тоскливом сквозняке, беззащитный и даже беспомощный, как ребёнок. Которому некому застегнуть пальто и завязать шарфик. Некому выслушать, поддержать и утешить...

Частенько повторяя, что впадает в детство, Вика не кокетничал и не прихвастывал. Но чуть иносказательно объявлял нам, что оставался в своём детстве всю жизнь. Он и не выходил из этой поры, он так и прожил до старости лет с детским восприятием мира.

Меня не раз спрашивали, мол, что является характерной чертой Некрасова? Что по-вашему, в двух словах?

Я начинал мелко паниковать — и правда, что сказать?

Добрый! Сразу спрашивают — в каком смысле? Свободолюбивый! Я так однажды ответил, повергнув одного из наших друзей в весёлое настроение, хотя, на мой взгляд, это довольно ёмкое человеческое качество. Честный! Тут же — поясните! А что здесь не ясного, честный, и точка. Ведь не идёт же речь о том, чтобы не таскать со стола в карман серебряные ложечки! Щедрый, верный в дружбе, общительный? Да, всего понемногу! А ещё он был любознательный, как любой много знающий, по-настоящему культурный человек.

Но главное, на мой взгляд, — всё-таки его порядочность.

Ребёнок, который играет сам с собой в солдатики, вырезает из дощечек корабля для морского боя. Обожает смот-

реть на дымящие паровозы, листать «Иллюстрасьон» и приложения к «Ниве», читает Жюль Верна, Дюма, Купера и Луи Буссенара, рисует мушкетёров и французских «пуалю» в красных шароварах...

Начитанный и романтичный мальчик, одарённый и мечтательный юноша, по-интеллигентному безалаберный молодой человек, не знающий, куда ему приткнуться — в театр, в архитектуру, в графику...

Мужчина, который отказывается от брони, этой недосягаемой для многих охранной грамоты, и уходит на фронт...

Как сложилось, что он вырос порядочным человеком? Я не знаю, но думаю, что главное — в изначальной порядочности: семейное окружение, мамино воспитание и книги. И склад характера, конечно. Хотя порядочность не избавляет тебя от минутной слабости, пьяной грубости, ненарочной бестактности...

...Помню, как Михаил Геллер в разговоре с Некрасовым говорил, что между успехом и провалом, которые являются некоей тайной человеческого бытия, имеется странная граница. Которая тоже для всех загадка. Единственный вопрос — по какую сторону границы ты попал? Некрасов тогда улыбнулся: я всю жизнь шарахался туда-сюда, но чаще был на стороне неудачи, даже провала, как мне казалось. Хотя и к успеху, бывало, приближался вплотную, а пару раз и пересёк эту границу!

Как бы то ни было, Виктор Платонович был удачлив, с детства до старости.

Малышом он успел пожить с мамой несколько лет в Париже, потом более или менее беззаботно провёл молодые годы в Киеве. Архитектурный институт, театральная студия и сцена, друзья и подруги, нескончаемая довоенная юность...

Судьба хранила его и на войне — он выжил в аду Сталинграда. А в Кракове, попав в прицел немецкого снайпера, не только чудом уцелел, но и благодаря этому тяжёлому ранению, разрабатывая по приказу врачей парализованную руку, написал свою книгу.

Послал её наудачу в Москву. Влиятельнейший Всеволод Вишневский, редактор журнала «Знамя», напечатал её и защитил неизвестного автора от московских критиков, свирепых шельмцов, шустряков и подхалимов.

Великий полководец и гений всех искусств, наук и ремёсел Иосиф Сталин собственноручно вписал его имя в список лауреатов Сталинской премии за 1947 год. Позже «В окопах Сталинграда» была признана первой правдивой книгой о войне, причём людьми, прошедшими войну и разбирающимися в литературе. Эти фронтовики — ветераны, критики, литераторы, военные, — обдумав и перечитав «Окопы», взвесив все «за» и «против», сказали: таки да, одна из лучших книг о войне! Не лучшая, — кто наберётся храбрости, чтобы такое заявить, — но одна из лучших, из очень немногих книг.

Безмерно ценимый Некрасовым писатель-фронтовик Василь Быков: «Для меня как читателя проза Виктора Некрасова, прежде всего, честный, незамутнённый человеческий взгляд на войну... Некогда потрясшие мир, исполненные прекрасной, особой некрасовской правдой “Окопы Сталинграда”... Это тоже немало. Даже очень, очень много».

Что тут добавишь?

Некрасову удалось достойно прожить до начала старости, не пресмыкаясь перед властью, не предавая друзей и не кривя душой на партсобраниях. Бог дал долгую жизнь его любимой маме. И был знаменитый траурный митинг в Бабьем Яру. Протесты против несправедливости, подписи в защиту знаменитых и безвестных инакомыслящих. Моя мама, Галина Викторовна, не дала ему погибнуть в алкоголе...

И наконец, на него свалилась невиданная удача — советская власть вытолкнула его во Францию. Осуществилась его мечта — он увидел мир. Он дожил, как ни говори, до среднего возраста мужчины во Франции — до семидесяти шести лет, и мог бы, конечно, ещё пожить... Простите за зловещий каламбур, но Некрасов и умер удачно — смертельно заболев, он помучился, как кажется со стороны, недолго, стараясь обременять близких как можно меньше...

## Ужасный месяц апрель

— Что-то мне не нравится Вика. Не фуюжит ли он потихоньку? — поделилась тревогой Мила.

Не понравились ей и мешки под глазами, и его кашель. И дышит как-то странно. Да и аппетит пропал, даже котлеты не захотел есть!

Было начало апреля 1987 года.

Менее полугода назад Виктор Платонович лежал в клинике Вовочки Загребы по какому-то пустячному поводу. Клиника была частная, и поэтому любых пациентов встречали как долгожданных гостей — с распростёртыми объятиями. Сделали анализы, рентген, всё честь честью. Слабые лёгкие, сказали, как у всякого курильщика...

Придя тогда навестить В.П., я встретился в коридоре с Вовочкой. Возбуждённый, тот начал жаловаться — вчера Вика выпил в палате, а потом зашёл в перевязочную и попросил у медсестёр спирта! Те не могли уяснить, зачем нужен спирт, может, что-то болит? Виктор Платонович красочными жестами объяснил зачем и настаивал именно на спирте, а не на спиртном. Ошарашенные женщины поразились пристрастиям русского писателя и спирта не дали. Ска-

зали, что он смертельно опасен и внутрь принимать его категорически запрещено. В.П. громко доказывал, что они безнадежно заблуждаются, что это прекрасный напиток и пить его можно всем, кстати, дорогие сестрички, хорошо бы нам выпить с вами за победу!

Мне сразу стало понятно, почему Вике захотелось именно спирта, хотя можно было даже в халате сходить в соседний магазинчик и купить любую бутылку. Наверняка он вспомнил, как его, выздоравливающего раненого красавца капитана, угощали этим живительным продуктом санитарки в бакинском госпитале. Как всем им было весело тогда, как радовались, что живы, как хотелось забыть войну, атаки, смерть...

Так вот, в начале апреля отвёз я его снова на рентген. Определили воспаление лёгких. Вика оживился — всего-то забот! Пройдёт, ерунда какая! Принимая лекарства, пару недель ездил на радио, готовил передачи. Ходил, тяжело дыша, даже испариной покрывался. Я чуть обеспокоился, а на радио прямо настояли: давай, мол, делай обследование...

В той же клинике он прошёл второй за месяц рентген. А через пару дней отправили на томографию, немедленно! Томографы тогда были редкостью и требовали записи в очередь чуть ли не за два месяца. А тут приняли на следующий день. Стало тревожно.

Пока Виктор Платонович одевался после сканирования, к нам с Загребой подошёл врач и, поглядывая на снимки, совершенно буднично сказал, что это рак лёгких. Неоперабельный! Проживёт больной, по его оценке, три-четыре месяца, не больше.

Я не поверил! И в первые минуты как-то и не очень поразился. Нагнетают, как всегда, панику врачи, тут же успокоил я себя. Напугают, а потом скажут, что вот хотя положение и серьёзное, но выход есть!

Я посмотрел на Вику, осунувшегося и временами отрывисто кашлявшего. Ну, может, не в лучшей форме, но вполне бодрого, хотя сейчас и молчаливого. И он что, умрёт через три месяца, к концу лета?! В глубине души я так и не осознал неизбежной беды. Хотя как-то затосковал... Нельзя ему это говорить, убивать надежду, настаивал я, скажем, что у него предраковое состояние, чтобы успокоить. А облечение назначили вроде для профилактики... Вовочка вяло согласился, и сейчас я полагаю, что он всё-таки сказал В.П. правду, по крайней мере о невозможности операции...

Но Вика принял моё враньё без всяких трагических ноток. Не показав вида, как бы спокойно.

Прошла неделя. Записались на химиотерапию. О болезни не упоминали. Вика пытался готовить передачи и волновался, когда можно их будет записать. Говорил он с сильной одышкой, с шумом вдыхая воздух. Об эфире не могло быть и речи. Анатолий Гладилин, на правах шефа, уговаривал не беспокоиться, мол, пока статьи прочтёт у микрофона кто-нибудь другой. Деньги заплатят, а потом посмотрим... Кстати, через месяц Толя пробил Виктору Платоновичу должность консультанта, ни к чему его не обязывающую, но давшую право на зарплату.

Под страшной клятвой о молчании новость о болезни Некрасова была сообщена Милой нашим лучшим друзьям. Примерно через полтора часа об этом знала вся парижская эмиграция. Звонили нам, расспрашивали робко и с участием, но теребить вопросами Вику не решались.

А на следующее утро Некрасову позвонил Женя Лунгин и стал с паническим любопытством выспрашивать — что случилось?! Вика, почему говорят о химиотерапии?! В.П. пытался отнекиваться, дескать, ничего не известно, некое осложнение после воспаления легких.

— Какое осложнение! Ты знаешь, в каких случаях облучают! У тебя что, рак?!

Вика оборвал разговор и посмотрел на меня:

— Я запрещаю впредь говорить о болезни! И не спрашивайте меня о здоровье!

На облучение мы ездили три раза в неделю, в больницу в соседний пригород Пети-Кламар. Вначале решили, что будем вызывать такси, ведь оно оплачивалось социальной страховкой. Такси обычно запаздывало, и Вика нервничал. Потом твёрдо сказал, что в следующий раз мы поедем на моей машине. Я поспешно согласился, кляня себя за бестолковость — сразу не додумался...

Мы молча подъезжали со двора поближе к входу в полуподвал, с жёлтым знаком радиационной опасности на дверях, он молча заходил и оставался там минут тридцать. Молча садился в машину, и, так и не проронив ни слова, мы возвращались домой. Даже о пустяках не заговаривали! Я-то боялся сказать что-то не так, но не мог понять, почему молчал В.П. Стеснялся, что ли?.. Вспоминаю, и мне до сих пор не по себе...

Но дома настроение его явно улучшалось, он с охотой разговаривал, лежал с книгой, даже обсуждал, что купить из еды.

Как-то в начале лета он поманил Милу на кухню и открыл шкафчик — посмотри-ка! Там внушительной кучей лежали лекарства, десятки различных коробок.

— Галку я далеко переплюнул! — пошутил.

А на деле, могу себе представить, как ему было тоскливо...

И тут случилось то, на что я твёрдо в душе рассчитывал. Вике стало лучше!

После первой серии облучений он начал проявлять интерес к некоторым непреходящим ценностям. Например, к пиву. Попросил следить, чтобы в холодильнике всегда бы-

ла пара бутылочек. Расшторил окно в кабинете, начал подолгу читать. Сам ходил в магазин в нашем доме, питался, правда, лишь йогуртами и сдобными булочками. По его настоянию мама уехала до конца лета в свой любимый Медон, там начались ежегодные русские курсы. На удивление приветливо отвечал на мамины ежевечерние звонки.

Пристрастился, как мы посмеивались, к ночной парижской жизни. Жизнь эта начиналась часов в девять вечера и заканчивалась в сидении за столиком кафе с кружечкой пива.

— Ну, как, Витька, подвезешь? — звонил он мне.

Необычный, слегка просительный тон тревожил меня, и я вкладывал в ответ чуть ли не революционный энтузиазм:

— Конечно! О чем речь!

Я боялся проявить жалость и вёл себя нарочито грубовато, временами хамовато шутил, чтобы Вика, не приведи бог, лишний раз не почувствовал себя беспомощным. Из всех сил показывал, что я просто так, от нечего делать, вожу его в кафе. Дескать, почему не оказать услугу, если есть время? Поехали, Виктор Платонович, с развязной весёлостью говорил ему я, вы там погудите, а мне надо будет кой-куда мотнуться. На обратном пути вас подберу, часа через полтора...

Он с энтузиазмом назначал свидания в кафе «Монпарнас», в получасе езды от нас. Встречался с Машей и Толей Гладилиными, с Серёжей Мажаровым и Юлием Милкисом, с Женей Лунгиным, с Семёном Мирским, с Мишелем Окутюре, с журналистами со «Свободы»... Со многими...

Моложавый человек церемонно обнялся с Некрасовым. Жак Росси! Бывший курьер Коминтерна, потом якобы французский шпион, просидевший в лагерях чуть ли не двадцать лет. Написавший знаменитый «Справочник по Гулагу». Тут же свежее опубликованная книга была показана Виктору Платоновичу, надписана и вручена.

«Дорогому и сердечному Вике Некрасову от всего сердца. Ж.Р. Париж. 8.7.1987. P. S.: Не читать статьи на стр. 107—108, 125, 283—284 и особенно 439—441!»

На этих страницах, как легко догадаться, помещены толкования, варианты и разночтения русских матюков. Росси послал книгу по почте, но она не дошла, и вот теперь решено было встретиться. Виктор Платонович был одним из его рецензентов. Хотя сам Росси был в этом деле бесспорным авторитетом.

За полтора месяца до смерти, втайне ото всех, Вика спился с Анной Берзер и дал согласие на публикацию в «Юности» своих «Городских прогулок», советского варианта «Записок зеваки». В письме написал: «Я буду рад, если мои вещи появятся в Москве». И послал свою фотографию для журнала.

Знаменитый редактор «Нового мира», писательский ангел-хранитель, Анна Самойловна вспоминалась им чуть ли не каждый раз, когда он протягивал мне пачку исписанных карандашом страниц на перепечатку. Я вежливо ждал завершения похвального слова, наперед зная все достойные деяния милой Аси Берзер. Какой у неё был подход к Твардовскому, сколько она сделала для русской литературы! Если бы не она, «Иван Денисович» Солженицына никогда не пробился бы в «Новом мире», это она сунула рукопись на стол главного редактора. Авторы журнала буквально молились на неё, бывало. Ведь это она все их невнятные нетленки доводила до ума! Некрасов ловил каждое её слово, а чтобы ей перечить, так это ни боже мой! Вот если бы Ася прошла здесь своей рукой, я бы горя не знал, повторял В.П. несчётное число раз.

— Ты не представляешь, Витька, как мне не хватает сейчас Аси Берзер! Какой редактор, как она умела всё это делать!

В Париже публикация в «Юности» стала абсолютной неожиданностью. Кое-кто из столпов эмиграции, да и просто мелкая парижская шайка-лейка собрались было по-смертно предать Некрасова позору за коллаборационизм. Но перестройка начала набирать такие демократические темпы, что все плюнули на эмигрантские приличия и кинулись в Россию — кто печататься, кто пробавляться чем бог даст...

Письмо от Сергея Довлатова, 15 июля 1987 года:

«Дорогой и любимый Виктор Платонович! Я узнал, что Вы больны, и меня это страшно огорчило... Я вот тоже провёл в больнице с подозрением на рак, пардон — мочеточника, зато у меня обнаружился цирроз печени и ещё два-три менее эффективных заболевания, включая цистит, который считается женской болезнью. Теперь мне категорически нельзя пить, курить и запрещено есть всё то, ради чего люди садятся за стол.

Мне очень жаль, что Вы больны, жаль ещё и потому, что Вы как-то не созданы для медицины. Уверен, что Вы совершенно не нуждаетесь в моей поддержке, да и что можно сказать в такой ситуации, но я всё же хочу воспользоваться грустным поводом и воскликнуть, что я люблю Вас и уважаю хотя бы за то, что Вы не похожи на классика...

От всей души желаю Вам выздоровления. Обнимаю, дорогой Виктор Платонович. Преданный Вам и благодарный за всё. Сергей Довлатов».

...Я постелил скатерть, поставил парадные чашки и вазочку с повидлом. Разложил печенье. Сухарики были несъедобными, диетическими. Вика вышел из кабинета при параде, в брюках и клетчатой рубашке, несмотря на жару. Ждали Пьера Дэкса, близкого приятеля, влиятельного журналиста, в прошлом известнейшего коммунистического публициста. Публично проклявшего коммунистические

идеи и с облегчением ставшего ренегатом, как тогда говорили. Дэкс рассказывал всякие новости, говорил, в общем, ни о чём. Вике оставалось жить чуть больше месяца, это было сразу видно. Дэкс подчеркнуто внимал его словам, заботливо подливал чай, деликатно угощался сухариками. Виктор Платонович перешёл к делу, поговорить насчёт своего внука Вадима. Который после армии не знает чем заняться, профессии у него нет, но хочет устроиться на работу в аэропорт. Стюардом или ещё кем. Хотя это страшно трудно без знакомства. Так не мог ли ты, Пьер, позвонить кому надо, похлопотать, чтобы пристроить нашего неприкаянного вьюношу? Дэкс твёрдо пообещал, расцеловался с Викой, очень расчувствовался и ушёл... Через несколько месяцев после смерти В.П. он позвонил мне и сказал, что просьбу Некрасова выполнил, договорился насчёт работы. Вадима уже и близко не было в Париже, о своем желании проникнуть на поприще авиаперевозок он давно забыл, и я поблагодарил Пьера, мол, сын уже работает... А Галине Некрасовой ничего не нужно? Нет? Поцелуй её за меня, попросил он, и я пообещал. И конечно, обещания не исполнил...

## Пей и веселись!

Вообще-то альбом готовился ко дню рождения Некрасова, но известие о его болезни испоганило жизнь. Пропало всякое желание резвиться в шуточных писаниях. Тогда я наспех окончил свой проект и слепил некий литературный коллаж. Из множества некрасовских отрывков я сделал, как говорят, компиляцию. Отрывки касались неумирающей темы — водки, выпивки и похмелья. Получилась что-то вроде баллады в прозе. В некрасовской прозе!

Название альбома звучало оптимистично — «Пей и веселись!»

Утром 17 июня 1987 года, в свой день рождения, Виктор Платонович был радушен и не капризничал. Мама с Милой толклись на кухне, готовили для праздничного стола. Я собственноручно купил пива и вина, не опасаясь уже писательских срывов...

Неделю назад Мила доверительно сообщила врачу в онкологической клинике, что господин Некрасов, мол, бывает, прикладывается к бутылочке, а он слаб, это его может добить. Что тогда делать, поинтересовалась она? Да что вы волнуетесь, врач даже руками затряс, это прекрасно, пусть пьёт сколько хочет, хуже не будет! Если это ему скрашивает жизнь, пусть пьёт! Да и курить, если захочется, пусть курит... Мила ужаснулась — раз так, то дела у Вики на самом деле совсем-совсем плохи...

Но сегодня ждали с поздравлениями Вовочку Загребу с дочкой, названной Викторией в честь Некрасова. И больше никого, строго наказал новорожденный.

Сидя на тахте и листая мой альбом, иронически складывал губы трубочкой — всё хохмочки, всё шуточки, всё смефуёчки...

Я дождался, стоя над душой, пока В.П. прочтет предисловие:

«Кто из нас, выпив уже пару стаканов водки и наливая третий, не бормотал, неизвестно перед кем оправдываясь: — Что вы понимаете в этом?.. Русская душа требует... Всегда так было...

А зачем, собственно, оправдываться? Быть подвыпившим — обычное состояние человека... Пьют рюмку, стакан, кружку, чару, ведро... Так что пьют все. Но русские — по-своему.

Сколько раз Виктор Платонович Некрасов пытался растолковать этот тезис в своих произведениях, но всё как-то вразброс. То места не хватало, то терпения, то времени — нельзя же всё время писать и писать, а выпить когда?..

С десяток лет назад ребячливая “Эпиталама водке” взволновала московские фрондёрские кухни. Сейчас же перед нами мудрая баллада о пьянстве, которая читается, простите, запоем.

Да что там каламбурить — прочтя это эссе, налей-ка себе, читатель, стаканчик или кружечку и не откладывая в долгий ящик — выпей!

И покивай утвердительно — да, автор достиг своей цели, пьётся под балладу хорошо...»

Лестных похвал я не удостоился, но остался доволен — Вика прочёл этот пассаж до конца. К тому же и настроение у него стало деловым, начал собираться к столу, гости вот-вот появятся...

День был прохладный, но В.П., как нарочно, открыл окно, все оделись потеплее и сели за стол. Красные розы в вазе, вино и пиво, любимые котлетки, чай с пирогом — всё как положено. В полдень вдруг зазвонили колокола нашей церкви, видимо, справлялась свадьба. Гости повеселели — хороший знак! Не шибкий на сантименты с малыми детками, сейчас В.П. взял на руки крошку Викторю, смеялся с ней и хлопал в ладошки. Женщины растрогались, а я смотрел с жалобным беспокойством. За время болезни лицо В.П. здорово изменилось. Ставший тяжёлым подбородок, одутловатые и в то же время впалые щеки со странными пятнышками, совершенно белые усики, покачивание головы... Неожиданно так постаревший, а главное, явно больной человек... Я выпил вина и начал рассаживать компанию для фотографий.

Последний день рождения Некрасова...

Врачи сказали — проживёт три месяца. Месяц уже прошёл...

Значит, альбом «Пей и веселись!» следовало немедленно довести до ума. Перепечатать, переплести, проиллюстрировать. Завершить «Глоссарий». Может, успею...

Всплеск июльской надежды, когда после первой серии облучений Некрасову стало явно лучше, вселил в меня некую авторскую настырность. Ранее я стеснялся надоедать В.П., ждал, что он сам прочтёт мой рукописный крик души и откровенно выскажется, то есть горячо похвалит. Так как лично моя, допускаю, предвзятая оценка была недвусмысленна: я сотворил штуковину, напоминающую шедевр.

А момент был подходящий — настроение у В.П. улучшилось, вчерашний рентген показал ограничение опухоли. Пойду, напомню о себе, подумал я, да и развлеку немного человека. А то кукует у себя один как сыч — мама в Медоне занимается со своими драгоценными студентами.

Вика, как всегда в последние дни, сидел в кресле и, видимо, дремал, но окно не было задёрнуто. В пепельнице лежала чуть надкуренная сигарета — иногда он пытался покурить, без удовольствия, и почти сразу гасил окурки.

Нет-нет, всполошился В.П., душа сейчас не лежит ничего читать, в том числе и шедевральные опусы! Я всё-таки присел на тахту и раскрыл «Глоссарий». С глубоким чувством прочёл эпиграф: «О водка, колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я?» И попросил минуточку внимания, пообещал нечто, как стопарь ледяной водки, и ладно скроенное, и крепко сшитое.

— Это нечто — длинное?

— Нет, — обрадовал я, — полстранички!

Вика смирился и затих.

Автор начал с волнительным выражением:

— «Какими только способами не зарабатывают деньги!

В том числе и составляя словари — терминов, наречий, мата, рифм, мудрых мыслей... Да и мы в своё время, к семидесятилетию известного в нешироких кругах лауреата, составили словарик-перечень по выпивке. И очень гордились, мол, не имеет аналогов, чуть ли не вклад в сокровищницу, да к тому же не в целях наживы.

Но сейчас признаём — гордость эта была плодом невежества. Мы-то думали, ах! кто лучше нас знает алчущую душу и слова о томлении этой души? Кто? Никто? Нет, оказывается, нас обскакал Виктор Платонович Некрасов, классик, знаменитый не только продолжительностью запоев, но и обширностью своей алкогольной эрудиции. Стоило нам чуть повнимательнее прочесть его произведения, повозиться немного с классификацией, как открылась перед нами галактика спирто-водочной премудрости, бездонная, бескрайняя, неисчерпаемая.

Так появился предлагаемый “Глоссарий” — настольная, вернее, подстольная книга каждого алколюбивого человека. Это не только зеркало, пантеон, кимвал, ковчег, скрижали профессионального, бытового и любительского алкоголизма, но и питьевая автобиография великого знатока “этого дела”, который спивался вместе со своим народом и, допившись до немислимых высот, бросил пить!

“Выпить, пить, водка, пиво, пол-литра, бутылка, стакан...” — наиболее часто встречающиеся слова, не исчезающие из словаря писателя на протяжении сорока лет непросяхающего творчества. Менялись вкусы, способы питья и напитки, приходили новые собутельники, смягчались нравы, зарождались новые традиции и тосты, русский язык впитывал, всасывал, втягивал новые выражения — всё это отображено в произведениях В.П. Некрасова.

А сам писатель и его герои всё послевоенное время по-сасывали, прихлёбывали, выпивали, пили и... закусывали!

Всегда считалось, что закуска как-то унижает истинно пьющего человека, что певуче-поэтическое слово “алкаш” не имеет ничего общего с чавкающим словом “едок”. Выясняется, что они неотделимы, как сто грамм и кружка пива!

И рисуется такая картина. Комната. Полумрак. Табачный дым. 2087 год. Сидят двое с бутылкой. И листают “Глоссарий”. Струится милый пьяный спор, как правильно — выпить “коньяку” или “коньяка”? Когда употребить “Ну, поехали!”, а когда “Пошли!”? — “А вот у Некрасова сказано: «Он был не пьян, но крепко подвыпивши. Даже очень»”. Как истолковать?..

К чему это мы? Да всё к тому же — след, печать, отпечаток... Таки да...»

Мы посмотрели друг на друга и улыгнулись.

Подарок порадовал и развлёк Вику. Я заторопился закрепить успех: гляньте вот сюда, это ведь просто диссертация! Такой труд по силам только с любовью пьющему исследователю! Неохватное творчество лауреата, преломленное в нетрезвой призме!

И вправду, улыбался Виктор Платонович, любо-дорого взглянуть!

Вика взял «Глоссарий», полистал и даже удивился — алкогольная тема проскальзывала в 241 вещи Некрасова. При этом «водка» упоминается 130 раз. «Вино» различных сортов — 84, «бутылка» без уточнения содержимого — 77 раз! Благозвучные глаголы «выпить», «пить» и «напиться» украшают творчество писателя 328 раз... Разовая доза шла по возрастающей — от «глотка», «малости», «рюмки», «ста грамм», «стакана», «четвертинки», «пол-литра» до «много», «прилично» и «пороссячьего визга»...

Сладостное вкушение алкоголя совершалось в сотнях разнообразнейших мест коллективного и одиночного распития. Начиная от самых затёртых — траптарий, ресторанов, забегаловок, ванн и уборных, гадюшников, чистого воздуха, домов творчества, кухонь, блиндажей, редакции «Нового мира» и киностудий, сквериков и дворики. И кончая местами экзотичными — под развесистым баобабом, у памятника князю Владимиру Святославичу, на коммунальной свалке княжества Монако или в саду парижского музея Родена...

Но больше всего Вика заинтересовался поимённым реестром собутыльников. Легионы и сонмы громозвучных имён и неприметных землян. От особо памятных сердцу до мимолётного тайландского таможенника, сардинского рыбака или киевского тунеядца. Ну а с кем не пришлось пить?

Вика заинтригованно поднял брови и впал в раздумье. Вроде никого судьба не обошла, выпивал со всеми первыми встречными и вторыми поперечными... Разве что с Солженицыным не выпивал? Тот, на беду, и сам не пил, и других отговаривал...

Целый час Вика болтал, даже забавлялся, забыв о своей печали! Ликуя, я ощущал некое душевное благорастворение, простодушно называемое счастьем.

## Тихо прикрытая дверь

— Что ты пристал! — печально сказал Виктор Платонович. — Не пишется мне сейчас...

Вот Мольер был-таки гений, написал своего «Мнимого больного», смешную комедию, будучи смертельно больным...

— А я не Мольер...

Рукопись последней передачи о скаутах «Восемьдесят лет спустя» была написана 20 июля 1987 года. А последние

строки, треть странички карандашом, были озаглавлены «Здравствуй, Застава Ильича!» И тут же переименованы «На смерть Ахматовой».

«В смерти, а особенно чтимого тобой человека, много печали. И это естественно. Но, оказывается, бывает и в печали смерти — юмор. Галина Вишневская в своей книге вспоминает, как на похоронах знаменитой певицы пел не менее знаменитый певец. Он спел романс Даргомыжского, забыв, что кончается он словами: “Мне горько потому, что... весело тебе”. Вот, оказывается, бывает и такое...»

Я датирую эти самые последние строки Некрасова: 27 июля 1987 года.

В начале августа начался второй цикл облучений.

Теперь я отвёз его в другой соседний городок — Булонь. Он поднялся на высокое крыльцо больницы и провёл у врача около часа. Я сидел в холодке, ждал, а когда он появился в дверях, пошел ему навстречу. В.П. начал спускаться по довольно крутым ступенькам. И вдруг сильно покачнулся, чуть вперёд, а потом назад, как бы падая, схватился на перила. Его подхватили две женщины, спускавшиеся позади него. Я подбежал, взял под руку. Он не противился, молча мы и дошли до машины. Потом проводил его до самой квартиры, спросил, что, мол, надо купить или приготовить. Ничего не надо, всё есть, безжизненно ответил Вика. И лёг на тахту в кабинете, попросил задёрнуть занавеску. В холодильнике кроме йогуртов, мягкого сыра и двух булочек была ещё пачка пива...

Девятого августа намечался большой день. Позвонил Павел Лунгин и обещал зайти вместе с Женей, поведать, поболтать. Вика чувствовал себя получше, а тут прямо-таки ожил, велел мне приготовить для него выходную ковбойку, пошёл бриться.

— А ты полей араукарию! — деловито распорядился.

Последние два месяца на письменном столе в кабинете стояло изящное растение с мягкой хвоей, купленное им ещё в мае у нас на рынке, непонятно зачем. В моменты улучшения Вика аккуратно его поливал, а днём чуть раздвигал плотные шторы на окне, и тогда солнечная полоска падала прямо на араукарию. Когда же В.П. увезли в больницу, я раздёрнул шторы полностью и даже окно легонько приоткрыл. Через неделю после смерти Некрасова араукария как-то мгновенно засохла, хотя я не забывал её поливать...

Поставили пластинку. Вика даже поинтересовался — если ли пиво для гостей, колбаса или ещё что? Озаботился: а что если Пашка захочет водки? Там видно будет, успокоил я. К тому же брательники, надо полагать, не басурмане, додумаются захватить с собой пузырёк.

Гости не подкачали со священным обычаем и принесли бутылку столичной. Застолье сообразили среди бела дня, когда по французским понятиям полагалось лёгкое угощение. Но условности отмели и сразу приступили к тепловатой водке. Заедали йогуртами. Паша поведал о киношных новостях, Женя тоже сообщил пару московских историй, я же следил, чтобы разговор не соскользнул на болезнь. В.П. предупредил — скажи ребятам, о болезнях и лекарствах не заикаться. Да они и сами избегали страшного этого разговора, только Паша нет-нет да и кидал на Вику взгляд, с жалостью и тревогой.

Принесённая бутылка была выпита на редкость благополучно. Поддержали компанию хозяину, высосали для приличия и его пиво. Потом решили спуститься к нам, на второй этаж, там было прохладнее, имелась закуска, а в баре и выпивка. Пашка смешно острил, я, как мог, поддерживал, Женька компанейски шумел, В.П. улыбался и наслаждался обществом. Выяснилось, что он захватил с собой свою «Минолту», щёлкнул меня пару раз. Я тоже достал фотоаппарат,

снимал всех, то в обнимку, то так, рядышком. Забавно получилось — я наводил резкость именно в тот момент, когда и сам В.П. решил меня сфотографировать. И на последней в своей жизни фотографии Виктор Платонович запечатлел именно меня с фотоаппаратом. А моя фотография оказалась потом последним прижизненным снимком Некрасова. Никто из нас как-то и не задумался, что это последний раз, когда мы весело и бестолково треплемся все вместе, что это последние съёмки, последнее пиво, последние некрасовские улыбки...

В середине августа Вика как-то вдруг сник, прекратил со всеми общение. К телефону не подходил. Плохо ему было, наверняка плохо, и очень тоскливо. Думаю, теперь он точно знал, что умирает... Но, как и раньше, не жаловался и не разрешал заговаривать о болезни. Лежал в полутёмном кабинете, принимал снотворное, вставал редко. Почти не ел, хотя Мила готовила ему всё, что он любил, — котлетки, супчики, оладьи. Я заходил к нему дважды в день.

Спросил, не вызвать ли маму.

— Ни в коем случае! Не надо волнений! — тихо, но резко ответил В.П. — А когда звонит, говори, что всё идет потихоньку!

К концу августа я придумал название для своего рассказа о первой встрече с Некрасовым. «Перст судьбы». Чтобы отвлечь Вика от ужасных дум, решил я, сделаю ему как бы рукописный подарочек.

Это потом я осознал, что так напористо стряпая для развлечения Виктора Платоновича все эти глоссарии и рассказы, я и сам себя отвлекал в те последние дни от содрогающих меня мыслей и раздумий. Мыслей о скорой смерти Вики...

Так вот, предлогом для презента оказался юбилей, забытый всеми земнородными, — четверть века нашего с Не-

красовым знакомства! Меня тогда, как безбилетного, ссадили в Киеве с московского поезда, и я позвонил Некрасову. Это было в августе 1962 года. Такое совпадение дат я счёл знаком небес и теперь страшно торопился, видя, что жить ему осталось совсем ничего. Шутливый рассказчик должен был ему понравиться, раньше он ценил такие дурачества.

«Перст судьбы» я накропал за два дня. Переплёл как по-лучше и принёс Вике. Он лежал в кабинете, укрывшись тёплым пледом. Пробормотал что-то вроде: «Положи на письменный стол. Потом посмотрю». Я не стал приставать. Просмотрел ли он, нет ли, откуда мне знать...

В самых последних числах августа Виктора Платоновича перевезли из дома опять в ту же клинику, где работал Вовочка Загреба.

А первого сентября в «Московских новостях» была напечатана статья Вячеслава Кондратьева. В ней впервые за последние двадцать лет в советской печати было сказано, что «Окопы» Виктора Некрасова вошли в золотой фонд советской литературы и их следует обязательно переиздать. Журналистка «Радио Свобода» Фатима Салказанова прочла статью очень ослабевшему Виктору Платоновичу. В.П. растрогался и прослезился. Поболтал с ней о Чехове, договорился о встрече на следующий день.

Четверг 3 сентября был жарким, но приятным. И настроение было у меня неплохое. Но мне сразу не понравилось, что Вовочка поджидал меня в вестибюле клиники. Разминал пальцами незажжённую сигару, тревожно смотрел мне в глаза.

— Я жду тебя! С Викой совсем плохо... Пойдём ко мне в кабинет!

Мне так не хотелось верить, что В.П. вот-вот умрёт, что я шёл за ним, абсолютно отрешившись от этой мысли,

и молчал в прострации. Он тихо рассказывал, что Вика утром упал с кровати, лицо расшиб. Это от резкого падения давления, надо полагать.

— Какое давление? — возразил я вяло. — У него не было давления...

— Сейчас всего можно ожидать... Ты пойми это, Витька! Вовочка встал со стула и чуть наклонился ко мне.

— Он умрёт неизбежно, не сегодня-завтра. У него уже нет лёгких! Нельзя допустить, чтобы он мучился! Ты со мною согласен?

— Согласен, — сказал я.

Вика, один в палате, лежал на спине, с закрытыми глазами.

— Ну, как дела, Виктор Платонович? — с фальшивой жизнерадостностью задал я идиотский вопрос. — Что говорят врачи?

Он открыл глаза и повернул ко мне голову. Слева на подбородке была большая свежая ссадина. И разбиты губы. Лицо было таким бледным, что даже седые усики выделялись очень резко. Вика был смертельно плох... Чтобы не заплакать от печали и жалости, я затряс головой и заулыбался, как тирольский кретин, во весь рот.

— Ты понимаешь, Витька, сегодня утром я упал... Сидел на кровати и потерял сознание! Упал в этот угол, прямо мордой об пол!

По всему, Виктор Платонович был потрясён случившимся, смотрел на меня неотрывно, ждал ответа: как ты, мол, можешь это объяснить? Да всякое бывает, затараторил я, кляня себя за бодряческий голосок. С кем не случается, тем более после облучения! Слабость это, ясное дело, завтра будет получше...

Я сел к нему на кровать, задавал пустые вопросы. В.П. односложно отвечал — да, звонила Фатима, да, Вовочка ча-

сто заходит, сам сделал уколы, нет, ничего приносить не нужно...

— Ты иди, я устал сегодня, иди! — сказал он мне вдруг очень тихо и закрыл глаза.

— Конечно, конечно, я завтра приду! Прямо с утра, а сейчас отдыхайте! — Я погладил его по руке, поцеловал в висок, потом в щёку и повернулся к выходу.

Вика что-то сказал мне в спину.

— Что? — переспросил я, обернувшись.

— Дверью не хлопай! — явственно повторил он.

Я тихо прикрыл за собой дверь...

Справа по коридору шёл ко мне Вовочка. Заговорил негромко, мол, езжай сейчас домой, не торчи здесь, он позвонит. Думаю, сказал, долго Вика не протянет...

Только много лет спустя до меня дойдёт, что я был последним, кто поцеловал живого Вику... «Последний поцелуй» — назови так я эту главу, меня бы засмеяли...

Почти два часа подряд я ходил по квартире, разговаривал сам с собой и ждал звонка. В четверть пятого позвонил Вовочка.

— Витя? Ну, всё... Он умер...

— Сейчас приеду!

Разыскал по телефону маму и Милу, позвонил Максиму в Брюссель, тот по-бабьи ахнул, господи, пробормотал, Вика умер! Вика, какое горе!..

В коридоре у входа в палату курила заплаканная Фатима Салказанова.

— Представляешь, я пришла, когда он только что умер!

На полчаса опоздала, вчера договорились с ним, что она придёт, читает ему газеты, они поболтают...

Виктор Платонович лежал со сложенными на груди руками, уже одетый нянечками в свой любимый серо-коричне-

вый пиджак и голубую рубашку. Голова была перебинтована, как будто у него болели зубы. Так челюсть покойникам подвязывают, успокоила меня Фатима, мол, такие правила. На полке в шкафу лежали часы, носовой платок, расчёска и мелкие деньги — всё, что было у него в карманах. Тут же стояла надпитая наполовину плоская четвертинка с ромом. Мерзостным на вкус, но самым дешёвым из крепких напитков.

Пришёл Вовочка, позвал в кабинет, сказал, что Вика умер во сне, без мучений...

Мама горестно сидела в большой комнате, Мила то плакала на кухне, то отвечала на телефонные звонки. Да, умер, в начале седьмого, в частной клинике в парижском пригороде Жантйи. Нет, не мучился, умер сразу... Насчёт похорон ничего пока не известно...

Вытирая слезы, я начал общёлкивать всю квартиру, кабинет, все уголки, картинки, штучки-мучки на полочках, на память, как всё там было в момент его смерти.

Пока не закончилась плёнка...

## Печальные хлопоты

«Русская мысль» выходила по пятницам, поэтому наше извещение о смерти Некрасова появилось лишь через неделю, 11 сентября.

3 сентября 1987 года, в 18 ч. 10 мин. скончался

Виктор Платонович НЕКРАСОВ

О чём горестно извещает вдова и семья покойного.

Мир праху его!

В этом же номере большой некролог «Это был истинный русский интеллигент», подписанный В. Аксеновым,

А. Гладилиным, Г. Владимовым, С. Довлатовым, А. Зиновьевым, Л. Копелевым, Р. Орловой, Э. Кузнецовым, В. Максимовым.

«При всех его человеческих слабостях, милых чудачествах, прелестном (впрочем, напускном) инфантилизме, боящихся южных интонациях — это и был истинный русский интеллигент...

Но главный его дар был — любовь к свободе. С неподаваемой для русского писателя смелостью он заявил: “Родина — там, где свобода”...

Как тяжело примириться, что больше не будет с нами этого красивого, артистичного, на редкость обаятельного, доброго, благородного человека. О том, что Виктор Некрасов стал частью нашей жизни, мы знали давно. Но нам лишь сегодня дано осознать, какой большой и необходимой частью».

Все французские газеты сообщили о его смерти, в русских эмигрантских газетах всего мира напечатаны бесчисленные соболезнования. В «Русской мысли» были статьи Василия Аксёнова, Льва Копелева и Раисы Орловой, Владимира Максимова, Кирилла Померанцева. Напечатана телеграмма из Москвы: «Галине Некрасовой. Вместе со всеми друзьями глубоко потрясены, скорбим о кончине дорогого Вики. Руфь и Люся Боннэр, Андрей Сахаров, Лена Копелева, Галя Евтушенко».

А в Москве взорвалась идеологическая бомба — «Московские новости» опубликовали некролог о Некрасове, подписанный Григорием Баклановым, Булатом Окуджавой, Вячеславом Кондратьевым, Владимиром Лакшиным. В осторожнейшей форме, но это было как бы извинение перед тем, кого советская власть изгнала за пределы страны. Такой наглости кремлёвские хрычи не ожидали! Посягнуть на устои мирового оплота социализма! На срочно

собранном Политбюро потребовали запрета газеты! Слава богу, обошлось...

А в это время в Париже...

Началась эпопея с поисками места для Некрасова на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. С тридцатых годов все эмигранты рвались хоронить своих усопших именно там, в окружении русских берёз и среди тысяч могил соотечественников. Мэр городка, отстаивая интересы сограждан-католиков, строжайше приказал не выделять русским новых могил. Дескать, своих негде будет хоронить. Он был прав, конечно, православные могилы заполнили всю муниципальную территорию. Тогда русские начали помещать в одну могилу целые семьи. Надо сказать, что каждая могила представляла собой не просто яму, а некую траншею, облицованную бетонными плитами, в которую несколькими ярусами ставились гробы. А сверху это подобие склепа запечатывалось могильной плитой. Но и тут мэр не дремал — постановил ограничить количество постояльцев гроба в одном захоронении. Цены за могилы взлетели и парили в небесах, недостижимые. К тому же мэр ещё не вернулся из отпуска и некому было подать ни петиции, ни челобитной.

Что делать — неизвестно! Хоронить следовало только на Сен-Женевьев, вместе со всеми славными эмигрантами, писателями, воинами, поэтами, художниками. И просто с неизвестными, но русскими людьми. Так хотел сам Некрасов. «Континент», «Радио Свобода» и «Русская мысль» обзванивали чуть ли ни всех подряд русских. Мы ходили на все вечерние службы в церковь, в надежде неизвестно на что. Попросили помочь даже архиепископа. Прошло пять дней после смерти Виктора Платоновича, а могилы не было. Он мыкался, неприкаянный, в больничном морге.

Под вечер восьмого сентября на паперти собора Святого Александра Невского на рю Дарю ко мне подошла очень

пожилая женщина и поздоровалась как со знакомым. Я туго сообразил, что это мамина подруга, а зовут её Верка Клячкина. Так называла её, вспоминая молодость, Наталья Михайловна Ниссен, и её поддерживал Вика, насмешничая как всегда.

— Я услышала, Витя, что вы ищете место? Я могу вам одно подарить!

Милая, чудесная, добрейшая Вера! Отбросив церемонии, я по-деревенски облапил застеснявшуюся старушку, чмокал в щёчку и не знал, как благодарить. Оказывается, у неё в Сен-Женевьев похоронена сестра, а два места свободны! Одно для неё, а второе она может отдать нам, для Вики. С плеч моих свалились Гималаи, я побежал договариваться об отпевании. А любезная Вера пошла оформлять безвозмездную передачу могилы.

С утра мотнулся в Сен-Женевьев-де-Буа поглядеть на Викино место. В старой, самой престижной части кладбища, могила из светлого гранита мне пришлась по душе. Соседями были балерина Преображенская и некто «Крутиков из Киева», так и было написано на плите! Рома Клячкина, будущая соседка Виктора Платоновича по склепу, в молодости своей была любовницей Набокова, о чём мне сразу сообщила Наталья Михайловна Ниссен. Не скажу, что я так уж и осудил ветреность юной Ромы...

Лет через пять мама начала жаловаться, что её донимает по телефону сдавшая от старости Вера Клячкина и требует освободить могилу, мол, ей с сестрой тесно будет с мужчиной. Я отмахнулся, но очень взволнованная мама позвонила Максиму. И как всегда, Владимир Емельянович выручил! Он организовал петицию, подписанную многими выдающимися французами и русскими, в том числе Ростроповичем и Вишневской, и передал это письмо мэру, гонителю почивших в Бозе русских эмигрантов. И тот растаял, разре-

шил выделить писателю Некрасову могилу на два места. Третье было занято человеком, умершим в начале тридцатых годов.

Мы со скромными почестями перезахоронили тогда Виктора Платоновича. Положили чёрную гранитную плиту, поставили такой же православный крест, всё как у людей. Теперь она стала нашей родной могилой...

Была заказана гранитная же табличка, размером с раскрытую книгу, чтобы поставить её в головах у В.П., у основания креста. На ней выгравировали даты начала и окончания Сталинградской битвы, с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. А по диагонали я прикрепил длинный, сантиметров в тридцать, осколок снаряда. Его в сорок седьмом году Некрасов подобрал на Мамаевом кургане, когда впервые после войны вернулся на место былых боёв. Все эти годы осколок всегда лежал на письменном столе В.П., вроде груза на пачке ждущих ответа писем. Лежал и в Киеве, и в Париже. А теперь вот он на могиле Вики, частицей Сталинграда. Памятью о подвиге...

Но вернёмся к 9 сентября 1987 года.

За день до похорон Виктора Платоновича я, полагаю, ни разу о нём не вспомнил. Замотался в делах и предпохоронных заботах. Мила с подругами два дня не вылезала из кухни, готовила еду для поминок.

Ещё раньше, на панихиде в церкви, Наталья Михайловна Ниссен отозвала меня в сторонку и строго заявила, что она сама заплатит за гроб для Вики. Мол, он заслужил лежать в настоящем гробу, на который у Галки денег нет.

Теперь мы приехали с ней в шикарную похоронную контору, заказали гроб, табличку, обивку, всякие подушечки, ручки, кисти, бляшки. Наталья Михайловна сидела в кресле, пила чай, курила сигарету в мундштуке, а перед ней раскрывали каталоги, приносили образцы тканей, го-

ворили на ушко цены. Она кивала, соглашалась и, уходя, подписала чек. У нас таких денег и близко не было...

Нам помогали во всём — заказывали автобусы, цветы, венки, катафалк. Службу в церкви тоже оплатили, я даже не знаю кто. Маме присылали письма с чеками и украдкой, чтоб не смущать, давали конверты с деньгами. От имени «Континента» серьёзно помог Максимов, много собрали сотрудники «Радио Свобода», а Семён Мирский добился попозже выплаты маме крупного пособия за умершего супруга.

Положение усопшего в гроб происходило утром в день похорон в морге городка Жантйи, в присутствии молодого тогда священника отца Анатолия. Кроме нашей семьи были Тania Максимова, Н.М. Ниссен, приехавшая из Женевы Наташа Тенце.

Отпевание началось в половине второго пополудни 10 сентября 1987 года в парижском соборе Святого Александра Невского. Совершал обряд сам архиепископ Георгий, что придавало службе дивную торжественность. Как меня заверили верующие...

Похороны изгнанника, эти печальные эмигрантские праздники, по словам Гюго... На наш печальный праздник пришло очень много людей. На моей памяти такое скопление народу было лишь на похоронах Галича, Максимова и Окуджавы, которого тоже отпевали у нас в Париже.

После службы гроб был установлен на паперти, и Владимир Максимов произнёс надгробное слово. Я попросил выступить трёх человек — Максимова от имени «Континента», Мирского от парижского бюро «Радио Свобода» и Толю Шагиняна, как одного из близких друзей.

Максимов прочёл отрывок из некролога, опубликованного потом в «Континенте».

«Его известность в нашей стране настолько велика и уникальна, что не требует каких-либо анкетных коммента-

риев. На его книгах выросло и нравственно утвердилось несколько поколений...

Он практически никогда не вступал в какую-либо политическую или общественную полемику, но когда где-нибудь и кем-нибудь попиралась элементарная справедливость, голос его звучал в полную, присущую только ему одному силу... Так было всегда, на протяжении всей его неповторимой жизни...

Рукописи, и тем более книги, как известно, не горят. Книги остаются... Всё, написанное замечательным русским писателем Виктором Некрасовым, принадлежит именно к таким книгам. И этого у нас никто не отнимет...»

Всех повезли автобусами в Сен-Женевьев-де-Буа. На кладбище отец Анатолий разжёг ладан в кадиле и возглавил наше шествие. Прошли скорбно за гробом, по прохладным аллеям, не глядя по сторонам, каждый как бы сторонился соседей. Сёма Мирский и Толя Шагинян сказали надгробные слова, священник быстро прочёл молитву. Мама поцеловала крышку гроба. Многие плакали. Я смотрел безучастно поверх голов, плакать мне не хотелось. Кто-то дал ложку, я зачерпнул ею земли, бросил в могилу.

Отошёл в сторонку, закурил.

И вспомнил Вику. Идущего мне навстречу от нашего метро, по широкой улице, усаженной платанами, с книгой в полиэтиленовом мешочке. Он тоже увидел меня и чуточку улыбается. Мне стало как-то бездумно, даже беспечно, будто бы покончил я с долгодневной кручиной или душевным недугом. Показалось, что всё миновало и наступило упокоение. Вика отмучился, мы отгрустили, все заботы стусевались.

Ощущение это обмануло меня. Заботы, да ещё какие, только начинались...

Гроб засыпали землёй, уложили цветы, расправили ленты венков.

Я пригласил всех к нам домой, помянуть покойного...

Народу набилось бесчисленное множество. Соблюдая приличие, благопристойно выпили за светлую память и чинно-благородно закусили. Выпили по второй, третьей, потом, понятно, счёт выпитому был потерян. Заговорили громче и наперебой, загомонили и, как всегда на добрых поминках, начали пошучивать, обниматься, посмеиваться.

Я довольно посматривал, оглядывал гостей чуть ли не с улыбкой. Уверен, Виктор Платонович не пожелал бы себе лучшего поминального сборища... Эмигрантская наша тризна явно удалась!

Не бог весть какое, но мне утешение...

*Париж, 2005—2006, 2010*

## Слова благодарности

Автор безгранично признателен за бесценные советы и замечания, а также за душевную поддержку:

Антонине Александровне АЛЬ

Жаку ДЕР МЕГРЕДИТЧАНУ

Лидии Тимофеевне ДЕР МЕГРЕДИТЧАН

Леониду Сергеевичу ДУБШАНУ

Сергею Владимировичу ИЗРАЙЛЕВИЧУ

Льву Борисовичу КРУГЛОМУ

Наталье Владимировне КРУГЛОЙ-ЭНКЕ

Арсену Магомедовичу МИРЗАЕВУ

Ноне Александровне ХАЧАТУРЯН

Елене Данииловне ШУБИНОЙ

*Литературно-художественное издание*

*Виктор Кондырев*

# ВСЁ НА СВЕТЕ, КРОМЕ ШИЛА И ГВОЗДЯ

*Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове  
Киев — Париж  
1972—87 гг.*

*Заведующая редакцией Е.Д. ШУБИНА  
Литературный редактор Г.П. БЕЛЯЕВА  
Ответственный редактор Д.З. ХАСАНОВА  
Технический редактор Т.П. ТИМОШИНА  
Корректоры М.В. КАРПЫШЕВА, Т.П. ПОЛЕНОВА  
Компьютерная верстка Н.Н. ПУНЕНКОВОЙ*

Подписано в печать 05.04.11.  
Формат 60x90/16.  
Усл. печ. л. 36.  
Тираж 5000 экз.  
Заказ № 4124081

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ООО «Издательство Астрель»  
129085, г. Москва,  
проезд Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ»  
141100, Московская обл.,  
г. Щелково, ул. Заречная, д. 96

Электронный адрес:  
[www.ast.ru](http://www.ast.ru)  
E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)

Отпечатано на ОАО «Нижеполиграф»,  
603006 Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

Издательство АСТ представляет:

Виктор Некрасов  
В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА



Виктор Некрасов (1911–1987) – писатель, фронтовик, защитник Сталинграда. По образованию архитектор. В 1941 году ушел добровольцем на фронт, а сразу после войны опубликовал повесть «В окопах Сталинграда». В 1974 – после запрета на все его книги, эмигрировал. Умер в Париже.

Повесть «В окопах Сталинграда» стала первой правдивой книгой о Великой Отечественной: так просто и страшно о войне до Некрасова не писал никто. В ней нет подтянутых солдат в красивой форме, шагающих под реющими знаменами – только честные картины боя и выживания на фронте. Нет портретов вождя, генералов и политработников, главные герои повести – офицеры и солдаты. Сразу после публикации на повесть обрушился шквал официозной критики, но... волей «отца народов» книга получила Сталинскую премию. А в 1956 году по ней был снят фильм «Солдаты».

# ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА

ПРИБОРАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ  
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ 

## В Москве:

- м. «ВДНХ», г. Мытиши, ул. Коммунистическая, д. 1, ТРК «ХЛ-2», т. (495) 641-22-89
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, т. (499) 267-72-15
- м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18, т. (499) 619-90-89
- м. «Коломенская», ул. Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48
- м. «Маяковская», ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 8, т. (495) 251-97-16
- м. «Менделеевская», ул. Новослободская, д. 26, т. (495) 251-02-96
- м. «Новые Черемушки», ТЦ «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, стр. 1, т. (499) 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, т. (495) 306-18-97
- м. «Преображенская площадь», ул. Большая Черкизовская, д. 2, к. 1, т. (499) 161-43-11
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д. 76, к. 1, 3 этаж, т. (495) 781-40-76
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., д. 15/1, т. (495) 977-74-44
- м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
- м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, к. 1, т. (495) 322-28-22
- м. «Шукинская», ТРК «Шука», ул. Шукинская, вл. 42, т. (495) 229-97-40
- м. «Ясенево», ул. Паустовского, д. 5, корп. 1, т. (495) 423-27-00
- М.О., г. Зеленоград, ТЦ «Иридиум», Крюковская площадь, д. 1

## В регионах:

- г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59
- г. Екатеринбург, ТРК «Парк Хаус», ул. Сулимова, д. 50, т. (343) 216-55-02
- г. Калининград, ул. Карла Маркса, д. 18, т. (4012) 71-85-64
- г. Краснодар, ТЦ «Красная площадь», ул. Дзержинского, д. 100, т. (861) 210-41-60
- г. Красноярск, пр-т Мира, д. 91, т. (3912) 23-17-65
- г. Новосибирск, ТЦ «Мега», ул. Ватутина, д. 107, т. (383) 230-12-91
- г. Пенза, ул. Московская, д. 83, ТЦ «Пассаж», т. (8412) 20-80-35
- г. Пермь, ТЦ «7 пятниц», ул. Революции, д. 60/1, т. (342) 233-40-49
- г. Ростов-на-Дону, ТРК «Мега», Новочеркасское ш., д. 33, т. (863) 265-83-34
- г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, корп. 1, ТЦ «Виктория Плаза», т. (4912) 95-72-11
- г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 185, т. (812) 766-22-88
- г. Самара, ТЦ «Космопорт», ул. Дыбенко, д. 30, т. 8(908) 374-19-60
- г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-68
- г. Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
- г. Уфа, пр. Октября, д. 26-40, ТРЦ «Семья», т. (3472) 293-62-88
- г. Чебоксары, ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, д. 105а, т. (8352) 28-12-59
- г. Череповец, Советский пр-т, д. 88а, т. (8202) 53-61-22

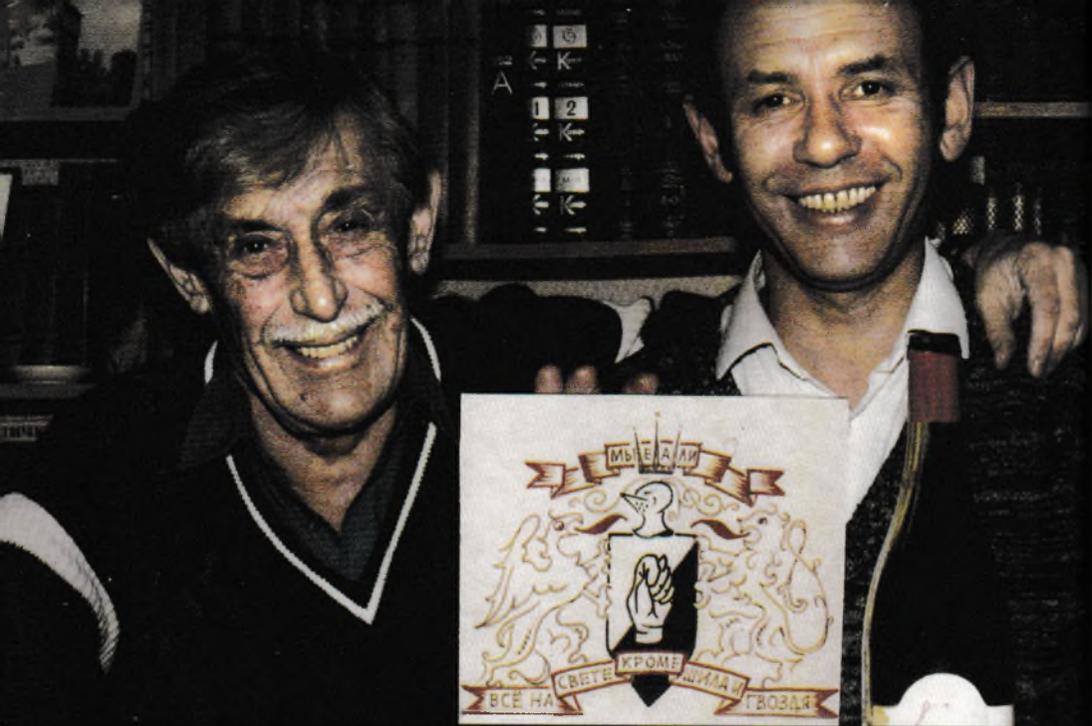
Широкий ассортимент электронных и аудиокниг  
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте [www.elkniga.ru](http://www.elkniga.ru)

Заказывайте книги почтой в любом уголке России  
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой» или на сайте: [shop.avanta.ru](http://shop.avanta.ru)

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосковию:  
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте: [www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)

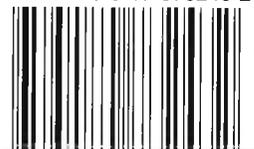
Издательская группа АСТ [www.ast.ru](http://www.ast.ru)  
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж  
Информация по оптовому закупкам: (495) 615-01-01, факс 615-51-10  
E-mail: [zakaz@ast.ru](mailto:zakaz@ast.ru)



Виктор Некрасов (1911–1987) ещё при жизни стал легендарной фигурой. Фронтовик, автор повести “В окопах Сталинграда”, обруганной официальными критиками; в конце сороковых был удостоен Сталинской премии; в семидесятых — исключён из партии с полным запретом издаваться, покинул страну и последние годы прожил в Париже — там, где провёл своё раннее детство... Боевой офицер, замечательный писатель, дворянин, преданный друг, гуляка, мушкетёр, наконец, просто свободный человек; “его шарм стал притчей во языцах, а добропорядочность вошла в поговорку” — именно такой портрет Некрасова рисует в своей книге Виктор Кондырев, пасынок писателя, очень близкий ему человек.

Лилианна и Семён Лунгины, Гелий Снегирёв, Геннадий Шпаликов, Булат Окуджава, Наум Коржавин, Александр Галич, Анатолий Гладилин, Владимир Максимов, эмигранты первой волны, известные и не очень люди — ближний круг Некрасова в Киеве, Москве, Париже. Все они — герои этой книги, иллюстрированной уникальными фотографиями из личного архива автора.

ISBN 978-5-17-073243-2



[www.ast.ru](http://www.ast.ru)  
[www.elkniga.ru](http://www.elkniga.ru)

АСТ